

Концепт «РЕВОЛЮЦИЯ»

в современном
политическом
дискурсе

Л Е В И А Ф А Н

Государство. Общество. Личность



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Концепт «РЕВОЛЮЦИЯ»

**в современном
политическом
дискурсе**

Под редакцией
*Л. Е. Бляхера,
Б. В. Межуева,
А. В. Павлова*

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2008

УДК 323.272
ББК 66.041.3
К65

**Концепт «Революция» в современном политическом дис-
курсе** / под ред. Л. Е. Бляхера, Б. В. Межуева, А. В. Павлова. —
СПб. : Алетейя, 2008. — 360 с. — (Серия «Левиафан»).

ISBN 978-5-91419-137-2

В книге, составленной из работ отечественных и зарубежных политологов, рассматривается бытие концепта «революция» в современном научном, политическом и публицистическом дискурсах. Раскрывается особенность метафорического восприятия революции. Анализируются смыслы, которыми наделяется явление реальности в том случае, когда оно обозначается словом «революция». Революция выступает здесь не как «объективное явление», но как особый тип семантизации реальности.

Книга предназначена для специалистов в области политической теории, студентов и аспирантов политологических специальностей, а также читателей, интересующихся закономерностями развития современной политики.

УДК 323.272
ББК 66.041.3

ISBN 978-5-91419-137-2



© Коллектив авторов, 2008
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2008
© «Алетейя. Историческая книга», 2008

КОНЦЕПТ «РЕВОЛЮЦИЯ»: MOBILIS IN MOBILE

Первые годы нового столетия выплеснулись событиями важными и чрезвычайными. Для описания этих событий все чаще используется концепт «революция». При этом наибольшей популярностью «революция» пользуется у политологов (как у ученых и исследователей, так и у публицистов разной масти). Революционными спешат объявить всякие, хоть сколько-нибудь значимые изменения. За концепт «революция» сражаются академики, теоретики и идеологи. О революции говорят и спорят. Причина подобной активности вполне понятна. Использование концепта «революция» сообщает движению дополнительную энергию. Делает его «этапным», «абсолютным» событием.

Однако столь активное использование концепта в самых разных смысловых окружениях — от «оранжевой революции» до революции в косметике — ведет к размыванию семантики. По существу, с «революцией» сегодня происходит то же, что десятилетием ранее произошло с понятиями «миф» или «дискурс». Она превращается в некоторый предельно размытый смысловой комплекс, соединимый в пределе с любым содержанием, любой реальией.

Из инструмента научного анализа и даже из имени явления концепт превращается в не вполне ясную метафору. Ощущение зыбкости, неясности концепта и построенных на его основе моделей реальности подталкивает исследователей к анализу понятия. Однако, несмотря на обилие работ — от немецкой классики до наших дней, — дать субстанциональное определение данному концепту не получается. Точнее, как только такое определение возникает и утверждается, появляется реалья, выпадающая из него.

Эту особенность концепта «революция» и попытались учесть авторы и редакторы-составители предлагаемой книги. Мы попытались сделать объектом исследования не столько само понятие, сколько специфику его бытия в рамках политического дискурса. И бытие это оказалось предельно парадоксальным.

Действительно, «революция» — это не столько концепт, сколько метафора, но метафора особая — *блуждающая*. Как правило, метафорический перенос осуществляется из какой-то одной сферы реальности

(и ее языкового отражения) в другую. Вместе с метафорой в новую сферу попадает и значительный комплекс понятий, смыслов и связей из сферы-донора. Тем самым сфера-реципиент получает смысловую «прививку», расширяет семантический горизонт. Необходимость в такой прививке продиктована особенностью бытования любого типа дискурса как некоторой совокупности семантически упорядоченных текстов. Наличие такой упорядоченности и внутренней непротиворечивости приводит к тому, что дискурс становится между реальностью и наблюдателем, заслоняя реальность от исследователя¹.

Дальнейшее изучение обращено уже не на саму реальность, но на ее языковое оформление. В ситуации, когда изменяемость реальности достаточно стремительна, такое изучение достаточно быстро приводит к своеобразной «научной шизофрении». Я, как живущий в реальности, понимаю, что наше описание не соответствует тому, что мы переживаем. С другой стороны, мы не можем это несоответствие ни обозначить, ни описать. Для того чтобы «расколдовать» реальность, возникает потребность в метафоре, взрывающей организацию текста-маски. Конечно, через какой-то промежуток времени дискурс вновь упорядочивается. Но в момент разрушения происходит «срывание всех и всяческих масок».

Но даже на этом беспокойном фоне «революция» выглядит необычно. Возникнув как научно-религиозное понятие, оно переключивается в область политической публицистики. Оттуда понятие совершает метафорический перенос в сферу философии и науки², обретая статус концепта, инструмента исследования реальности. Однако и в качестве концепта «революция» не задерживается. XX столетие вновь вбрасывает «революцию» в сферу публицистики и даже повседневного общения.

В то же время, в отличие от «обычной» метафоры, революция не совершает окончательный переход из одной сферы в другую. Перенос здесь оказывается двусторонним или, говоря точнее, многосторонним.

¹ В этом смысле особенно примечательно понятие, которое сделал центральным для своей интерпретации революции западный исследователь Ноэль Паркер. Для понимания сегодняшних процессов и явлений, которые спешат назвать «революционными», Паркер предложил термин «параллакс» (греч. *parallaxis* — отклонение). (Текст Паркера «Параллаксы» представлен в настоящем издании). Параллакс представляет собою заметное изменение объекта или его положения вследствие перемещения наблюдателя. Именно по этой причине мы представляем «революцию» глазами разных наблюдателей — тех, кто стремится постичь ее философски, понять метафорически, сделать субдисциплиной политической науки, загнать в национальные рамки или, наоборот, вывести ее на глобальный уровень, «обуржуазить», «идеологизировать», «перекрасить» или увековечить и так далее.

² Ярким примером такого заимствования может служить концепция «научных революций» Томаса Куна.

Существуя в предельно разных, трудно сводимых областях реальности, «революция» «помнит» о каждой из них. Она бытийствует одновременно и как научный (и/или философский) концепт, и как политико-публицистическая метафора, и одновременно как элемент повседневного дискурса. Именно в силу этого она «выламывается» за пределы любого (единого) субстанционального определения.

Чтобы описать концепт (метафору) «революции» необходимо определить его одновременно во всех этих сферах. Такая попытка и предпринимается в книге. Статьи, собранные здесь, явились плодом усилий группы авторов — Леонида Бляхера, Бориса Межуева и Александра Павлова, — более двух лет проводивших исследование структуры и семантики концепта «революция», его метафорического бытия в современном дискурсе. Стремясь дать максимально полное описание исследуемого объекта, мы включили в книгу как уже публиковавшиеся тексты, так и впервые предложенные к публикации.

* * *

Разделы книги представляют собой сферы реальности, обнаруживающие те или иные аспекты бытия «революции»: политико-философский, метафорический, повседневный, политологический, собственно политический. По существу, идея революционной метафоры красной нитью проходит через всю книгу. Однако в статье Леонида Бляхера «Революция как блуждающая метафора: семантика и прагматика революционного карнавала», открывающей сборник, она выходит на первый план. Здесь «делается попытка проследить историю становления смыслового комплекса, обозначенного термином «революция». Революция, по мнению автора, — не система каких-либо «объективных» показателей, но отношение участников политического процесса к реальности. Революция — это восприятие мира как нового («новая земля и новое небо»).

Первый раздел — «Философия революции» — включает в себя три статьи признанных классиков современной социальной и философско-политической мысли. Это глава из книги «О революции» Ханны Арендт «Основание революции: свобода», пронизательная рецензия на книгу Арендт Юргена Хабермаса «История о двух революциях» и небольшое, но важное выступление Герберта Маркузе «Революция в ценностях». К этим текстам примыкает статья молодого исследователя Александра Павлова «“Понятие” революции в политической философии 1789–1848 гг.». Выбор этих работ продиктован желанием показать предмет исследования, те смыслы концепта «революция», которые более или менее явно эксплицируются в работах наиболее глубоких авторов. Здесь, строго говоря, обозначается отправной пункт нашего «экскурса в революцию».

В последующих разделах книги мы стремились восстановить контексты, в которых разворачивается бытие концепта «революция». Направление, выбранное нами, — это постепенное сужение контекстуального горизонта: от глобального к локальному; от осмысления или описания феномена как такового к дескрипции механизма его функционирования или конкретного проявления.

Второй раздел книги осмысляет концепт в своеобразном контексте — контексте политической науки. Революция, по мнению тех авторов, работы которых вошли в раздел, — это не просто объект исследования и конечно, не инструмент анализа. Значение революционной проблематики гораздо серьезнее. «Революция» выступает как субдисциплина политической науки — важнейший раздел, описывающий динамику политических систем и политической системы мира.

Текст Александра Никифорова будет чрезвычайно полезен отечественным конфликтологам и интересующимся политологам. Джеффри Пэйдж, в свою очередь, проанализировав многочисленные определения «революции», представленные в социальной науке, пришел к выводу, что даже если множество этих определений не имеет будущего, революции как таковые, осмысленные во всей полноте, еще долгое время будут предметом пристального внимания ученых.

Деятельный подход к исследованию революции Эрика Селбина хотя и является узким по сравнению с обзорными статьями выше указанных авторов, тем не менее, представляет собой популярное течение в рамках специфической субдисциплины политической науки. Вместо того чтобы обсуждать характеристики государства, мобилизацию, элиту или ресурсы, как это делали корифеи «научных концепций революции» — Тэда Скочпол, Крэйн Бринтон и Чалмерс Джонсон, — Селбин уделяет свое внимание идеям, а также преобладающей роли отдельных акторов в революционном конфликте.

Текст с незатейливым названием «Революция» британского политического теоретика Джон Дана — также обзор. Однако Дан рассматривает не краткую эволюцию научных представлений о революции, а долгую историю самого понятия («концепта»), увязывая его с политическими инновациями и концептуальными изменениями¹, начиная с древнейших времен.

Следующий раздел посвящен рассмотрению концепта в контексте глобального мира. Революция выступает здесь в качестве культурной универсалии. Этот аспект представлен работами Джорджа Монбиота,

¹ Книга, в которой был опубликован текст Джона Дана «Революция», собственно говоря, и носит название «Политическая инновация и концептуальное изменение». См.: Political Innovation and Conceptual Change / Ed. Ball T., Farr J., Hanson R. L. Cambridge, 1989.

Бориса Межуева и Виталия Куренного. На разном эмпирическом материале авторы текстов, включенных в этот раздел, анализируют смысл и направление модного ныне концепта «глобальная революция», будь она перманентной, «цветной», демократической или буржуазной. Здесь показывается, как знамя революции было перехвачено альтернативными политическими силами, какие смыслы, традиционно присущие концепту, этому способствовали, и от каких и каким образом приходилось избавляться.

Особое внимание читателей хотелось бы обратить на статью Бориса Межуева. Автор задается вопросом о том, что меняется в политическом процессе, если его называют революцией. На живом и обсуждаемом материале событий показывается суть этих изменений. Концепт «революция» здесь не столько отражает определенную реальность, но формирует ее. Его употребление/неупотребление включает или не включает событие в целый событийный ряд второй половины XX века, создает особый контекст понимания происходящего.

Еще одна революция («консервативная революция»), тесно связанная с национализмом, стала предметом осмысления в статьях Алексея Руткевича и Александра Михайловского. Хорошей иллюстрацией их тезисов является текст «Националистическая революция» одного из видных представителей «консервативной революции» — Эрнста Юнгера.

Пятый раздел существенно отличается от остальных разделов книги. Здесь рассматриваются социально-политические процессы, так или иначе получившие в истории устойчивую связь с именем «революция». Каким образом грань концепта разворачивается в этом случае? Не только семантика революции накладывается на события, но и событие вполне может войти в структуру смыслового комплекса, расширить и дополнить его. Будучи устойчиво связанным с понятием революции, событие становится критерием для сравнения нового предъявляемого сознанию политического артефакта. К таковым «образцовым» событиям авторы относят Французскую революцию 1789 года, две русские революции, демократические движения в Европе середины XX столетия. Некоторая публицистичность изложения здесь оправдана тем фактом, что сам предмет анализа публицистичен. Иным, более стабильным инструментарием его можно просто не зафиксировать. Некоторое исключение в этом плане представляет текст Юлии Ерохиной, которая выбрала строгие концептуальные рамки для своего исследования и по этой причине использовала в своем анализе довольно сухой научный язык.

Какая книга или хотя бы сборник работ о революции, какую бы из сторон этого феномена мы ни освещали, может обойтись без Карла Маркса? Даже если какая-то и сможет обойтись, то это явно не со-

ставит ей чести. Именно поэтому мы с гордостью представляем текст «Теория революции Маркса», принадлежащий американскому мыслителю, незаслуженно обойденному вниманием в России, — Сидни Хуку¹. Хотя на первый взгляд текст несколько выпадает из общей тематики раздела, все же ему здесь самое место. Мы включили работу именно в этот раздел, потому что она скорее характеризует Сидни Хука как оригинального исследователя, способного использовать, интерпретировать и критически переосмыслить наследие великих политических мыслителей, чем дает изложение идей Маркса. Другими словами, текст «Теория революции Маркса» представляет нам мысль не Маркса, а Хука.

* * *

Под одной обложкой мы объединили тексты классиков мировой мысли (Ханна Арендт, Юрген Хабермас, Герберт Маркузе, Сидни Хук), работы молодых авторов (Александр Павлов, Константин Аршин), а также тексты, выполненные в академической традиции и тяготеющие к художественно-публицистическому стилю. Логика включения/не включения текста в сборник здесь связана не столько с рангом исследователя или стилевым единством, сколько с тем, насколько в его работе раскрывает себя исследуемый концепт. По существу, каждый раздел раскрывает какую-то одну грань главного героя книги — революции. Однако отдельная грань не есть целое. Оно ускользает от взгляда любого «профессионала». В его распоряжении остается лишь слепок с одной поверхности. Но, суммируя эти «слепки», мы надеемся получить портрет нашего подвижного, каждый следующий момент не равного себе персонажа — концепта «революция», определить его место в современном политическом дискурсе.

¹ Сидни Хук (1902–1989) — американский философ, занимавшийся вопросами прагматизма, натурализма, гуманизма, а также политическими темами. Для ознакомления с его взглядами см.: Sidney Hook and Contemporary World: Essays on Pragmatic Intelligence / Ed. Kurtz P. N.-Y., 1968; Sidney Hook: Philosopher of Democracy and Humanism / Ed. Kurtz P. N.-Y., 1983.

Примечательно само название книги Хука, откуда был взят фрагмент для перевода: «К пониманию Карла Маркса. Революционная интерпретация» (1933). Хотя в интеллектуальных кругах США книга произвела если не революцию, то уж точно фурор, ее название все же может вызвать неоднозначную трактовку. Дело в том, что Хук не предлагал какое-то новаторское прочтение Маркса, не желая искажать мысль философа, но имел в виду лишь то, что Маркс всегда был и оставался революционером и выступал за революционную оппозицию классовому обществу. См.: Hook S. *Towards the Understanding of Karl Marx. A Revolutionary Interpretation*. Amherst, 2002.

* * *

Наконец, если это уместно делать в предисловии, мы хотели бы поблагодарить тех людей, которые приняли участие в подготовке книги, но не в качестве авторов. Речь идет о людях, которые не представили собственных текстов о революции, но которые оказали редакторам-составителям серьезную поддержку, сделав перевод действительно важных текстов, посвященных революции.

Мы благодарим Игоря Косича, любезно предоставившего свой перевод из книги Ханны Арендт, Оксану Пертель, подготовившую к публикации рецензию на книгу Арендт «О революции» Юргена Хабермаса, и Дмитрия Узланера, который взял на себя труд перевести тексты британского альтерглобалиста Джорджа Монбиота и американского философа Сидни Хука. Также мы хотели бы поблагодарить Константина Аршина и Анастасию Ермолину за проделанную ими научно-вспомогательную работу.

Леонид Бляхер, Александр Павлов

ЛЕОНИД БЛЯХЕР

РЕВОЛЮЦИЯ КАК «БЛУЖДАЮЩАЯ МЕТАФОРА»: СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА РЕВОЛЮЦИОННОГО КАРНАВАЛА

При исследовании политических процессов России XXI в. мы сталкиваемся с острейшей методологической проблемой. Ее суть состоит в том, что в силу «авторитарного отката» и сокращения сферы применения демократических процедур в путинской России стремительно сокращается традиционное пространство публичной политики¹, для анализа которого и создавался политологический инструментарий. В этих условиях политическая наука, на протяжении последнего столетия развивавшаяся прежде всего как учение о демократии и публичных формах ее презентации, теряет свой предмет. Для объяснения принятых решений, расстановки политических сил, да и просто состава реальных политических акторов политологу приходится обращаться к областям знания, в которых он по определению является дилетантом: к экономике, психологии, культурологии и так далее. В результате политология все чаще прибегает к «пророческой» риторике и вместо научных текстов создает политические, где основой «методологии» выступают политические предпочтения авторов. Политологическое исследование подменяется политическим актом. Тем самым пласт подлежащего анализу не уменьшается, а увеличивается.

Другим вариантом «политологического анализа» современной России становится «знаточество», базирующееся на личном знакомстве с политическими или государственными деятелями определенного ранга². Но как показывает исследовательская практика последних лет, подобное «начальствование» не ведет к появлению какой-либо теории, а его методология мало чем отличается от «методологии» написания газетной статьи. Представляется, что выходом из этой ситуации может стать дискурс-анализ. Осмысление политики в качестве особого типа дискурса, задающего определенную картину реальности, позволяет политологу занять внешнюю (аналитическую) позицию по отношению к объекту исследования. И поскольку политический и политологический дискурсы не совпадают, возникает тот самый «избыток видения», который, по М. М. Бахтину, выступает необходимым условием исследования³.

В настоящей статье мы попытаемся проанализировать современный политический дискурс через семантику концепта «революция» как одно-

¹ Шевцова Л. Ф. *Как Россия не справилась с демократией: логика политического отката* // Pro et contra, № 3. 2004.

² Гельман В. Я. *Демократизация, структурный плюрализм и неустойчивый бицентризм: Волгоградская область* // Полис, № 2. 2000.

³ Бахтин М. М. *Вопросы литературы и эстетики*. М., 1975.

го из наиболее активно используемых понятий, оттеснившего даже базовый для постсоветской политики концепт демократии. Многочисленные «цветные» и «растительные» революции на постсоветском пространстве, а также «контрреволюционный» дискурс российских элит сделали содержание этого концепта предельно сложным и предельно важным для понимания актуальной политики в России. Нюансировка такого содержания раскрывает перед нами и веер политических позиций среди внешне консолидированной российской элиты.



Метафорический перенос традиционно является одним из важнейших средств пополнения политического лексикона: от «политических проституток» из выступлений вождя мирового пролетариата до столь популярной сегодня «оси зла». При этом в зависимости от условий своего вхождения в политический словарь слово более или менее сильно меняет значение, «окрашиваясь» семантикой того семантического гнезда¹, в которое включается². Одновременно меняется и само это гнездо, приобретающее некую дополнительную коннотацию, отличающуюся от исходной.

Но сформировавшись в сфере прагматики, семантика термина и соответствующего гнезда, как правило, довольно быстро застывает и переходит в область словарей. Дальнейшее словоупотребление не столько конструирует или отражает реальность, сколько обозначает ее. При изменении реальности, особенно столь динамичной, как реальность политическая, этот знак становится маской. Будучи скрыта за такой маской, сама реальность остается невидимой и неназванной. Возникает «смысловой комплекс» — система взаимосвязанных понятий, обладающих общей семантикой, но лишенных «имени» и потому вытесняемых в сферу «непоименованного»³. Реальность превращается в «политический маскарад», который и задает видимые формы публичной политики. Метафора, некогда вызвавшая к жизни новый тип классификации объек-

¹ Кузнецова Э. В. *Лексикология современного русского языка*. М., 1982.

² Под «семантическим гнездом» мы понимаем систему взаимосвязанных понятий, наделенных общей семантикой. Подробнее см.: Караулов Ю. Н. *Общая и русская идеография*. М. 1976. Эта общая семантика задается: (а) ключевым концептом («именем гнезда»), по отношению к которому все остальные концепты выступают в качестве дефиниций; (б) практикой словоупотребления, определяющей смысловой горизонт термина, контекст его осмысления; и, наконец, (в) авторитетностью соответствующего дискурса, за которым признается или не признается право на конструирование смыслового пространства.

³ Бляхер Л. Е. *Нестабильные социальные состояния*, М., 2005.

тов¹, становится элементом терминологии, а ее содержание сужается до дефиниции. Преструктурированные понятия окостеневают в новом семантическом гнезде.

Существуя в виде семиотически упорядоченного текста, семантическое гнездо, репрезентирующее данную сферу социальной реальности, отталкивает от себя все иные смыслы. Для них просто не оказывается места в социальном пространстве. В рамках пространства политического подобная ситуация обычно устраивает сторону, заинтересованную в сохранении *status quo*. Социальные группы, вытесненные за пределы политического дискурса, а значит — и публичной политики, стремятся распрямить, дезавуировать сам дискурс. Для того чтобы прорваться сквозь маску, требуется новая метафорика, по-иному группирующая элементы дискурса и создающая смысловые лакуны, куда могут «встроиться» новые смыслы. Необходимо осмыслить наличный дискурс как одно из возможных положений дел, выйти за него, осознать его неполноту. Такое расширение реальности происходит за счет метафорического переноса.

Источником метафоры, в принципе, может стать любая предметная область. Однако доминирующий тип мировоззрения накладывает на эту произвольность весьма жесткие ограничения. В рамках данной, исторически конкретной картины мира метафорику продуцирует господствующая сфера реальности (религия, магия, конкретная наука и т. д.). Именно на ее почве вырастают феномены, как истинные смыслы по отношению к иным, эпифеноменальным, сферам². Сам же концепт, метафорически перенесенный из одной сферы в другую, «сохраняет память», как души у Платона, о прошлых речевых контекстах, о своей «прошлой» семантике. Эта «память» становится «мостиком» между семантическими гнездами и служит основанием для перегруппировки наличных смысловых элементов дискурса-реципиента. Совмещение с ними «перенесенного» концепта создает некий альтернативный вариант видения объектов, их классификации. Новая — метафорическая — классификация и позволяет «взорвать» гомогенность прежнего типа дискурса.

Разумеется, чтобы метафора возникла, существующий дискурс должен быть дезавуирован в глазах не только субдоминантных слоев населения, но и части элитной группы, имеющей право «называть». Подобное дезавуирование ощущается как своего рода шизофрения, осознание несоответствия между именованием и мироощущением, между наличи-

¹ Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago, 1980.

² Не случайно О. Конт называл свое учение «Социальной физикой», тем самым указывая на господствующую науку и основной источник своей философской метафорики.

ем смыслового комплекса и отсутствием адекватного имени для него. В этот момент и возникает метафора, «которую ждали». Такими метафорами могут считаться, в частности, «Русская Власть» Ю. С. Пивоварова и «силовое предпринимательство» В. В. Волкова. Но пожалуй, наиболее отчетливо этот путь вхождения метафоры прослеживается на примере концепта «революция», метафорическое использование которого в современном политическом дискурсе столь же широко, сколь и неопределенно. Особенностью метафоры «революция» является ее принципиальная незавершенность. Если большинство метафор, за исключением авторских, окказиональных, со временем «застывают», становятся «стертыми», то «революция» сохраняет свой метафорический оттенок, распространяясь на все новые сферы реальности и предметы и окрашивая их своей семантикой. Истоки такой ситуации, по-видимому, заключаются в том, что метафорический перенос обычно происходит в конкретном стилистическом пласте, в конкретном типе дискурса, тогда как метафора «революция» реализует себя *одновременно* в разных дискурсивных рядах. При этом каждый тип дискурса «осведомлен» о наличии других и стремится их учесть. Философская, политическая, научная и бытовая концептуализации термина «революция» осуществляются одновременно, но не совместно. «Зная» или, точнее, «догадываясь» друг о друге, они событиствуют¹ в разных пространствах, спорят между собой. Отсюда — внутренняя полифоничность концепта, его «блуждание» между разными типами дискурса, постоянное расширение спектра смыслов.



В Историко-этимологическом словаре современного русского языка «революция» определяется как: (1) «низвержение, разрушение отжившего общественного и государственного строя, приход к власти нового, передового класса и утверждение нового, прогрессивного строя»; (2) «коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому»². Сходным образом термин интерпретируется и в Словаре русского языка С. И. Ожегова³. Несколько иную трактовку феномена революции дает Философский энциклопедический словарь: РЕВОЛЮЦИЯ — глубокое качественное изменение в развитии к.-л. явлений природы, общества или познания. <...> Наиболее широко понятие Р. применяется для характеристики обществ. развития (см. *Революция социальная*). /.../ Р. означает перерыв постепенности,

¹ Бахтин М. М. *Вопросы литературы и эстетики*. М., 1975.

² *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. М., 1999. С. 104.

³ Ожегов С. И. *Словарь русского языка*. М., 1989. С. 671.

качеств. скачок в развитии. Р. отличается от *эволюции* — постепенного развития к. -л. процесса, а также от *реформы...*¹.

Таким образом, «словарная» (статическая) семантика концепта «революция» включает в себя:

- качественное изменение системы, переход от одного состояния к другому. В данном своем аспекте рассматриваемое понятие соотносится с концептом «*порядок*». Некий порядок «А» сменяется качественно иным порядком «В». «Революция» в ее социально-политической версии (социальная революция, политическая революция) противопоставляется «*реформе*» как способу улучшения системы без изменения качественно-го состояния последней;

- кратковременный процесс, разрыв в «нормальной» последовательности событий («скачок»). При таком ракурсе «революция» противостоит «*эволюции*» как постепенному изменению качества системы;

- позитивный характер изменения («*развитие*»). Новый порядок в каком-то (принципиально важном) отношении лучше исчезнувшего. Соответственно, противодействие революции контрпродуктивно, а любая «помощь» находится в гармонии с *прогрессом*.

В приведенных определениях довольно отчетливо видны два смысловых пласта. Один связан с позитивной наукой, изучающей изменения в обществе вообще. Второй привязан к изменению политического строя. Показательно, что в философском словаре в качестве основного приводится общее понятие, социально-политическое же значение дается как дополнительное, требующее предиката («социальная революция»). Толковый и этимологический словари, напротив, выдвигают на первый план именно социально-политическую трактовку термина. При этом «общенаучная» часть дефиниции состоит из эмоционально нейтральных, безоценочных понятий, тогда как социально-политическая эмоционально нагружена. Более того, сами определения «отживший», «передовой», «прогрессивный», будучи ценностно окрашенными, отсылают нас к третьему пласту — повседневному дискурсу, его рациональности. Возникает ощущение, что концепт, сохраняя некие (статические) смыслы, постоянно «блуждает» между философским, политическим и обыденным дискурсом, то есть является метафорой *par excellence*.

Чтобы выявить суть и последовательность этих метафорических переносов, обратимся к генезису и истории концепта «революция».

* * *

Интересующий нас (социально-политический) смысл концепта возникает изначально как метафорический перенос вполне строгого философского понятия. Термин «*revolütio*», как отмечают словари, имел отноше-

¹ Философский словарь энциклопедический. М., 1983. С. 574.

ние скорее к астрономии и астрологии, нежели к политике: «вращение», «возвращение на исходный путь», «смена времен года». В этом значении термин встречается в трудах Фомы Аквината, схоластов, алхимиков¹. Почва для его переноса из «космической» сферы в «общественную» возникает лишь в период позднего Возрождения и начала Нового времени («длинный XVII в.»). Впрочем, нам не удалось обнаружить прямого отнесения концепта «*revolütio*» к политической сфере ни в доступных нам политических текстах того времени, ни в текстах философских. Поэтому точнее будет говорить о формировании особого смыслового комплекса, допускавшего или предполагавшего подобный перенос.

Складыванию условий для переноса понятия в сферу общественной жизни способствовал утвердившийся в эпоху Ренессанса антропоцентризм. Но переноса именно в изначальном смысле. Значение термина пока сопрягается лишь с вечным возвращением на круги своя. Понятие «*revolütio*» получает «привязку» к обществу как части космического порядка, проходящей через те же «смены состояний», «возвращения». Подобное восприятие общества отчетливо просматривается в приводимой хронистом А. Нэвиллем речи восставших крестьян: «Мы не можем переносить дольше столь великие и жестокие притеснения. Лучше нам взяться за оружие и привести в движение небо и землю, чем терпеть такие жестокости»². Политическое выступление, восстание мыслится здесь как изменение самого космического порядка, ставшего невыносимым. Изменение же направлено в прошлое. Участники Великих крестьянских войн XV–XVI вв. находили оправдание своим действиям в... мифологеме «золотого века», в идее возвращения к былым, справедливым порядкам. Крестьяне, примкнувшие к восстанию под предводительством Уота Тайлера, пели: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был дворянином?» «Космический переворот» предпринимался для того, чтобы вернуться к истинному, начальному состоянию.

У подобного «переворачивания» имелся четкий аналог в культуре. Речь идет о феномене карнавала, строящегося именно на опрокидывании смыслов и ценностей. Как убедительно доказывает М. М. Бахтин, там тоже возникает переворот, «обращение» мира³, смысл которого состоит в создании пространственной возможности для личного утверждения высших ценностей. В рамках своей концепции Бахтин выделяет три типа ценностей: авторитарные, внутренне убедительные и «мои»⁴.

¹ Гуревич А. Я. *Категории средневековой культуры*. М., 1994.

² Цит. по: Семенов В. Ф. *Хрестоматия по истории средних веков*. М., 1948. С. 137.

³ Бахтин М. М. *Вопросы литературы и эстетики*. М., 1975.

⁴ Бахтин М. М. Ф. *Рабле и народная культура средневековья и ренессанса*. М., 1991.

Авторитарная ценность принимается (или отвергается) целиком. Она жестко связана с доминирующим социальным институтом и находится вне зоны «фамильярного контакта». Крайний вариант авторитарной ценности — ценность религиозная. Трудно представить себе верующего христианина, который признавал бы вторую, третью и шестую заповеди, но сомневался в остальных. «Моя» ценность утверждена «мною» и «мною» же принята в качестве основы поведения. Она, вне сомнения, внутренне убедительна. Внутренне убедительная ценность — это авторитарная ценность, «сниженная» до уровня «фамильярного» контакта. Абсолютная авторитарность стремится вытеснить «личные» смыслы из публичного пространства, но тем самым она перестает быть существенной для человека. Для того чтобы он мог утвердить всеобщие, авторитарные смыслы и ценности, их необходимо снизить. Такое снижение и происходит в пространстве карнавала, где на высшую ступень ценностной иерархии возносятся ценности телесного низа (плотской любви, физиологических отправления и т. д.). Этот момент виден практически в любом элементе традиционного карнавального действия: выборы короля шутов, корабль дураков, карнавальные мистерии и так далее. В результате затрагиваемые данным действием сакральные ценности опускаются, становясь объектом «личного» утверждения или отвержения. Структура революционного «переворота» сближается с карнавальной. Политический порядок как часть порядка космического тоже снижается. Рыцари (сакральные защитники) оказываются «разбойниками», мудрый и всезнающий монарх — несведущим и беспомощным. Ему, сюзеру, нужна «помощь» малых мира сего, чтобы вернуться к некогда существовавшему справедливому порядку. Карнавальное действие превращается в политическое, а сам протест, подобно карнавалу, наделяется сакральными смыслами.

* * *

«Мостик» между космологией и политикой был переброшен. Но к тому моменту, когда это свершилось, в сфере политики для понятия «революция» уже просто не оказалось места. Это понятие если и использовалось, то только как стилистически более приемлемый (высокий) синоним слова «переворот», «отмена» неких не вполне справедливых новаций¹.

Пришедшая на смену антропоцентрическому мировоззрению Возрождения *механистическая картина мира*² выталкивает смысловой ком-

¹ *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. М., 1999. С. 105.

² Бляхер Е. Д., Волинская Л. М. *Картина мира и механизмы познания*. Душанбе, 1976.

плекс, связанный с концептом «революция», на смысловую периферию. Начиная с XVI–XVII вв. ведущими становятся концепты *прогресса* и *развития*. Механика и политика срастаются здесь в единый и целостный феномен — картину мира, основанную на идее стабильности и разума. Уставший от беспорядков, войн и эпидемий эпохи Ренессанса европеец Нового времени ищет и находит стабильность и успокоение в четкости и однозначности “объективных” законов. Эти законы лишь как-то утилизируются субъектом, но существуют независимо от того, знает он о них или нет. В этом, собственно говоря, и заключается пафос знаменитого восклицания: «А все-таки она вертится!» Все антропоморфные элементы изгоняются из социальной реальности как «необъективные», а значит, в рамках господствующей картины мира — неистинные. Наиболее отчетливо подобная установка прослеживается применительно к самой субъективно нагруженной области — области человеческих отношений. Изучение общества осуществляется в парадигме математики как наиболее строгой науки (Гоббс, Лейбниц) или физики как идеального мира объективной предметности (Галилей, Ньютон).

В мире физическом все подчиняется фундаментальному закону — инерции. Аналог инерции мыслители Нового времени видели в «интересе» (Спиноза). Но «интересы» всегда разнонаправлены. Отсюда — «война всех против всех». Будучи не в состоянии проникнуть в помыслы другого, человек вынужден выстраивать свое поведение с учетом его возможной враждебности, в ожидании «войны». Чтобы сохранить систему, необходимо как-то упорядочить хаотическое движение индивидов, подчинить их некой общей силе. Так, по Гоббсу, возникает Левиафан — государство, которому подчинены индивиды. Индивиды (атомы, элементы) приводятся к искусственному равенству посредством самоотчуждения индивидуальных (естественных) прав и свобод и делегирования их «обществу» в лице имперсонифицированной элиты или правителя. Последний тоже является имперсональным и внеморальным. Иначе говоря, даже там, где по логике вещей должен был появиться человек — хотя бы в виде ницшеанского Сверхчеловека, — он сразу же лишается всех человеческих качеств, становится социальной функцией¹. Исключение субъективного измерения выступает здесь формой сакрализации государства, основанного на разуме. Сам же разум осмысливается как единый и единственный источник понимания².

Этот единый источник понимания и позволял политически ориентированным мыслителям «отвлечься» от разнообразия социальных явлений и воссоздать «портрет» вполне гомогенной реальности. Субъ-

¹ Макиавелли Н. *Государь*. М., 1990.

² Гречко П. К. *Концептуальные модели истории*. М., 1995.

ект, носитель разума трактуется как личность лишь в меру его подчиненности разумному государству, возможности сведения к общему основанию. Так рождается существенная, сохранявшаяся до середины XX в. (естественно, со значительными изменениями) оппозиция: «индивид/личность». Индивид — все ущербное в человеке, нуждающееся в исправлении. Личность (индивид, подвергшийся «рациональной огранке») — обращенность к обществу, разуму и мировой гармонии. Поэтому-то социальные мыслители Нового времени и уделяют так много внимания изучению механизмов социализации индивидов в рамках конкретных социально-политических систем, которые воспринимаются в качестве единственно возможных. Возникла концепция Просвещения, в различных своих версиях дошедшая до наших дней. Именно в эту эпоху «завязывается» несколько предельно важных для нашего анализа «проблемных узлов».

В оппозиции «индивид/личность» предметом осмысления становилась только «личность». «Индивид» же отождествлялся с «животной составляющей» человека и, соответственно, в рамках просветительской философии не рассматривался. То, что движет человеком в его повседневной жизни, не представляло философского интереса, не имело философских средств фиксации. Не случайно в эпоху Просвещения обращение к «добродетельному» (личности) нередко происходило в рамках собственно философского дискурса. Когда же речь шла об «обличении порока» в том или ином виде, философский дискурс зачастую сменялся художественным («Монахиня» Д. Дидро и т. п.). И поскольку личностью, носителем разума был социализированный, то есть включенный в государство индивид, именно оно и приобрело статус высшей ценности. Все направленное на его разрушение или десакрализацию стало наделяться крайне негативными значениями. *«Распря»*, *«вражда»*, *«смута»*, *«мятеж»* превратились в главных врагов общества, как и те, кто объявлялся мятежником или заговорщиком. Борьба против государства оказалась семантически невозможной. Можно было бороться лишь с отдельными представителями этого государства, «извращавшими» его истинный, несомненно благой смысл. Весьма показательна в этом плане прокламация «кроканов»: «Мы призываем вас вооружиться, присоединиться к нам и восстать вместе с нами против пагубных намерений врагов короля, нашего государя...»¹. В таком смысловом пространстве понятие «революция» просто не могло быть актуальным. Однако в самой просвещенческой традиции существовала тенденция, прокладываявшая будущей метафоре путь из научной сферы в сферу актуальной политики.

¹ *Хрестоматия по истории средних веков*. М., 1950. С. 117.

Этой особенностью, тенденцией просветительской философии являлась ее проектность. Для превращения индивида в личность, а «войны всех против всех» — в «гражданское общество» нужен был некий идеал, целевая установка развития. Наличие такого идеала давало философам — Дидро, Ламетри и далее, вплоть до К. Маркса — возможность осмыслить любое событие в социальном мире как закономерный и целесообразный процесс приближения к будущему идеальному состоянию. На смену циклу, вечному возвращению на круги своя приходит постоянное изменение, движение к идеалу. При этом, однако, разрушения прошлого порядка не предполагалось. Механически трактуемый мир, в т. ч. мир политический, статичен. Его можно лишь улучшать (ликвидировать недостатки механизма), но не разрушать во имя чего-либо. В противном случае гоббсовская «война всех против всех» поглотит человеческое общество, отринувшее «земного бога» — государство. В «Письмах об эстетическом воспитании» Ф. Шиллер описывает эту ситуацию как противоречие между «физическим и моральным человеком»¹. Для того чтобы возник моральный человек, необходимо «остановить» государство, созданное человеком физическим в целях самосохранения. Но смерть физического человека есть смерть человека вообще, и никакой моралью этого не исправить. Поэтому становление «морального человека» переносилось из социально-политической сферы в сферу эстетики.

Чтобы смысловой комплекс «революция» смог выйти на политическую авансцену, «проектная установка» должна была соединиться с иной, биологической картиной мира.

* * *

В XVII–XVIII вв. на смену механистической метафорике пришла организмическая. Базовая метафора «мир — это механизм» имела вполне определенную систему следствий: неизменность, детерминированность, тварность и так далее. Метафора «мир — это организм» трансформировала систему базовых представлений. Мир меняется. Любая структура, в т. ч. государство, проходит «естественный цикл» развития: рождение — становление — старение — смерть. Революция восстанавливает семантику амбивалентной смерти, смерти-возрождения. Отжившая структура уступает место другой, более совершенной.

Соответственно меняется и семантика смыслового комплекса, связанного с термином «*revolūtio*». Из семантического гнезда «возвращение», «переворот» это понятие перемещается в гнездо «развитие», как смена одного общественного организма другим. Смысловой комплекс концепта

¹ Шиллер Ф. *Работы по эстетике*. М. -Л., 1937.

смыкается с идеей «отмены прошлого порядка». В рамках семантического гнезда «развитие» возникает еще одна смысловая коннотация: новый порядок ближе к идеалу, чем отмененный. «Революция» начинает трактоваться как *политическое противодействие существующей форме правления*. Само покушение на существующую форму правления, даже если она несправедлива, по-прежнему наделялось негативным смыслом. Для легитимации политического противостояния государству требовалось понятие, которое содержало бы в себе идею борьбы за более справедливое мироустройство, но нивелировало бы негативные коннотации таковой. Этим понятием и становится «революция».

Как и вращение небесных тел, замена «старого» общественного организма «молодым» объективна и неизбежна, а значит — объективна и неизбежна и революция. «Безграничная власть государя, — пишет Ш. Монтескье, — переходит здесь целиком к тем, кому он ее поручает. Люди с большим самоуважением могли бы затевать в таком государстве *революции*, поэтому надо задавить страхом всякое мужество в людях и погасить в них малейшую искру честолюбия»¹. Понятие «революция» тут не только сопоставляется с семантическим рядом «*вражда*», «*заговор*», «*гражданская война*» и т. д., но и противопоставляется ему. Данные концепты, точнее, связанные с ними действия и система именования лишаются негативных коннотаций в новом семантическом гнезде «революция».

Причины подобного сдвига вполне очевидны. Проект Нового времени был связан с идеями стабильности, успокоенности, порядка. Соответственно, заговор, бунт, мятеж, не говоря уже о гражданской войне, не могли обладать позитивной семантикой. Они есть то, что разрушает порядок. Однако реалии политического процесса — революции в Англии, война за независимость североамериканских колоний, назревавшая Французская революция — породили потребность в поиске иного именования, не отягощенного негативным смыслом. Если участники всех этих событий — бунтовщики, то они заслуживают сурового наказания. Следовательно, необходимо другое название, другое имя, предполагающее иную реакцию на такие действия.

Концепты «вражда», «заговор», «бунт» и так далее. влияют на семантику понятия «революция», но не определяют ее. «Противовесом» им служат «естественные права», любовь к Родине, свободе и так далее. Возникает раздвоение политического времени. До тех пор пока ценности политического порядка являются не только определяющими, но и «моими», длится линейное время повседневности. Политика, как показал А.

¹ Монтескье Ш. *Избранные произведения*. М., 1955. С. 171.

Ф. Филиппов, выступает здесь в качестве трансценденции, позволяющей существовать имманентной реальности¹. Но сама трансценденция может лишиться легитимности, обесмыслив тем самым имманентную реальность. Тогда и наступает время революционного карнавала, к которому не приложимы прежние стандарты. Описанный выше негативный ряд приобретает наивысший статус, сам становится трансценденцией, перед ликом которой должна «оправдаться» политическая реальность. Эта новая — площадная — реальность сообщает политике право на существование, создавая собственную, отличную от повседневной, публичность. Если традиционная публичность — это публичность общественных зданий, залов и т. п., то революционная — площади и улицы. Символом Великой французской революции стало взятие Бастилии — площадной акт, некарнавальным смыслом которого довольно сомнителен. Более того, Октябрьская революция в России, мифология которой сложилась к началу 1920-х годов, чтобы превратиться из «переворота» в «революцию», создает свое площадное действо — взятие Зимнего дворца.

Таким образом, в этот период в структуру термина, наряду с «отменной» прошлого порядка и продвижением по пути развития, вносится еще ряд смыслов. Во-первых, революция — это вооруженное противостояние (*«гражданская война»*), связанное с всеобщим недовольством нелегитимным порядком (*«смута»*, *«возмущение»*), которое направляет некая группа революционеров (*«заговор»*). Во-вторых, она есть особое публичное пространство, пространство площади. И наконец, это *победоносный акт, ведущий к замене тирании свободным обществом граждан*. В ходе революционного карнавала прежние политические ценности уступают место новым, более справедливым и человечным. Вспомним Дж. Харингтона: «Мятеж не может кончиться удачей — в противном случае его зовут иначе». «Прежний» порядок изначально объявляется «тираническим» просто потому, что против него сражается революция. «Революция, — провозглашает М. Робеспьер, — это война свободы против ее врагов...»². Эта победоносность революции и ее априорная справедливость снимают негативные коннотации «частных понятий» типа заговора или смуты.

* * *

Описанный «смысловой блок», сформировавшийся в конце XVIII — начале XIX в., благополучно просуществовал вплоть до первой трети XX столетия. Однако пространство его бытования заметно изменилось,

¹ Филиппов А. Ф. *Политическая социология. Фундаментальные проблемы и основные понятия* // <http://rs.msses.ru/rs/Fpols.htm>

² Робеспьер М. *Избранные произведения*. Т. 3. М., 1965. С. 97.

точнее, раздвоилось. Из актуальной политики концепт «революция» был перенесен в научно-философскую сферу. Совместившись с гегелевским «скачком», «революция» приобрела черты философского термина, распространяющегося на живую и неживую природу, человеческое общество и сознание¹. В «Манифесте коммунистической партии» и более поздних трудах теоретиков марксизма, вплоть до «Государства и революции» В. И. Ленина, термин постепенно «объективировался». Социальная революция все чаще толковалась как частный случай «революции вообще», приобретая тем самым свойства безусловного «природного» процесса. В этой своей трактовке концепт превратился в неотъемлемую составляющую интеллектуальной жизни Европы XIX–XX столетий.

Однако «научная часть» не смогла вместить в себя все содержание концепта. Наряду со строгим научным термином — социально-политической версией гегелевского скачка, сохранялся и политический жупел, тот самый «призрак», которого старались выгнать из Европы. Нюансировка заключалась лишь в том, что в ряде случаев «война» объявлялась необязательным атрибутом революции. Тому способствовали два обстоятельства: память о «красном терроре» и достижения естественных наук, где «революции» совершались «объективно», вне зависимости от чаяний тех или иных социальных групп. В результате революционный акт, сохраняя смысл обновления, практически утрачивал элемент карнавальности.

Эти два «образа революции» одухотворили два наиболее значимых социально-политических движения XIX–XX вв.: реформаторское и революционное. Первое («либеральный проект») определило развитие Западной Европы и США. Второе, связанное с марксистским, а затем ленинским учением о пролетарской революции, — путь Восточной Европы. В рамках первой традиции основным атрибутом понятия-субстанции «революция» выступал ее агрессивный, наступательный характер. Соответственно, истинными, «славными» революциями считались те, что совершаются без крови, открывая путь к новым вершинам справедливости (научно-техническая революция, информационная революция и т. д.), а собственно социальная революция предстала их следствием. Вторая традиция распространяла метафору революции на любое движение субдоминантных классов общества, направленное на насильственную смену политического порядка. В данном случае в разряд «революций» попадали «буржуазная», «пролетарская», «национально-освободительная» и т. п. революции. Любое «народное движение», приведшее к смене режима, осмыслялось как проявление революции. Общей здесь оставалась

¹ Весьма характерным в данном отношении является название книги Р. Оуэна. См.: Оуэн Р. *Революция в сознании и деятельности человеческого рода, или Грядущий переход от неразумия к разумности*. М., 1950.

лишь «философская часть»: революция есть качественное изменение социального порядка ради счастья и справедливости большинства. Перенесение данного концепта в сферу практических действий или управленческих решений понималось не более чем метафорически. Вспомним в гайдаровском «Бумбараше» Яшку, который «кинул бомбу и сделал революцию». В этом смысле неревolucionеров в Европе начала XX в. просто не было. Спор велся о направлении и характере революции, но не о том, быть ей или нет. С ее неизбежностью соглашались все. Не случайно Октябрьской революции пришлось доказывать, что произошедшее в Петрограде 25 октября 1917 г. было именно революцией.

Революция в России резко усилила эмоциональную составляющую концепта. Сохраняя свойства научного термина (объективность, полноту и т. д.), он активно «работал» в сфере актуальной политики, делая любое революционное политическое решение «научно обоснованным». Одной из важнейших для него в тот период была «оправдательная», легитимирующая функция. С помощью метафорического сопоставления («по закону революции», «революционный террор», «руководствуясь революционным сознанием» и т. д.) получали легитимность любые действия в отношении политических оппонентов. Сакрализация термина «революция» через общественно-культурный дискурс, литературу и искусство позволила сакрализовать и «революционное насилие». Именно оно и становится определяющим элементом семантики революции. При этом такое насилие предстает оправданным научно и философски, что в рамках позитивистского дискурса XIX–XX столетий означает — оправданным вообще. Оно оправдано логикой грядущей «мировой революции» и теми благами, которые та сулит. Но в 1930-е годы происходит новый метафорический перенос. Сакральный концепт переносится на государство. Ключевое понятие 1920-х годов «победившая революция» к началу 1930-х трансформируется в «страну победившей революции». Сакральным оказывается сам Советский Союз — «оплот революционных (прогрессивных) сил». Тем самым, через «революционную сакральность», легитимируется все, что отвечает интересам «колыбели революции». Но, определив себя как государство (пусть и сакральное) среди государств, Советский Союз вступает на путь десакрализации. Сложившийся там политический режим тоже может (и должен) пройти через стадии возникновения, развития, старения и смерти. А значит, против него (и ему подобных) возможна революция.

Крушение фашистских режимов на Пиренейском полуострове в 1970-е годы актуализировало эту новую семантику термина, вновь превращая его в метафору. Революция есть не только переход от старого (прогнившего, исчерпавшего себя и т. д.) режима к лучшему. Общество может «вернуться» к прежнему, нормальному состоянию. События в

Венгрии, Польше, «бархатная революция» в Чехословакии привели к еще большему «осложнению» концепта и расширению объема метафоры, «вспоминавшей» свои все более древние смысловые пласты. В силу того, что адептами советского режима «победивший социализм» осмыслялся как революционный, порожденный революцией, процессы в странах «народной демократии» объявлялись контрреволюционными. Однако «смысловой блок» предполагал, что революционные события должны быть направлены на изменение политического строя. Революция, с точки зрения здравого смысла, не могла осуществляться с помощью полицейских частей и воинских контингентов иностранного государства. Следовательно, революциями были политические движения в Восточной Европе, а советский режим выступал в данном случае в качестве контрреволюционного, «тиранического». Он воспринимался как некий аналог франкистского режима, который тоже может быть мирно смещен.

Правда, кроме термина «революция» в рамках политологического и политического дискурса использовались и иные — «третья волна демократии», «транзит», что придавало новый смысл самой «революционной метафоре». Это *другие* революции. Они исключают кровавые столкновения (отсюда их нарочито мирные предикаты), точнее, не предполагают их. Последние возникают, если «революция» протекает «не так» (например, кровавое свержение режима Чаушеску). «Новые» революции в соответствии с исходным смыслом метафоры возвращают общество к «нормальному», демократическому режиму. «Традиционный» путь революций, связанный с насилием и кровавой борьбой («красные бригады», Че Гевара и т. д.), начинает обозначаться другим термином — терроризм (иногда с эпитетом «государственный»).

Эта двойственность отчетливо проявилась в ходе распада советской системы в 1980-е — 1990-е годы. Можно выделить два варианта развертывания метафоры:

1. Советская власть порождена революцией. Борьба с советской властью есть контрреволюция. Мы хотим уничтожить несправедливую советскую власть. Значит, мы — контрреволюционеры.
2. Советский политический режим несправедлив. Его свержение есть революция. Мы хотим уничтожить несправедливую советскую власть. Значит, мы — революционеры.

В соответствии с этой логикой определяли себя не только противники советского режима, но и его приверженцы. «Борцы за идеалы революции» (КПСС, КПРФ) стремились сохранить советский строй как «наследие революции»; государственники-контрреволюционеры — просто как легитимную форму государства. Однако усилия и тех и других оказались напрасными. Демократические институты в России были приняты, Советский Союз распался. «Революция» (или контрреволюция) сверши-

лась и... не свершилась. Имел место некий переход («транзит»), но он не сопровождался символическим «переутверждением ценностей», революционным карнавалом. Абсолютного события (амбивалентной смерти старого / рождения нового) не произошло.

* * *

Российский «транзит» завершился ничем. В результате «политической революции» на постсоветском пространстве возникли режимы, столь же мало похожие на «демократию», как и на прежнюю «Советскую империю», и одновременно символически продолжающие прошлое. Именно в этом истоки проблем с пониманием «новых режимов». На сегодняшний день мы едва ли найдем адекватную объяснительную модель того, что происходит в России, как в рамках классической политологии, так и в рамках реформированного научного коммунизма.

Казалось бы, мировая политологическая и политико-философская мысль выработала инструментарий для анализа самых разных политических режимов — от монархии до автократии и тоталитаризма. Если не работает инструментарий, предназначенный для исследования демократических или «транзитных» (переходных) режимов, нужно просто обратиться к другому. Этот путь, безусловно, был бы крайне продуктивным, если бы не одно «но». «Чистый» авторитаризм, тоталитаризм, олигархию или что-то в этом роде в России тоже сложно обнаружить. Демократическая риторика в стране не просто сохраняется, но становится все более радикальной (см. выступления президента РФ). Демократические выборы проводятся на всех уровнях, начиная с поселкового и заканчивая общегосударственным. Политические партии активно участвуют в электоральной борьбе. Указы и законы проходят экспертизу на соответствие Конституции. Существует даже оппозиция. Вместе с тем констатация «демократического отката», «завершения демократического транзита» становится общим местом в политологических и политико-публицистических работах. Символически «призрак» Страны Советов продолжает жить на постсоветских просторах. Возникает своеобразное раздвоение политического сознания и политического языка. Мы понимаем, что демократические институты в России работают как-то не так, но в чем именно заключается это «не так», уловить не можем. Соответственно, не можем и подобрать инструмент для анализа политической реальности. Точнее, наш анализ превращается в фиксацию отклонений политического пространства России и постсоветских стран от «эталонного» для демократии. Политология описывает не то, что сложилось в российской политике, а то, что не сложилось.

Корень проблемы кроется в особенностях «введения» демократических институтов в России и их особой функции в российской политике.

Нам уже приходилось писать о том, что легитимность советского типа предполагала соответствие принципов власти «объективному порядку вещей», как он мыслился большинством граждан, то есть носила «онтологический» характер» и фактически воспроизводила ту, что действовала в Российской империи. Такая трансцендентальная легитимация, находящаяся за пределами жизненного опыта гражданского коллектива и вне его контроля, делает власть тотальной и абсолютной. Ее основания и принципы не могут быть предметом обсуждения и переговоров, а значит не являются демократическими. Дистанцированная от общества власть представляет собой «объективные условия», в которых должен жить и действовать социальный субъект¹. В рамках такой парадигмы и сложились основные политические практики в России.

Кризис легитимности власти советского типа поставил на повестку дня вопрос о новом «объективном порядке», воплощающем в себе «истину». В качестве носителя такого порядка выступило «мировое сообщество», «цивилизованные страны». Эта новая трансценденция и легла в основу легитимации режима Б. Н. Ельцина. Поскольку прежний «порядок» оказался дискредитирован, на легитимность могла претендовать лишь та власть, которая соответствовала «порядку новому». Она обрела легитимность в качестве проводника некоммунистических ценностей рынка и либерализма. И первое, и второе воспринималось населением *метафорически*, как возможность «наполнить прилавки» и избавиться от тотального контроля (но не от государственного патернализма). Именно на эти ценности был перенесен сакрально-революционный смысл. Не случайно «Ельцин на баррикадах» под трехцветным флагом на долгие годы стал символом легитимности режима.

Таким образом, принятие демократии в России было попыткой подвести новые основания под власть прежнего типа. Однако концепт «демократия» наложился здесь на довольно специфическое смысловое пространство, которое символически не было завершено. Поэтому он оказался нагружен совершенно иным содержанием, связан с иной системой практик. Более того, сами эти практики противоречили легитимирующим процедурам. Но смысл «материнской культуры», заключенный в концепте «демократия»², полностью не исчез. Он превратился в «маску», необходимую для того, чтобы власть обрела легитимность в глазах «мирового сообщества» и собственного населения. В результате концепт стал «трехслойным»:

¹ Подробнее см.: Бляхер Л. Е., Огурцова Т. Л. *Приключения легитимности власти в России, или Воссоздание презумпции виновности* // Полис. № 3. 2006. С. 54.

² Сергеев В. М. *Демократия как переговорный процесс*. М., 1999.

– демократия для внешнего пользования. В данном случае заимствовался «демократический» дискурс, но не связанная с ним метафорика. Такая «демократия» предполагала не столько либерализм, рынок, разделение властей и т. д., сколько систему формальных процедур и имен;

– демократия для внутреннего потребления. Население ждало демократической, но патерналистски ориентированной власти, которая ликвидирует тотальный дефицит, «накормит страну»;

– демократия как механизм самосохранения Русской Власти. Здесь «демократия» представляла в качестве новой иерархии, которую необходимо «заполнить» проверенными людьми.

Ситуация осложнялась тем, что ни один из выделенных слоев не существовал сам по себе. Слои соединялись, переплетались, создавая новые смысловые коннотации и властные практики¹. Эти практики уже не могли быть реализованы в каком-то одном слое. Они предполагали или, по крайней мере, учитывали наличие всех трех и в то же время в каждом из них оказывались не вполне легитимными. Сам факт присутствия других слоев делал политическое действие, в каком бы слое оно не производилось, «неформальным». Так, для того чтобы власть не утратила легитимность, то есть соответствие «объективному» порядку вещей, требовались свободные выборы с международными наблюдателями, публичной политической борьбой и т. п. Но чтобы сохранилась сама власть, сами властные практики, результаты выборов должны были быть предсказуемыми. Одновременно необходимо было оправдать надежды населения на «благополучную и сытую жизнь», обеспеченную этой властью. Несоблюдение любого из названных условий могло деструктурировать систему, возникшую в результате сложения несовместимых оснований.

К началу XXI в. эти основания удалось привести пусть в шаткое, но равновесие. После разгрома ЮКОСа «отпущенный» в начале 1990-х годов «на свободу» бизнес ускоренными темпами возвращается под крыло государства. Протогосударственные криминальные образования («силовые предприниматели») или уничтожены, или интегрировались в государственную систему. Иерархия выстроена даже жестче, чем в феодальном государстве. «Вассал моего вассала» — губернаторский корпус — присягнул на верность. Немыслимые еще 10 лет назад цены на энергетическое сырье позволяют активно «подкармливать» основную массу населения.

О том, что такая система неустойчива, свидетельствует реакция населения на любые попытки реформ (нарушения равновесия). В этих условиях неизбежно возникает потребность в «охранительной держав-

¹ Бляхер Л. Е. *Презумпция виновности, или метаморфозы демократических институтов в России: очерк политической культуры* // Pro et contra. № 4. 2002.

ной риторике». Реальная («неуправляемая») демократия или наличие независимых акторов в бизнесе разрушили бы утвердившиеся властные практики. Охранительная риторика, связанная с концептом «*порядок*», дает возможность не только дистанцироваться от демократической Европы, но и представить любого несогласного с режимом непатриотом, изменником. В результате реанимируется классическая оппозиция XVII столетия. «Порядок» (несомненное благо) противопоставляется «смуте», «бунту», «разрухе» и так далее. В 1990-е годы порядка не было, ибо была смута. Сейчас он есть, и его нужно охранять.

Сходная ситуация, но с меньшей возможностью «делиться» с населением и дистанцироваться от внешнего окружения, сложилась у ближайших западных соседей России. Но там в начале было слово — слово «*революция*». И поскольку державная риторика в значительной степени воспроизводила положения, восходящие к «Левиафану» Гоббса, вполне естественно возник и контрдискурс, связанный с понятием «революция». Он сразу же изменил позиционирование сторон. «Патриоты»-охранители предстали сторонниками «прогнившего» режима. Жесткая связка «страна — народ — государство» оказалась разрушена. Можно быть поборником интересов страны и народа, но противником государства. Более того, именно эта позиция является «демократической», т. е. легитимной с точки зрения нового источника легитимации («власти от...»). Подобная постановка вопроса чревата тотальным и немедленным крушением нынешней системы. Совершенно не очевидно, что новая будет лучше, но прежняя в этих условиях существовать не может. Если государство — это не страна и тем более не народ, то приверженцы государства могут оказаться врагами двух других элементов триады, а следовательно, в соответствии с принципом «народного суверенитета», их можно (легитимно) сменить. Власть теряет абсолютный характер и, тем самым, перестает быть Русской Властью, трансцендентной по отношению к обществу.

Поэтому именно российское политическое пространство столь отчетливо поляризовалось по отношению к концепту «революция». Если на Украине и в Грузии произошли революции, значит, существовавший там порядок был плох. А раз в России он практически такой же, то его тоже можно объявить плохим. Мало того, поскольку это революция, то при совпадении условий («верхи не могут..., низы не хотят...») она может произойти и в России. Отсюда следует, что нужно изучать условия, обсуждать власть. Но власть трансцендентна и необсуждаема, ибо это противоречит ее природе. В таком случае... произошедшее было не революцией. Это был заговор, и заговор против России. Подобная логика позволяет решить три важные смысловые задачи:

1. Поскольку имел место заговор, ни о каких «объективных условиях» революции говорить не приходится. И то, что случилось в этих странах, никак не экстраполируется на Россию.

2. Поскольку речь идет о заговоре, с заговорщиками необходимо бороться, чтобы они не проникли в наше «государство-страну-народ». Нужно сплотиться вокруг государства, так как иначе будет заговор, а за ним и «смута». Рухнет «порядок» (несомненное благо).

3. Поскольку это был заговор против России, то само мировое общество «изменило» нашей стране, «предало» ее. А от предателей и изменников можно и нужно дистанцироваться.

Отстаивая вариант заговора, адепты существующего порядка вместе с тем признают сам смысл революционной метафоры, говоря о «неоконсервативной революции»¹. В результате инициатива оказывается именно у сторонников революции. Но у проблемы есть и другая сторона. Охранительная идеология стремится реализовать себя в рамках семантики концепта «демократия» и потому неизбежно проигрывает. Либо власть остается Русской, и тогда она «плохая демократия», которую демократическая революция должна сделать «хорошей». Либо она становится «демократической»... и утрачивает контроль над обществом, порождая «плохое государство», которое тоже желательно поменять — опять же с помощью революции. Альтернативного образа будущего вне концепта демократии или системы реваншистских лозунгов пока не выдвинуто. То, что возможна «недемократическая» публичность, не демократическое, но вполне эффективное и устраивающее большинство населения государство, эмпирически достаточно очевидно. Примеров тому множество: от франкистской Испании и Чили эпохи Пиночета до современного Китая и Индии с весьма сомнительной демократией. Однако на сегодняшний день ни в рамках глобального, ни в рамках локально-национального проекта не появилось новой метафоры, способной героизировать и сделать притягательным недемократический тренд.

¹ Ледин М. *Революция. Свобода — наше главное оружие против тирании* // <http://www.novopol.ru/translation1768.html>

ФИЛОСОФИЯ РЕВОЛЮЦИИ

ХАННА АРЕНДТ

ОСНОВАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ: СВОБОДА¹

1. То, что существовали люди в Старом Свете, мечтавшие о публичной свободе, как и то, что были люди в Новом Свете, вкушившие публичного счастья, — таковы в конечном счете причины, породившие движение за реставрацию древних прав и свобод, вылившееся в революцию по обе стороны Атлантики. И как бы далеко в успехах и поражениях не развили их события и обстоятельства, американцы все же согласились бы с Робеспьером, что высшая цель революции — установление свободы. А задача революционного правительства — установление республики. Или, возможно, все обстояло как раз наоборот — это Робеспьер испытал влияние со стороны Американской революции, когда формулировал свои знаменитые «Принципы Революционного Правительства». Ибо в Америке за вооруженным восстанием колоний и Декларацией независимости последовал спонтанный процесс принятия конституции во всех тринадцати колониях — словно, по словам Джона Адамса, «тринадцать часов пробили как одни», — так что не было никакого разрыва, пробела, даже времени перевести дух между войной за освобождение и независимость, бывшей условием свободы, и трансформацией колоний в заново образованные штаты. И тогда как верно, что «первый акт великой драмы», «американская война за независимость», был сыгран куда быстрее, чем Американская революция², столь же верно, что эти две совершенно различные стадии революционного процесса — освобождение и новое

¹ Перевод сделан по: Arendt H. *On Revolution*. N.-Y., 1965. (Перевод Игоря Косича).

² Ничто, как кажется, не наносит большего вреда пониманию революции, чем распространённый предрассудок, будто революционный процесс завершается с достижением освобождения, когда смута и насилие, присущие всем войнам за независимость, прекращаются. Взгляд этот не нов. В 1787-м Бенджамин Раш сетовал, что «ничто более не распространено, как смешение термина *Американская революция* с термином *Американская война*. Американская война завершена, чего не скажешь об *Американской революции*. Она только начинается, сыгран лишь первый акт драмы. Ещё остаётся установить и усовершенствовать наши новые формы правления». Подробнее см.: Niles. *Principles and Acts of the Revolution*. Baltimore. 1. 1822. P. 402. Мы можем прибавить, что и по сей день ничто более не распространено, чем смешение мук освобождения с основанием свободы.

основание — начались почти в один и тот же момент и продолжали идти параллельно друг с другом на протяжении всех лет войны.

Значение подобного направления развития вряд ли можно переоценить. Чудо (если это действительно было чудо), спасшее Американскую революцию, состояло не в том, что колонии оказались достаточно сильны и могущественны, чтобы выиграть войну против Англии, но в том, что эта победа не завершилась появлением «множества отдельных государств, преступлений и бедствий <...>»; пока, наконец, истощенные провинции не оказались бы в рабстве под ярмом какого-нибудь удачного завоевателя»¹, как того вполне обоснованно опасался Джон Дикинсон. Таков, действительно, был общий удел восстаний, за которыми не следовала революция, и тем, самым, общий удел большинства так называемых революций. Однако если принять во внимание, что целью восстания выступает освобождение, тогда как революции — основание свободы, то тогда представители политической науки, по крайней мере, будут знать, как избежать западни историка, который предпочитает выпячивать первую насильственную стадию восстания и освобождения, борьбу против тирании в ущерб второй более спокойной стадии конституционных собраний. Это происходит потому, что все драматические моменты истории кажутся ему содержащимися в этой первой стадии и, возможно, также потому, что смута, которой сопровождается освобождение, столь часто ставила препоны революции. Куда опаснее этого пристрастия историка к драматизации теория, согласно которой конституция и конституционная лихорадка не только не выражают подлинно революционный дух страны, но и на деле обязаны силам реакции и либо ставят крест на революции, либо препятствуют ее полному развитию. В соответствии с этой теорией Конституция Соединенных Штатов, истинная кульминация всего революционного процесса, весьма часто оценивается как результат контрреволюции. В основе этого недоразумения лежит неспособность провести различие между освобождением и свободой; нет ничего более бессмысленного, чем восстание и освобождение, не сопровождающиеся конституцией заново завоеванной свободы. Ибо «ни мораль, ни богатство, ни дисциплина армии, ни все это вместе взятое не может обойтись без конституции» (Джон Адамс).

Однако даже если удержаться от соблазна поставить знак равенства между революцией и борьбой за освобождение, остается дополнительная и в данной связи более серьезная проблема: в форме или в содер-

¹ Опасения эти были изложены Дикинсоном ещё в 1765-м в письме Уильяму Питту, в котором автор в то же время выразил уверенность в том, что колонии выиграют войну против Англии. См.: Morgan E. S. *The Birth of the Republic*. 1763–1789. Chicago, 1956. P. 136.

жании новых революционных конституций было очень мало такого, что было бы просто новым, не говоря уже о революционном. Идея конституционного правления, конечно, никоим образом не является революционной ни по своему содержанию, ни по происхождению; она означает ни больше, ни меньше, чем правление, ограниченное законом, и защиту гражданских прав посредством конституционных гарантий, как те определялись различными биллями о правах, инкорпорированными в новые конституции и зачастую рассматриваемыми как самая важная их часть. Однако эти билли никогда не предназначались для того, чтобы очертить завоеванную народом в революции власть, напротив, они полагались необходимыми, чтобы оградить от злоупотреблений властью любое, даже вновь основанное правление. Билль о правах, как заметил Джефферсон, был тем, «на что народ имеет право <действовать> против любого правительства, будь оно центральным или местным, и что ни одно справедливое правление не должно отрицать или оставлять без внимания»¹.

Другими словами, в то время и по сей день конституционное правление остается ограниченным правлением в том смысле, в каком XVIII век говорил об «ограниченной монархии», как монархии, ограниченной в своей власти посредством законов. Гражданские права так же, как и частное благополучие, гарантировались ограниченным правлением вне зависимости от его конкретной формы. Только тирания, оцениваемая в политической теории как «неправильная» форма правления, ставит себя над конституцией, то есть основанной на законе власти. Однако все права, гарантируемые законами правового государства, имеют отрицательный характер, и это касается также и права представительства с целью налогообложения, в конечном счете, ставшего всеобщим избирательным правом. Они представляют собой в действительности «не власти как таковые, но лишь гарантии от злоупотреблений властью»²; в них еще не содержится никаких притязаний на участие в делах государства, а только права на защиту от него. В данном отношении не столь важно, будем ли мы выводить идею подобного конституционного государства из

¹ Из письма Джеймсу Мэдисону от 20 декабря 1787.

² Редко признаётся, но не теряет от этого важности та истина, на которую указывал Вудро Вильсон, а именно, что «власть есть вещь позитивная, контроль — вещь негативная», и что «называть эти две вещи одним именем значит попросту обеднять язык, заставляя одно и то же слово выступать в различных значениях» См.: Wilson W. *An Old Master and Other Political Essays*. 1893. P. 91. Это смещение способности действовать с правом контроля «органов инициативы» в чём-то близко по своей природе упомянутому ранее смещению освобождения со свободой. Цитата в тексте взята из Джеймса Фенимора Купера См.: Cooper J. F. *The American Democrat*. (1838).

*Magna Charta*¹ и, тем самым, из феодальных прав, привилегий и пактов, заключенных между королевской властью и сословиями королевства, или же, напротив, признаем, что «нигде мы не обнаружим современного конституционализма до момента возникновения эффективного центрального правительства»². Если бы на повестке дня революций стоял лишь вопрос о такого рода конституционализме, то в таком случае дело обстояло бы так, словно революции остались верны своим первоначальным намерениям, когда они еще могли быть восприняты как попытки реставрации «древних» свобод; истина, однако, состоит в том, что дело обстояло как раз наоборот.

Существует и другая, возможно, более веская причина, почему нам так нелегко признать подлинный революционный элемент в конституционном акте. Если ориентироваться не на революции XVIII столетия, а на те восстания и перевороты, которые последовали за ними в XIX и XX веках, то мы окажемся как бы перед альтернативой между «перманентными» революциями, не приведшими к принятию какой-либо конституции, и теми революционными переворотами, в результате которых, в конце концов, возникло некоторое новое «конституционное» правление, гарантирующее больший или меньший объем гражданских прав и заслуживающее (независимо от того, приняло ли оно форму реставрированной монархии или республики), названия ограниченного правления. Революции в России и Китае, где власть предержащие не только признавали факт, но даже гордились тем, что им удается неопределенно долгое время поддерживать революционное правление, явно относятся к первому случаю; ко второму же принадлежат революции, произошедшие почти во всех европейских странах после Первой мировой войны, а также имевшие место во многих колониальных странах, добившихся независимости от европейских правительств после Второй мировой войны. В последних случаях конституции никоим образом не были результатом революции; напротив, они были навязаны после того, как революция потерпела поражение, и воспринимались населением данных стран как знак этого поражения. Обычно они являлись делом рук экспертов, од-

¹ *Magna Charta libertatum* (лат. Великая хартия вольностей) — договор между королём Иоанном Безземельным и баронами, значительно ограничивший королевскую власть. Этот договор предоставил привилегии и свободы составшим английским феодалам, рыцарям и горожанам. Был подписан королём 15 июня 1215 года (прим. ред.).

² Последнее — точка зрения Карла Фридриха см.: Friedrich C. J. *Constitutional Government and democracy*. 1950. О первой, согласно которой, «пункты наших американских конституций представляют [...] простые копии тридцать девятой статьи» *Magna Charta*, см.: Shattuck Ch. E. *The True Meaning of the Term "Liberty" in the Federal and State Constitutions* // Harvard Law Review. 1891.

нако, не в том смысле, в каком Гладстон называл Американскую революцию «самым удивительным произведением, когда-либо созданным разумом и волею человека», но скорее в том, в каком Артур Янг еще в 1792 году отмечал, что французы заимствовали «новое слово», которое «они используют так, как если бы конституция была пудингом, состряпанным по рецепту»¹. Целью этих конституций было запрудить поток революции; если они при этом также служили ограничению власти, то это касалось, в первую, очередь власти народа, проявление которой предшествовало установлению этих конституций, а уже во вторую — власти правительства².

Одна, хотя, возможно, и немаловажная трудность, встающая при обсуждении таких вопросов — чисто вербального плана. Не секрет, что слово «конституция» обладает двумя смыслами, означая как сам акт конституирования, так и основной закон или правило правления, которые «конституированы» этим актом, независимо от того, запечатлены ли они в писанных документах или, как в случае с Британской конституцией, воплощены в институтах, обычаях и прецедентах. Очевидна невозможность называть одним и тем же именем и ждать одинаковых результатов от тех «конституций», которые принимает неревolutionционное правительство там, где народ и его революция оказались не в состоянии конституировать свое собственное правление, и теми другими «конституциями», которые либо, по выражению Гладстона, были «итогом прогрессивной истории» нации, либо явились результатом сознательной попытки всего народа основать новый политический организм. Различение между этими двумя пониманиями наряду с их смешением особенно хорошо заметно в известном определении, данном этому слову Томасом Пейном, в ко-

¹ *Cum. no: McIlwain Ch. H. Constitutionalism, Ancient and Modern. Ithaca, 1940.* Желая исследовать историю вопроса, могут вспомнить судьбу конституции, написанной Локком для Каролины, бывшей, пожалуй, первой подобного рода конституцией, разработанной экспертом и затем предложенной народу. Слова Уильяма Моури: «Она была создана из ничего и вскоре обратилась в ничто» применимы почти ко всем из них. См.: Morey W. C. *The Genesis of a Written Constitution* // American Academy of Politics and Social Science. Annas I. April 1891.

² Лучшим исследованием подобного рода конституционного творчества является работа Карла Лёвенштайна См.: Loewenstein K. *Verfassungsrecht und Verfassungsrealität* // Beiträge zur Staat Soziologie. Tübingen, 1961. Автор рассматривает «поток конституций» после Второй мировой войны, из которых лишь немногие были одобрены народом. Он подчёркивает «глубокое недоверие к народу», прослеживающееся в этих конституциях, которые в руках «сравнительно небольших групп экспертов и специалистов» стали в большинстве своём «средствами для достижения определённой цели», инструментами для «приобретения или сохранения особых привилегий различных групп или классов, интересам которых они служат».

тором он только суммировал и осмыслил то, чему его научил процесс написания и принятия Американской конституции: «Конституция не есть акт правительства, но — народа, конституирующего правительство»¹. Отсюда как во Франции, так и в Америке проистекает потребность в учредительных собраниях и специальных конвентах, единственной задачей которых было подготовить проект конституции; отсюда также возникает необходимость вернуться с этим проектом домой, к народу и обсудить *Articles of Confederacy*², статью за статьей, на городских собраниях, как позднее статьи Конституции — на конгрессах штатов. Ибо дело заключалось вовсе не в том, что местные конгрессы тринадцати штатов не могли надлежащим образом учредить правительство штатов, власть которых была бы должным образом ограничена, но в том, что положение «народ должен наделить правительство конституцией, а не наоборот»³ приобрело значение принципа конституционализма.

Что касается власти и авторитета, то достаточно беглого взгляда на участь конституционных режимов вне пределов англо-американских стран и сферы их влияния, чтобы ощутить огромную разницу между конституцией, навязанной народу правительством, и конституцией, посредством которой народ конституирует свою собственную форму правления. Составленные экспертами и навязанные европейским странам после Первой мировой войны конституции основывались в значитель-

¹ Или в несколько отличном варианте: «Конституция есть вещь предшествующая правлению, и правление — это всего лишь детище конституции». Оба определения содержатся во второй части «Прав Человека» Томаса Пейна.

² *Articles of Confederacy* (англ. Статьи Конфедерации) — название договора между тринадцатью штатами Северной Америки, принятого 1 марта 1781 и действующего в качестве временной конституции страны до 4 марта 1789 года. — Прим. пер.

³ Согласно Моргану: «Большинство штатов позволили своим провинциальным конгрессам выполнить задачу подготовки конституции и введения её в действие. Народ Массачусетса, по-видимому, первым увидел опасность подобной процедуры. [...] Соответственно, был собран специальный конвент в 1780-м и конституция принята народом независимо от правительства. [...] Хотя к тому времени было уже слишком поздно для штатов прибегать к подобной практике, новый метод вскоре был использован при создании правительства Соединённых Штатов» в: Morgan E. S. *The Birth of the Republic. 1763–1789*. Chicago, 1956, P. 91. Даже Форрест Макдоналд, считающий, что легислатуры штатов были «обойдены» и что конвенты, в задачу которых входила ратификация конституций, избирались потому, что «ратификация встретила бы гораздо больше препятствий, если бы Конституции пришлось преодолевать махинации ... легислатур», в примечании смягчает свою позицию: «С точки зрения правовой теории, ратификация конституций легислатурами штатов была бы не более обязательна, чем в случае любых других законов, и могла быть аннулирована последующими легислатурами». См.: McDonald F. *We the People: The Economic Origins of the Constitution*. Chicago, 1958. P. 114.

ной степени на образце Американской конституции, и взятые сами по себе они были сработаны вполне добротнo. Несмотря на это, недоверие, вызываемое ими у народа данных стран, является установленным историческим фактом, как фактом было и то, что пятнадцать лет после низвержения монархического правления на европейском континенте более половины Европы жило при той или иной разновидности диктатуры; что до остальных конституционных режимов, то за весьма характерным исключением Скандинавских стран и Швейцарии, они демонстрировали ту же самую прискорбную утрату власти авторитета и стабильности, что и приснопамятная Третья республика во Франции. Ибо отсутствие власти и сопутствующая утрата авторитета были бичом почти всех европейских стран со времени отмены абсолютных монархий, а четырнадцать конституций Франции между 1789 и 1875 годами привели к тому, что еще до лавины послевоенных конституций в XX веке, само слово «конституция» стало звучать издевательством. Наконец, можно вспомнить, что периоды конституционного правления были прозваны временами «системы» (в Германии после Первой мировой войны и во Франции после Второй) — этим словом народ окрестил такой порядок вещей, при котором коррупция, кумовство, закулисные махинации сделались альфой и омегой политики. Тем самым всякому нормальному человеку было обеспечено право исключить себя из этой «системы», так как она едва ли была достойна, чтобы восставать против нее. Короче говоря, сама по себе конституция — еще не благо, она, как говорил Джон Адамс, «есть стандарт, опора и скрепа, когда ее понимают, одобряют, любят. Однако без этого понимания и привязанности она также может оказаться мыльным пузырем, парящим в воздухе»¹.

К этому различию между конституцией, являющейся актом правительства, и конституцией, посредством которой народ конституирует правительство, следует прибавить еще одно отличие, которое, хотя и тесно с ним связано, в то же время гораздо сложнее для понимания. Если и было что-то общее между создателями конституций XIX и XX веков и их американскими предшественниками в XVIII столетии, то это было недоверие к власти как таковой, и это недоверие в Новом свете было выражено, пожалуй, даже сильнее, нежели в Старом. То, что человек по самой своей природе «не подходит для того, чтобы доверять ему неограниченную власть», что те, кто наделен властью, легко могут обернуться «зверьми, алчущими добычи», что государство необходимо для обуздания человека и его стремления к власти и, тем самым, (как о том писал Мэдисон) является «резвой оценкой человеческой природы», —

¹ *Cum. no:* Haraszti Z. *John Adams and the Prophets of Progress*. Cambridge, 1952. P. 224.

все это в XVIII веке не менее, чем в XIX, считалось общим местом; что же до «отцов-основателей», то эти истины были для них аксиомами. Это недоверие к власти составляет подоплеку биллей о правах наряду с общим убеждением в абсолютной необходимости правового государства, то есть ограниченного законами правления. И все же для развития событий в Америке это соображение не было решающим. Наряду с опасениями основателей насчет чрезмерной власти правительства существовала также глубокая озабоченность относительно тех чрезвычайных опасностей для прав и свобод граждан, которые могут исходить не столько со стороны государства, сколько со стороны общества. Согласно Мэдисону, «огромное значение для республики имеет не только защита общества от угнетения со стороны власть предержащих, но также предохранение одной части общества от несправедливости со стороны другой»; в первую очередь, необходимо оградить «права отдельных лиц или меньшинства <...> от направляемых интересами комбинаций большинства»¹. Именно это и ничто другое оправдывает конституирование публичной, правительственной власти, которая в республике не должна быть легитимирована чисто негативным образом, как конституционно ограниченное правление, хотя европейские эксперты и специалисты в области конституционализма именно в этом усматривали главное достоинство Американской конституции. То, что их восхищало в ней, и, с точки зрения европейской истории, вполне закономерно, это, в действительности, преимущество «мягкого правления», как оно исторически сложилось в Британии, и поскольку все пункты, относящиеся к этой теме, были не только инкорпорированы во все конституции Нового света, но и провозглашены в качестве отчуждаемых прав всех людей, они оказались не в состоянии понять, с одной стороны, огромную, первостепенную важность акта основания республики и, с другой, тот факт, что действительным содержанием Американской конституции было не гарантирование гражданских прав, а установление совершенно новой системы власти.

В этом плане факты, относящиеся к Американской революции, не оставляют никаких сомнений. Не конституционализм, то есть «ограниченное» в своей власти правовое государство, владел помыслами основателей. На этот счет их согласие не требовало ни дискуссий, ни прояснения, и даже в дни, когда недовольство английским королем и Парламентом достигло наивысшего накала, они ни на минуту не забывали, что имеют дело с «ограниченной монархией», а не с обладающим абсолютной властью государем. Задача Декларации независимости на самом деле состояла не в том, как ограничить власть, но в том, как ее устано-

¹ См.: *The Federalist*. № 51.

вить; не как ограничить существующее правительство, но как основать новое. Конституционная лихорадка, охватившая страну после Декларации независимости, предохранила от возникновения вакуума власти, а установление новой власти не могло строиться на том, что всегда было по существу негативом власти — на биллях о правах.

Не в Американской, а во Французской революции Декларация прав человека и гражданина стала играть столь важную роль, и этим правам надлежало не указывать на границы, где кончается власть государства, но, напротив, служить самим фундаментом, на котором должно возводиться любое государство. Помимо того, что декларация «Все люди рождаются равными», исполненная подлинно революционной силы в стране, которая все еще оставалась сословной в своей социальной и политической организации, не имела подобной окраски в Новом свете, существует еще более важное отличие, касающееся абсолютно нового акцента в перечне гражданских прав — отныне эти права торжественно провозглашались правами всех людей, вне зависимости от того, кто они и где живут. Это отличие дало о себе знать, когда американцы, хотя и перестали требовать от Англии обеспечения им «прав англичан», уже более не могли представлять себя как «нацию, в жилах которой течет кровь свободы» (Бёрк); наличия в их среде даже незначительного числа иммигрантов неанглийского и небританского происхождения было достаточно, чтобы напомнить им: «Англичанин ли ты, ирландец, немец или швед <...>, ты имеешь право на все свободы англичан и на свободу, предоставляемую этой конституцией»¹. Провозглашение прав человека означало для американцев только то, что те права, которыми дотоле обладали только англичане, в будущем должны стать правами всех людей², — другими словами, все люди должны жить при конституционном, «ограниченном» правлении. Провозглашение прав человека во Французской революции, наоборот, буквально означало, что каждый человек в силу самого факта рождения становится обладателем определенных неотчуждаемых прав. Последствия этого смещения акцента огромны, причем в сфере практики не менее, нежели в теории. Американская версия на самом деле провозглашает лишь необходимость правового го-

¹ Слова эти принадлежат пенсильванцам, а «Пенсильвания, наиболее космополитическая колония, насчитывала почти столько же выходцев из Англии, сколько лиц всех других национальностей, вместе взятых». См.: Rossiter C. *The First American Revolution*. N.-Y., 1956. P. 20, 228.

² Еще в начале 60-х «Джеймс Оутис предвидел трансформацию в Британской конституции общих прав англичан в “естественные права человека”, рассматривая в то же время эти “естественные права” как “ограничители власти правительства». См.: Carpenter W. S. *The Development of American Political Thought*. Princeton, 1930. P. 29.

сударства для всего человечества; французская версия провозглашала существование прав по своей природе дополитических, тем самым уравнивая права человека *qua*¹ человека с правами гражданина. В этой связи нет нужды останавливаться на противоречиях самой идеи прав человека, обсуждать причины прискорбной неэффективности всех деклараций, прокламаций и перечней прав человека. Основной их недостаток состоит в том, что они не могут не быть меньше нормальных прав, гарантируемых государством своим гражданам, и что к ним обращались как за последним спасением те, кто по тем или иным причинам лишился своих гражданских прав². Нам же следует только избегать рокового заблуждения, подсказанного ходом Французской революции, будто провозглашение прав человека или гарантия гражданских прав могут каким-либо образом стать целью и содержанием революции.

Цель конституций штатов, предваривших Конституцию союза, вне зависимости оттого, были ли они подготовлены провинциальными конгрессами или конституционными ассамблеями (как в случае Массачусетса), заключалась в создании новых центров власти после того, как Декларация независимости отменила авторитет и власть английской короны и английского парламента. Для осуществления задачи создания новой власти основатели и люди революции мобилизовали целый арсенал того, что они сами называли «политической наукой», ибо политическая наука, по их собственным словам, состояла в попытке поиска «форм и комбинаций власти в республиках»³. Хорошо зная о своей неосведомленности в этой области, они обратились к истории. И начали собирать со скрупулезностью, граничащей с педантизмом, все образцы — древние и современные, подлинные и мнимые — республиканских конституций. Однако то, что они пытались здесь обнаружить, не имело никакого отношения к гарантиям гражданских прав — предмету, о котором они знали много больше, чем кто-либо до них, — но состояло исключительно в лучшем понимании природы власти и ее основания. В этом также кроются причины чрезвычайной притягательности Монтескье, роль которого в Американской революции может быть уподоблена влиянию Руссо на Французскую. Действительно, основной темой главной работы Монтескье, изучаемой и цитируемой в качестве авторитета по всем конституционным и политическим вопросам, по крайней мере, за десятилетие до

¹ Как (лат). — *Прим. пер.*

² Об ограниченности, исторической и концептуальной, идеи прав человека см. подробнее в моей работе «Истоки тоталитаризма». Arendt H. *The Origins of Totalitarianism*. N.-Y., 1958. P. 290–302.

³ Слова принадлежат Бенджамину Рашу. *Cum. no: Niles. Principles and Acts of the Revolution*. Baltimore. 1. 1822. P. 402.

революции, была «конституция политической свободы»¹, однако, слово «конституция» в данном контексте утратило все коннотации негатива, ограничения и отрицания власти; оно означало, напротив, что «величественный храм федеральной свободы» должен строиться на фундаменте правильного комбинирования и сочетания власти. Ввиду того, что Монтескье, уникальный в этом отношении среди авторов, у которых основатели черпали свою политическую мудрость, утверждал неразрывность власти и свободы — если использовать понятийный язык, политическая свобода имеет исток не в «я хочу», но в «я могу», политическое пространство должно быть сконструировано и конституировано таким образом, чтобы в нем сочетались власть и свобода — к его имени взывали практически во всех конституционных дебатах². Монтескье подтвердил то, что основатели изучили на опыте колоний, а именно, что свобода есть не что иное, как «естественная способность или власть делать или не делать то, что мы “хотим”». И когда в документах еще колониальных времен мы читаем, что «избранные депутаты должны обладать *властью и свободой* назначения», то мы и сейчас можем ощутить, насколько естественным для тех людей было употреблять эти два слова почти как синонимы³.

Общеизвестно, что ни один вопрос не занимал большего места в этих дебатах, нежели вопрос разделения или баланса властей, так же как не подлежит сомнению, что идея подобного разделения не была открытием одного Монтескье. Сама по себе эта идея, не имеющая ничего общего с механистическим, ньютонианским воззрением на мир (как то не так давно пытались представить) весьма стара; она возникает, по крайней мере, в неявной форме, в традиционных спорах о смешанных формах правления и, тем самым, может быть прослежена уже у Аристотеля

¹ Ни один пассаж из «божественных писаний» «великого Монтескье» не цитировался чаще в этих дебатах, чем его предложение об Англии: «Есть также на свете народ, непосредственным предметом государственного устройства которого является политическая свобода». Об огромном влиянии Монтескье на ход Американской революции см. особенно Spurlin P. M. *Montesquieu in America, 1760–1801*. Baton Rouge. 1940. Chinard G. *The Commonplace Book of Thomas Jefferson*. Baltimore and Paris, 1926.

² Монтескье различает между философской свободой, которая состоит в «проявлении воли» (*Esprit des Lois* XII, 2) и политической свободой, заключающейся в *pouvoir faire ce qui l'on doit vouloir* (ibid. XI, 3) (фр.) «возможности делать то, чего должно хотеть», причём акцент здесь приходится на слово *pouvoir*. Французский язык, в котором одно слово *pouvoir* одновременно означает «власть» и «мочь», «быть в состоянии», как нельзя лучше передаёт взаимосвязь власти и свободы.

³ См.: Rossiter C. *The First American Revolution*. New York, 1956. P. 231, и *The Fundamental Orders of Connecticut of 1639* // Documents of American History. Ed. Commanger. H. S. 5-th edition. N.-Y., 1949.

или, во всяком случае, Полибия, который, возможно, и был первым, кто знал о некоторых достоинствах, присущих системе сдержек и противовесов. Монтескье же, судя по всему, был не в курсе всех предшествующих изысканий в данной области; он ориентировался на то, что, по его мнению, было особенностью английской конституции; вопрос же о том, верно ли он интерпретировал эту конституцию, не представляет сегодня (как, впрочем, не представлял уже и в XVIII в.) особого значения. Монтескье затрагивает природу власти как таковой и столь разительно контрастирует со всеми традиционными представлениями по этому поводу, что это было почти забыто, невзирая на то, что основание республики в Америке было в значительной степени вдохновлено им. Это открытие, заключенное в одном предложении, расшифровывает забытый принцип, лежащий в основе всей структуры разделения властей: только власть сдерживает власть, но должны добавить мы при этом, не разрушая ее, не ставя бессилие на место силы¹. Ибо власть, конечно, может быть

¹ Предложение это из *Esprit des Lois* (XI, 4) звучит следующим образом: «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга». На первый взгляд, Монтескье, подобно остальным, подразумевает здесь, что власть законов должна сдерживать власть людей. Однако это первое впечатление обманчиво, поскольку Монтескье понимает под законами не спущенные сверху заповеди и правила поведения, но, в полном согласии с римской традицией, говорит о них как о *les rapports, qui se trouvent entre [une raison primitive et les differents ktres, et les rapports de ces divers ktres entre eux]* (I, 1) («отношения существующих между ним [первоначальным разумом] и различными существами, и взаимные отношения этих различных существ»). Рус. пер. С. 163). Закон, другими словами, — это то, что связывает человека с Богом, человеческий же закон — человека с его собратьями. (См. также кн. XXVI, где подробно рассматриваются первые абзацы всей работы). Без божественного закона не существовало бы отношения между человеком и Богом, без человеческого закона пространство между людьми обратилось бы в пустую, или, скорее, вообще не было бы никакого промежуточного пространства. Именно в пределах этой области *rapports* или законности и осуществляется власть; отсутствие разделения власти означает отрицание не законности, но свободы. Согласно Монтескье, вполне возможно злоупотреблять властью и в то же время оставаться в рамках закона; причина, почему власть, как и все другие способности человека, должна быть ограничена — *la vertu mme a besoin de limites* («в границах нуждается даже добродетель» (XI, 4) — состоит в природе самой человеческой власти, а не в антагонизме между законом и властью).

Предложенное Монтескье разделение власти, поскольку оно самым непосредственным образом связано с теорией «сдержек и противовесов», часто объяснялось из научного, ньютоновского духа времени. Однако ничто не могло быть более чуждо Монтескье, нежели дух современной ему науки. Можно согласиться, что этот дух присущ Джеймсу Харрингтону с его «балансом собственности» или Гоббсу; без сомнения, эта терминология, заимствованная из естественных наук, уже тогда производила большое впечатление — так, напри-

разрушена насилием; именно это имеет место в тираниях, где насилие одного разрушает силу многих, в результате чего тирании, согласно Монтескье, разрушаются изнутри. Они погибают оттого, что порождают бессилие вместо власти. Однако власть, вопреки нашему ожиданию, не может быть сдержана законами, во всяком случае надежно, поскольку так называемая единоличная власть правителя, ограничиваемая и контролируемая в конституционном правлении, основанном на законах, на самом деле, — не власть, которая имеет место только там, где есть многие, а монополия на насилие. Законом же, с другой стороны, всегда угрожает власть многих, и в конфликте между законом и властью закон редко выходит победителем. Однако даже если допустить, что закон сам по себе в состоянии сдерживать власть — и на этом допущении должны основываться все истинно демократические формы правления, коль скоро они не хотят выродиться в худшую, основанную на крайнем произволе тиранию — ограничение, налагаемое законом на власть, может обернуться упадком ее силы и эффективности. Власть может быть ограничена, сохраняя при этом свою силу, только властью, и тем самым принцип разделения властей не только обеспечивает гарантию против монополизации власти одной частью государственного аппарата, законодательной или исполнительной, но в действительности устанавливает равновесие, делающее возможным генерирование новой власти, которая в тоже время лишена возможности разрастись и расшириться в ущерб всем остальным центрам или источникам власти. Известная мысль Монтескье, что даже добродетель нуждается в ограничении и что избыток разума нежелателен, возникает в его размышлении о природе власти¹; причина этого в том, что добродетель и разум он рассматривает как политические факторы, как силы, а не как простые способности, в результате чего их сохранение и усиление должно отвечать тем же условиям, которые отвечают за сохранение и

мер, Джон Адамс с похвалой отзываясь о доктрине Харрингтона за то, что она «столь же непогрешима в политике, сколь и учение о равновесии сил в механике». И всё же можно предположить, что своим влиянием Монтескье как раз более всего обязан своему чисто политическому, ненаучному языку; во всяком случае, именно в этом ненаучном и немеханистическом духе и под явным влиянием Монтескье Джефферсон утверждал, что «мы боролись за такую форму правления, которая не только должна основываться на принципах свободы (под которыми он понимал принципы ограниченного правления), но при которой правящая власть была бы разделена и уравновешена между несколькими институтами власти, чтобы ни один из них не мог выйти за пределы своих законных полномочий, не встретив эффективного сдерживания и противодействия со стороны остальных». Notes on the State of Virginia. Query XIII. Рус. пер. см.: Джефферсон Т. Автобиография... Л., 1990. С. 197.

¹ *Esprit des Lois* XI, 4 & 6.

усиление власти. Очевидно, что Монтескье требовал их ограничения вовсе не потому, что хотел меньше добродетели и меньше разума.

Это факт, что разделение властей делает государство более сильным, нежели централизация; он часто остается незамеченным, потому что мы представляем разделение властей только в рамках разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Однако главной задачей основателей было установить единство тринадцати «суверенных», легальным образом конституированных республик, не лишив их силы. Ее решением сперва было основание «конфедеративной республики», посредством которой, в соответствии с Монтескье, надеялись примирить преимущество монархии во внешних делах с достоинствами республиканизма — во внутренних¹. Чрезвычайно важно, что в задаче установления новых центров власти в стране посредством создания союза, которая могла быть решена и, в конечном счете, была решена путем принятия Конституции, вопрос о гражданских правах имел значение только в той мере, в какой они могли содействовать гарантии ее сохранения. Главная же цель Конституции заключалась в возведении системы властей, которые бы сдерживали и уравнивали друг друга таким образом, чтобы ни сила союза, ни сила его частей — штатов — не ослабила целого и не подорвала бы одна другую.

Можно только удивляться, с какой тщательностью они следовали этому аспекту учения Монтескье в дни основания республики! На уровне теории наиболее глубоким последователем Монтескье был Джон Адамс, вся политическая мысль которого была сосредоточена на вопросе о балансе властей. И когда он писал: «Власти должна противостоять власти, силе — сила, мощи — мощь, интерес — интересу, так же как разум — разуму, красноречие — красноречию и страсти — страсть», — он определенно считал, что обрел в самом этом противопоставлении средство сделать власть более властной, силу более сильной, разум более разумным, но не уничтожить их². Что касается практики и создания политических

¹ Так, Джеймс Уилсон считал, что «федеративная республики [...] как вид правления [...] обеспечивает все внутренние преимущества республики; в то же самое время она сохраняет внешнее величие и силу монархии». *См. по: Spurlin P. M. Montesquieu in America, 1760–1801. Baton Rouge. 1940. P. 206*. Гамильтон в *The Federalist* № 9, возражая оппонентам новой Конституции, которые «с великим усердием цитировали и распространяли высказывание Монтескье о необходимости ограниченной территории для республиканского правления» приводит пространные выдержки из *Esprit des Lois* дабы показать, что Монтескье «недвусмысленно рассматривает федеративную республику как вполне подходящую для расширяющейся сферы народного правления и соединяющую преимущества монархии с достоинствами республиканизма».

² Haraszti Z. *John Adams and the Prophets of Progress*. Cambridge, Mass. 1952. P. 219.

институтов, то лучше всего обратиться к аргументации Мэдисона относительно разделения и равновесия власти между федеральным правительством и правительствами штатов. Полагайся он на расхожие идеи о неделимости власти, о том, что разделенная власть есть меньшая власть¹, он пришел бы к выводу, что новая власть союза должна быть основана на власти, которую штаты уступили, делегировали, таким образом, что чем сильнее был бы союз, тем слабее должны были стать его составные части. Его же подход заключался в том, что само установление Союза создавало новый источник власти, который никоим образом не извлекает свою силу из власти штатов, поскольку не установлен за их счет. Так, он настаивал: «Не штаты должны уступить свою власть национальному правительству, но скорее власть центрального правительства должна быть существенно расширена [...]. Оно должно быть учреждено в качестве сдержки, контроля за отправлением правительствами штатов той значительной власти, которая остается в их распоряжении»² (23). Тем самым, «если бы правительства отдельных штатов вдруг оказались упразднены, центральное правительство ради собственного самосохранения вынуждено было бы восстановить их в соответствующей юрисдикции»³ (24). В этом отношении великим и в длительной перспективе, возможно, величайшим достижением Американской революции было последовательное устранение притязаний власти на суверенитет в политическом организме республики, поскольку в сфере политики, в конечном счете, суверенитет и тирания — одно и то же. Изъяном Конфедерации как раз и было отсутствие «разделения власти между центральным и местным правительствами»; правительство в Вашингтоне действовало скорее как высшая инстанция альянса, нежели как правительство. Опыт показал, что подобного рода альянс таит в себе опасную тенденцию для вступивших в

¹ Подобные идеи, конечно же, также не были редкостью в Америке. Так, Джон Тейлор из Виргинии в следующих словах возражал Джону Адамсу: «Г-н Адамс рассматривает наше дробление власти как тот же самый принцип, что и его баланс власти. Мы же рассматриваем эти принципы как противоположные и враждебные.... Наш принцип дробления ставит своей целью понизить температуру власти до такой отметки, при которой она сделалась бы благом, а не проклятием.... Г-н Адамс ратует за такие порядки правления, при которых власть была бы надёжным стражем над властью или дьяволом над Люцифером ...». См.: Carpenter W. S. *The Development of American Political Thought*. Princeton. 1930. Тейлор по причине его недоверия к власти был назван философом джефферсоновской демократии; однако, на самом деле, Джефферсон не менее Адамса или Мэдисона был убежден, что именно уравнивание властей, а не дробление власти было бы лучшей гарантией от деспотизма.

² См.: Corwin E. *The Progress of Constitutional Theory Between the Declaration of Independence and the Meeting of the Philadelphia Convention* // American Historical Review. Vol. 30. 1925.

³ См. The Federalist. № 14.

него — вместо того, чтобы поддерживать, гарантировать и одновременно сдерживать, власти нейтрализовали и парализовали друг друга, то есть породили бессилие¹. Чего на практике опасались основатели, так это не власти, а бессилия, и их опасения подтверждались позицией Монтескье: республиканское правление эффективно только на относительно небольших территориях. Тем самым обсуждение переходило к вопросу о жизнеспособности самой республиканской формы правления; Гамильтон и Мэдисон обратили внимание на другую идею Монтескье, согласно которой объединение республик способно решить проблемы больших стран при условии, что составляющие элементы — небольшие республики — не удовлетворяясь простым альянсом, были в состоянии образовать новый политический организм — федеративную республику².

Чтобы понять Американскую конституцию, необходимо помнить, что ее подлинной целью было не ограничить власть, а создать больше власти, надлежащим образом конституировать и поставить на место Конфедерации совершенно новый центр власти, призванный компенсировать новообразованной республике, обладающей большой и к тому же расширяющейся территорией, власть и авторитет, утраченный в результате отделения колоний от английской короны. Эта сложная и тонкая система, намеренно задуманная для того, чтобы сохранить в неприкосновенности потенциал власти в республике и предохранить от оскудения любой из многочисленных источников власти на случай дальнейшего расширения, «увеличения путем присоединения новых членов», явилась целиком детищем революции³. Американская конституция в итоге консолидировала власть революции, и так как целью революции была свобода, она на деле стала тем, что Бракстон назвал *Constitutio Libertatis* (лат.), основанием свободы.

Полагать, будто недолговечные конституции послевоенной Европы или их предшественницы в XIX в., обязанные своим существованием недоверию к власти в целом и страху перед революционной властью народа в частности, способны конституировать ту же форму правления, что и Американская конституция, возникшая из уверенности, что она открыла принцип власти, достаточно сильный для создания «долговечного союза», значит принять желаемое за действительное.

¹ Из письма Мэдисона Джефферсону от 24 октября 1787 в *Farrand M. Records of the Federal Convention of 1787*. New Haven. 1937. Vol. 3. P. 137.

² О Гамильтоне см.: сноску № 20; Мэдисона см.: *The Federalist*. № 43.

³ Джеймс Уилсон, комментируя идею федеративной республики Монтескье, ясно говорит, что «она состоит в соединении различных сообществ, которые интегрируются в новый организм, способный к увеличению путём присоединения новых членов — свойство, особенно подходящее в условиях Америки». *Cum. no: Spurlin P. M. Montesquieu in America, 1760–1801*. Baton Rouge. 1940. P. 206.

2. Какими бы досадными ни были эти недоразумения, они не случайны и потому не могут быть оставлены без внимания. Они бы не возникли, если бы не тот исторический факт, что революции начались как реставрации, и что действительно было не просто, особенно для самих участников революций, сказать, когда и почему попытка реставрации вылилась в неодолимый поток революционных событий. Так как их первоначальным намерением было не стремление к свободе, а всего лишь возвращение прав и свобод ограниченного правления, совершенно естественным было, что, столкнувшись теперь уже с задачей основания республики, участники революции предпочитали говорить о новой свободе, рожденной уже в процессе революции, как о заключающейся в обладании древними правами и свободами.

Нечто весьма схожее имеет место по отношению и к другим ключевым понятиям, в первую очередь, к тесно взаимосвязанным понятиям власти и авторитета. Ранее мы уже констатировали, что ни одна революция не происходила, и редкое восстание начиналось, пока авторитет политической системы оставался незыблемым. Так, с самого начала возвращение древних свобод сопровождалось реставрацией прежнего авторитета и прежней власти. Подобно тому, как древняя идея «прав и свобод» в результате попытки их реставрации начала оказывать сильное влияние на осмысление нового опыта свободы, так и старое понимание власти и авторитета, даже при том, что ранее их олицетворявшие представители были развенчаны и низложены, почти автоматически вело к тому, что новый революционный опыт отливался в традиционные понятия. Именно этот автоматизм дал историкам возможность узреть преемственность там, где истории полагалось сделать скачок: «Нация заняла место абсолютного монарха» (Ф. У. Мейтленд), — после того, однако, как сам монарх «занял место Папы и епископа»; и в этом церковно-религиозном истоке абсолютизма кроется причина того, почему «современное абсолютистское государство, даже при отсутствии монарха, способно выдвигать притязания, подобающие только Церкви»¹.

С исторической точки зрения, самое очевидное и самое значительное различие между Американской и Французской революциями состояло в том, что первая получила в наследство «ограниченную монархию», тогда как вторая унаследовала абсолютизм, восходивший к первым векам новой эры и последним векам Римской империи. Ничто, в самом деле, не представляется более естественным, чем то, что революция должна быть предопределена тем типом правления, который она ниспровергает. Ничто, следовательно, не обладает большим правдоподобием, чем

¹ Цит. по: Kantorowicz E. *Mysteries of State: An Absolute Concept and Its Late Medieval Origin* // Harvard Theological Review. 1955.

объяснение нового абсолюта, абсолютной революции, в терминах предшествовавшей ей абсолютной монархии, из чего вроде бы напрашивается вывод, что чем более абсолютным является правитель, тем более абсолютной будет смещающая его революция. История как Французской революции XVIII в., так и скопированной с ее образца Русской в XX столетии — лишь наиболее характерные примеры, подтверждающие справедливость этой теории. Что, как не простую подстановку суверенитета нации на место, оставленное суверенным монархом, проделали многие, в их числе даже Сийес? Для него не было ничего естественнее, чем поставить нацию над законом, поскольку суверенность французского короля уже давно перестала означать независимость от феодальных договоров и обязательств и, по крайней мере со времен Бодена, означала подлинную абсолютность королевской власти, *potestas legibus soluta*, власть, свободную от соблюдения законов? И поскольку персона короля была источником всей земной власти, и его воля — истоком всего земного права, воля нации с этого момента, само собою разумеется, должна была сама стать правом¹. На этот счет люди Французской революции были столь же едины, сколь люди Американской были едины в вопросе о необходимости ограничить правительство посредством законов. И подобно тому, как теория Монтескье о разделении властей стала аксиомой для американской политической мысли, поскольку она отвечала требованиям английской конституции, постольку и идея «Общей воли» Руссо, так как она представляла множество (нацию) по образцу одного лица и тем самым давала возможность поставить ее на место суверенной воли абсолютного монарха, стала аксиомой для всех фракций и партий Французской революции. Суть дела заключалась в том, что в абсолютной, в отличие от конституционной, монархии король олицетворял жизнь нации в целом — «король мертв — да здравствует король». В действительности это означало, что король сам по себе воплощает нечто бессмертное²; он воплощал на земле божественный источник, в котором закон и власть совпадали. Его воля, поскольку она якобы представляла волю Бога на земле, была истоком и закона, и власти, и именно это происхождение из единого источника делало закон властным, а власть за-

¹ «Нация, — говорит Сийес, — существует прежде всего, она есть начало всего. Её воля всегда законна, она — сам закон». «Правительство может пользоваться своей властью лишь постольку, поскольку оно конституционно.... Воля нации, напротив, законна благодаря уже одному своему существованию, она сама источник всякой законности» Sieyès Abbé. *Qu'est-ce que le Tiers-Etat?* 2-nd ed. Pp. 79, 82 ff. Рус. пер. См.: Сийес Аббат. *Что такое третье сословие?* СПб., 6/г. С. 44, 45.

² Kantorowicz E. *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Theology*. Princeton. 1957. P. 24.

конной. Следовательно, когда люди Французской революции поставили народ на место короля, для них совершенно естественным образом народ становился не только источником всякой законной власти, что само по себе находилось в соответствии с древнеримской теорией, но также и истоком всех законов.

То, что на долю Американской революции выпала редкая удача, не подлежит сомнению. Она произошла в стране, которая не знала массовой бедности и люди которой имели вековой опыт самоуправления; конечно, не последнее место в числе этих преимуществ занимало и то, что революция выросла из конфликта с «ограниченной монархией». Правление короля и парламента не было *potestates legibus soluta*, властью, не подчиняющейся законам. Поэтому создатели американских конституций хотя и знали, что им надлежит установить новый источник закона и разработать новую систему власти, никогда не пытались вывести закон и власть из одного источника. Источником власти для них был народ, однако, источником закона должна была стать Конституция, писанный документ, нечто объективное, которое может рассматриваться с различных сторон и по отношению к которому возможно множество интерпретаций. Их можно изменять и улучшать в соответствии с обстоятельствами, но, тем не менее, Конституция никогда не была субъективным состоянием ума, подобно так называемой воле народа, выражающей себя в выборах и опросах общественного мнения. Даже когда в сравнительно позднее время и, предположительно, под влиянием континентальной конституционной теории верховенство Конституции утверждалось «исключительно на основании ее укорененности в воле народа», было принято считать, что раз решение принято, оно остается обязательным для политического образования, которому оно дало жизнь¹. Даже если и существовали люди, полагавшие, что в свободном государстве народ должен сохранять право «в любое время, по любому поводу или без повода, но по своему суверенному соизволению, изменить или отменить как характер, так и форму любого правления и принять новое на его место»², они остава-

¹ Эдуард Корвин в своей работе: Corwin E. *The "Higher Law" Background of American Constitutional Law* // Harvard Law Review. Vol. 42. 1928. P. 152 отмечает: «Приписывание Конституции верховенства на основании её укоренённости в народной воле представляет сравнительно поздний продукт американской конституционной теории. Ранее верховенство конституций определялось главным образом их содержанием, тем, что они считались воплощением высшей и непреходящей справедливости, а не их мнимым источником».

² Бенджамин Хитчборн, которого цитирует Найлз в: Niles. *Principles and Acts of the Revolution*. Baltimore. 1. 1822. P. 27. в самом деле звучит очень по-французски. Небезынтересно в то же время, что начинает он такими словами: «Я определяю гражданскую свободу не как "правление посредством законов", [...] но как власть, существующую в народе в целом»; иначе говоря, он также

лись в одиночестве в высшем законодательном органе. То, что во Франции было подлинной политической или даже философской проблемой, в Америке приняло такую откровенно вульгарную форму, что оказалось дискредитированным еще до того, как кто-либо удосужился создать из этого теорию. Хотя в тех, кто ожидал от Декларации независимости «формы правления, где каждый, будучи независимым от богатых, смог бы делать все, что ему заблагорассудится», никогда не было недостатка¹, они не оказали никакого влияния на теорию и практику революции. И все же, сколь бы ни велика была удача Американской революции, ее не миновала самая сложная из всех проблем, сопряженных с революционным правлением — проблема абсолюта.

О том, что проблема абсолюта обязана возникнуть в революции, что она присуща самому феномену революции, мы, возможно, никогда бы и не узнали, не будь Американской революции. Если бы мы судили исключительно на примере европейских революций — гражданской войны в Англии XVII в., Французской XVIII в. и Октябрьской XX в., — то располагали бы столь значительным количеством исторических фактов, единодушно указывающих на взаимосвязь абсолютных монархий и nasledующих им деспотических диктатур, что пришли бы к заключению об обусловленности проблемы абсолюта в сфере политики исключительно неблагоприятным историческим наследием, абсурдностью абсолютной монархии, имплантировавшей абсолют в виде личности государя в политический организм — абсолют, замену которому революции впоследствии ошибочно и безуспешно пытались отыскать. Действительно, возникает соблазн возложить вину на абсолютизм, предшественника всех революций, за исключением Американской, за то, что его падение разрушило всю европейскую политическую структуру заодно с европейским политическим сообществом наций, и что пламя революционного пожара, вызванного злоупотреблениями *ancient regimes*, в результате объяло весь мир. Сегодня уже не столь важно, был ли этот новый абсолют, предназначавшийся на место абсолютного суверена, нацией Сийеса в начале Французской революции, или же он стал вместе с Робеспьером в конце четырех лет революционной истории самой революцией. В конечном счете, весь мир повергла в огонь комбинация именно этих двух элементов — революции и национализма — национальные революции или революционный национализм, национализм, говорящий на языке

,подобно практически всем американцам, проводит четкое различие между законом и властью, понимая, тем самым, что правление, основывающееся исключительно на народной власти, не может быть названо правлением посредством законов.

¹ См.: Jensen M. *Democracy and the American Revolution* // Huntington Library Quarterly. Vol. XII. № 4. 1957.

революции, или революции, пробуждающие массы националистическими лозунгами. И ни в одном из случаев ход Американской революции не был когда-либо воспроизведен или повторен. Создание конституции никогда более не понималось как первейшее и важнейшее из всех революционных дел, и революционное правление, если оно вообще где-либо возникало, тут же оказывалось под угрозой быть сметенным тем самым революционным движением, которое привело его к власти. Не конституции — конечный продукт и изначальная цель всех революций, а революционные диктатуры, призванные ускорить и интенсифицировать революционное движение, были до сих пор наиболее известным результатом современных революций — в том случае, конечно, когда революция не терпела поражение и не сменялась той или иной формой реставрации.

Ошибка всех подобных исторических построений, сколь бы обоснованными они ни были, заключается в принятии за самоочевидное того, что при более пристальном рассмотрении оказывается в высшей степени проблематичным. Европейский абсолютизм в теории и на практике, абсолютный суверен, воля которого является одновременно источником и власти, и закона, был относительно новым феноменом; он выступал первым и наиболее характерным последствием того, что мы называем секуляризацией, то есть эмансипацией светской власти от авторитета Церкви. Абсолютная монархия, обычно и весьма обоснованно рассматриваемая как подготовка национального государства, была к тому же ответственна за возвышение секулярной мирской сферы, обладающей своим собственным достоинством и величием. Столь же краткая, сколь и бурная история итальянских городов-государств, духовная близость которых с революциями Нового времени состоит в общей приязни к дохристианской античности, могла бы служить предсказанием тех перспектив и предостережением от тех проблем, которые ожидали Новое время в области политики, если подобные предсказания возможны в истории. Вдобавок, именно расцвет абсолютизма на века скрыл от глаз эти проблемы, поскольку, казалось, он обрел в самой сфере политики удовлетворительную замену утраченной религиозной санкции мирской власти в персоне короля или, скорее, в институте королевской власти. Однако это решение, которое революции весьма скоро разоблачили как псевдорешение, только скрывало на протяжении нескольких веков самую серьезную проблему всех современных систем правления — их кардинальную нестабильность, являющуюся результатом элементарной утраты авторитета.

Та особенная санкция, которую религия и религиозный авторитет давали светской сфере, не могла быть заменена абсолютным суверенитетом, который, не обладая трансцендентным и внемирским источником,

должен был сразу же выродиться в тиранию и деспотизм. Истина состоит в том, что когда абсолютный монарх «занял место Папы и епископа», по этой самой причине, он более не выполнял религиозную функцию и не получал санкцию ни одного из них. На языке политической теории он был не их преемником, а узурпатором, и все теории с начала Нового времени относительно суверенитета и божественных прав государей служили только тому, чтобы скрыть этот факт. Секуляризация, эмансипация светской сферы от опеки Церкви неизбежно выдвинула проблему основания и конституирования нового авторитета, без которого мирская сфера не только не обрела бы своего собственного достоинства, но и лишилась бы даже того производного значения, которым она обладала под духовным покровительством Церкви. Выражаясь теоретически, дело обстояло так, как если бы абсолютизм пытался разрешить эту проблему авторитета, не прибегая к революционным средствам; другими словами, он решил эту проблему в привычной системе координат, в которой легитимность правления, в общем, и авторитет светского права и власти, в частности, всегда обосновывались путем отнесения их к абсолютному источнику, который сам был не от мира сего. Революции, даже если над ними не тяготело наследие абсолютизма, как в случае Американской революции, все еще оставались в рамках традиции, в значительной части основанной на событии, когда «слово стало плотью», иначе говоря, на откровении абсолюта в историческом времени в качестве земной реальности. В силу земной природы этого абсолюта авторитет как таковой стал немислим без того или иного рода религиозной санкции. Так как задача революций состояла в установлении нового авторитета, лишённого помощи обычая, прецедента и ореола древности происхождения, они не могли не поставить с беспрецедентной остротой старую проблему: не права и власти *per se*, самих по себе, а источника права, который дал бы позитивному праву свою легальность, и источника власти, который придал бы легитимность учреждаемой властями.

В дискуссиях о секуляризации обычно предпочитают не замечать того огромного значения, которое утраченная религиозная санкция имела для светской власти. И это вполне понятно, ибо возникновение автономной светской сферы — неизбежный результат разделения Церкви и государства, эмансипации политики от религии — как оказалось, было осуществлено исключительно за счет религии; из-за секуляризации Церковь утратила значительную долю своих земных богатств и, что еще более важно, лишилась протекции светской власти. И все же факт остается фактом: секуляризация коснулась обеих сфер, и так же, как говорят об эмансипации светского от религиозного, можно говорить, и, возможно, даже с большим основанием, об эмансипации религии от тре-

бований и бремени секулярного мира, которые тяжелой ношей лежали на христианстве с той поры, как распад Римской империи вынудил Католическую церковь возложить на себя политическую ответственность. Ибо «истинная религия», как однажды заметил Уильям Ливингстон, «не нуждается в государях мира сего для своей поддержки; но она чахнет или изменяет самой себе там, где они вмешиваются в ее дела»¹. Многочисленные трудности и проблемы теоретического и практического плана, которые встали перед политикой с самого момента секуляризации, тот факт, что первым последствием этой секуляризации было становление абсолютизма и что революции, пришедшие ему на смену, не искали с рвением абсолюта, из которого могли бы быть выведены легальность закона и легитимность власти, способны привести к выводу, что политика и государство нуждаются в санкции религии даже более, чем религия и Церковь в поддержке государей.

Потребность в абсолюте заявила о себе различными способами, принимала разные облики и вырабатывала различные решения. Однако функция абсолюта в области политики всегда оставалась неизменной: он был необходим для того, чтобы разорвать два порочных круга, первый из которых, как кажется, неотъемлемо присутствует в человеческом законодательстве, тогда как второй заключен в *petitio principii*, предвосхищении основания — логической ошибке, которая заключается в скрытом допущении недоказанной посылки для доказательства — сопровождающем новое начинание, или, переводя на язык политики, присутствием самой задаче основания. Первый, порожденный потребностью всех позитивных, созданных человеком законов во внешнем источнике, который даровал бы им легальность и возвысил в качестве «высшего закона» сам законодательный акт, конечно, хорошо известен и заявил о себе уже в период формирования абсолютной монархии. То, что Сийес утверждал в отношении нации: «было бы смешно предполагать, что сама нация связана какими-то формальностями или той самой конституцией, которой она подчиняет своих уполномоченных»², — с не меньшим основанием может быть отнесено и к абсолютному монарху, который, действительно, подобно нации Сийеса, должен «быть источником всякой законности», «основой справедливости» и по этой причине не может выступать субъектом каких-либо позитивных законов. Ни по какой другой причине, утверждал Блэкстон, «абсолютная деспотическая власть должна в той или иной мере присутствовать во всех правлениях»³; ясно, что

¹ Niles. *Principles and Acts of the Revolution*. Baltimore. 1. 1822. P. 307.

² Sieyès Abbé. *Qu'est-ce que le Tiers-Etat?* 2-nd ed. P. 81.

³ *Cum. no.* Corwin E. *The Progress of Constitutional Theory Between the Declaration of Independence and the Meeting of the Philadelphia Conven-*

эта абсолютная власть становится деспотической, коль скоро она эмансипировалась от власти высшей, чем она сама — всевластного Бога. Весьма показательно, что Блэкстон называет эту власть деспотической, и это служит ясным указанием на то, в какой мере абсолютизм освободил себя, однако, не столько от подвластного ему политического порядка, сколько от божественного или естественного порядка, которому он оставался подчиненным до начала Нового времени. Истинно, что революции не «придумывают» проблемы светской политической сферы, также истинно, что с их наступлением, то есть с возникновением необходимости в новых законах и конституциях, закладывающих фундамент нового политического организма, все старые «решения» — такие как надежда на то, что функции «высшего закона» способен взять на себя обычай в силу «трансцендентального качества», присущего ему по причине «глубокой древности»¹, или же упование на то, что высокое положение монарха само по себе способно придать государственному аппарату ореол святости, как это звучит в часто цитируемой похвале Баджота британской монархии: «Английская монархия усилила наше правление силой религии», — на поверку оказываются скомпрометированными как дешевые увертки и уловки. Это обнажение сомнительной природы государства в Новое время происходит со всей серьезностью только тогда и там, где в конечном счете разражались революции. Однако на уровне мнения и идеологии оно распространилось еще ранее, разделив стороны на радикалов, признающих факт революции без понимания ее проблем, и консерваторов, уцепившихся за традицию и прошлое как за фетиши, с помощью которых можно заклинать будущее, без осознания того, что само явление революции на политической сцене со всей наглядностью продемонстрировало, что эта традиция лишилась своей силы, своего начала и принципа.

Сийес, которому в области теории не было равных среди людей Французской революции, разорвал этот порочный круг и *petitio principii*, о котором он говорил весьма красноречиво, сначала проведя свое знаменитое различие между *pouvoir constituant*, властью конституирующей, уполномочивающей, и *pouvoir constitué*, властью конституируемой, уполномоченной, и затем выведя эту *pouvoir constituant*, то есть нацию, вообще за пределы сферы политики и поместив ее в неизменное «естественное состояние». («On doit concevoir les Nations sur la terre, comme des individus, hors du liens social [...] dans l'état de nature». —

tion // American Historical Review. Vol. 30. 1925. P. 407.

¹ Corwin E. *The Progress of Constitutional Theory Between the Declaration of Independence and the Meeting of the Philadelphia Convention* // American Historical Review. Vol. 30. 1925. P. 170.

«Нации подобны отдельным личностям, находящимся вне социальных связей в естественном состоянии»). Тем самым он одним махом, по-видимому, решил обе проблемы: как проблему легитимности новой власти, *pouvoir constitue*, авторитет которой не может быть гарантирован Учредительным собранием, *pouvoir constituant*, поскольку его власть сама не конституционна и никогда не могла быть таковой, ибо предшествовала самой конституции, так и проблему легальности новых законов, нуждавшихся в «источнике и верховном господине», «высшем законе», из которого они бы производили свою законность. И власть, и закон брали начало в нации или, точнее, в воле нации, которая сама оставалась вне и над всеми формами правлениями и законами¹. Конституционная история Франции, где еще в годы революции одна конституция следовала за другой, в то время как власть предрешающие могли провести в жизнь лишь ничтожную часть своих революционных законов и декретов, — лишь еще одна иллюстрация того, что должно было быть ясно с самого начала, а именно, что так называемая коллективная воля (если это вообще не юридическая фикция) неустойчива по определению, и что постройка, возведенная на подобном фундаменте, покинется на зыбком песке. От немедленного коллапса и катастрофы национальное государство спасла лишь та необычная легкость, с какой национальная воля позволяет собой манипулировать и поддается влиянию, где бы ни отыскался желающий взять на себя бремя и славу диктатора. Диктатура — режим, как нельзя лучше соответствующий сути национального государства. Наполеон Бонапарт был всего лишь первым в длинном ряду национальных диктаторов, кто под аплодисменты всей нации мог заявить: «Je suis le pouvoir constituant», «Уполномочивающая власть — это я». Однако в то время как диктат одной воли лишь на короткие периоды достигал фиктивного идеала национального государства — единодушной воли народа, — не воля, а интерес — прочная структура классового общества — составляла подлинную основу национального государства. И этот интерес — *interet du corps*, корпоративный, групповой интерес, как его именовал Сийес, ради которого не гражданин, а частное лицо «объединяется с другими в небольшие группы», — никогда не был выражением воли, но, напротив, являлся манифестацией мира или, скорее, тех частей мира, которые были общими для определенных групп, *corps*, или классов, поскольку «были между» ними².

С точки зрения теории, легко заметить, что решение Сийесом парадоксов основания — установления новых законов и основания нового

¹ Sieyès Abbé. *Qu'est-ce que le Tiers-Etat?* 2-nd ed. P. 83 ff.

² Sieyès Abbé. *Second Partie*. 4th edition. 1789. P. 7.

политического организма — не завершилось и не могло завершиться установлением республики в смысле «господства законов, а не людей» (Харрингтон), но заменило монархию, власть одного, демократией, властью большинства. Сегодня нам трудно оценить, насколько существенно было это смещение акцента с республиканской на демократическую форму правления, поскольку мы обычно не отличаем господства большинства от решения большинства. Последнее, однако, есть не более чем технический прием, принятый практически во всех типах совещательных органов, будь то предвыборные собрания избирателей или же town-hall meetings, муниципальные собрания, или же назначенный правителем государственный совет. Другими словами, принцип большинства присущ самому процессу принятия решений и, тем самым, присутствует во всех формах правления, включая деспотизм, возможно, за исключением одной тирании. Только там, где большинство, после того, как решение принято, приступает к политическому, а в крайнем случае, и физическому, устранению находящегося в оппозиции меньшинства, технический прием решения большинства становится принципом господства большинства¹. Эти решения, конечно, могут пониматься как выражения воли, и никто не станет оспаривать, что в современных условиях политического равенства в этом, большей частью, заключается политическая жизнь общества. Существенным, однако, является то, что в республиканской форме правления протекает политическая жизнь, и такие решения принимаются в рамках и в соответствии с регуляциями конституции, которая зависит от национальной воли большинства не более, чем здание зависит от воли его архитектора или его обитателей. Первостепенное значение, придаваемое во время революций по обе стороны Атлантики конституциям как писаным документам, более чем что-либо свидетельствует об их элементарно объективном, светском характере. В Америке, во всяком случае, они разрабатывались с недвусмысленным и сознательным намерением предотвратить, насколько это в человеческих

¹ Нам, несомненно, известно достаточно примеров из истории 20 века, чтобы составить представление о подобного рода демократии в исконном смысле власти большинства. Поэтому можно ограничиться напоминанием читателю, что курьёзные притязания «народной демократии» стран Восточного блока на то, чтобы представлять подлинную демократию в сравнении с правовым и конституционным государством Запада, может быть оправдано, если под демократией понимать ничем не ограниченное правление большинства. В этом отношении республика и демократия как государственные формы не только не тождественны, но даже противоположны. На практике же демократия как форма правления всегда должна сводиться к однопартийной системе — захватывает власть та партия, которая в данный момент оказалась способной собрать абсолютное число голосов (что, правда, в чистом виде бывает не так уж часто).

силах, процедуры принятия решений с их принципом большинства от деградации, вырождения в «elective despotism» (англ.), «деспотизм, основанный на выборах» демократии, власти большинства¹.

3. Злой рок Французской революции в том, что ни одно из конституционных собраний не располагало достаточным авторитетом для того, чтобы дать стране конституцию; упрек, справедливо адресуемый им, всегда один: они сами не были конституционно оформлены. С теоретической точки зрения, роковая ошибка людей революции состояла в некритической вере в происхождение власти и закона из одного и того же источника. И, наоборот, огромной удачей Американской революции было то, что народ колоний еще до конфликта с Англией был организован в самоуправляющиеся общества, группы, что революция, говоря на языке XVIII столетия, не отбросила их в естественное состояние², что никогда серьезно не оспаривалась правильность *pouvoir constituant* тех, кто вырабатывал конституции штатов и затем Конституцию Соединенных Штатов. То, что Мэдисон предлагал по отношению к Американской Конституции, а именно, вывести ее «общий авторитет ... целиком и полностью из нижестоящих авторитетов»³, было лишь воспроизведением в национальном масштабе того, что было сделано самими колониями, когда они конституировали правительство штатов. Делегаты местных конгрессов или народных конвентов, подготовившие проекты конституций штатов, получили свои полномочия от многочисленных нижестоящих авторитетных органов: округов, районов, городских и сельских общин. Не дать ослабнуть их власти значило сохранить в неприкосновенности источник их собственного авторитета. Будь Федеральный Конвент избран не для того, чтобы создать и конституционно оформить новую федеральную власть, но с тем, чтобы урезать и упразднить власть штатов, основатели немедленно столкнулись бы с теми же проблема-

¹ Джефферсон, о котором ныне бытует представление как о самом демократичном из основателей, зачастую весьма красноречиво предупреждал об опасности «elective despotism», «выборного деспотизма», в котором «173 деспота» угнетали бы «так же, как и один»: Джефферсон Т. *Заметки...* С. 196; 197. Ещё раньше Гамильтон совершенно справедливо отмечал, что «голос самых рьяных республиканцев был различим наравне с другими в хоре осуждающих пороки демократии». См.: Carpenter W. S. *The Development of American Political Thought*. Princeton. 1930. P. 77.

² Несколько отдельных случаев, когда принимались резолюции, объявлявшие Конгресс «неконституционным», и то, что «в момент принятия Декларации независимости колонии полностью находились в естественном состоянии», ни в коей мере не опровергает сказанное. О резолюциях некоторых городов Нью-Хемпшира см.: Jensen M. *Democracy and the American Revolution* // *Huntington Library Quarterly*. Vol. XII. № 4. 1957.

³ Из письма Джефферсону от 24 октября 1787, цитированному в сноске 25.

ми, что и их французские коллеги; они лишились бы своей *pouvoir constituant*. И в этом, вероятно, крылась одна из причин, почему даже самые убежденные сторонники сильной центральной власти не хотели полного упразднения правительств штатов¹. Федеративная система не только являлась единственной альтернативой принципу национального государства; она была единственным путем избежать порочного круга *pouvoir constituant* и *pouvoir constitue*.

Тот поразительный факт, что Декларации независимости предшествовала, сопровождала и после нее последовала конституционная лихорадка во всех тринадцати штатах, обнаружил до какой степени совершенно новое понимание власти и авторитета, совершенно новое представление о политике развилось в Новом свете, хотя его обитатели изъяснялись и мыслили на языке Старого света и обращались за вдохновением и подтверждением своих теорий к тем же источникам. Что отсутствовало в Старом свете, так это townships, городские и сельские общины. Смотря глазами европейского наблюдателя, когда «произошла Американская революция, догмат верховенства народа вышел из общины и овладел властью»². Те, кто получил власть творить конституцию, были законно избранными делегатами уже конституированных органов; они получили свой авторитет снизу, они твердо держались римского принципа, согласно которому источником власти является народ, для них это не было фикцией, а народ не был абсолютом подобно нации, стоящей над всеми авторитетами и свободной от всех законов, но вполне реальной вещью, организованным множеством, власть которого осуществлялась в соответствии с законами и организовывалась ими. Разница между республикой и демократией или господством большинства в Американской революции зиждется на радикальном разделении власти и закона, каждый из которых обладает различными источниками, различными способами легитимации и различными сферами применения.

Заслуга Американской революции состоит в том, что она сделала этот новый американский опыт в области политики и, прежде всего, новое американское понимание власти, достоянием гласности. Подобно идеям процветания и имущественного равенства, эта новая идея вла-

¹ Уинтон Солберг справедливо подчёркивает, что хотя федералисты и хотели подчинить штаты Вашингтону, они, за двумя исключениями, не желали уничтожить сами штаты. Сам Мэдисон однажды выразился, что «будет оберегать права штатов столь же заботливо, как и суды присяжных». *Цит. по: Solberg W. U. The Federal Convention and the Formation of the Union of the American States*. N.-Y., 1958. P. 36.

² Tocqueville A. *Democracy in America*. N.-Y., 1945. Vol. I. P. 56. Необычайно высокую степень политической зрелости страны может продемонстрировать тот факт, что в одной Новой Англии в 1776 году было более 550 таких towns.

сти была старше самой революции, однако, в отличие от социального и экономического благополучия Нового света, которое могло иметь место при любых обстоятельствах и практически при любой форме правления, она едва ли выжила бы, не будь основан новый политический организм, специально задуманный для ее сохранения. Иначе говоря, без революции этот новый принцип власти остался бы неизвестен, он мог бы подвергнуться забвению или вспоминаться как своего рода курьез, представляющий интерес для антропологов или краеведов, но не представляющий никакого интереса для искусства управления государством или политической мысли.

Власть — и для людей Американской революции такое ее понимание было самоочевидным по той причине, что было воплощено во всех институтах самоуправления по всей стране — была не только старше революции, но в каком-то смысле старше колонизации континента. *Mayflower Compact*¹ был составлен на борту корабля и подписан при высадке. Для нас, пожалуй, не так уж важно, хотя все же и небезынтересно узнать, вынудила ли пилигримов заключить этот «ковенант», договор, плохая погода, помешавшая им высадиться дальше к югу в сфере юрисдикции Виргинской компании, пожаловавшей им патент, или же они почувствовали необходимость «объединиться вместе» потому, что пассажиры, севшие в Лондоне, были «нежелательной компанией», еще на корабле покушавшейся на юрисдикцию Виргинской компании и угрожавшей «взять бразды правления в собственные руки»². В любом случае, они явно опасались так называемого «естественного состояния», нехоженой пустыни, не имеющей никаких установленных человеком границ, равно как неограниченной инициативы людей, не связанных никаким законом. В этих опасениях нет ничего удивительного; это вполне обоснованное опасение людей, решивших оставить цивилизацию и начать жизнь заново. В этой истории более всего поражает то, что их явственный страх друг перед другом сопровождался не менее явственной уверенностью, что в их собственной власти, никем не дарованной и никем не утвержденной и еще не подкрепленной никакими средствами насилия, объединиться вместе в «civil Body Politick», «гражданский политический организм», который, будучи удерживаем от распада только

¹ «Мейфлауэрский договор» [соглашение] был подписан 11 [05] ноября 1620 года на борту судна «Мейфлауэр», доставившем в Америку из Англии пилигримов [«отцов-пилигримов»], основавших первую постоянную колонию в Новой Англии.

² Теория «плохой погоды», представляющаяся мне заслуживающей внимания, развивается в статье «Массачусетс» в *Encyclopedia Britannica*. 11 edition. Vol. XVII. Более реальную альтернативу ей можно найти в предисловии к «Мэйфлауэскому договору» в *Comtager*. Op. cit.

силой взаимного обещания «в присутствии Бога и друг друга», в то же время полагался достаточно сильным, чтобы «создавать и вводить» все необходимые законы и органы управления. Этот случай быстро сделался прецедентом, и когда, менее чем двадцать лет спустя, колонисты из Массачусетса эмигрировали в Коннектикут, они выработали свои собственные «Фундаментальные порядки» и «плантационное соглашение» в еще не исследованной, необжитой пустыне, так что когда, наконец, подоспела королевская хартия, чтобы объединить новые поселения в колонию Коннектикута, она санкционировала и подтвердила уже существующую систему правления. И именно по той причине, что королевская хартия от 1662 г. только санкционировала фундаментальные порядки от 1639 г., та же хартия могла быть принята практически без изменений в 1776 г., как «Гражданская Конституция данного Штата под исключительной властью его народа, независимого от любого короля или правителя».

Поскольку соглашения в колониях первоначально заключались без всякой ссылки на королевскую власть, постольку дело предстало так, как если бы революция вернула процессу заключения соглашений его первоначальный вид, какой он имел в первые дни колонизации. Уникальность североамериканских колоний, их отличие от всех других колониальных предприятий состояла в том, что только эмигранты из Британии с самого начала настаивали на том, что они конституировали себя в «гражданские политические организмы». Вдобавок эти «политические организмы» даже не были учреждениями в собственном смысле слова; они не предполагали управления и разделения народа на управляющих и управляемых. Лучшим доказательством тому служит простой факт, что объединенный в них народ более чем на полторы сотни лет мог остаться лояльным подданным Англии. Эти новые политические организации были по существу «политическими сообществами», и их значение для будущего состояло в формировании политического пространства, в котором была возможна власть и требование прав без притязания на суверенность¹. Величайшая революционная инновация — открытие Мэдисоном федеративного принципа для основания республик на больших территориях — частично основывалась на опыте, на тесном знакомстве с этими политическими институтами, внутренняя структура которых воспроизводилась в структуре республик, побуждая их составные к беспрестанному расширению, принципом которого, однако, была не экспансия и не завоевание, а исключительно комбинирование властей. И в эти ранние времена колониальной истории был открыт не только

¹ Это важное различие между суверенными государствами и «чисто политическими обществами» было сделано Мэдисоном в его речи в Федеральном Конвенте. См.: Solberg W. U. *The Federal Convention and the Formation of the Union of the American States*. N.-Y., 1958. P. 189. N. 8.

фундаментальный федеративный принцип, но и само название «федерация» в значении «комбинации» или «консоциации»; само новое название союза, нареченного Соединенными Штатами Америки, было подсказано желанием непродолжительной Конфедерации Новой Англии «называться именем Соединенных Колоний Новой Англии»¹. И именно этот опыт, более чем какая-либо теория, поощрил Мэдисона на проработку случайной ремарки Монтескье, утвердив его в мысли, что республиканская форма правления, будучи основанной на федеративном принципе, применима для больших и растущих территорий².

¹ См.: «Fundamental Orders of Connecticut» of 1639 и «The New England Confederation» of 1643 в: Commager. Op. cit.

² Бенджамин Райт — особенно в своей глубокой статье Wright B. F. *The Origins of the Separation of Powers in America* // *Economica*. May 1933. — в подобном же духе утверждает, что «создатели американских конституций находились под впечатлением теории разделения властей, потому что их собственный опыт подтвердил её правоту»; за ними последовали и остальные. Лет 60 или 70 назад для американского учёного мира непрерывная и независимая от внешних влияний последовательность американской истории, кульминационным моментом которой явилась революция и основание Соединённых Штатов, была чем-то почти само собой разумеющимся. После того как Брайс увязал американские конституции с королевскими колониальными хартиями, посредством которых были основаны первые английские поселения, вошло в обычное объяснять происхождение писаной конституции, как и вообще писаного законодательства, тем фактом, что колонии были подчинёнными политическими образованиями, веущими своё происхождение от торговых компаний, и могли брать на себя властные функции лишь постольку, поскольку те были делегированы им специальными пожалованиями, патентами и хартиями (см.: Morey W. C. *First State Constitutions* // *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. September. 1893. Vol. IV и его эссе о писаной конституции, цитированное в п. 6). Сегодня подобный подход распространён гораздо меньше, и широкое хождение получила идея европейских влияний, британского или французского. Такому смещению акцентов существует множество объяснений, например, значительное воздействие со стороны истории идей, ставящих во главу угла интеллектуальный прецедент, а не политическое событие. К этому надо присовокупить настойчивое стремление преодолеть изоляционистские тенденции прежней исторической науки. Всё это любопытно, однако, в нашем случае не столь существенно. Что хотелось бы здесь подчеркнуть, так это то, что значение хартий, пожалованных королём или кампанией, по-видимому, преувеличивается за счёт недооценки исконных и более существенных кovenантов и соглашений, заключённых между собой самими колонистами. Представляется вполне обоснованной констатация Дженсен М. В: Jensen M. *Democracy and the American Revolution* // *Huntington Library quarterly*. Vol. XII. No 4. 1957: «Центральной проблемой в Новой Англии 17-го века ... была проблема источника авторитета для установления правления. Английский подход заключался в том, что никакое правление не может существовать в колонии, если ему не дарована власть от короны. Противоположный взгляд, которого придерживались некоторые английские диссиденты в Новой Англии, состоял в том, что группа

Джон Дикинсон, как-то раз почти случайно заметивший: «Опыт должен быть нашим единственным советником. Разум может увести нас по ложному пути»¹, — возможно, знал об этом уникальном, но теоретически неразработанном пласте американского эксперимента. Так часто указывалось, «сколь многим Америка обязана идее общественного договора»², что в результате без внимания был оставлен факт, что первые колонисты, задолго до революции «применившие идею на практике», на самом деле не имели ни малейшего представления о теории. Скорее наоборот, когда Локк в своем известном пассаже констатирует: «Любое политическое общество начинается и образуется ничем иным, как согласием любого числа свободных граждан, располагающих большинством, объединиться и присоединиться к нему», затем называет этот акт «началом любого правового государства в мире»; это выглядит так, будто влияние, оказанное на него событиями в Америке, перекрыло влияние, оказанное его собственной книгой «Два трактата о правлении» (1690) на самих основателей США³. Доказательством (если в таких вопросах возможны доказательства, может служить тот любопытный и невинный способ, каким Локк сконструировал свой собственный «первоначальный договор» — в духе современных ему теорий общественного договора — как передачу прав и власти правительству или сообществу, то есть вовсе не как «взаимный» договор, но как соглашение, в котором отдельное лицо уступает свою власть государству и соглашается, чтобы им управляли в обмен на защиты его жизни и собственности⁴.

Прежде чем продолжить, следует напомнить, что в теории XVIII столетия проводилось четкое различие между двумя типами «общественно-

людей может создать для себя законную власть посредством “ковенанта”, соглашения или конституции. Авторы “Мэйфлауэрского договора” и “Фундаментальных порядков Коннектикута” исходили из этой предпосылки. ... Таковой была базовая предпосылка Декларации независимости, и местами она звучит во многом подобно словам Роджера Уильямса, написанным за 132 года до неё».

¹ Цит. по: Solberg W. U. *The Federal Convention and the Formation of the Union of the American States*. N.-Y., 1958. P. XCII.

² Rossiter C. *The First American Revolution*. N.-Y., 1956. P. 132.

³ Уникальность Мэйфлауэрского договора была полностью осознана уже в 18-м столетии. Так, Джеймс Уилсон, ссылаясь на него в своей лекции в 1790-м, напоминает аудитории, что в нём нашло выражение то, «что для народов по ту сторону Атлантики было недостижимым — оригинальный общественный договор, заключённый сразу по прибытии в эту часть земного шара». В истории Америки 18 и начала 19 вв. всё ещё говорят о «представлении, [...] которое редко случается: созерцании общества в первый момент его политического рождения» (словами шотландского историка Уильяма Робертсона). См.: Craven W. F. *The Legend of the Founding Fathers*. N.-Y., 1956. P. 57, 64.

⁴ См. особенно: *Op. cit.* Section 131.

го договора». Один был договором между отдельными лицами, и предполагалось, что он дает жизнь обществу; другой заключался между народом и его правителем и, предположительно, имел своим результатом правовое государство. Тем не менее, решающее различие между этими двумя разновидностями (между которыми едва ли есть что-то общее, кроме названия) поначалу осталось незамеченным, так как сами теории первым делом были заняты поисками универсальной теории, охватывающей все формы публичных отношений, как общественных, так и политических. Тем самым, две различные версии «общественного договора», которые, как мы увидим, на самом деле взаимно исключают друг друга, рассматривались как аспекты единого договора, распадающегося на две фазы. К тому же, с точки зрения теории, оба договора были гипотезами, призванными объяснить существующие общественные отношения, с одной стороны, и отношения между обществом и государством — с другой. Итак как история этой теоретической гипотезы уходит своими корнями в глубокое прошлое, до колониального предприятия британцев не представлялось ни единого случая проверить ее истинность.

В схематическом виде основные отличия между этими двумя типами общественного договора следующие: взаимный контракт, договор, посредством которого люди объединяются с тем, чтобы образовать сообщество, основан на двусторонности и предполагает равенство; его действительным содержанием выступает обещание, и его результатом, в самом деле, является «общество» в древнеримском смысле *societas*, означающем «союз», «альянс». Подобный альянс вбирает в себя разрозненные силы вступивших в него партнеров, объединяя их в новую властную структуру посредством «свободных и искренних обещаний»¹. В отличие от этого, в так называемом общественном договоре между уже существующим обществом и его правителем мы имеем дело с гипотетическим изначальным актом, посредством которого каждый член этого общества уступает свою изолированную силу и власть с тем, чтобы приобщиться к «благам» регулярного правления. Не приобретая новой, большей чем он имел ранее, власти, он передает свою власть как она есть, и не связывая себя с другими путем обещаний, он попросту выражает «согласие» быть управляемым государством, власть которого складывается из полной суммы тех сил, которые все отдельные лица ему уступили и которую оно монополизировало якобы для пользы всех подданных. В той мере, в какой дело касается отдельного человека, очевидно, что он приобретает столько же власти при системе взаимных обещаний, сколько теряет при согласии на ее монополизацию в руках государства. И наоборот, те, кто «заключают договор и объединяются

¹ См.: Кембриджское соглашение 1629 г. в Commager. Op. cit.

вместе», теряют в силу взаимности совершенного свою изначальную изоляцию, тогда как в первом случае именно эта изолированная обособленность гарантируется и защищается.

В то время акт согласия не требует от каждого отдельного лица преодоления его изолированности, а потому происходит только «в присутствии Бога», акт взаимного обещания по определению совершается «в присутствии друг друга»; в принципе, он независим от санкции религии. Более того, политический организм, образующийся в результате соглашения и «комбинации», сам становится источником власти для каждого отдельного лица, вне политического сообщества остающегося бессильным. Государство же, возникающее как результат согласия, стяжает монополию власти, делая своих подданных политически бессильными до тех пор, пока они не решатся вернуть свою исконную власть с тем, чтобы изменить порядок и облечь своей властью другого, лучшего правителя.

Иначе говоря, договор, в котором власть конституирована путем взаимного обещания, содержит *in puse*, в зародыше, как древний республиканский принцип *potestas in populo*, власть у народа, где «*mutual subjection*», «взаимное подчинение», имплицитно отрицает принцип господства — «когда народ управляет, кем он управляет?»¹ — так и федеративный принцип, принцип «*Commonwealth for increase*», «расширяющегося государства» (как Харрингтон нарек свою утопическую страну *Oceana*), в соответствии с которым политические сообщества могут объединяться и вступать в долговременные союзы, не теряя своей

¹ В подобные фразы Джон Коттон, пуританский проповедник и «Патриарх Новой Англии» в первой половине XVII в., облакает свои возражения против демократии, формы правления неуместной «ни для церкви, ни для республики (*commonwealth*)». Здесь и далее я, насколько это возможно, пытаюсь избежать обсуждения вопроса о взаимоотношениях между пуританизмом и американскими политическими институтами. Мне представляется вполне оправданным различие «между пуританами и пуританизмом, между сиятельными автократами Бостона и Сейлема и их в своей сути революционным образом жизни и мысли», проводимое Клинтоном Росситером в *Rossiter C. The First American Revolution*. N.-Y., 1956. P. 91; последний состоял в убеждении, что даже в монархиях Бог «оставляет суверенитет за собой», и их «одержимости идеей ковенанта или договора». Однако проблема в том, что эти два представления в основе своей несовместимы, поскольку идея ковенанта предполагает отказ от суверенитета в любой форме господства, тогда как вера в абсолютно суверенного Бога, при том даже, что по пуританскому учению этот суверенитет не может быть передан никакой земной власти, не способна привести ни к чему большему, как к теократии, которую в качестве «наилучшей формы правления» настойчиво рекомендовал Джон Коттон. На деле же эти чисто религиозные влияния и движения, включая Великое пробуждение, не оказали никакого влияния на поступки и мысли людей Американской революции.

специфичности. Это так же очевидно, как и то, что общественный договор, требующий передачи власти государству и согласия на опеку с его стороны, *in ipso* содержит как принцип абсолютизма, абсолютной монополии власти «держатъ всех в страхе» (Гоббс) (который, кстати, скорее всего будет сконструирован по образу божественной власти, ибо только Бог всемогущ), так и принцип национального государства, в соответствии с которым должен быть один правитель в качестве представителя нации как целого и для воплощения ее общей воли.

«В начале, — как однажды заметил Локк, — весь мир был Америкой». Для теорий общественного договора Америка должна была бы служить ключом к объяснению и обоснованию существующих политических реалий; неслучайно внезапному расцвету различных теорий общественного договора в первые столетия Нового времени сопутствовали и предшествовали разнообразные соглашения, объединения, сообщества и конфедерации в колониальной Америке. Так бы оно и было, если бы не тот неопровержимый факт, что эти теории Старого света жили своей отдельной жизнью в полном неведении относительно действительных событий Нового. У нас также нет никаких оснований утверждать, будто колонисты, покинув Старый свет, унесли с собой мудрость новых теорий в поисках новой земли, где они могли испытать их и применить на практике. Эта тяга к экспериментированию наряду с сопутствующим убеждением в абсолютной новизне предпринимаемого, *novus ordo saeculorum*, новый порядок веков, столь же явным образом отсутствовали в умах колонистов, сколь явным образом они присутствовали в умах тех, кому полтора столетия спустя выпало совершить революцию. Если и было какое-то теоретическое явление, наложившее отпечаток на договоры и соглашения ранней американской истории, то таковым, конечно, было влияние Ветхого Завета и в особенности заново открытая идея договора между Богом и народом Израиля, которая для пуритан стала «способом объяснения почти всех отношений человека к человеку и человека к Богу». Однако, хотя может и верно, что «теория пуритан о происхождении церкви с согласия верующих прямо вела к популярной теории о происхождении государства с согласия подданных»¹, она не могла привести к другой, гораздо менее популярной теории о происхождении «гражданского политического организма» путем взаимных обещаний и обязательств составляющих его членов. Ибо библейский договор, как его понимали пуритане, был соглашением между Богом и Израилем, в котором Бог дал закон, и Израиль согласился соблюдать его; и так как этот договор подразумевает правление по согласию, он никоим образом не предполагает какого-либо политического органа, в котором правящие

¹ Rossiter C. *The First American Revolution*. N.-Y., 1956.

и управляемые были бы равны, то есть где более не действовал бы сам принцип господства одних над другими¹.

Как только от этих теорий и спекуляций на тему влияний мы обратимся к самим документам с их простым, безыскусным и подчас даже грубоватым языком, перед нами тотчас же предстанет само событие, событие величайшей значимости и огромной важности для будущего, отмеченное печатью времени и обстоятельств, и, тем не менее, всесторонне обдуманное и рассмотренное. Что побудило колонистов «торжественно и взаимно перед лицом Бога и друг друга заключить соглашение и объединиться вместе в гражданский политический организм ... и в силу этого создавать и вводить такие справедливые и одинаковые для всех законы, ордонансы, акты, конституции и административные учреждения, которые в то или иное время будут считаться наиболее подходящими и соответствующими всеобщему благу колоний и которым мы обещаем следовать и подчиняться» (как это сделал Мейфлауэрский договор), были те «трудности и разочарования, которые подстерегают при осуществлении этого дела». Ясно, что колонисты еще до того, как сошли на землю, отдавали себе полный отчет в том, что «все это предприятие основано на общем доверии, питаемом нами, к верности и решимости друг друга, так что никто из нас не осмелился бы на него, не будучи уверенным в остальных». Не что иное, как простое и ясное осознание сути этого совместного предприятия, потребность в «лучшем ободрении для нас самих и тех, кто присоединится к нам в этом деле», послужили причиной их одержимости идеей договора и вновь и вновь побуждали «обещать и обязаться» друг другу². И никакая теория, будь она теологической, политической или философской, а их собственное решение оставить Старый свет и отважиться на беспрецедентное предприятие подвигло их на действия, итогом которых могла бы быть гибель, не открой они почти случайно то, что практически лежало перед глазами: элементарную грамматику политического действия и его несколько бо-

¹ Великолепный пример того, как пуритане понимали идею «ковенанта», содержит проповедь Джона Уинтропа, написанная на борту «Арабеллы» по пути в Америку: «Так установилась связь между Богом и нами, мы заключили договор (Covenant) с ним для этой работы, мы получили полномочия. Господь позволил нам начертать наши собственные Статьи, мы во всеуслышание заявили, что предпринимаем эти действия с такими-то и такими-то целями, после чего молим его о благословении и милости: теперь если Господу будет угодно услышать нас и привести нас беспрепятственно на выбранное нами место, значит он одобрил этот договор (Covenant) и утвердил наши полномочия». *Cum. no: Miller P. The New England Mind: The Seventeenth Century.* Cambridge, Mass. 1954. P. 477.

² Слова из Кембриджского соглашения 1629 года, составленного некоторыми руководящими членами Кампании Массачусетского залива перед их посадкой в Америке.

лее сложный синтаксис, правила которых определяют взлеты и падения человеческой власти. Ни эта грамматика, ни этот синтаксис не были чем-то совершенно новым в истории Западной цивилизации; однако чтобы отыскать свидетельства равной значимости в сфере политики и язык, равный по подлинности и оригинальности — столь свободный от общепринятых идиом и оборотов — во всем огромном арсенале исторических документов, следовало бы вернуться в очень далекое прошлое — прошлое, о котором колонистам, во всяком случае, ничего не было известно¹. Открытое ими, конечно, не было теорией общественного договора в первой или второй форме, но скорее представляло собой несколько элементарных истин, на которых эта теория основывалась.

В целях настоящего исследования в общем и для нашей попытки охарактеризовать революционный дух в частности, было бы целесообразно сделать здесь достаточно продолжительную паузу, чтобы попробовать перевести, пусть в качестве эксперимента, суть этих дореволюционных и даже доколониальных опытов на менее непосредственный, но более артикулированный язык политической мысли. В таком случае получается, что этот специфически американский опыт научил людей революции, что действие, несмотря на то, что оно может быть начато людьми по одиночке, и руководствоваться они при этом могут самыми разными мотивами, может быть доведено до конца только совместным усилием, в котором мотивация отдельных лиц — например, то, являются они «нежелательной компанией» или нет — не играет больше роли, а значит, не требуется и единства прошлого, и происхождения этого важнейшего принципа национального государства. Совместное усилие весьма эффективно уравнивает различия как в происхождении, так и в личных качествах. Именно в этом мы можем обнаружить и исток удивительного реализма «отцов-основателей» в отношении человеческой природы. Они могли позволить себе просто проигнорировать убеждения Французской революции в том, что человек добр вне общества, в некоем гипотетическом естественном состоянии, которое, в конечном счете, было утверждением эпохи Просвещения. Они могли позволить себе реализм и даже пессимизм в данном вопросе, поскольку знали, что каковы бы ни были люди в отдельности, они могут объединиться в сообщество, которое, если бы оно даже состояло из «грешников», но было бы основано на верных принципах, не обязательно должно отражать эту «грешную» сто-

¹ Внешне схожий язык знаменитого *Bund der Waldstätte* (Союз Лесных кантонов (нем.) — документ, положивший начало Швейцарскому союзу (1291), первоначально объединившем свободные общины трёх «лесных земель»: Швица, Ури и Унтервальдена. — *Прим. пер.*) обманчив: из этих «взаимных обещаний» не возникает ни «гражданского политического организма», ни новых институтов, ни новых законов.

рону человеческой природы. Таким образом, общественное состояние, которое для их французских коллег служило источником всего человеческого зла, для них было единственной разумной надеждой на спасение от зла и испорченности, которого люди могут достичь даже в этом мире и без какой-либо божественной помощи. В этом, к слову, можно усмотреть также подлинный источник многократно искаженного американского оптимизма, основанного на вере в совершенствование человека. До того как обыденная философия Америки пала жертвой воззрений Руссо — а это произошло не ранее XIX в. — американская вера никоим образом не основывалась на псевдорелигиозном доверии к человеческой природе, но, наоборот, на возможности обуздания, присущего человеку как изолированному индивиду зла общих уз и взаимных обещаний. Надежда для каждого отдельного человека заключалась в факте, что не один человек, но многие люди населяют землю и образуют мир между собой. Именно этот мир, мирской характер человека, способен уберечь его от соблазнов человеческой природы. И потому сильнейшим аргументом, какой Джон Адамс мог выдвинуть против государства, вся власть в котором принадлежит одной палате, было то, что оно, по его словам, было «подвержено всем тем порокам, глупостям и слабостям, что и отдельный человек»¹.

С этим тесно связано и проникновение в природу человеческой власти. В отличие от силы, являющейся даром природы, которым в различной степени обладают все отдельные индивиды, власть возникает там и в том случае, где люди объединяются вместе с целью действия, и она исчезает, когда, какова бы ни была причина, они расходятся и оставляют друг друга в одиночестве. Тем самым, обязательства и обещания, объединения и соглашения суть способы, посредством которых власть поддерживает свое существование; где и когда людям удастся сохранить в неприкосновенности власть, зародившуюся среди них в ходе конкретного действия или дела, они уже участвуют в процессе основания; конституции, законы и институты, возводимые ими при этом, жизнеспособны только в той мере, в какой они способны сохранить в себе раз возникшую власть живого действия. В человеческой способности давать и сдерживать обещания есть нечто от мироустроительной способности человека. Подобно тому, как обещания и соглашения имеют дело с будущим и обеспечивают стабильность в океане неопределенности, где непредсказуемое может ворваться в любую дверь, так и способность человека к основанию, установлению чего-то нового и другие мироустроительные способности затрагивают не столько нас самих и наше время,

¹ См. *Thoughts on Government (1776)* // Works. Boston. Vol. IV. 1851. P. 195.

сколько наших «последователей» и «потомков». И как к грамматике действия относится то, что оно есть единственная человеческая способность, которая предполагает плюральность, множественность людей, так и к синтаксису власти — то, что она есть единственный человеческий атрибут, который приложим не к самому человеку, но исключительно к тому мирскому промежуточному пространству, посредством которого люди взаимодействуют, соединяются в акте основания путем способности давать и сдерживать обещания, атрибут, который в области политики вполне можно считать главнейшей из человеческих способностей.

Другими словами, что произошло в колониальной Америке до революции (и чего не случилось ни в одной другой части света, ни в старых странах, ни в новых колониях), говоря теоретически, это то, что совместное действие привело к образованию власти, и эта власть поддерживалась в то время открытыми средствами взаимного обета и ковенанта (договора). Сила этой власти, порожденной действием и сохраненной обещанием, заявила о себе, когда к великому изумлению всех великих держав колонии, провинции, районы и города, при всех различиях между собой, выиграли войну против Англии. Однако эта победа явилась сюрпризом только для Старого света; сами колонии, имея за своими плечами полторы сотни лет заключения различных соглашений, происходили из страны, которая была сверху донизу организована — от провинций и штатов до последней сельской общины — в политические образования, каждое из которых было своего рода отдельной республикой со своими собственными представителями, «свободно избранными с согласия любящих друзей и соседей»¹; вдобавок каждое было задумано как «расширяющееся», ибо каждое основывалось на взаимных обещаниях «сожителей», как они себя называли, и когда они «соединились, чтобы быть как одно Публичное Государство или Республика (Commonwealth)», они создавали его не только для своего «потомства», но также для «тех, кто присоединится к ним когда-либо в пбудущем»². Люди, имевшие за своей спиной традицию, позволившую им «сказать Британии последнее “прощай”», были уверены в своем будущем с само-

¹ Слова взяты из Платанционного соглашения в Провиденсе, которым был основан город Провиденс в 1640 году (Commager. Op. cit.). Особенно интересно, что именно здесь впервые встречается принцип представительства, а также то, что те, кому было оказано «доверие», «после долгих обсуждений и консультаций в своём собственном штате и других штатах о способе правления» пришли к согласию, что ни одна форма не отвечает их условиям лучше, чем «правление посредством Арбитража».

² Слова из Фундаментальных порядков Коннектикута от 1639 года (Commager. Op. cit.), которые Брайс (Bryce. *American Commonwealth*. V. I. P. 414. Note) назвал «старейшей подлинно политической конституцией в Америке».

го начала; они знали о том огромном потенциале власти, который возникает, когда люди «взаимно обязываются друг другу своими жизнями, имуществом и святой честью»¹.

Таков был опыт, на который могли опереться люди революции; он научил не только их, но и избравший и облачивший их своим доверием народ тому, как создать публичные органы и институты. И как таковой он не имел аналогов в любой другой части света. Однако этого никоим образом нельзя сказать об их «разуме» или, лучше сказать, способе мышления и аргументации, по поводу коего Дикинсон питал справедливые опасения, говоря что он способен ввести их в заблуждение. В самом деле, их разум, как по стилю, так и по содержанию был сформирован эпохой Просвещения, влияние которой было ощутимо по обе стороны Атлантики. Их понятийный аппарат вряд ли отличался от того, который использовали их французские и английские коллеги, и когда между ними и европейцами возникали разногласия, дискуссия велась в привычной системе категорий. Так, Джефферсон мог говорить о «согласии» народа, из которого правительство «заимствует свою справедливую власть», в той же самой Декларации, которую он заключает принципом взаимных обязательств; причем ни он, ни кто-либо другой не подозревал об элементарном и очевидном различии между «согласием» и взаимным обещанием, так же как и между двумя типами теорий общественного договора. Этот недостаток понятийной четкости в обозначении реалий

¹ Последнее «прощай» Британии содержится в «Инструкции от города Молдена, Массачусетс» его делегатам Континентального конгресса от 27 мая 1776 года (Commager. Op. cit). Резкий тон этих инструкций, в которых город наставляет своих уполномоченных отвергнуть “с презрением нашу связь с королевством рабов”, показывает, насколько прав был Токвиль, когда выводил происхождение Американской революции из духа городских общин. Оценить размах республиканских умонастроений позволяет также свидетельство Джефферсона в *The Anas. February 4. 1818* // *The Complete Jefferson*. New York, 1943. P. 1206 ff. Оно весьма убедительно показывает, что в то время как «основным спором дня был принципиальный спор между сторонниками республиканского и королевского строя», именно республиканские настроения народа, в конечном счёте, определили выбор политиков. Насколько сильны были республиканские пристрастия в Америке ещё до революции, видно из ранних работ Джона Адамса. В серии статей написанных в 1774-м для *Boston Gazette* он пишет: «Первые поселенцы Плимута были ‘нашими предками’ в самом строгом смысле слова. У них не было хартии или патента, дававшего им право на землю, владельцами которой они стали; они не располагали санкцией английского парламента или короны на создание своего правления. Они приобрели землю индейцев и установили своё собственное правление на простом принципе природы; ... и они продолжали отправлять все функции власти: законодательную, исполнительную и судебную на основании оригинального договора между независимыми лицами» (Курсив мой — Х. А.).

и опыта был бичом истории стран Европы с тех пор, как по завершении эпохи Перикла люди действия и люди мысли разделились, а мышление начало полностью эмансипироваться от реальности, в особенности, от политической эмпирии и опыта. Одно из основных упований Нового времени и его революций состояло в том, что этот разрыв удастся преодолеть; одна из причин, почему его так до сих пор не удалось осуществить, почему, словами Токвиля, даже Новый свет не смог создать новой политической науки, заключается в необычайной живучести нашей традиции мысли, пережившей все ревизии и переоценки ценностей, посредством которых мыслители XIX в. пытались ее подорвать и разрушить.

Как бы то ни было, Американская революция в любом случае опиралась на опыт, а не на теоретические спекуляции. Опыт научил колонистов, что хартии короля и патенты компаний не учреждали или основывали их «Commonwealth», но скорее подтверждали и легализовывали уже существующее; что они подчинялись только тем «законам, которые они приняли при их первом поселении или же тем, которые были позднее приняты существующими законодательными собраниями»; и что их права и свободы были в первую очередь «подтверждены политическими конституциями, которые они приняли» и только во вторую «различными хартиями от Короны»¹. Правда, что «колониальные теоретики много написали о британской конституции, правах англичан и даже о естественных правах и тем самым приняли британскую посылку, в соответствии с которой колониальные правительства производят свою легитимность от британских хартий и поручений»². И все же во всех этих теориях обращает на себя внимание характерное понимание, или скорее непонимание британской конституции как фундаментального закона, способного ограничить законодательную власть Парламента. Оно объясняется интерпретацией британской конституции с точки зрения американских договоров и соглашений, которые и были по существу таким «фундаментальным законом», таким «непреклонным» авторитетом, «рамками»,

¹ Из Resolution of Freeholders of Albermarle County, Virginia, July 26, 1774 составленной Джефферсоном. Королевские хартии упоминаются скорее для отвода глаз, а курьезный термин «хартия договора», звучащий как противоречие в определении, наподобие «жареного льда», однозначно свидетельствует, что Джефферсон имел в виду именно договор, а не хартию (Commager. Op. cit.). И этот упор на договор в противовес хартиям короля или кампаний ни в коей мере не был продуктом революции. Почти за десять лет до Декларации независимости Бенджамин Франклин точно так же утверждал, что «роль английского парламента в работе первоначальных поселений была столь незначительна, что на протяжении долгих лет своего существования они практически не обращали на него никакого внимания». (Craven. . Op. cit. P. 44).

² Jensen M. *Democracy and the American Revolution* // Huntington Library Quarterly. Vol. XII. № 4. 1957.

которые даже верховная законодательная власть не могла «преступить [...] не разрушив своего основания». Именно твердая вера американцев в собственные договоры и соглашения позволяла им апеллировать к британской конституции и их «конституционному праву» «совершенно независимо от принятия во внимание прав, пожалованных хартией». Тем самым уже не так важно, что они, следуя моде того времени, утверждали, будто это право является «неотъемлемым, естественным правом», так как, во всяком случае, для них это право стало законом только потому, что они считали его «присущим британской конституции в качестве ее фундаментального закона»¹.

И опять-таки, опыт преподавал колонистам урок на тему природы человеческой власти, достаточный для того, чтобы, отталкиваясь от в общем терпимых злоупотреблений властью со стороны конкретного короля, прийти к выводу, что монархия как таковая представляет форму правления, недостойную свободных людей, и что «Американская республика ... есть единственная форма правления, которую мы желаем видеть установленной; ибо мы никогда не сможем добровольно подчиниться другому королю, кроме такого, который, обладая бесконечной мудростью, добротой и честностью, единственно достоин неограниченной власти»². И это в то время, когда колониальные теоретики еще вели пространственные дебаты на тему достоинств и недостатков различных форм правления — так, словно этот вопрос не был давно решен. Наконец, именно опыт — «совокупная мудрость Северной Америки, ... собранная в едином конгрессе»³ — более, нежели любая теория или доктрина научил людей революции подлинному пониманию *potestas in populo* римлян, тому, что власть принадлежит народу. Они знали, что этот римский принцип власти способен к созданию формы правления, только будучи дополнен другой римской формулой — *auctoritas in senatu*, авторитет у сената, — из чего, помимо прочего, вытекает, что власть и авторитет — не одно и то же, что государство нуждается и в том, и в другом — *senatus populusque Romanus*, Сенат и римский народ (формула, за-

¹ Из Массачусетского циркулярного письма от 11 февраля 1768 года, составленного Сэмюэлом Адамсом и опротестовывавшего *Townshend Acts* (Акты Таунзенда [англ.] — серия мер, предпринятых Британским парламентом между 15 июня и 2 июля 1767 года и названных по имени их инициатора Чарльза Таунзенда. Предусматривали приостановку ассамблеи Нью-Йорка и повышение пошлин на ряд товаров, чем вызвали оппозицию в американских колониях — примеч. пер.). Согласно Коммаджеру, эти протесты в адрес английского правительства представляют «одни из самых ранних формулировок доктрины фундаментального права в британской конституции».

² Из Инструкций города Молдена см. сноску 62.

³ Слова из Инструкций Виргинии Континентальному конгрессу от 1 августа 1774 года. (Commager. Op. cit).

писываемая аббревиатурой S. P. Q. R.), — как гласит римская формула, объединившая власть и авторитет. Королевские хартии и лояльность колоний королю и английскому парламенту обеспечивали власть американского народа дополнительной поддержкой авторитета. Этот источник авторитета был утрачен с провозглашением колониями своей независимости, так что главной проблемой Американской революции оказалось не только установление новой системы власти, но и одновременно поиск нового источника авторитета, который мог бы оказать этой власти дополнительную поддержку.

ЮРГЕН ХАБЕРМАС ИСТОРИЯ О ДВУХ РЕВОЛЮЦИЯХ¹

Рецензент *Times Literary Supplement* не смог дать внятного отклика на книгу Ханна Арент «О революции», которая сейчас представлена в немецком издании²: три страницы с сохраненным преклонением перед столь умным автором отразили чисто англосаксонскую растерянность по поводу книги, которая читается исключительно как восхваление англосаксонской традиции. Разумеется, эта похвала проявляется в доказательствах, которые выдают скорее старомодную настойчивость принципиального мышления, чем прагматичное понимание политических будней.

В книге «*Vita Activa*», которая должна считаться ее главным философским произведением, Ханна Арентд по-своему обновила притязание классического учения о политике. Она, не обращаясь к традиционному естественному праву, хотела реабилитировать мировоззрение древней политической философии для того мира, который едва ли подходит под старые категории. Новая книга является продолжением этой попытки реабилитации. То, чему мы можем научиться из «*Политики*» Аристотеля, Ханна Арентд хочет перепроверить именно в тех проявлениях, которые, кажется, принадлежат исключительно современному опыту политического: а именно в совершении революции. Эта книга увлекательна и поучительна, поскольку Арентд проводит свое исследование с последовательностью, достойной восхищения. Прежде всего, книга учит нас тому, каким образом философствующий, некогда охвативший целое,

¹ Перевод сделан по: Habermas J. *Die Geschichte von den zwei Revolutionen* (1966) // Habermas J. *Politisch-philosophische Profile*. Frankfurt a. M., 1981. (Перевод Оксаны Пертель).

² Arendt H. *Über die Revolution*. München, 1965.

сегодня сам в интеллектуальных подвижных формах заоченел в импозантной односторонности.

Ханна Арендт ни в коем случае не игнорирует структурные изменения политической области. Она видит, что война — древнейший феномен человеческой жизни — не является константой в отношениях между народами; она знает, что военные столкновения более не похожи друг на друга, поскольку со времен революций политические отношения специфицируются внутри народов. Война и революция оказались зависимыми друг от друга; с момента мировой буржуазной революции границы между ними стерлись до неузнаваемости. Сегодня превосходство одерживают те, «кто понимает, что такое революция, что она может и чего не может, в то время как те, кто ставят на карту исключительно силовую политику и потому настаивают на продолжении войны как *ultra ratio*¹ всей внешней политики, должны будут в недалеком будущем признать, что их оружие устарело». Вьетнамская война — это кровавая демонстрация данного тезиса.

Однако интерес, который Ханна Арендт проявляет к феномену революции, ограничен. Она понимает революцию как основу свободы, но при этом свободу понимает как обыкновенное участие граждан в делах полиса. Арендт отказывается от классического рассмотрения революции как смены государственных форм, от контекста, который в Новое время сделал революции тем, чем они являются сегодня — систематическими политическими переворотами и эмансипацией социальных классов. Конечно, Ханна Арендт не может отрицать фактов. Однако она предпринимает попытку своеобразного синтеза революции с тем, что на языке XIX столетия буржуазно дистанцированно и одновременно милосердно снисходительно называлось «социальным вопросом», понимаемым как критерий профанации чистого политического события. Институционализация публичной свободы не должна быть отягощена общественными конфликтами; политические вопросы не должны смешиваться с социально-экономическими. Так, несомненно, думал Аристотель, и так написано в учебниках о политике Древнего мира. Дабы убедить нас в том, что эти принципы не только освящены историей, но и соответствуют человеческой природе, автор изобретает свою историю о двух революциях: хорошей и плохой.

Хорошая революция произошла в Америке в результате борьбы за политическую свободу, а не из страсти, направленной против эксплуатации и социального угнетения. Ее результатом стала политическая конституция, которая, к сожалению, оказалась в забвении. Вместо этого плохая революция — Французская — стала примером для всех после-

¹ *Ultra ratio* (лат.). — Последний довод. — *Прим. ред.*

дующих. Она с самого начала вывела на политическую сцену пауперизированные массы, а политическую борьбу за свободу превратила в классовую борьбу. Ее средством был террор, а результатом — контрреволюция. Институты публичной свободы были отравлены общественным недоверием.

На самом деле, разница между двумя революциями очевидна; да и Американская была понята как революция только впоследствии. Гегелю были чужды мысли об Американской революции. Ссылаясь на процессы внутренней колонизации, благодаря которым в США стеклись все недовольные, он поясняет: если бы леса Германии (*Walder Germaniens*) еще существовали, то Французская революция не произошла бы. Французская революция стала для Гегеля ключом к философскому анализу мировой истории; в то же время он отказал Северной Америке в титуле страны будущего. Сами американцы только в зеркале французской гражданской войны осознали всю революционность своего государственного учреждения, хотя и американцы, и французы в равной мере основывались на принципах современного естественного права. Американские поселенцы посредством обращения к правам человека хотели легитимировать свою независимость от Британской империи; французы — посредством ниспровержения *ancien regime*¹. Американский Билль о правах в его основных чертах отразил существующее право Британии. Форма его универсального естественно-правового обоснования была необходима для освобождения от метрополии. Французская Декларация, напротив, должна была учредить принципиально новое право, как действующее позитивно. Революционный смысл Французской конституции состоял в учреждении нового порядка; в Америке же он стал лишь следствием независимости, которая в любом случае нуждалась в новой конституции.

Ханна Арендт интерпретирует эти факты весьма своеобразно. Она утверждает, что провозглашение прав человека и гражданина сыграло решающую роль только во Французской революции, потому что здесь общественный статус частных лиц должен был быть гарантирован посредством дополитических прав, направленных против государственного господства, тогда как в Америке основание государства и революционные устремления были направлены на политическую проблему разделения властей. Во Франции речь шла о конституировании свободы, в США — о разрешении общественных конфликтов.

Эта версия переворачивает вещи с ног на голову. Именно в Америке революция состоялась в соответствии с пониманием восходящих к Локку либеральных естественных прав, в соответствии с которыми государство является ничем иным, как производным общественных от-

¹ *Ancien regime* (франц.). — Старый режим. — *Прим. ред.*

ношений. Пейн мог напрямую идентифицировать естественные права человека с торговыми связями и общественной работой. Революционная конституция имела в Америке единственный смысл — защитить спонтанные силы системы, основанной на разделении труда, от деспотичного вмешательства правительства. Поэтому Маркс позднее с полным правом мог сказать: «Благодаря освобождению частной собственности от власти коллектива государство обретает самостоятельное существование вне гражданского общества <...>. Наилучшим примером такого современного государства является Северная Америка». В еще большей степени, нежели в Европе, политическую свободу в Америке с самого начала необходимо понимать как результат освобождения от естественного принуждения благодаря социальной работе: альтернатива свободы и благосостояния, которая определяет Америку Джефферсона, не была заложена в традиции.

Не следует разделять революционные цели в Америке и во Франции так, что контекст общественных интересов и политических движений, который очевидным образом объективировался в буржуазных конституциях, основывается на мобилизации французской нищеты — вместо того, чтобы сказать о капитализме, который Ханна Арендт проигнорировала. Она хочет заставить нас поверить, «что европейская бедность отомстила за процветание американского массового общества, которое грозит разрастись настолько, что погубит всю политическую сферу». В итоге, плохая революция проглотила хорошую. Америке удалось учредить свободу прежде всего потому, что на ее пути не стоял социальный вопрос; однако сохранить политическую свободу не получилось, потому что весь мир оставался во власти нищих масс.

Мы можем обсуждать условия свободы только в контексте освобождения от господства.

Категория господства не должна разделять политическую силу и социальную власть, а должна показывать их сущность — репрессивность. В условиях социальной зависимости право на политическую свободу остается за идеологией. С другой стороны, Ханна Арендт имеет основание настаивать на том, что достижение благосостояния не совпадает с освобождением от господства. Именно древнейшее понятие политической свободы, которое заключается в участии граждан в общественных делах, заостряет внимание на актуальной опасности того, что революция ради своих кажущихся успехов предаёт собственную идею. На Востоке, как и на Западе изначальный импульс распространения свобод исчерпывается целями технически успешного управления беднотой и сохранением административной системы, ослабленной общественными конфликтами и экономическим ростом. Такие системы могли бы даже называться массовыми демократиями, но без минимальной гарантии по-

литической свободы: «Несмотря на все опросы общественного мнения, мнение народа остается непостижимым по одной простой причине, что его просто не существует. Мнение может обнаружиться только в процессе общественного дискурса, оно является результатом живого обмена мнениями, и там, где нет пространства для такого обмена мнениями, существуют лишь настроения разного рода, но не мнение». До тех пор пока процесс политического волеобразования не связан с принципом всеобщей и свободной от принуждения дискуссии, освобождение от репрессий — политическая цель всех революций XVIII столетия — является химерой. Поэтому Ханна Арендт сожалеет, что революция обнаружила себя во всех институтах, но только не в духе, который сам обнаружил себя в ней. Она столкнулась с апорией, согласно которой «принцип общественной свободы и общественного счастья, без которых немислима ни одна революция, мог оставаться привилегией лишь поколения отцов-основателей».

Конечно, существуют примеры институционализации непосредственной демократии: в народных клубах между 1792–1793 гг., в секциях Парижской Коммуны 1871 г., в Советах 1905 г. и 1917 г., в революционных советах 1918 г. Эти формы совещательной системы являются истинными состояниями революционного духа. Для Ханны Арендт этого достаточно: в них каждый раз познается истинный порядок свободы. При этом она все-таки избегает ответа на вопрос, почему регулярные революции «плохого типа» совещательной организации имели следствием только нечто преходящее, в то время как Американская революция в радикально-демократических планах Джефферсона представлялась как система советов. Вместе с тем это не убавляет больших заслуг книги, которая сопоставляет американскую мечту о частном благосостоянии с мечтой Джефферсона об американской революции: «Тем не менее, Джефферсон имел представление о том, как могла бы быть опасна идея предоставления народу места в публичной сфере лишь через избирательную урну. Он видел смертельную опасность, заключающуюся в том, что Конституция предоставила всю власть народу без обеспечения возможности, в рамках которой он мог бы проявлять себя в качестве граждан республики. Это могло свестись только к тому, чтобы передать всю полноту власти народу, то есть частным лицам, потому что едва ли они могли исполнять функцию граждан». Это — уже первый шаг к осознанию буржуазной революции. Джефферсон не мог бы его сделать без воодушевления духом революции, которая еще радикальнее, чем в Америке должна была организовать одновременно новый порядок государства и общества, а потом довольствовалась «кодексом Наполеона».

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

**«ПОНЯТИЕ» РЕВОЛЮЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ 1789–1848 ГГ.**

Ночью четырнадцатого июля 1789 года, когда Людовик XVI узнал о падении Бастилии, освобождении ее заключенных и бегстве королевских войск, он воскликнул: «Это мятеж?». На что получил резкий ответ: «Нет, это — революция!»¹. Называя штурм Бастилии бунтом, король подтверждал свою власть и наличие в своем распоряжении средств расправы с восставшими, но ему ясно дали понять, что случившееся *необратимо* и превышает силу короля, а потому возникший феномен следует называть революцией. Ханна Арендт отмечает, что с тех пор слово «революция» необходимо стало связываться с моментами новизны, начала, насилия и, самое главное, *необратимости*². Революция стала провозвестником крупных перемен в идеологии, политике, социальных структурах и национальном самоопределении. Как сказал один западный исследователь: «Революция (была) той тенью, под которой прошел весь девятнадцатый век»³.

Революция, ее «понятие» и «длинное XIX столетие»

XIX столетие действительно по праву можно назвать столетием революции. Если рассматривать его не буквально, то есть хронологически, а концептуально, то его вполне можно вписать в рамки двух важнейших событий мировой истории — Великой Французской революции 1789 года и Великой Октябрьской революции 1917 г. Собственно говоря, XIX век начался революцией и ею же закончился. А что между этими событиями? Восстания, бунты, освободительные войны, движения за национальную независимость, перевороты и так далее. Революция с самого рождения мгновенно переросла свою событийность и приобрела более прочный онтологический статус — статус эпохи. Один из первых политических мыслителей, кто стал философски осмыслять революцию — Жозеф де Местр — так сказал о ней: «Долгое время мы совсем не понимали революции, свидетелями которой являемся: долгое время мы принимали ее за событие. Мы заблуждались: это эпоха»⁴. Это был прогноз XIX века, который, сегодня это можно констатировать, сбывся с большой степенью точности.

¹ Валлерстайн И. *После либерализма*. М., 2003. С. 76.

² См.: Арендт Х. *О революции (фрагмент из книги)* // НЛО. № 26. 1997. С. 17.

³ Цит. по: Валлерстайн И. *После либерализма*. М., 2003. С. 76.

⁴ Местр Ж. -М. де. *Рассуждения о Франции*. М., 1997. С. 205.

С 1789 года революция как термин-неологизм¹ прочно вошла в словарь политического языка современности наряду с другими неологизмами того времени — социализмом, либерализмом, консерватизмом, национализмом, демократией, пролетариатом, пауперизмом и так далее. Тем не менее, объем содержания данного понятия никогда не был четко определен, и он всегда менялся в зависимости от того, кто и как употреблял его в своей политической риторике: каждый общественный мыслитель или лидер какой-либо партии понимал революцию по-своему. В итоге термин так и не приобрел определенного понятийного статуса. Почти сразу после пришествия революции как социально-политического феномена каждый философ или общественный деятель стал переносить свойства какого-либо явления на революцию, неважно, будь то определение ее как божественного вмешательства в грешные людские дела или как резкого метафизического и метаисторического прорыва в социализм. Таким образом, революция (не как какое-то конкретное событие, а как определение какого-либо произошедшего или произошедшего события), действительно максимально, насколько это было вообще возможно, расширила поле своих семантических значений, до такой степени, что превратилась буквально во все, перестав быть чем-либо конкретным.

Ввиду этих замечаний становится понятно, что дать универсальное определение «революции» просто невозможно. В этом смысле можно полностью согласиться с Джоном Даном в том, что понятие «революции» «более проблематично, чем большинство других известных категорий политического понимания»². Даже наиболее расхожая дефиниция — «1) переворот в области мировоззрения, науки, искусства, моды; 2) внезапное насильственное изменение существующего общественно-политического строя — в противоположность эволюции, постепенному изменению»³, или более специфическая — «важнейшее историческое и моральной событие, особенный род социальной жизни, целый мир, исполненный жизни и действия»⁴, — вызывают некоторые сомнения в своей правомерности. Даже такой авторитетный классик общественной науки как Питирим Сорокин — и тот отказывается дать строгое определение этого понятия, признавая, что все дефиниции «революции» чересчур формальны и совершенно неадекватно отражают само явление⁵. Тем

¹ Подробнее о термине см. интересную работу: Магун А. *Событие революции* // НЛЮ. № 64. 2003.

² Dunn J. *Revolution* // Political Innovation and Conceptual Change. Cambridge, 1989. P. 333. (Настоящее исследование представлено в данном издании. — Прим. ред.).

³ Философский энциклопедический словарь / Под ред. Е. Ф. Губского, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. М., 2002. С. 389.

⁴ Дубко Е. Л. *Политическая этика*. М., 2005. С. 502.

⁵ Сорокин П. А. *Человек. Цивилизация. Общество*. М., 1992. С. 268. См. также: Сорокин П. А. *Социология революции*. М., 2005.

не менее, в соответствии с законами добросовестного научного исследования всегда необходимо давать определение того, о чем будет идти речь дальше, а так как она будет идти исключительно о «революции», то дефиниция «понятия» нужна обязательно.

Согласно формальной логике дать определение понятию — значит узнать, о каких предметах идет речь и на основании каких признаков они выделены в особый класс. Таким образом, нужно выделить объем (класс предметов) и содержание (совокупность *основных* признаков этих предметов) понятия. Задать содержание определяемого — значит указать достаточную совокупность необходимых признаков для того, чтобы отличить входящие в понятие предметы от всех других. Вот почему определение должно строиться на основе как минимум двух признаков — родового и видового. В соответствии с этими требованиями «формальной» логики можно проследить ту дефиницию «революции», которую ей обыкновенно дают.

Наиболее адекватное определение «революции» дается в «Философском энциклопедическом словаре» 1983 г.: «глубокое качественное изменение в развитии каких-либо явлений природы, общества или познания (например, геологическая Р., промышленная Р., *научно-техническая революция*, *культурная революция*, Р. в физике, Р. в философии и т. д.)»¹. С точки зрения классической логики, родовым признаком данного понятия будет «развитие явлений природы, общества или познания», видовым — «качественные изменения». Но очевидно, что даже в это конкретное определение не включены некоторые «необходимые признаки» содержания — «необратимые последствия», «масштабность изменения» и пр. Несмотря на относительную приемлемость данного определения, по большому счету, оно не отражает сущности понятия и, в целом, весьма условно, схематично и годится исключительно для периферийных исследований.

Но если строго и прямо ответить на вопрос «Что такое революция?» не представляется возможным, то можно ли говорить в таком случае только об отдельном конкретном событии, которое кто-то назвал «революцией», и это название затем прижилось? Это неверно, потому что, по существу, как уже выяснилось, революция имеет метасобытийный характер и не является простым конкретным фактом.

Существует ли в таком случае способ дать определение понятию революции? Такой вопрос является скорее некорректным. Дело в том, что революция, — это не всегда понятие, во всяком случае, с точки зрения классической логики. По этой причине целесообразно говорить не об одном определении, а о различных интерпретациях революции, в

¹ Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 574.

соответствии с которыми можно углубиться в понимание ее значения, сущности и альтернативных смыслов. Можно сказать даже, что революция — фундаментальная проблема политической философии, потому что, во-первых, она вызывает споры в качестве феномена политической жизни, во-вторых, она представляется чем-то таким, что не поддается однозначной трактовке. Тогда в этом контексте вернее было бы говорить не о понятии революции, но о том, что Гегель назвал «понятием» (*Begriff*), которое он определял так: «это углубившаяся в себя всеобщая сущность положения вещей»¹. Для Гегеля понятие имело объективное значение в противоположность понятию «как умственному отражению предмета в сознании», то есть понятию формально-логическому. Оно не имело четких фиксированных границ в определении, пребывая в постоянном движении. Таким образом, каждый мыслитель мог составить свое «понятие» революции.

Следовательно, существует возможность попытаться «определить» сущность революции, избегая каких-либо однобоких формальных и неадекватных дефиниций, то есть посредством политических, исторических и социологических рефлексий тех или иных персонажей проследить концептуализацию «понятия» «революции» в философском дискурсе первой половины «длинного» XIX столетия (1789–1917 гг.), то есть с 1789 г. до 1848 г. Поскольку упомянутый «длинный» период мировой истории для столь не крупного по объему исследования является слишком большим, то удобнее всего будет сконцентрировать внимание в основном на первой половине века, тем более что это время действительно было «эрой революции», и, кроме того, именно этот хронологический отрезок интересен в философском осмыслении революции.

Здесь следует сказать, что концепцию «длинного» XIX столетия разработал английский историк Эрик Хобсбаум. Он схематично поделил XIX в. на три «эры»: «Эру революции — 1789–1848», «Эру капитала — 1848–1875» и «Эру империи — 1875–1914» (такие названия носят книги его трилогии, посвященной девятнадцатому веку). Несмотря на то что все-таки XIX столетие было целиком обусловлено фактором революции (именно поэтому были упомянуты даты 1789–1917), с периодизацией Хобсбаума необходимо согласиться, потому что он задает каждой новой «эре» разный основополагающий критерий, оставаясь при этом в рамках одной «революционной» эпохи. То, что в данном случае вполне оправданно говорить о «длинном XIX веке», доказывают концепции некоторых историков, согласно которым XX в. следует считать «коротким». Например, об этом писали Эрик Хобсбаум и Джон Лукач².

¹ Гегель Г. В. Ф. *Наука логики*. В 3 тт. Т. 3. М., 1972. С. 102–103.

² См.: Хобсбаум Э. *Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991)*. М., 2004; Лукач Д. *Конец двадцатого века и конец эпохи модерна*.

Последний очень точно указал главные отличительные особенности и «короткого», и «длинного» столетий. По его мнению, характерной чертой XX в. являлась война, тогда как XIX — революция¹.

Также необходимо обратить внимание на введенную Хобсбаумом в дискурс общественных наук концепцию «дуальной революции», согласно которой современная история началась с двух тесно связанных между собой событий. Первое — это индустриальная революция в Британии, которая дала возможность безгранично совершенствоваться и распространяться на глобальном уровне в процессе постоянного экономического роста производительную систему, названную впоследствии капитализмом; второе — это франко-американская политическая революция, которая установила основные модели общественных институтов буржуазного общества².

С точки зрения Хобсбаума, оба элемента «дуальной революции» институализировали себя впоследствии в двух интеллектуальных течениях — политической экономии и утилитарной философии³. В контексте данного исследования наибольший интерес представляет второй компонент этой «дуальной революции». Но относительно его идейного выражения с Хобсбаумом трудно согласиться, ибо та самая философская жилка революции охватила собою гораздо больше интеллектуальных течений, чем полагает историк. В частности, наряду с утилитаристами и безотносительно философии утилитаризма слово «революция» активно использовалось мыслителями абсолютно разной идейно-философской ориентации. Дальнейшее изложение материала должно на конкретных примерах аргументировать этот тезис. Отсюда вытекает и главная цель исследования: не дать дефиницию концепту «революции», а рассмотреть те основные точки системы координат философско-политического дискурса XIX столетия, в котором этот концепт стал главной темой обсуждения. Такой подход к проблеме позволит рассмотреть важность понятия революции в политических дискуссиях первой половины XIX столетия и в какой-то мере понять логику развития мысли о метафизике революции.

Нужно заметить, что в общественный дискурс метафору «революции» вводили и «левые», и «правые» политические мыслители, но последние в

СПб., 2003. Следует сказать, что Хобсбаум определяет рамки XX века как 1914–1991 гг., тогда как Лукач как 1914–1989 гг. Можно предположить, что оставшиеся три года, о которых речь шла выше (т. е. до 1917), «длинное» XIX столетие доживало свои последние дни.

¹ Лукач Д. *Конец двадцатого века и конец эпохи модерна*. СПб. 2003. С. 8. О войне и революции как центральных темах политического дискурса XX в. см.: Arendt H. *On Revolution*. N.-Y., 1965. P. 1–11.

² Подробнее см.: Hobsbawm E. *The Age of Empire. 1875–1914*. L., 2003.

³ См.: Hobsbawm E. *The Age of Empire. 1875–1914*. L., 2003. P. 9.

свете данного исследования все же представляют больший интерес, так как они наполняли содержание этого понятия более богатым материалом, нежели первые (хотя и среди них были исключения). И тех, и других представителей «революционного дискурса» Сорокин красноречиво назвал «слащавыми иллюзионистами» и «горькими мистификаторами»¹, отказав им в адекватном осмыслении исторических фактов; тем не менее, их мнения и оценки очень важны в ракурсе этой работы, потому что благодаря им можно понять то значение эпохи, которое во многом определялось революцией.

Прежде чем обращаться к конкретным персонажам, необходимо сказать об участниках «революционного дискурса». По существу, Бердяев вполне точно определил их. Он констатировал, что на революцию возможны три точки зрения: «1) революционная и контрреволюционная, то есть людей, активно в ней участвующих, 2) объективно-историческая, научная, то есть людей, познавательно созерцающих, но в ней не участвующих, и 3) религиозно-апокалиптическая и историософическая точка зрения, то есть людей, принявших внутрь себя революцию, ее мучительно переживающих и возвышающихся над ее повседневной борьбой»².

Этот подход нуждается в некоторой коррекции. Действительно, познавать революцию можно несколькими способами и весьма по-разному (условно назовем это «гносеологией революции»). Первый уровень познания — активное участие, будь то вооруженное выступление, восстание, бунт или организационная деятельность. Второй уровень — по возможности объективное («научное») исследование конкретных проявлений революции. Здесь возможны вариации: событие или события можно рассматривать с исторической точки зрения, которая носит описательный характер («История Французской революции» Кропоткина, «Французская революция» Карлейля³), и с социологической, которая имеет более сложный, объяснительный характер («Старый порядок и революция» Токвиля и «Малый народ и революция» Огюстена Кошена⁴). Например, такие мыслители, как Маркс, Конт и Токвиль пытались выявить субъектов революции 1848 г., найти ее адекватные причины и объяснить ее неудачи. И, наконец, третий уровень познания — метафизическое осмысление революции и ее философская концептуализация, которая не совсем совпадает с бердяевской «религиозно-апокалиптической точкой зрения», но абсолютно связана с метафоричностью изложения.

¹ Сорокин П. А. *Человек. Цивилизация. Общество*. М., 1992. С. 28.

² Бердяев Н. А. *Философия свободы. Смысл и истоки русского коммунизма*. М., 1997. С. 358.

³ См.: Кропоткин П. А. *Великая Французская революция. 1789–1793*. М., 1979; Карлейль Т. *Французская революция. История*. М., 1991.

⁴ См.: Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М. 1997; Кошен О. *Малый народ и революция*. М., 2004.

Для русских революционеров революция была руководством к действию, определенной практикой, с помощью которой должен был воцариться новый социальный порядок справедливого общественного строя. Так, романтический бунтарь и анархист Бакунин считал, что революция — это бунт; народник Лавров думал, что это — пропаганда, а русский бланкист Ткачев полагал, что это — заговор. Для Маркса революция была борьбой классов, а для Кропоткина политическим самоопределением народов. Но только для третьих она была чем-то большим, чем просто практика, событие или борьба. Для этих мыслителей она приобретала метафизический статус, преодолевая все общепринятые определения в политических категориях и смыслах. Она становилась духом, принципом и эпохой, занимая свою специфическую нишу в философском дискурсе, все больше и больше принимая форму «понятия».

Метафизика революции

Одним из первых, кто таким образом отреагировал на Революцию вообще и на Великую Французскую революцию в частности, был Эдмунд Бёрк. Несмотря на то что он воспринял ее как событие, возможно, открывающее собой совершенно новую эпоху, все же в своем политическом анализе произошедшего на его глазах хаоса он использовал метафорический язык. Европейский призрак, но не коммунизма, конечно, а той «революционной заразы», о которой так красочно писал Маркс, впервые появился на страницах сочинений Бёрка. Он писал: «Из могилы убитой во Франции монархии восстал громадный, страшный, бесформенный призрак с обликом, более ужасающим, чем что бы то ни было дотоле воображаемое, который разрушил устои человеческого общества. Идя напролом к своей цели, не страшась опасности, не испытывая угрызений совести, попирая все общепринятые принципы и правила поведения, этот ужасный призрак подавил людей в силу того, что они не могли допустить и мысли о возможности его возникновения из принципов, которые они считали (скорее в силу привычки, чем чувства) необходимыми для их же собственного блага и обычных форм их деятельности»¹. Как видно, революция явилась для Бёрка «злом», «заразой» и «призраком», и весьма характерно, что все же, отвлекшись от своих тщательных, весьма приземленных размышлений, он не удержался, чтобы в пылу своего красноречия не превратить революцию в живой и одушевленный объект, не имеющий ни стыда, ни страха, ни совести, ни моральных убеждений. В целом, мыслитель по возможности старался избежать неприкрытых и оторванных от жизни «метафизических абстракций»², предпочитая по-

¹ Бёрк Э. *Размышления о революции во Франции*. Л., 1992. С. 5.

² Бёрк Э. *Размышления о революции во Франции*. Л., 1992. С. 68.

следние комплексному анализу следствий, произведенных событиями во Франции.

Эстафету Бёрка перенял Жозеф де Местр, фигура, имеющая большое значение для понимания процесса концептуализации революции в философском осмыслении. Конечно, в этом последнем значении де Местр пошел гораздо дальше своего предшественника. Он не просто рассуждал о социальных последствиях революции, а придал ей метаполитический и метафизический характер. Поняв революцию как Дух, де Местр рассматривал ее в моральных и религиозных категориях. Первоначально его работа «Рассуждения о Франции» даже имела название «Религиозные и моральные рассуждения о Франции», от которого автору впоследствии пришлось отказаться.

В религиозных понятиях де Местр осудил революцию как самое страшное зло, символизирующее гнев Божий на испорченные людские нравы. Но это же зло, с его точки зрения, было необходимым, ибо оно предвещало возрождение и людей, и наций. Согласно мысли де Местра, с одной стороны, революция (почти так же, как и для Бёрка) — это одушевленный объект, сметающий все на своем пути огненный поток, направить который в определенную сторону люди, будь то отдельные личности или массы, просто не в силах. В каком-то смысле продолжая метафору Бёрка, де Местр писал, что «французская Революция управляет людьми более, чем люди управляют ею», что «даже злодеи, которые кажутся вожаками революции, участвуют в ней в качестве простых орудий», что «она совершается сама собой»¹. Революция была Божественным откровением, наказанием за испорченность и пренебрежение к религиозным традициям, столь сильно захватившим философские умы во Франции XVIII столетия.

С другой стороны — той, что касается исключительно политического прочтения Революции, — де Местр оценивал ее не только в абстрактных, но и в конкретных понятиях. Он увидел в ней не просто крушение *ancien regime* (или *old regime*) — разрушение издревле сложившегося политического и социального порядка, — но и конец «старого мира» как такового, со всеми его нравственными, религиозными, экономическими и другими структурами. Кроме того, «Рассуждения» де Местра были написаны и на злобу дня, то есть имели определенную практическую значимость: они были опровержением политической брошюры либерала Бенжамена Констана «О мощи нынешнего правительства Франции и о необходимости принять его сторону» и манифестом, главной целью которого было подготовить умы Франции к возвращению в страну короля.

Самое поразительное, что можно прочесть в понимании революции XIX столетия, это то, что именно благодаря ей смогли в полной мере

¹ Местр Ж. -М. де. *Рассуждения о Франции*. М., 1997. С. 14-15, 18.

сложиться и дойти до последней ступени в своих политических взглядах такие мощнейшие умы, как Бёрк и де Местр. Дарсель, исследователь, который непосредственно занимался проблематикой мысли де Местра в отношении революции, справедливо заметил, что де Местр был не только жертвой политического катаклизма, но в каком-то смысле и его сыном¹. Можно сказать даже больше: он был сыном революции более, чем ее жертвой. Революция придала значимость его судьбе и вообще судьбам самых радикальных ее ниспровергателей; и нужно заметить, что в плане философской рефлексии революции авантюристы от разума пошли гораздо дальше авантюристов от политики, хотя, как видно выше, и те, и другие рассуждали о ней одинаково метафорически (но не одинаково метафизически). Как мудро заметил Питирим Сорокин, судьбы «слащавых иллюзионистов» и «горьких мистификаторов» поразительно схожи между собою. Это мнение справедливо, ибо никто не усомнится в том, что «реакционеры» обязаны революции меньше, чем ее предводители.

Лучший способ оставить вещи такими, какие они есть, — это не думать о них вообще и принять их без всякого размышления; это именно то, что всегда предпочитали делать настоящие консерваторы, в то время как настоящие радикалы слепо пытались приблизить новый порядок вещей, неважно, насколько кровавыми могли оказаться последствия этого. «Если по какому-то неудачному стечению обстоятельств консерватора все-таки заставляет задуматься какой-то беспокойный реформатор, то его любимой философией становится антирационализм, отрицающий возможность понимания вещей и, тем самым, их изменения»². Это было общим местом всех защитников примордиального инстинкта или божественного откровения в поколении Гегеля. Это было характерно и для Бёрка, и для де Местра, и для славянофилов, и впоследствии для Карлейля. Главным исключением из этого списка является Гегель, который не только делал культ из движения и изменения, но и был приверженцем философии рационализма. Высшая степень метафизического прочтения событий 1789 г. и революции как таковой с позиций рационализма получила свое полное развитие у Гегеля. В совсем небольшом по объему, но важном по мощи теоритизирования отрывке «Феноменологии духа» «Абсолютная свобода и ужас» Гегель с предельной степенью метафоричности препроводил саморазвитие мирового Духа сквозь современную ему Францию. В целом его рассуждения хорошо укладываются в ту концепцию, которую он будет развивать в «Лекциях по философии истории».

¹ См.: Местр Ж. -М. де. *Рассуждения о Франции*. М., 1997. С. 209.

² Malia M. *Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism*. N.-Y., 1965. P. 234.

Гегель рассуждал, что к концу XIX в. Дух в своем развитии стал существовать в качестве *абсолютной свободы*, что он воплотился в сущности всех духовных масс как реального, так и сверхчувственного мира. *Свобода была абсолютной*, потому что впервые в мировой истории субъектом политического процесса стали массы, которые выразили *общую волю*; *воля была общей*, потому что представляла собой не молчаливое согласие этих масс, выраженное посредством политического представительства (ясно, что такой вариант демократического развития был *свободным* лишь отчасти), а согласие всех отдельных лиц как таковых. Волю, давшую о себе знать в эпоху Французской революции, Гегель мыслил «сущностью всех и каждой личности, так что каждый всегда всецело участвует во всяком действии, и то, что выступает как действие целого, есть непосредственное и сознательное действие *каждого*»¹.

Но общая воля все же не удержалась от того, чтобы не институализировать себя в качестве правительства: наступил «ужас» — бесконечные казни, террор и деспотизм. Как только абсолютная свобода превратилась в свободу относительную, рассуждал Гегель, то есть обрела новое конкретное представительство — оформленную политическую власть, то общая воля превратилась в волю отдельных индивидов. Таким образом, согласно мысли Гегеля, правительство «с одной стороны, исключает прочих индивидов из своего действия, а с другой стороны, благодаря этому оно конституируется как такое правительство, которое есть определенная воля и которое вследствие этого противоположно общей воле»². Вот почему никакого положительного действия абсолютная свобода создать не может, ибо «она есть лишь *фурия* исчезновения»³. Очень важно сказать, что этот казус абсолютной свободы не был случайностью, а был исторической необходимостью саморазвития Духа, потому что, как справедливо подметил Маркузе, до тех пор, пока процесс освобождения индивида осуществляется «борьбой индивидов *против* государства, а не самим государством», он обязательно приводит к террору и уничтожению⁴.

При видимой непохожести в осмыслении революции с Бёрком и де Местром, Гегель все-таки остается близок им, ибо его Дух, вступая в революцию, *de facto* остается единственным субъектом мировой истории, так как руководит и массами, и личностями, не считаясь с мнениями ни тех, ни других. Революция не была положительной, потому что она

¹ Гегель Г. В. Ф. *Феноменология духа*. СПб., 1999. С. 315.

² Гегель Г. В. Ф. *Феноменология духа*. СПб., 1999. С. 318.

³ Гегель Г. В. Ф. *Феноменология духа*. СПб., 1999. С. 317.

⁴ См.: Маркузе Г. *Разум и революция*. СПб., 2000. С. 131.

лишь изменила внешние формы объективного мира и не дала сущностную свободу прочим субъектам, за исключением Духа.

При всем своем метафорическом прочтении гегелевский политический анализ 1789 г. остается вполне конкретным. Как это ни парадоксально, в некотором смысле, осмысление Гегелем революции было более прикладным и эмпирическим, чем, скажем, у Бёрка. Изъясняясь сложным философским языком, немецкий мыслитель предложил определенную проекцию метафизических категорий в конкретные политические события, создав тем самым абсолютно новый и беспрецедентный вид политической философии (суть которого не теоретизирование о том, что есть благо, а определенное совмещение и сопоставление двух разных по содержанию и объему областей — философии и политики).

В этом контексте также необходимо сказать еще об одном мыслителе, писавшем об истории Французской революции. Томас Карлейль отличался от предшествующих персоналий тем, что даже и не пытался понять 1789 г. и события, последовавшие за ним. Следовательно, он вовсе не стремился объяснить то, о чем говорил. Тем не менее, его книга «Французская революция. История», написанная в 1837 г., изобилует яркими художественными образами, которыми он наделил революцию. Его стремление избежать анализа можно объяснить очень легко: он считал, что понять и объяснить тот мистический характер, который имела революция во Франции, человек не в состоянии, он просто «не может объяснить этого».

В тех немногочисленных, но самых важных местах своего сочинения, где Карлейль пытается говорить о революции в абстрактных понятиях, он очень вдохновенно пишет: «Что же это за явление, называемое революцией, которое подобно ангелу смерти, нависло над Францией, топя, расстреливая, сражаясь, сверля дула, выделявая человеческие кожи? Слово “революция” — это лишь несколько букв алфавита; революция же — это явление, которым нельзя овладеть, которое нельзя запереть под замок. Где оно находится? Что оно такое? Это безумие, которое живет в сердцах людей. Оно и в том, и в другом человеке; как ярость или как ужас оно во всех людях. Невидимое, неосоздаемое, и, однако, никакой черный Азраиль (в мусульманской мифологии ангел смерти. — А. П.), распростерший крылья над половиной материка и размахивающий мечом от моря до моря, не мог бы быть большей действительностью»¹.

Очень скрупулезно подбирая слова, Карлейль стремится убедить читателя в сверхъестественном характере революции. Это не просто художественное изображение; это — мистическое усмотрение сути революции. Эту «хаотическую грозовую тучу со всей ее неприглядной тьмой»

¹ Карлейль Т. *Французская революция. История*. М., 1991. С. 506.

не готовит ничто, она возникает сама, и из нее «исходят, следуя один за другим, почти не вызванные чьей-либо волей, но в силу великой необходимости, то ослепительная молния, то огненный поток, разрушительные и саморазрушающиеся, пока не наступит конец»¹. То, что это — не простая страсть к риторике и не обыкновенный художественный образ, доказывает то, что в другом месте Карлейль использует почти то же описание: «Туманное “смерть-рождение мира”, огромное дымное облако, с одной стороны прорезанное как бы небесными лучами, с другой — опоясанное как бы адским пламенем!»². Таким образом, Карлейль, верный своей романтической историософии, наделил революцию мистическими характеристиками.

Социология революции

Чтобы понять, насколько контрастировали метафизические объяснения революции, произошедшей в конце XVIII века, с социологическими объяснениями революции, случившейся во второй половине XIX столетия, необходимо сказать несколько слов о последних. Раймон Арон точно называет ведущих социологов революции 1848 года. Это Карл Маркс, Огюст Конт и Алексис де Токвиль³. Каждый из этих мыслителей предложил свое понимание событий 1848 года. Конт анализировал институт английского парламентаризма — институт, абсолютно негодный для Франции, — осудив его как случайность истории⁴; Маркс объяснял то, как и почему события 1848 г. привели участников восстания к «трагикомическим завоеваниям»⁵; Токвиль указывал, что причинами революции были индустриализация, презрение к правящему классу, централизация и непостоянство институтов, идей, нравов и так далее. ⁶ Как видно, в объяснениях этих людей нет почти ничего, что можно было бы назвать метафизическим. Тем не менее, полезно обратить внимание на то, как они понимали Революцию не 1848, но 1789 г.

¹ Карлейль Т. *Французская революция. История*. М., 1991. С. 506.

² Карлейль Т. *Французская революция. История*. М., 1991. С. 367.

³ См.: Арон А. *Этапы развития социологической мысли*. М., 1993. С. 275–276.

⁴ См.: Арон А. *Этапы развития социологической мысли*. М., 1993. С. 276–279.

⁵ См.: Маркс К. *Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.* // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч.: в 50 т. 2-ое изд. Т. 7. М., 1956; Маркс К. *Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта* // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч.: в 50 т. 2-ое изд. Т. 8. М., 1957; Арон А. *Этапы развития социологической мысли*. М., 1993. С. 258–296.

⁶ См.: Арон А. *Этапы развития социологической мысли*. М., 1993. С. 282–283.

Конт был самым последовательным в своих объяснениях, которые по преимуществу можно назвать «позитивными». Хорошо известно, что всю интеллектуальную историю человечества он делил на три крупные «стадии»: теологическую (или фиктивную), метафизическую (или абстрактную) и позитивную (или реальную)¹. Главный враг всякой метафизики, он указал на связь Французской революции 1789 г. и перехода от абстракций к позитивизму. Революционный кризис, затянувшийся на шестьдесят лет, он также поделил на две стадии: отрицательную, разрушившую старую систему интеллектуальных понятий, и положительную, призванную завершить основную разработку новой системы. Таким образом, он отчетливо указывает на ту устойчивую связь, которую имеют между собой обе революции. Так, 1789 г. был концом метафизической стадии, а 1848 — началом позитивной².

Токвиль не менее чем Конт был оригинальным интерпретатором событий 1789 г. Сам он очень точно сказал о своем труде «Старый порядок и революция»: «Публикуемая мною книга — вовсе не история Революции. Моя книга — это исследование Революции»³. Тем самым он давал понять, что избегает описывать события, но стремится объяснять и понимать их. Французский политический философ Клод Лефор, ссылаясь на историю Франсуа Фюре, верно указал на новаторство Токвиля: последний «освободил мысль о Революции от веры в Революцию»⁴. Тем самым Лефор хотел дать понять, что заслугой Токвиля было не только стремление анализировать события, но и стремление избежать идеологических предрассудков (но не пристрастия)⁵.

Но этот аналитический характер работы Токвиля отмечен все тем же социологизмом и позитивизмом. Он говорил исключительно о централизации и индустриализации, а не о божественном вмешательстве или некоем абсолюте, на месте которого мог быть человек, народ или нация. Как и Конт, Токвиль выделил две фазы революции, начавшейся в 1789 г.: первая, когда французы стремились полностью уничтожить свое прошлое; вторая, когда они пытались многое позаимствовать из

¹ См.: Конт О. *Дух позитивной философии* // Западно-европейская социология XIX века. М., 1996. С. 8–21.

² См.: Конт О. *Система позитивной политики* // Западно-европейская социология XIX века. М., 1996. С. 191–192.

³ Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М., 1997. С. 3.

⁴ Лефор К. *Мыслить революцию во Французской революции* // Лефор К. Политические очерки. М., 2000. С. 135.

⁵ «Я надеюсь, что написал настоящую книгу без предрассудков, но не претендую на беспристрастность. Вряд ли французам позволено быть беспристрастным, когда он говорит о своей стране и размышляет о своем времени», — вот что сказал сам Токвиль о своем «исследовании Революции». См.: Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М., 1997. С. 6.

этого прошлого¹. Он рассказал, каким образом в середине XVIII столетия литераторы сделались самыми влиятельными политиками², как соединилась идея о фактическом изменении административной власти с идеей символического изменения статуса государства, как идея равенства и растущего сходства индивидов слилась с идеей все более заметного неравенства и различий³. Из этих объяснений хорошо видно, как разительно отличаются концепции Токвиля и Конта от рассуждений де Местра и Гегеля.

Отношение Маркса к революции⁴ и его анализ этого явления слишком хорошо известны, чтобы обсуждать это здесь. Достаточно сказать, что в работах «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.» и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Маркс действительно, и в этом Арон абсолютно прав, показал себя блестящим социологом, а не метафизиком. В этом (в методологическом, а не идеологическом прочтении революции) он, конечно, гораздо ближе к Конту и Токвилю, чем де Местру. Хотя и у него часто были прозрения метафизического характера. Так, все помнят слова, которыми начинается «Манифест коммунистической партии»: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма»⁵. Это, без сомнения, наводит на мысль о том призраке, которого так боялся и появление которого так пытался отсрочить Бёрк. Маркс же мечтал о том, чтобы этот призрак поскорее обрел плоть и кровь, потому что тогда он нанес бы удар всем реакционным «силам старой Европы»⁶. Один современный западный исследователь русского происхождения не так давно сделал очень интересное наблюдение. Анализируя тексты русских политических мыслителей, он обнаружил в одном сочинении Герцена (о котором подробнее будет сказано ниже) следующую фразу: «...призраки ходят быстро в наши дни!»⁷. Ученый полагает, что это, без сомнения, было прямым намеком на «Манифест коммунистической

¹ См.: Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М., 1997. С. 4.

² См.: Токвиль А. де *Каким образом в середине XVIII столетия литераторы сделались самыми влиятельными политиками и что из этого вышло* // НЛО. № 9. 1994. С. 376–384.

³ См.: Лефор К. *Мыслить революцию во Французской революции* // Лефор К. Политические очерки. М., 2000. С. 136.

⁴ О взглядах Маркса на революцию см. оригинальную интерпретацию Сидни Хука, представленную в настоящем издании.

⁵ Маркс К. *Манифест коммунистической партии* // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т. 1. М., 1983. С. 106.

⁶ Оригинальную интерпретацию пассажа Маркса о «призраке коммунизма» см.: Деррида Ж. *Призраки Маркса*. М., 2006. С. 15–17.

⁷ Герцен А. И. *Франция или Англия?* // Герцен А. И. Полн. Собр. Соч.: В 30 т. 1954–1965. М., Т. 13. 1958. С. 253.

партии»¹. Таким образом, становится понятным, какое значение придавали некоторые мыслители революции, подчас наделяя ее мистическими характеристиками.

Наверное, одним из самых интересных социологов Французской революции 1789 г. был Огюстен Кошен. Именно его интерпретацией пользуется французский ученый Филипп Бенетон, чтобы объяснить важность этой революции². По его мнению, именно это событие стало первой идеологической революцией, главной чертой которой стал подрыв и искажение реальности. Кошен попытался осмыслить произошедшие во Франции в конце XVIII в. события в теоретических понятиях, вскрыть в них действие общих законов, позволяющих понять логику их развития. Мнение Кошена особенно важно, потому что его социологический метод дает понять некоторые особенности анализа Токвиля. Последний, хотя и освободил революцию «от веры» в нее же, все-таки освещал ее итог, включая ее в непрерывный исторический процесс. Кошен же, наоборот, хотел увидеть, где происходит тот политический и идеологический переход от старого порядка к революции, где случается разрыв исторического процесса.

Главным понятием в интерпретации Кошена является «общественное мнение» — мнение, которое формируют и пытаются навязать целому обществу идеологи или, как называет их сам историк, «малый народ». Идеологи внедряют в общество нереалистичные принципы и внедряют манипуляционную практику. Разработав эти «революционные принципы», идеологи или «философы» завладевают всем народом, выражая теперь его волю вместо него: «Философия царствует над общественным мнением по праву победителя; общественное мнение — это ее собственность, ее настоящий раб; она заставляет его вздыхать, жаловаться или молчать, в зависимости от своих целей»³. Именно в этой «философии» заключается революционный дух: логика революционной динамики порождена самими абстрактными философскими принципами, столкнувшимися с реальностью. Отсюда происходит несогласие «реального народа» с политикой «народа малого», так появляются чистки, репрессии, террор и так далее.

Все эти мыслители, за редким исключением, пытались избежать объяснения революции посредством какого-либо абсолюта, чего-либо сверхъестественного, нереального или простой случайности; они также стремились избежать употребления тех ярких и красочных образов и сравнений, которые использовали в своих сочинениях о революции их

¹ См.: Shlapentokh D. *The French Revolution in Russian Intellectual Life. 1865-1905*. L., 1996. P. 120.

² См.: Бенетон Ф. *Введение в политическую науку*. М., 2002. С. 192–211.

³ Кошен О. *Малый народ и революция*. М., 2004. С. 42.

предшественники. В этом существенное отличие социологов революции от ее метафизиков. Первые полагали, что революции скорее делаются или хотя бы происходят (а если они происходят, то обязательно из чего-то или благодаря чему-то), а не случаются (ведь если они случаются, то рациональную причину того, почему они «случились», искать бессмысленно). Они придавали 1789 г. огромное значение, но не искали его причин ни в Боге, ни в призраке, ни в духе. Коллингвуд даже упрекал многих политических мыслителей за «ненаучное» отношение к революции и непонимание ее сути. Так, он писал: «Политические мыслители XIX в. большей частью сами виноваты в том, что ошиблись, частично из-за самой Французской революции, частично из-за непонимания ее сути: не была достигнута преемственность исторического процесса, из которого выросло это событие; оно не было рассмотрено как законное завершение этого процесса ...; и если 'революция' — это нечто внезапное и совершенно невиданное, благодаря чему рождается что-то совершенно новое, то революции нет вовсе. <...> Это (революция. — А. П.) псевдонаучный термин постольку, поскольку в качестве ответа на вопрос о причинах случившегося предлагается невежество»¹.

Метафизика революции у русских мыслителей

Таким образом использовал «понятие» революции в своих сочинениях каждый из представителей ведущих европейских держав начала XIX в. — англичанин Бёрк в 1790, француз де Местр в 1797 и немец Гегель в 1806 г. Впоследствии французы Конт, Токвиль и Кошен уделили много внимания выявлению сущности и причин возникновения революции. Что касается России, то здесь нечто похожее на политико-философские рассуждения европейцев появилось только в 1848 г. — другой важной вехи революционного столетия. До этого русские мыслители рассуждали о революции в метафизических, а не в социологических понятиях. Дискурс революции появился в России так поздно оттого, что условия, в которых находилось наше государство до 1848 г., были почти такими же, в каких находилась Европа до 1789 г. Хотя, надо сказать, политическая рефлексия революции у русских мыслителей была не слабее и ничем не хуже, чем у европейских, а в чем-то даже превосходила последних. При всем том, нельзя не обратить внимание на то, что «понятие» революции, которое стали активно эксплуатировать русские мыслители после 1848 г., первоначально было введено не столько в российский, сколько в европейский общественно-политический и философский контекст. Например, аналитическая записка Тютчева «Россия

¹ Коллингвуд Р. Дж. *Новый Левиафан, или человек, общество, цивилизация, варварство* // Шамшурин В. И. *Консерватизм и свобода*. Краснодар, 2003. С. 432, 434.

и Революция» была опубликована во Франции на французском языке в 1849 г., а переведена на русский язык только в 1873 г. Свою философскую рефлексию 1848 г. в виде объединенных статей под общим заглавием «С того берега» Герцен впервые издал в 1850 г. на немецком языке и только в 1855 г. на русском.

Тютчев как нельзя кстати вписался в определенную мыслительную традицию нравственного и религиозного отторжения революции, заняв в ней свое собственное место. Как и у де Местра, в тютчевской «России и Революции» можно увидеть, по крайней мере, две основные составляющие: собственно политическую, связанную с конкретными событиями, произошедшими на Западе, и метаполитическую, согласно которой Революция имела метафизический характер и представляла собою Дух, Разум или Принцип. Тютчев рассматривал революционное социально-политическое явление не обособленно, но как проявление фундаментальной философской тенденции человеческого бытия¹. В соответствии с подобными взглядами мыслитель явился достойным последователем европейских идей.

На полвека раньше Тютчева Бёрк в меньшей степени и де Местр в большей задали тот вектор развития революционного дискурса, в соответствии с которым, революция мыслилась нравственно, религиозно, метафизически и, самое главное, метафорически. Ведь де Местр гораздо раньше попытался восстановить связь с христианской апологетикой XVIII столетия; для него было необходимо, чтобы совершилась революция — великое очищение — в виде наказания, которое карает во имя возрождения. До него эту же идею сформулировал Бёрк: «Хотя и не дано глазам человеческим это заметить, но как бы возникает искушение думать, что Франция неким великим преступлением навлекла на себя божественное мщение, и что вследствие какого-то великого наказания подчинена она подлой и унижающей власти»².

В начале XIX века почти все мыслители правого крыла политического спектра видели в революции не только угрозу *очевидных* радикальных общественных перемен: покушение «черни» на все вроде бы законные права привилегированных классов, конфискацию собственности, уничтожение церкви, институтов монархии, аристократии, дворянства, семьи, наконец, нации, но и более глубокие изменения общественного сознания: дикую разнузданность нравов (де Местр), наглое безверие (Бёрк), безумие в сердцах людей (Карлейль), гордыню человеческого ума (Тютчев) и т. д.³ Если угодно, то революция была для Тютчева,

¹ См.: Тютчев Ф. И. *Россия и Революция* // Тютчев Ф. И. Полн. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 2003. С. 319.

² Цит. по: Местр Ж. -М. де. *Рассуждения о Франции*. М., 1997. С. 215.

³ О революции в идеях, предвалявшую революцию политическую, см.: До-

как и для его предшественников, не причиной и не предпосылкой, а следствием. Но следствием чего? Следствием (а вернее последствием) удаления человека от Бога, непослушания божественному провидению, антропоцентрической гордыни, поклонения не Богу, а «господину народу», самовосхваления человеческого «Я». Что в этом случае Тютчев привнес оригинального в концепцию, согласно которой революция есть следствие религиозного бесчинства?

Этим новым было осмысление очевидного противостояния Россия-Запад, мыслимого в духовных и культурно-политических категориях. Стоит обратить внимание на одно весьма характерное замечание Тютчева 1849 г.: «...в теперешнем состоянии мира лишь русская мысль достаточно удалена от революционной среды, чтобы здраво оценить происходящее в ней»¹. Он действительно совершенно верно оценил политическую и интеллектуальную атмосферу в Европе, прежде чем сказал эти слова. Запад уже давно был заражен «двумя историческими болезнями» (согласно красочной метафоре русского мыслителя XIX столетия С. П. Шевырева), Реформацией и Революцией, которые постепенно подтачивали и без того хилый организм; когда же невозможность излечения стала очевидной, появился трактат Тютчева. Теперь уже ни Бёрк, ни де Местр не смогли бы предотвратить разложение умов и стремительно распространявшийся вирус, процветающий благодаря слабому иммунитету политико-религиозных идей, да собственно в то время их уже и не было, а по интеллектуальной силе эквивалентов им не существовало. С точки зрения Тютчева, революция действительно была Божьим наказанием, но смертельным. После него не могло быть и речи о духовном или политическом возрождении не только Франции, но и всех европейских государств.

Революция вообще была «врагом христианства». Тютчев ничего не упомянул о католицизме или протестантизме, ибо и так было очевидно, что ни то, ни другое не смогло бы противопоставить себя «человеческому я, стремившемуся заменить собой Бога». В соответствии с этим, он так сформулировал суть революции: «Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство»². Очевидно, что

усон К. Г. *Боги революции*. СПб., 2002.

¹ Тютчев Ф. И. *Россия и Революция* // Тютчев Ф. И. Полн. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 2003. С. 147.

² Тютчев не был единственным, кто видел причину революции в рационализме и стремлении все и вся подчинить разуму, который необходимо должен был заменить собой религию. Так, прусский публицист Шталь писал в 1852 г., что революция тесно соотносится с попыткой «основать всю общественную жизнь на воле человека, а не на установлении и воле Божьей». См.: Массарик Т. Г. *Россия и Европа: Эссе о духовных течениях в России*: В 3 т. Т. 2. СПб., 2004. С. 554. В этом Тютчев мыслил в унисон с прочими европейскими консерватора-

только самое последовательное христианское государство было в состоянии составить конкуренцию этой действительной силе, и то была Россия, потому что она — «христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному»¹. Можно сказать, Тютчев прописал определенный рецепт: смертельный вирус, поглотивший Европу, может уничтожить только Россия; если заразится и она, то вся политическая и религиозная будущность человечества будет под угрозой.

Здесь следует сказать об источнике смертельной болезни. В своих метафорических размышлениях на тему Революции Тютчев увидел эти истоки не просто в желании человеческого я зависеть только от самого себя, но в том, что это самовластие человеческого я возводило себя в политическое и общественное право и стремилось с его помощью овладеть обществом — «Это новшество и получило в 1789 году имя Французской революции»². Наиболее ярко эти стремления, по мнению мыслителя, выразились в немецкой классической философии — в своеобразном пантеизме Шеллинга, в кантовской «Религии в пределах только разума» и гегелевском Абсолютном Духе. Сам Тютчев так сказал об этом: «Шестьдесят лет господства разрушительной философии совершенно сокрушили в ней (Германии — А. П.) все христианские верования и развили в отрицании всякой веры главнейшее революционное чувство — гордыню ума — столь успешно, что в наше время эта язва века, возможно, нигде не является так глубоко растравленной, как в Германии»³.

А здесь самое время вспомнить гегелевские революционные метафоры. Александр Герцен разуверился в революции 1848 г. именно потому, что она так и не смогла дать людям долгожданную свободу. Все моральные и религиозные принципы прошлых лет не исчезли, а наоборот, только сменили форму, оставив ту же сущность. Как видно, эти размышления Герцена полностью соответствовали концепции Гегеля: общую волю заменил принцип единичной воли, ведь конституционное правительство Национальной ассамблеи получило свои права от избирателей. Это и есть «фурия исчезновения». И хотя Герцен и взбунтовался после 1848 г. против философии истории Гегеля, его идеи абсолютной свободы и

ми; оригинальность его взглядов состояла в соотношении Революции и России. Об этом см. ниже.

¹ Тютчев Ф. И. *Россия и Революция* // Тютчев Ф. И. Полн. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 2003. С. 144.

² Тютчев Ф. И. *Россия и Революция* // Тютчев Ф. И. Полн. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 2003. С. 145.

³ Тютчев Ф. И. *Россия и Революция* // Тютчев Ф. И. Полн. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 2003. С. 148.

вообще немецкий идеализм (не только гегельянский, но и шеллингианский) навсегда остались в фундаменте герценовских мыслительных привычек. Тютчев был совершенно прав, предупреждая об опасности «разрушительной философии». Действительно, немецкая метафизика оказала сильнейшее влияние на радикалов «эпохи революции»¹. Для того чтобы доказать это, достаточно привести некоторые яркие выражения Герцена: «Христианство создало целую систему морального самоубийства»; «Одна из отличительных черт христианства — его постоянное противоречие природе ... Это — равенство, но перед богом. Это — бессмертие, но после смерти. Это — монотеизм, но в троице»². С 1848 г. он не устал особо подчеркивать этот момент своих воззрений — борьбу с христианством, сковывающим свободу мысли и действия.

Постепенно, на протяжении всего периода 1789–1848 гг. метафора революции как бы раздваивалась, одновременно превращаясь в нечто целое. Несмотря на общее метафизическое прочтение революции 1789 г. Гегелем и де Местром, взгляды первого были прямо противоположны воззрениям последнего. Революция была Духом и для того, и для другого, но для первого она явилась саморазвитием свободы, в то время как для другого — небесной карой за стремление к этой самой свободе. То же характерно и в случае с Герценом и Тютчевым. Оба они были последователями определенных европейских интеллектуальных традиций (пусть даже не всегда осознавая это), и в то же время они сходились в тех моментах, в которых, казалось бы, не могли сойтись совершенно. Герцен был уверен, что все конституционные уступки в Европе порождены консерватизмом общественного сознания, что они ничем не помогут революции, которая оставалась только «химерой». Тютчев, напротив, не сомневался, «что с проникновением революционного начала в общественную кровь все его подходы и соглашательские формулы являются только наркотическими средствами, которые в состоянии на время усыпить больного, но не в силах предотвратить дальнейшее развитие самой болезни»³.

Парадоксально, но Тютчев всякий раз приветствовал революцию, увидев в ней верного союзника России. Герцен же всячески отвергал ее, поняв, что он ждет не социально-политическое событие, а Дух, который

¹ О том, насколько сильно немецкая классическая философия повлияла на развитие радикальных взглядов в России вообще и формирование метафоры революции в частности, см.: Malia M. *Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism*. N.-Y., 1965; Володин А. И. *Гегель и русская социалистическая мысль XIX века*. М., 1973.

² Герцен А. И. *Дуализм — это монархия* // Герцен А. И. Полн. Собр. Соч.: В 30 т. 1954–1965. Т. 12. М., 1957. С. 229.

³ Тютчев Ф. И. *Россия и Революция* // Тютчев Ф. И. Полн. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 2003. С. 146–147.

смог бы дать общественному организму нравственное освобождение. Характерно, что в своем понимании революции и тот, и другой сделали ставку на Россию. В этом состоял самый разительный элемент отличия европейской революционной метафоры от российской (своеобразный мессианизм). Подобно Тютчеву, Герцен отметил, что Запад умирает в агонии, что «роль теперешней Европы кончена; после 1848 года она разлагается с неимоверной быстротой»¹. Убедившись, что Революция не произойдет на Западе, он обратил свой взор на Россию. Но если у Тютчева консервативная Россия (прежде всего имперская) должна противостоять революционной Европе, то у Герцена революционная Россия (прежде всего народная) также должна противостоять Европе, но уже консервативной. Опираясь одними и теми же категориями с диаметрально противоположными посылами, они сделали один и тот же вывод: Россия должна служить спасением для Запада. И, конечно, на тот момент правда была на стороне Тютчева, но его метафизические прозрения и революционная метафорика не оказались долгосрочным прогнозом. Казалось бы, пустая, риторика Герцена вопреки многим обстоятельствам оправдала себя. Россия «заразилась» вирусом революции, переключавшейся в абсолютно новую интеллектуальную и социально-политическую среду. Начался новый этап осмысления революционных концептов, продлившийся вплоть до 1917 г.

* * *

Но впоследствии метафизическое понимание революции, характерное для первой половины XIX столетия, себя изжило. В России не появилось социологических объяснений революции, какие наблюдались в Европе после 1848 г. Появился новый социальный тип — профессиональный революционер. То, что Ханна Арентд сказала о действующих лицах европейского дискурса революции после 1789 г., полностью применимо к русским мыслителям после 1848 г. А сказала она следующее: революция поделила стороны «на радикалов, признающих факт революции без понимания ее проблем, и консерваторов, уцепившихся за традицию и прошлое как за фетиши, с помощью которых можно заклинать будущее, не понимавших того, что само явление революции на политической сцене со всей наглядностью продемонстрировало, что эта традиция лишилась своей силы, своего начала и принципа»².

Блестящий триумф Герцена вместе с тем превратился в его фиаско.

¹ Герцен А. И. *Дуализм — это монархия* // Герцен А. И. Полн. Собр. Соч.: В 30 т. 1954–1965. Т. 12. М., 1957. С. 167.

² Arendt H. *On Revolution*. N.-Y., 1965. P. 161.

Теперь участники революционного дискурса стали понимать данный феномен скорее идеологически и политически, а не метафизически. Революционная метафизика стала никому не нужна, а «понятие» революции, как отмечалось в самом начале, максимально конкретизировалось. Революция не приобрела четкого определения и общепринятого значения, тем не менее, все это время она оставалась главной темой политического дискурса, привлекая внимание мыслителей не своей событийностью, но чем-то гораздо большим, выходящим за рамки рационального.

ГЕРБЕРТ МАРКУЗЕ

РЕВОЛЮЦИЯ В ЦЕННОСТЯХ¹

Для начала я должен кратко сказать, какой смысл в данном контексте я вкладываю в слово «ценности». Я имею в виду нормы и чаяния, которые мотивируют поведение социальных групп в процессе удовлетворения их как материальных, так и культурных потребностей, и которые используются для определения этих потребностей. В этом смысле ценности не являются делом личного предпочтения; они являются необходимым следствием устоявшихся производственных отношений и утвердившихся образцов потребления. Однако, и это важно, в то же самое время ценности выражают присущие, но подавленные производительностью, возможности устоявшегося общества. Позвольте мне преподнести вам несколько очень знакомых примеров этого двухстороннего характера ценностей: с одной стороны, быть привязанным и ограниченным существующей социальной системой, с другой — преодолевать ее, стремясь к возможностям, которым пока еще нет места в системе. Например, ценность чести в феодальном обществе выражает основную потребность феодализма — требование иерархии доминирования и зависимости, основанной на непосредственных личных отношениях, скрепленных не только силой, но и святостью договора. Ценность лояльности, провозглашаемая в обществе подавления и неравенства, была идеализирована, возвеличена в великих придворных поэмах, романах, придворном церемониале того времени, но будет бессмысленно говорить о том, что такие герои, как Тристан, Персифаль и другие являются не более чем феодальными рыцарями и вассалами, что их идеалы, приключения и конфликты не выходят за пределы феодального общества; конечно, они выходят. В феодальных рамках и над ними мы обнаруживаем универсальные человеческие возможности, обещания, страдания и счастье.

¹ *Перевод сделан по: Political Ideologies. N.-Y., 1973. (Перевод Александра Павлова)*

Таким же образом ценности свободы и равенства выражают прежде всего крайнюю необходимость капиталистического способа производства — свободное соревнование между относительно равными, свободный наемный труд, обмен эквивалентами независимо от расы, статуса и так далее. Но в то же самое время те же ценности представляют собой проекцию лучших форм человеческого сотрудничества, все еще нереализованной возможности. Ту же амбивалентность мы находим в других ключевых ценностях, характерных для современности: в концепции работы как призвания и профессии. Работа необходима на протяжении всей взрослой жизни, а во многих случаях она является неприятной необходимостью; тем не менее или именно благодаря этому работа считается санкционированным религией призванием человека. Для подавляющего большинства населения работа всегда была антигуманным, болезненным, отчужденным трудом, то есть деятельностью, в которой человек не мог развить и удовлетворить свои индивидуальные способности и таланты. Вместе с тем, такое понятие работы как призвания и профессии предполагает совершенно иное отношение к ней и ее месту в жизни, а именно, самореализацию человека в созидательной работе.

После этих предварительных и очень поверхностных определений я хотел бы обсудить два основных аспекта моей темы: роль ценностей в социальном изменении и современную революцию ценностей как беспрецедентную трансформацию. Позвольте мне начать с марксистской теории процесса трансформации ценностей. Социально эффективные новые ценности занимают место устоявшихся только тогда, когда они выражают интерес набирающего силу класса в его борьбе против существующего правящего класса. Однако новые ценности выражают интересы отдельного класса в общем виде, утверждая, что классовый интерес одновременно является всеобщим интересом, и, таким образом, классово детерминированные ценности становятся универсально истинными. Это идеологический характер ценностей. Ценности являются идеологическими тогда, когда они абстрагируются от того, что они ограничиваются или отрицаются в реальности. В капиталистическом обществе абсолютная свобода и равенство остаются абстракциями, относительная свобода и равенство — привилегиями. Но та же самая идеология становится материальной силой в процессе изменения, как только она, имея своей целью полную реализацию искаженных и отрицаемых ценностей, приводит к политическому действию на массовом уровне.

Важно заметить, что концепция Маркса не означает простую хронологическую последовательность: сначала основную переменную в классовых отношениях, а затем революцию в ценностях. Говорить о том, что новые ценности социализма могут быть лишь продуктом новых социальных и экономических институтов — вульгарный, а не диалектический

материализм. Скорее проявление новых социальных ценностей почти всегда *предшествует* институционализации новых классовых отношений и нового способа производства. В истории тому много примеров; я упомяну только два: Просвещение было до Французской революции и самой социалистической теории. Эта ситуация освещает роль интеллигенции в процессе социального изменения; об этом я скажу позже. Трансформация ценностей не является простой идеологической рефлексией социальной структуры. Скорее радикальная трансформация выражает радикально новые исторические возможности — силы, еще не инкорпорированные в процесс социального изменения. Интеллектуальная культурная революция предшествует социальной революции, проектирует ее, является ее катализатором.

Переход от устоявшейся ценностной системы или от устоявшейся ценностной иерархии к другой — это диалектический процесс. Таким образом, буржуазная идеология отрицает отношения феодального договора, обобщая эти отношения в идее общественного договора, который связывает всех членов общества и одновременно различным образом подчиняет их всех первостепенным законам экономического обмена. Тем же самым образом социализм призван отменить абстрактную и эксплуататорскую структуру, лежащую в основе буржуазной идеологии свободы и равенства, и сделать работу истинным призванием: самореализацией человека в сотрудничестве с остальными людьми. Переход идеологии к реальности должен произойти благодаря революционному действию пролетариата. Как эта концепция применима к сегодняшней ситуации в продвинутых капиталистических странах?

Сегодняшняя культурная революция (я имею в виду лишь культурную революцию, происходящую на Западе) подразумевает трансформацию ценностей, которая наносит удар по всей устоявшейся не только материальной, но и интеллектуальной культуре. Эта атака на всю традиционную систему ценностей находит свою кульминацию в отрицании Принципа представления. Согласно этому принципу, каждый должен зарабатывать себе на жизнь отчуждающими, но социально необходимыми действиями, а награда и статус человека определяются этими действиями (отношения работы и дохода). Отрицание этого принципа ведет к отрицанию понятия прогресса, которое до сих пор характеризовало развитие западной цивилизации: прогресс как возрастающая, производственная эксплуатация как внешней, так и человеческой природы, прогресс — овладение ими, но он оказался самодвижущимся механизмом разрушения природы и господства над человеком. Обратите внимание, что это отрицание ударило не только по принципу, управляющему существующими капиталистическими обществами, но и по любому обществу,

которое провозглашает подчинение человека орудиям его труда. Ныне как будто бы против этого принципа действия культурная революция призывает к свободе и солидарности как показателям качества человеческого существования, к уничтожению общества, обрекающего большую часть своих членов жить жизнью, которая является исключительно способом добыть себе пропитание, но не является целью самой по себе.

Здесь нужно предостеречь против любого ложного романтизма. Не может быть такой вещи, как полное уничтожение отчуждения. Диалектический материализм признает неумолимую объективность природы, материи, неумолимую борьбу человека с природой, которая ожидает человека и ограничивает эту свободу в любой форме общества. Вопрос не в уничтожении отчуждения как такового, но в уничтожении того, что я могу назвать добавочным отчуждением: отчуждения, которого требует существующее общество в целях поддержания и упрочения существующего *status quo*¹. Это добавочное отчуждение было почвой, в которой зародился количественный прогресс. Оно подкрепило отделение интеллектуального труда от ручного, подкрепило потребность — и при том растущую потребность — в дегуманизирующей, паразитирующей и деструктивной работе, потребность в репрессии; оно потратило впустую и загрязнило доступные ресурсы — технические, природные и человеческие. Ныне количественный прогресс может и должен превратиться в качественный — в новый образ жизни, который освободит потенциал как человека, так и природы путем элиминации устоявшейся системы эксплуатации и ее ценностей. Эта трансформация ценностей не только сведет на нет существующие политические и экономические институты, но также и поспособствует рождению новой нравственности, новым отношениям между полами и поколениями, новым отношениям между человеком и природой.

Размах этих тенденций и их радикальный характер предполагает новую силу на нынешней стадии капиталистического развития. Во всех предшествующих революциях ценностей эти требования, по большому счету, оставались абстрактными, маргинальными; они держались над порядком общественного, равно как и инстинктивного подавления, который сам по себе был рациональным и легитимным до тех пор, пока действительно развивал производительные силы. Однако сегодня эта организация общества становится несовместимой не только с дальнейшим прогрессом, но и с самим выживанием человечества. Следовательно, сегодняшняя революция ценностей более не пролегает в рамках устоявшегося континуума количественного прогресса, но стремится разорвать этот континуум. Это *качественный скачок* в возможность совершенно другого образа жизни.

¹ Неизменное положение вещей (лат.). — *Прим. пер.*

Позвольте мне просто перечислить основные аспекты этого разрыва с устоявшимся континуумом и выходом за его пределы. Основанием и целью все еще будет переход от анархического производства к коллективно контролируемому производству для свободно развивающихся индивидуальных потребностей — к социализму. Он подразумевает переход от ценностей пользы к эстетическим ценностям, появление новой чувственности, новых способов восприятия или переживания. Эстетические ценности врожденно неэксплуативны, нерепрессивны; их проявление в радикальных политических движениях подразумевает стремление к изменению инстинктивных оснований цивилизации. В конце концов, эта тенденция будет противовесом мужской агрессивности патриархальной цивилизации и, тем самым, более эффективно подчинит энергию агрессии энергии эротической — энергии жизненных инстинктов. Сегодня наблюдается всеобщее восстание против доминирующих ценностей мужества, героизма и силы, рисуются контуры общества, которое может привести к окончанию насилия.

Это историческое и психологическое глубинное измерение женского освободительного движения. Это движение даже еще не осознает своего истинного низвергающего радикального потенциала, который может стимулировать трансформацию всей материальной и интеллектуальной культуры, который может уменьшить репрессивный потенциал и предоставить психологическое инстинктивное основание для менее агрессивного принципа реальности.

Восхождение новых радикальных ценностей — больше, чем просто идеологическая революция; скорее оно имеет тенденцию к тому, чтобы стать материальной силой, порожденной самой динамикой развитого капиталистического общества и предвещающей внутреннее ослабление и, вероятно, даже дезинтеграцию этого общества. Идеологическая революция, которая является чем угодно, но только не аннулированием ценностей, отражает новую историческую стадию общественного развития — стадию, на которой общество достигло удовлетворения главных потребностей большинства ее членов, но одновременно поддерживает подавление и нищету как у себя дома, так и за границей. Это общество должно под давлением необходимости увеличения капитала беспрестанно создавать и стимулировать потребности, которые выходят за пределы потребностей существования, другими словами — культурные потребности и потребности в роскоши. Таким образом, это общество аннулирует легитимность увековечивания прибыльной репрессии. Достигнутый уровень производительности труда позволит сократить рабочее время, необходимое для воспроизводства общества, до минимума и, таким образом, уничтожит необходимость постоянно отчужденного труда. Однако постоянно отчужденный труд является основой этой си-

стемы. Этот уровень разрушается постоянным производством товаров и услуг, излишних для существования. Тратить жизнь на «зарабатывание пропитания», жизнь как средство, а не как цель сама по себе — этот способ существования становится как никогда вопиюще непродуцибельным, устаревшим и иррациональным — рациональным лишь для поддержания status quo. В этих условиях появляется требование радикально иного общественного разделения труда и его организации, требование уничтожения отношений работа/прибыль), «трансцендентальные потребности» свободы, которые не могут быть удовлетворены в рамках институтов, основанных на правиле принципа действия.

В соответствии с этой стадией развития постепенно проявляется новая модель социального изменения, а именно — возможность революции на основе удовлетворенных базовых нужд и неудовлетворенных трансцендентных нужд. Это будет революция, вызванная витальной потребностью в самоопределении, потребностью в радости, в том, чтобы более не быть деталью вездесущего механизма. Это не просто хорошо известная модель роста ожиданий, лучших предложений от доступного «пирога», но скорее осведомленность о целях, которые свергают установленную иерархию и приоритет ценностей, стремятся к новой рациональности, новой чувственности и новой нравственности.

Но как эта революция ценностей проявляет себя сегодня в качестве материальной силы, в качестве радикального социального фермента? Здесь я могу только указать на наиболее заметные черты этого процесса. Во-первых, в этой стране¹ мы видим своего рода «кейнсианство во всем его размахе». Макс Вебер охарактеризовал дух капитализма как «внутримировой аскетизм», стремление спасать, спасать и спасать; инвестировать, инвестировать, чтобы получать все больше и больше прибыли; работать и воспринимать даже самую низкооплачиваемую и бесчеловечную работу как «призвание» человека. Сегодня мы видим отрицание этого принципа: жажда тратить, восстание против преобладания производства; рабочая дисциплина и ответственность снижаются; люди с успехом оспаривают необходимость отчуждения, которое длится всю их жизнь.

Во-вторых, и это связано с той тенденцией, которую мы только что обсудили, существует всеобъемлющее ухудшение качества мира товаров как такового, качества товаров и услуг, и постоянные остановки в процессе производства, объем которого уже превысил «нормальные» показатели: несанкционированные забастовки, забастовки против всей системы организации труда, а не только во имя более высоких зарплат и лучших условий работы. Преобладает высокий уровень абсентеизма,

¹ Соединенные Штаты Америки. — *Прим. пер.*

и нередко саботаж как со стороны групп, так и со стороны отдельных индивидов. И в этом общем климате экологический импульс отражает осознание необходимости новых отношений между человеком и природой в качестве его жизненного окружения — порыв, который, если его поддержать и усилить, сможет стать политической силой, бьющей институты, которые вызывают постоянные загрязнения.

За всем этим есть осведомленность, чувство, что можно жить и быть человеком без того, чтобы участвовать в мышиной возне, без того, чтобы работать на дегуманизирующих производствах, осведомленность о репрессивном и деструктивном влиянии «общества потребления». Учитывая структуру и организацию развитого капитализма, неудивительно, что новые ценности не входят в арсенал борьбы восходящего класса в его борьбе против класса правящего. Эти ценности не выражают непосредственные интересы какого-либо специфического класса. На данной стадии они все еще принимаются и поддерживаются разрозненными группами молодежи, женщин, цветного населения, молодых рабочих, интеллигенции.

Они — меньшинства; они не являются революционными группами, они никоим образом не могут заменить рабочий класс в качестве основы общественных перемен. Но они незаменимы сегодня. Единственный катализатор перемен, они выражают потребности, которые на самом деле являются потребностями всего населения. Если и когда рабочий класс станет носителем революции, это будет совсем другой класс, в котором голубые воротнички будут составлять меньшинство — класс, который включит большие страты средних классов и в котором интеллектуальная работа будет играть все большую роль.

Эта тенденция усиливает значение колледжей и университетов в процессе изменений: студенты, далекие от того, чтобы быть просто привилегированной элитой без материальной базы, по сути, являются потенциальными *кадрами* существующего, а также будущего общества. Создание свободного общества, уничтожение бедности во всем мире, сокращение необходимой, но негуманной работы до минимума, перестройка городов, восстановление деревни, контроль за болезнями, за уровнем рождаемости — все эти задачи требуют высокого уровня научного прогресса, в том числе в гуманитарных и социальных науках! Прогрессивное уничтожение насилия, освобождение чувств вовсе не требует отречения от разума и рациональности, но требует новую и более рациональную рациональность, новый и более рациональный разум, способный организовать и развивать также неинструменталистские, неутилитаристские, нерепрессивные цели. Встает вопрос, нет ли некоей избыточной агрессии и насилия в устоявшейся науке и технологии, в самой их структуре? Возможно, рефлекс и в то же самое время стимул науки

и технологии служит деструктивным социальным силам? Можем ли мы в каком-то смысле рационально порассуждать над переменной не только в области применения науки, но также в ее направлении и методе? Перемена, вероятно, вызвана совершенно новым восприятием природы, новым отношением к природе и человеку? Появление эстетических ценностей как ненасильственных, неагрессивных ценностей предполагает, по крайней мере, возможность иного формирования научных понятий и нового направления научной абстракции; более конкретной, более чувственной, более качественной науки и технологии, включающих науку воображения как творческой способности людей.

Несколько слов в заключение. Тенденции, которые я здесь попытался набросать, включают в процесс изменения саму инстинктивную структуру, чувства, разум, тела, мужчин и женщин; они увеличивают масштаб потенциальной революции. Кажется, что существующее общество полностью осведомлено о масштабе и глубине вызова. Структура власти отвечает интенсивными легальными и экстралегальными репрессиями, организацией превентивных контрреволюций, превентивных, потому что в развитых индустриальных странах им не предшествовали никакие успешные революции. При таких обстоятельствах перспективы не очень радостные. Инициатива сегодня на стороне репрессивных сил. Нет никакого исторического закона, согласно которому капитализм обязательно трансформируется в социализм. Социалистическая традиция сама всегда признавала и поддерживала альтернативу: или свободное и гуманное общество, социализм, или долгий период цивилизованного варварства, общества, находящегося целиком в руках вездесущей и всемогущей администрации, политический режим которого — своего рода неофашизм. Я верю, что еще не слишком поздно. Я думаю, что с варварством — неофашистским варварством — все еще можно сразиться. Если с ним не сразиться сегодня, может быть слишком поздно, так как мы не знаем ни одного случая, когда фашистский режим, однажды установившись, был бы побежден изнутри. Таким образом, еще не слишком поздно, но если это поколение не примет бой, может оказаться, что уже слишком поздно.

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

ДЖОН ДАН
РЕВОЛЮЦИЯ¹

Введение понятия революции в интеллектуальный контекст первоначально было обеспечено развитием теоретической астрономии. Но его современное политическое значение, главным образом, стало результатом значительного исторического влияния двух величайших политических потрясений — Французской революции 1789–1794 гг. и Великой Октябрьской революции 1917 г., которая стала актом основания Советского государства.

Напряжение между рамками первоначального значения революции, поясняющего далекие и ясные феномены сверхчеловеческого мира, и живой агональной суматохой ее наиболее важных примеров в политической сфере поставило современное понятие революции в жалкое положение. Частично аналитическая слабость современного использования понятия революции явилась продуктом борьбы за установление интеллектуального порядка, обеспеченного использованием крайне малого числа идей для объяснения крайне большого и гетерогенного поля опыта. А частично стала производной центрального положения понятия революции в современном политическом дискурсе о характере и значении революционной борьбы в XX столетии. Кроме того, имеется еще одна черта, делающая понятие революции менее стабильным и более проблемным, чем большинство других важнейших категорий политического исследования, а именно: соединение отсутствия строгого концептуального значения, вызванного частым использованием понятия, и его политически провокативного характера².

В отличие от демократии, справедливости, равенства или свободы, революция не занимает одно из первых мест в иерархии нормативных стандартов, которых придерживаются люди при формулировании своего отношения к социальной и политической реальности и к которым они

¹ Перевод выполнен по: Dunn J. *Revolution // Political Innovation and Conceptual Change* / Ed. Ball T., Farr J., Hanson R. L. Cambridge, 1989. (Перевод Константина Аршина).

² Важность этого противопоставления см. в: Williams B. *Problems of Self*. Cambridge, 1973. P. 187–206; в отношении политического понимания см.: Dunn J. *Responsibility without Power: State and the Incoherence of the Modern Conception of the Political Good* // Banks M. (ed.), *The State in International Relations*. Hassocks, Sussex, 1988.

пытаются апеллировать, осуждая последнюю. Более вероятно, что понятие революции является основополагающей чертой реального исторического мира в определенное время и в определенном месте, пример чего представляют события во Франции между 1789 и 1794 гг., в России в 1917 г., намного позднее, в Китае между 1911 и, по крайней мере, 1949 гг. Даже в случае использования понятий практического разума, сложно формулировать и поддерживать ясные рациональные значения, выражающие политически важные, но спорные ценности, понимание значения которых разделяли бы все представители одного конкретного сообщества. Однако там, где понятие используется как для характеристики реальных исторических эпизодов, так и для обозначения необходимых политических ценностей, в принципе невозможно разработать интеллектуальный план, предусматривающий формулирование такого понятия, а также поддержание его аналитически ясным; и, кроме того, обязательно присутствует подавляющее практическое давление, поддерживаемое теми, кого несколько смущает использование понятия революции в речи. Современная политика, в действительности, вызывает нечто большее, чем небольшое смущение, не говоря уже о некоторой духовной стыдливости. Понятие революции воплощает как когнитивную неопределенность, так и ограниченное человеческое очарование. Но с тех пор как революция получила определение в соответствии с первым примером реальных исторических событий, обозначением которых она служит, она также служит нам напоминанием о том, что политика существует столь же долго сколько существуем мы. (В течение наибольшего периода истории человеческий вид в целом жил в условиях крайней сегрегации и, как следствие, локальными поселениями. Но в настоящий момент для выживания как вида нам необходимо жить совместно).

Современные концепции революции опасно соединяют ряд различных идей: разрушение старых и предположительно устаревших политических, социальных и экономических структур; целеустремленную политическую деятельность по созданию новых политических, социальных и экономических структур, которые, как провозглашают их архитекторы, решительно превосходят своих предшественников; взгляд на мировую историю, который предполагает падение старых режимов и появление новых, более желаемых, — падение которое осуществляется с помощью восстания, а возможно, даже простой агитации; экзистенциальную ценность и каузальную важность человеческой жизни, лежащие в основе попытки скорого разрушения старого и реконструкции нового. Возражая впечатляющим сочинениям Гегеля, мы полагаем, что все эти элементы не могут правдоподобно сочетаться друг с другом и, более того, каждый из них открыт для самых горячих дискуссий. Задача данной статьи — помочь объяснить то, почему все эти элементы в настоящее время

опасно соединены под покровом одного крайне неопределенного, но эмоционально содержательного понятия.

Будет полезно начать с ответов на вопросы, почему понятие революции не имеет ясного antecedenta в истории, почему оно неожиданно появляется, уже будучи полностью сформированным, неся современную смысловую нагрузку, в период крушения *ancient regime*¹ во Франции. До 1789 г. ни в одном из языков мира не было слова, которое бы обладало тем же смыслом, что и современное слово “революционер” (убежденный агент революции)², а слово “революция” (которое фигурировало в ряде европейских языков) не мыслилось в качестве важного инструмента политического дискурса³. Однако многие из элементов, которые затем сформировали современное понятие революции, были ясно представлены в политическом мышлении Древнего мира. Наиболее значимые политические мыслители древности, особенно Платон и Аристотель, подробно анализировали причины стабильности форм правления и те условия, при которых одна форма правления превращается в другую. Их внимание было сосредоточено на лихорадочной политике греческих полисов, сконцентрированной в течение, по крайней мере, двух столетий на конфликтах, часто чреватых насилием, между внутренними социальными группами и противоположными формами правления (демократии, олигархии, тирании), которым они благоволили. Как идеологически, так и практически политическая судьба любого из полисов была связана со многими формами правления⁴. При экстраполяции политической теории Греции в Рим (в лице историка Полибия, взятого римлянами в качестве

¹ Старый режим (франц.) — прим пер.

² Condorcet. *Sur le sens du mot Revolutionnaire* // Ouvres. Vol. XII. 1847. P. 616–17. (*Journal d'instruction sociale*, June 1, 1793):

«Из революции мы создали “революционера”, и это слово в своем основном значении выражает все то, что относится к любой революции.

Но мы создали его для нашей [революции], той, что из одного из государств, покорных долгое время деспотизму, сделала за несколько лет единственную республику, где свобода впервые была основана на полном равенстве в правах. Таким образом, слово “революционер” может применяться лишь к тем революциям, целью которых была свобода. Если про человека говорится, что он революционер, это означает, что он предан принципам революции, что он действует во имя ее и что он готов пожертвовать собой ради ее защиты.

Революционность — это дух, способный создать и руководить революцией, совершенной ради свободы».

³ См.: Hatto A. *«Revolution»: an Enquiry into the Usefull of an Historical Term* // Mind new series. № 58 (232). 1949.

⁴ Сравните спор в «Государстве» Платона, «Политику» Аристотеля, «Историю Пелопонесской войны» Фукидида с: Finley M. I. *Politics in the Ancient World*. Cambridge, 1983; и Ste Croix, G. E. M. de *The Class Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab Conquest*. London, 1981.

гарантии хорошего поведения греков)¹ интеллектуальный остаток греческого политического опыта был помещен (в доступной, а не чрезмерно впечатляющей форме) в наиболее влиятельные рамки мышления, позволяющие понять триумфальную траекторию римского военного завоевания и более двусмысленный курс внутренней политики Рима. Объяснение Полибия, касающееся причин величественного возрождения Рима после катастрофы битвы при Каннах и последовавшего утверждения римского господства в Средиземноморье, а также уничтожение римского соперника Карфагена, через историка периода Августа Тита Ливия было воспринято флорентийцем Никколло Макиавелли, который построил наиболее честолубивую теорию, объясняющую траекторию развития форм правления современного государства за 150 лет до Французской революции².

Упущенный элемент в древних исследованиях политики, который предотвратил появление современного понятия революции в то время, состоял в светском понимании мировой истории как единственного измерения значения человека, направление развития которого жестко задано. (Отсутствие этого элемента не являлось недостатком древних исследований политики). Хороший повод приписать влияние линейных или унитарных концепций мировой истории на современное теоретическое воображение дает христианская религия и ее фактическое влияние на все население Европы в течение многих веков. И хотя линейные концепции истории христианства значительно повлияли на создание и объяснение историй основных политических кризисов в течение, по меньшей мере, тысячелетия³, концепция Макиавелли была исключительно светским потомком того образа мышления, который нашел свое выражение в современной концепции революции. Светская форма сама по себе отражала усложнение системы внутренних изменений в социальных и экономических отношениях, в их идеологической оценке, а также взгляд на остальной мир с европейского континента и путь установления господства над ним (миром). К 1789 г. линейная концепция истории не

¹ См.: Полибий «История», книга 6, пункты 2-9 (1954, vol III: 270-89, at P. 288): *politeion anakuklosis*. Также см.: Von Fritz K. *The Mixed Constitution in Antiquity*. New York, 1954; Walbank F. W. *Polybius*. Berkley, CA, 1972. Chap. 1, 5; Momigliano A. *Alien Wisdom: The Limits of Hellenization*. Cambridge, 1975. Ch. 2.

² Наиболее расширенное представление об этом движении в исследованиях дает Поукок: Pocock J. G. A. *Politics, Language and Time*. London, 1972. Ch. 4; Pocock J. G. A. *The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*. Princeton, NJ, 1975. Ключевой текст Макиавелли — «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия».

³ Возможно, наиболее остро в Великом восстании в Англии XVII в.

просто воплощала воображаемую перспективу, вдохновенную веками идиосинкразии к христианской религии, но также описывала одну из объективных и всеобъемлющих черт отношений между сообществами, проживающими на поверхности земного шара.

Некоторые современные исследователи политики искренне полагали, что будет интеллектуально благоразумно дать анализ того, что представляет собой политическое, в явно христианских категориях. (Современное христианство может достаточно уверенно оценивать политику, но оно делает это в большинстве случаев в грубой форме, до тех пор пока рассматривает себя как независимый аппарат исследования политической реальности). Тем не менее, связанное понимание современной политики, которое не исходит из первичности глобальных экономических и стратегических отношений, невозможно. Как либеральные, так и марксистские исследователи современной политики разделяют убеждение о подавляющем значении мировой экономики и ее политических одежд. Но никто из них не обладает ответом на вопрос, каким образом преодолеть очевидную убедительность точки зрения, которая выражает иной образ мышления, впервые недвусмысленно обозначивший историческую траекторию развития, подобно представленной выше¹.

Термин «революция» происходит от средневекового латинского существительного². Его первоначальное значение выражено в современном английском глаголе «to revolve» (вращать). Революция, как и небесные тела в астрономии Птолемея или Земля и планеты в астрономии Коперника, движется по кругу. В таком значении термин без труда может быть применен к древним концепциям политического. Но более чем очевидна сложность его использования для понимания таких главных исторических потрясений, как Французская и Русская революции.

Размышление о траектории изменения форм правления (иногда, как в случае Полибия, сконцентрированного на образе вращающегося колеса) было важным для политической теории Древней Греции, уделявшей большое внимание размышлениям о последствиях конфликтов интересов богатых и бедных, собственников земли и обремененных долгами крестьян и о стабильности социального порядка. Но только после механи-

¹ См.: Viner J. *The Role of Providence in the Social Order: An Essay in Intellectual History*. Philadelphia. PA, 1972; Августин «О граде божием»; Смит А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. М., 2007.; Маркс К. и Энгельс Ф. *Манифест коммунистической партии* // Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. Соч. 2-ое изд. Т. 4. М., 1955.

² См.: Hatto A. «*Revolution*»: an Enquiry into the Usefull of an Historical Term // Mind new series. № 58 (232). 1949; Grienwank K. *Der Neuzeitliche Revolutionsbegriff: Eintstebung und Eintwicklung*. 2nd edn. Frankfurt am Main, 1969.

зации картины мира в XVII столетии, процесса, в котором астрономия сыграла ведущую роль, термин «революция» впервые был применен для объяснения главных политических изменений в реальных исследованиях, претендующих на всеобъемлемость. Но даже тогда, в противоположность идиомам таких мыслителей, как Локк и Харрингтон, термин не имел четкого политического значения и охотно применялся как для объяснения восстановления нарушенного порядка естественных или исторических прав¹, так и для обозначения перемен в социальном или этническом базисе политической власти², а как правило, фактически, служил обозначением лишь небольшого беспорядка.

Что превратило «революцию» в центральный термин в теории практике современной политики, так это соединение интеллектуального и политического влияния Французской революции. Начиная с 1789 г., сложно четко разделить выбор объяснительных и аналитических моделей для интерпретации главных эпизодов политических конфликтов, чреватых насилием внутри отдельных обществ, от желаемой политической оценки.

Каузальная связь, лежащая в основе Французской революции, равно как и причины ее возрастающего влияния на категории политического исследования являются совершенно непонятыми. Однако четко виден тот радикальный разрыв с прежними категориями политического исследования, символом которого она и стала. В этом отношении Французская революция являет резкий контраст не только Великому английскому восстанию (впервые названному Английской революцией уже после

¹ Локк Дж. Два трактата о правлении. Предисловие // Локк Дж. Соч.: В 3 т. М., 1988. С. 137: «оставшегося достаточно для утверждения трона нашего великого избавителя, правящего нами короля Вильгельма» (курсив автора). Об интеллектуальном контексте Локка см.: Dunn J. *Locke*. Oxford, 1984. Ch. 1, 2. Об использовании термина в XVII в. см.: Snow V. F. *The Concept of Revolution in the Seventeenth-century England* // The Historical Journal. № 5 (2). 1962. Обширное, но несколько неопределенное рассуждение о использовании термина в XVII столетии есть в Lasky M. J. *Utopia and Revolution*. London, 1976.

² James Harrington *Prerogative of Popular Government*, в Harrington J. *The Oceana and Other Works of James Harrington*. London, 1771. P. 228:

«Собственность появляется до империи и правительства двумя путями: посредством естественной и насильственной революции. Естественная революция происходит по внутренним причинам, например, торговым, когда правительство, воздвигнутое на одной чаше весов, представленной, например, нобилитетом или духовенством, в период разрушения их имений переходит на другую чашу весов; этот переход, корень появления собственности, либо источник анархии, либо ведет к появлению новой ветви власти. Насильственные революции происходят из-за внешних причин, например, внешней силы, так как после завоеваний следуют конфискации».

Французской революции),¹ но и Славной революции 1688 г. (сознательной и несколько идеологически необоснованной реставрации, которой она оказалась)², а также Американской революции, которая обращалась к общепринятым теоретическим предпосылкам британского конституционализма в борьбе против практики британской колониальной администрации³. Даже энергичное возрождение европейских республиканских традиций (Макиавелли, Харрингтон, Юм, Монтескье) в процессе создания федерального конституционного порядка, который бы подошел независимым Соединенным штатам, заметно не отразилось на политическом воображении Англии или континентальной Европы⁴.

Классическое марксистское видение Французской революции как восстания энергичной буржуазии, обладающей развитым самосознанием, против паразитического высшего сословия, цепко сковавшего растущие производительные силы, было непоправимо похоронено исторической наукой в течение последних нескольких десятилетий⁵. Но ряд черт понятия революции, которое сформировалось к 1794 г., были ясно представлены в сознании некоторых мыслителей в течение полувека, предшествовавшего ее началу. Пример Великого английского восстания с его религиозными идеологиями, конвульсивной борьбой за общественную свободу и запоминающейся кульминацией казни по приговору суда помазанного Богом монарха был подробно рассмотрен Давидом Юмом. И Великое английское восстание, и скептический анализ Юмом его причин и последствий тщательно изучались в высших кругах государств

¹ См.: Guizot F. *History of the revolution d'Angleterre*. Paris, 1826; О собственных политических взглядах Гизо см.: Rosanvallon P. *Le Moment Guizot*. Paris, 1985. P. 16-25. «Terminer la revolution». Об ином использовании термина в XVII столетии см.: Hatto A. «*Revolution*»: *an Enquiry into the Usefull of an Historical Term* // *Mind new series*. № 58 (232). 1949. P. 504-505; Snow V. F. *The Concept of Revolution in the Seventeenth-century England* // *The Historical Journal*. № 5 (2). 1962.

² Сравните Kenyon J. *Revolution Principles: The Politics of Party, 1689-1720*. Cambridge, 1977 с более строгим рассмотрением надежд и целей Локка в: Ashcraft R. *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*. Princeton, NJ, 1986.

³ См.: Bailyn B. *The Ideological Origins of the American Revolution*. Cambridge, MA, 1967.

⁴ Cp.: Wood G. *The Creation of the American Republic 1776-87*. Chapel Hill, NC, 1969; с добротностью размышлений в Echeverria D. *Mirage in the West: A History of the French Image of American Society to 1815*. Princeton, NJ, 1968.

⁵ См.: Taylor G. V. *Non-capitalistic Wealth and the Origin of the French Revolution* // *American Historical Review*. № 62(2). 1967; Lucas C. *Nobles, Bourgeois and the Origins of the French Revolution* // *Past and Present*. № 60. 1973; Furet F. *Interpreting the French Revolution*, translated by E. Forster. Cambridge, 1982.

ancient regime и идеологами, которые оплакивали его окончание и боролись за приближение момента его возвращения¹.

В течение нескольких десятилетий до революции, как свидетельствуют высокопоставленные королевские чиновники и философы-диссиденты, существовало ощущение острого политического напряжения между изолированным и плохо обосновывающим свои решения правительством, государственными структурами и общественным мнением, которое чувствовало возрастающую уверенность в собственных силах и раздражение от неспособности правительства². В некоторых отдельных случаях даже присутствовало осознание того, к чему, в конце, концов может привести эскалация этого напряжения³. Кроме того, в сложной переработке политической теории Харрингтона шотландцами Юмом, Смитом и Милларом⁴ уже присутствовала вполне доступная концепция взаимовлияния экономической сферы и политической организации общества, а также видение исторической траектории развития Европы, в которую Французская революция, как это в действительности и случилось, могла быть встроена лишь с небольшими аналитическими исправлениями⁵.

В глазах ее протагонистов революция началась как политический проект, призванный использовать права человека в качестве формы обновления политического порядка ради достижения полного гражданского равенства, которое бы способствовало репрезентации всех легитим-

¹ Bongie L. L. *David Hume: Prophet of the Counter-Revolution*. Oxford, 1965. P. XV, XVI, 59, 66, 77, 81, 123–124, 126, 159.

² См.: Baker K. M. *French Political Thought at the Accession of Louis XVI* // *Journal of Modern History*. № 50(2). 1978; Baker K. M. *Enlightenment and Revolution in France: Old Problems, Renewed Approaches* // *Journal of Modern History*. № 53(2). 1981; Baker K. M. *On the Problem of the Ideological Origin of the French Revolution* // LaCarpa D, Caplan S. L. (eds.) *Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives*. Ithaca, NY, 1982.

³ См.: Baker K. M. *A Script for the French Revolution: The Political Consciousness of the Abbe Mably* // *Eighteenth-Century Studies*. № 14(3). 1981; Koselleck R. *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*. Translated by Keith Tribe. Cambridge, MA, 1985. P. 19–20, где дается замечательная оценка деятельности Дидро в 1774 г. Главы 1 и 3 яркой книги Козеллека особенно информативны относительно характера современного понятия «революция».

⁴ См.: Hont I., Ignatieff M. (eds.) *Wealth and Virtue: the Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment*. Cambridge, 1983; Meek R. L. *Social Science and Ignoble Savage*. Cambridge, 1976; Winch D. *Adam Smith's Politics: an Essay in Historiographic Revision*. Cambridge, 1978.

⁵ Barnave J. *Introduction à la révolution française*. Edited by Fernand Rude. Paris. (English translation in Emanuel Chill (ed.), *Power, Property and History*. New York, 1971). О некоторой степени существующего теоретического диссонанса см. дискуссию в Fontana B. *Rethinking the Politics of Commercial Society: The Edinburgh Review, 1802–1832*. Cambridge, 1985. Об интерпретациях английских историков в XIX веке см.: Ben-Israel H. *English Historians on the French Revolution*. Cambridge, 1968.

ных национальных интересов¹. Зависимость же ее от революционных *journees*, бунтообразных действий толп парижских санкюлотов², и, в конце концов, от государственного террора якобинской диктатуры была вызывающей сожаление необходимостью, возложенной на ее главных героев варварским противодействием со стороны сторонников старого порядка, и кроме того, постоянными раздорами и периодическими предательствами в их собственных рядах. Урок, который сторонники революции вынесли из произошедших событий, состоял не только в том, что с необходимостью присутствует некий недостаток в их понимании способов достижения поставленных целей, но и что идеи Просвещения и равенства, обладающие внутренней динамикой и способностью самостоятельно себя защитить, не могут надеяться на реализацию до тех пор, пока политическое сопротивление противников прогресса и *ancient regime*, отрицающих идеи равенства, не будет совершенно преодолено³. Враги революции, естественно, вынесли совершенно иной урок, состоящий в том, что политические и социальные концепции, которые вдохновляли революционеров, были глубоко бессвязными, мотивы, которые побуждали их — уродливыми, а человеконенавистническими средствами, которые они использовали, — знаком их смущения и злобы⁴. Первона-

¹ Сийес. *Что такое третье сословие?* // Аббат Сийес. От Бурбонов к Бонапарту. СПб., 2003. О политическом мышлении Сийеса см.: Bastid P. *Sieyès et sa pensée*. Paris, 1970; Pasquino P. E. J. *Sieyes: la 'Politique Constitutionnelle' de la 'Commercial Society'* // King's College, Cambridge Research Centre Paper, July 1984; Pasquino P. E. J. *Sieyes e la rappresentanza politica: progetto per una ricerca* // Quaderny Piacentiny. № 12, 1984; Paine T. *The Rights of Man*. London, 1915.

² См.: Rude G. E. *The Crowd in the French Revolution*. Oxford, 1959; Soboul A. *The Parisian Sans-Culottes and the French Revolution 1793–4*. Translated by G. Lewis. Oxford, 1964; Soboul A. *Some Problems of the Revolutionary State 1789–1796* // Past and Present. № 65. 1974.

³ Marechal S. *Manifeste des Egaux* в Buonarroti F.-M. *Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf*. 2 vols. Vol. 2. Paris, 1957. P. 94–98:) “La revolution française n'est que l'avant-courrière d'une autre revolution bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière”.

(Французская революция — лишь предвестница иной революции, которая будет намного обширней, намного пышней и которая станет последней). Суждение самого Буонаротти несколько десятилетий спустя в: Buonarroti F.-M. *Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf*. 2 Vols. Vol. I. 1957.

⁴ См.: Burke E. *Reflections on the French Revolution*. London, 1910; Maistre J. de *Du Pape*. Lille, 1890. P. 148: «История учит нас лишь одному: революции, начатые самыми мудрыми людьми, всегда завершают глупцы, и все усилия народа, направленные на создание или приумножение своей свободы, почти всегда заканчиваются тем, что им раздают оружие. И со всех сторон мы видим лишь раненых». См. также: Bonald L.-A. de *Theorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile*. Edited by C. Capitan. Paris, 1965.

чальная попытка прояснения проблемы, порожденной революцией (которая являлась также главным стимулом последующих политических действий), была рождена, по-видимому, ее неожиданной и неопределенной политической траекторией, впечатляющей непокорностью, которая проявилась в процессе формирования политической воли ее участников¹, а также ее влиянием, достаточно удобно соседствующим с образностью механической причинности, совмещаемой с ньютоновской физикой, как это делалось, по крайней мере, после Термидора (1794), со старой провиденциалистской ненавистью.

Наиболее смелый практический урок, извлеченный из вышерассмотренного признака революции, состоял в историческом изобретении роли профессионального революционера, которая синтезировала уверенность в повторении революции, с механицистской точки зрения, с оптимизмом относительно возможностей личного политического вклада, который повторение революции может в ходе своего развития потребовать от энергичных, убежденных и обладающих политической позицией революционеров². Ряд менее авантюрных уроков также был извлечен из близкого союза жестокой борьбы с цивилизующим проектом политической и социальной демистификации и демократизации. Перед лицом этих уроков имеются менее бесстрашные политические отклики, которые делятся на

¹ См.: «Самое поразительное во Французской революции — увлекающая за собой ее мощь, которая устраняет все препятствия. Этот вихрь уносит как легкие соломинки все, чем человек мог от него заслониться: никто еще безнаказанно не смог преградить ему дорогу. <...> С полным основанием было отмечено, что Французская революция управляет людьми более, чем люди управляют ею. <...> И даже злодеи, которые кажутся вожаками революции, участвуют в ней лишь в качестве простых орудий, и как только они проявляют намерение возобладать над ней, они подло низвергаются. Установившие Республику люди сделали это, не желая того и не зная, что они совершили; их к этому привели события: замысленный заранее проект не удался бы. <...> Революционный поток последовательно устремляется в различные стороны. И самые видные люди революции получали какую-то власть и известность, которые могли им принадлежать, лишь в этой струе. Как только они пытались плыть против течения или хотя бы отклониться от него, стать в стороне, позаботиться о себе, как они тот час же исчезали со сцены. <...> Никогда не лишне повторить, что отнюдь не люди ведут революцию, а что сама революция использует людей». *Местр Ж. де. Рассуждение о Франции*. М., 1977. С. 14–17.

Также: Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. Лондон, 1992. С. 70.: «Когда люди действуют сообща, свобода становится властью».

² См.: Rose R. B. *Gracchus Babeuf: The First Revolutionary Communist*. London, 1978; Spitzer A. B. *The Revolutionary Theories of Louise Auguste Blanqui*, New York, 1957; Bernstein S. *Auguste Blanqui and the Art of Insurrection*. London, 1971; Eisenstein E. L. *The First Professional Revolutionist: Filippo Michele Buonarroti*. Cambridge, MA, 1959.

три группы. Первая, которая может быть описана как утопическая, представляет собой строгое отделение проекта социального и политического просвещения от жестокой борьбы за политическую власть. Ее влияние ограничивалось областью образования и одиночных социальных экспериментов скромного масштаба¹. Вторая, воплощенная в идеологии вигов начала XIX в. в Британии, решительно сосредоточилась на императиве ограничения политической борьбы пределами конституционного порядка, способного адаптироваться к практическим нуждам расширяющегося торгового общества. Третья, появившаяся в континентальной Европе после окончательного поражения Наполеона, противопоставила себя торжественной попытке уничтожить Просвещение как таковое².

В течение века, следующего за реставрацией Бурбонов, абсолютные монархии, которые существовали во многих частях Европы в конце XVIII в., были своевременно модифицированы с помощью создания национальных представительных органов и национальных рынков, а также распространения правового равенства на подвластное им население. Многие европейские страны наблюдали свержение правящих династий народными восстаниями и в некоторых случаях замещение их постоянными или временными республиканскими правительствами. Подобные резкие изменения были описаны в универсальных терминах революции, а их повторение помогло поддержать оптимизм и самоуверенность профессиональных революционеров от Буонаротти до Огюста Бланки³. Но, в действительности ни одна революция в XIX столетии не была инициирована самоуверенными революционерами или же не находилась под их контролем в течение большего периода своего течения. Ни одна революция не привела к установлению революционного правительства, которое могло похвастаться динамизмом и международным влиянием якобин-

¹ См.: Claves G. *Owenism, Democratic Theory and Political Radicalism: An Investigation of the Relationship between Socialism and Politics in Britain 1820-1852*. Unpublished Ph. D. Dissertation, Cambridge University, 1983; Taylor B. *Eve and New Jerusalem*. London, 1983; Locke D. *A Fantasy of Reason: The Life and Thought of William Godwin*. London, 1980.

² Jacques Mallet du Pan (1796), цит. по: Hampson N. *The Enlightenment*. Harmondsworth, 1968. P. 260.

В Европе была сформирована лига дураков и фанатиков, которые, если бы они могли, запретили бы человеку видеть и слышать. Вид книги заставляет их содрогнуться; так как Просвещение было поругано, они уничтожают все, что, как они полагают, было просвещено <...>. Уверенные, что без интеллектуалов революций не будет, они надеются сделать их слабоумными.

³ Об иных механизмах, которые содействуют целостности этой традиции настроения и действия, см. последние главы: Hutton P. H. *The Cult of the Revolutionary Tradition: the Blanquists in French Politics 1864-1851*. Berkeley, CA, 1981.

ского режима; и почти все фактически были уничтожены реставрацией монархических институтов.

К началу XX в. в Западной Европе — несмотря на появление массовых политических партий, преследующих цель установления социалистической или коммунистической республики, — профессиональный революционер казался чем-то вроде романтического анахронизма. Только в царской России, обладавшей более архаичной государственной структурой и экономикой, было еще возможно увидеть искренне преданных сторонников насильственных политических подрывных действий как необходимого первоначального условия для цивилизования и демократизации всего общества. Главным основанием для подобного смещения в восприятии политической реальности являлась значительно возросшая способность европейских государств осуществлять репрессивную деятельность посредством гражданских полицейских сил и тяжело вооруженных профессиональных солдат. В Париже 1830 г., а также в Париже, Берлине и Вене 1848 г. монархические режимы рушились фактически мгновенно при столкновении с революционными *journees*, развязанными голодными *маленькими людьми* столиц. Впоследствии, после 1848 г., правительства Западной Европы, естественно, приложили значительные усилия для предотвращения повторения подобных событий, и условия мирного времени, которые они обеспечили себе в течение полувека, способствовали этому¹. Именно Первая мировая война вернула опыт прямых революционных действий в Западную Европу; политическим результатом этой войны стали события в России, которые обеспечили категории революции центральное место в понимании предполагаемого будущего.

Роль марксистской политической теории в подготовке и осуществлении Второй русской революции в октябре 1917 г., а также смелые амбиции марксизма как системы исторического и социального анализа, который может объяснить текущие события, делает более невозможным отделение оценки характера и причинной связи, лежащей в основе революций, от оценок политических заслуг, интеллектуальной связности и объяснительной силы марксизма самого по себе. Либеральные и марксистские интерпретации разрушения французского *ancient regime*

¹ См.: Pinkney D. H. *The French Revolution of 1830*. Princeton, NJ, 1972; Tilly Ch. *The Changing Face of Collective Violence* // Richter M. (ed.) *Essay in Theory and History*. Cambridge, MA, 1970. Также о развитии репрессивности современного государства см.: Tilly Ch. (ed.) *The Formation of Nation State in Western Europe*. Princeton, NJ, 1975. Кроме того, Введение Энгельса к Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848–1850 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 197: «способ борьбы, применявшийся в 1848 г., теперь во всех отношениях устарел».

разделяли объяснительную перспективу, которая переносила вопрос о политической власти прямо в историю изменений социальной и экономической организации, историю, которая, как надеялись либеральные мыслители и государственные деятели, по существу уже достигла цели своего развития, но последователи Карла Маркса были уверены, что она в своем развитии с механической необходимостью продвинется, по крайней мере, еще на один абсолютно необходимый уровень¹. С середины XIX в. эти фундаментальные разногласия в объяснительной перспективе стали источником двух разных морально и идеологически динамичных пониманий современной политики. (Интересно, что в XX веке эти две крайне враждебные идеологии стали основой противостояния двух величайших сверхдержав).

Для либеральных мыслителей основное политическое значение Французской революции состояло в неизбежности и постоянном желании устранения произвольно установленных исторических привилегий и господства из социальных отношений. Тем, что должно было поддерживать единство современных обществ в соответствии с процессом избавления от старых социальных связей, становились национальная и международная система свободного рыночного обмена и минимальный уровень принуждения со стороны власти, необходимый для гарантии прав на частную собственность участников этого обмена. С другой стороны, для марксистов рынок труда сам по себе был формой исторически произвольно установленного господства, равно как и последствием произвольно установленных привилегий и принуждения. Соответственно, дальнейшим необходимым уровнем социальной эволюции становилась отмена права частной собственности на средства производства и сопутствующей ему организации производства, то есть организации рабочей силы и распределения прибавочной стоимости, ею производимой, исходя из принципов общественной собственности на средства производства. То, что делало подобную трансформацию не просто моральным императивом, но и исторически надвигающейся, так это неискореняемая нестабильность и растущие внутренние противоречия рыночной экономики, организованной на принципах частной собственности (стр. 343 прим. 25). Сам Маркс никогда не претендовал на разработку полного анализа внутренних противоречий капиталистического способа производства или непосредственно связанной с этими противоречиями теории нестабильности торговых циклов. Поэтому, к торжеству последующих экономистов-марксистов, невозможно с высокой степенью вероятности определить, где Маркс по-

¹ Собственная интерпретация Маркса фактически позаимствована из работ либеральных историков революции. См.: Bruhat J. *La Revolution française et la formation de la pensée de Marx* // *Annales Historiques de la Revolution Française*. № 48 (184). 1966.

терпел неудачу. Но они продолжали рассматривать капиталистическую мировую экономику со скептицизмом и враждебностью, культивируемыми чувствительностью к ее безусловно неровным движениям и поисками в ней признаков начинающейся дезинтеграции. Но в дальнейшем, несмотря на грозную разрушительность двух мировых войн, наиболее радикальным надеждам не суждено было осуществиться.

Однако в настоящий момент важнее провести сравнение нестабильных состояний и противоречий рыночной экономики с аналогичными чертами плановой экономики, основанной на общественной собственности¹ (стр. 344 прим. 26). Такие сравнения, если они проведены честно², совершенно не несут в себе подавляющей научную объективность лести в отношении одного из лагерей, хотя фактически каждое вносит свой значительный вклад в выяснение их наиболее постыдных черт. Ни одна из форм современной экономики не может быть отмечена как успешная в течение долгого периода времени в соответствии с таким простым критерием, как соединение обеспечения полной занятости трудового населения, роста производительности труда и роста производства товаров, удовлетворяющих желания потребителей³ (стр. 344 прим. 27). Ничто иное не может быть истинным, поскольку производство, основанное на социалистических принципах, до сих пор терпело неудачу в попытках доказать свое превосходство в производительности труда над производством, основанным на капиталистических принципах; и нет видимой перспективы, что оно сможет сделать это. Равно не существует и ни одного современного государства, которое бы ухитрилось соединить экономику, организованную на принципе общественной собственности на средства производства, с формой правления, хотя бы минимально ответственного перед управляемыми или гарантирующего широкий диапазон гражданских прав, хотя бы отдаленно напоминающий тот, который присутствует в главных капиталистических демократиях. (По крайней мере, ни одно из них не сделало и попытки осуществить это). Соответственно, отсут-

¹ О важности этой перспективы см.: Dunn J. *Rethinking Modern Political Theory*. Cambridge, 1985.

² Ellman M. *Socialist Planning*. Cambridge, 1979; Pryor F. L. *Growth and Fluctuations of Production in OECD and East European Countries* // *World Politics*. № 37 (2). 1985; Nove A. *The Economics of Feasible Socialism*. London, 1983.

³ Наиболее впечатляющее исключение представляют собой страны OECD, продемонстрировавшие экономические успехи в период 1945–1973 гг., и экономика Японии, успешная вплоть до сегодняшнего дня. О несущественном когнитивном фундаменте первого см.: Goldthorpe J. H. (ed.) *Order and Conflict in Contemporary Capitalism*. Oxford, 1984; Olson M. *The Rise and Decline of Nations*. New Haven, CT, 1982.

ствует основание возлагать анализ современного понятия революции на прямых политических наследников главных революций XX столетия.

Поэтому каким образом в наилучшей степени осветить то, что содержится в понятии революции? Для ответа на этот вопрос необходимо внимательно рассмотреть то, пониманию чего в наибольшей степени, может помочь данное понятие. Наиболее безошибочный путь, предусмотренный данным понятием, состоит в том, чтобы применить его к широкому спектру исторических примеров, известным за всю историю существования термина. Подобная номиналистическая стратегия понимания имеет преимущество в своей простоте; будучи ясно объясненным, понятие едва ли сможет ввести кого-нибудь в заблуждение. Но она же имеет и огромный недостаток, поскольку опошляет понятие без надежды на его возрождение. С 1789 г., частично из-за впечатляющего исторического резонанса Французской революции, термин «революция» применялся с возрастающей скоростью к огромному числу исторических эпизодов¹. Первые представляли собой экономические, политические и социальные трансформации огромных соцгосударств, таких как Россия и Китай. Вторые представляли собой не более чем неконституционную смену правителей в определенных государствах на межгосударственных конгрессах. Третьи имели дело со значительным уровнем социальных и экономических изменений, осуществляемых по существу несменяемым государственным аппаратом, имеющих радикальные последствия для характера получившихся в результате этих изменений государств². В-четвертых, было осуществлено соединение угрозы использовать и использование насилия из-за границ государства, в которых это насилие применялось, с конституционным наследованием власти и радикальным ее использованием. (Наиболее важный пример подобных событий — нацистская Германия). Ни один термин, который используется для описания подобной огромной смеси политических эпизодов, не может служить эффективным инструментом анализа. Если революция остается лишь термином обыденного языка, то крайняя его всеупотребимость в

¹ Он также применялся к впечатляющему ряду трансформаций от неолитической революции до научной и индустриальной революций. Подобное использование является в каждом случае а posteriori влияния Французской революции и, несмотря на очевидное метафорическое расширение первоначального политического образа, это выражение масштаба и решимости изменений в объекте, который они описывают.

² См. примеры в: Trimbergen E. K. *Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt and Peru*. New Brunswick, NJ, 1978; Halliday F., Molyneux M. *The Ethiopian Revolution*. London, 1981; и, возможно, «революции сверху» XIX в., которые направлялись Бисмарком и Кавуром.

современной речи нивелирует его ценность для обозначения цельного, ясного понятия.

Этот вопрос не имел бы последствий, если бы в современном политическом опыте отсутствовал такой отличный от иных и крайне важный феномен, для обозначения которого, а также для помощи нам в понимании феномена, им описываемого, термин “революция” подходил бы столь полно. Даже наиболее яростные противники революций не могут не признать, что коммунистические революции XX в. представляют собой отличный от своих предшественников и крайне важный тип политического события. Геополитические и идеологические конфликты конца XX в. не могут быть полностью поняты только с помощью анализа природы главных революций этого века. Но и подвергаться связному рассмотрению без подобного анализа они также не могут. Этот факт уже сам по себе подчеркивает крайнюю важность рассмотрения исключительно революций XX в. Существует ряд примеров в европейской истории раннего Нового времени (наиболее важный — революция в Нидерландах), в которых революционные действия привели к расщеплению династической империи и образованию политически независимой национальной единицы. Но ни одно из значительных социальных потрясений внутри отдельной политической единицы фактически не привело к появлению новой постоянной государственной формы, явная цель которой состояла бы в реализации социальных целей повстанцев. До XX в. внутренние революции (революции, произошедшие лишь в одной отдельной стране и направленные против ее правящих групп и установленного в ней нового политического порядка) неизбежно кончались реставрациями, тем не менее, драматичность происходивших восстаний оставила след в политической культуре и ожиданиях населения, глубоко отразившись в структуре восстановленных режимов.

Новым в отношении понимания революций XX столетия была доказанная способность революционного действия не просто свергнуть *ancien* или сравнительно *новые* режимы, но и способствовать установлению нового режима, могущего эффективно себя защитить. Именно эта траектория от разрушения до воссоздания лучшего или худшего поместила революции XX столетия в центр современной мировой истории. Главная цель, для чего и требуется понятие революции, — сосредоточиться на характере, объяснить условия и течение подобных исторических эпизодов. В столкновении с этой проблемой обыденность использования и применения этого термина помочь не может.

Главным образом, Русская и Китайская революции возложили на нас проблему понимания понятия революции, и следовательно, полезно было бы рассмотреть главные проблемы в применении данного понятия по отношению к этим двум событиям. В обеих странах старые (и срав-

нительно экономически отсталые) династические империи распались в начале XX столетия; и в обеих, в соответствии с принятым курсом, были установлены эффективные новые правительства посредством военных и политических усилий коммунистической партии. В каждом случае падение старого порядка и установление нового были хронологически и политически разделенными процессами; в случае России они были разделены периодом примерно в восемь месяцев, а в китайском случае, более поразительном, периодом в 40 лет¹. Ни в одном случае первоначальные события крушения *ancien regime* не могут быть приписаны деятельности партии, которая в соответствии с последующими событиями встанет в авангарде создания нового режима. (В китайском случае партия даже не существовала в течение целого десятилетия после кончины имперского государства). Пока совершенно неясно, как же могут быть в наилучшем виде поняты взаимоотношения между крушением старого и созданием нового. Но один из важных вопросов, который следует поставить, состоит в следующем: возможно ли рассматривать первый и второй примеры в абсолютно одинаковых терминах? От ответа на этот вопрос и зависит основа понимания революции как понятия. (Важно отметить, что это вопрос выбора когнитивной стратегии, а возможно, и политической идентификации, но не вопрос, стесненный законами логики и неотъемлемым значением слова).

Каждая из двух победивших партий, несмотря на несколько еретический статус в течениях международного марксизма, который они заслужили в то время, когда осуществляли решающий рывок к власти, в настоящее время обладает твердыми рамками понимания, относящегося к делу революции в ее полноте. Даже наиболее нетерпимые из коммунистических партий еще заявляют о своей вере в одну из интерпретаций подхода к историческому и политическому анализу, первоначально разработанному Карлом Марксом. Этот подход объясняет крушение старых структур политических, экономических и социальных отношений их производственной слабостью в сравнении с конкурирующими обществами и их политической хрупкостью при столкновении существующих политических властей с внутренними классовыми силами. Он также объясняет (с большей или меньшей ловкостью) установление коммунистической власти в условиях сравнительно замедленного экономического развития, как особо драматичного примера преимуществ соединения наиболее передового понимания мировой истории и его политического значения со сравнительно слабым сопротивлением, которое обеспечила архаическая экономика и государство, основанное на ней. (Политику внутри классовых отношений и мировое значение исторической роли пролетариата в революционной деятельности необходимо

¹ Определение дат, конечно, произвольно.

воздвигать на пьедестал с большой осмотрительностью). Это объяснение, концентрирующееся на преимуществах отсталости, возвращает к ранним политическим работам самого Маркса и его вниманию к дискредитированной политической неподвижности Германии¹, а также, ведущим темам русского революционного народничества второй половины XIX столетия (с которыми Маркс заигрывал в последние годы жизни²). В начале XX столетия внимание к политическим преимуществам отсталости (которое в российском случае после 1917 г. было, в сущности, невольным обращением к анализу условий революционного успеха в отдельной огромной стране) было дополнено настойчивостью Троцкого в формулировании «закона неравномерного развития» и, следовательно, политической уязвимости капитализма, рассматриваемого как всемирная система производства и обмена³.

Этот экспансивный, хотя и не скоординированный подход к пониманию феномена революции имеет достоинство универсализма и действительно представляется полезным в объяснении образцов и временных рамок случаев крушения *ancien regimes* в XX столетии⁴. Будучи эвристичным подходом, он может предложить сомнение относительно законности коммунистических режимов даже при относительно длительном их пребывании у власти, а также показать, оправдана ли (исключая случай термоядерной войны) марксистская предпосылка о превосходстве социализма в производительности труда⁵ — перспектива, относительно которой даже апологеты коммунистических режимов высказываются несколько неуверенно. Но даже если переработанный марксистский подход удачно соединил объяснение крушения *ancien regimes* с убежденностью в законности любого коммунистического режима, который пришел на смену *ancien regimes*, только подверженные тяжелой форме легко-

¹ См.: Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 изд. Т. 1. М., 1955.

² См.: Walicki A. *The Controversy over Capitalism*. Oxford, 1969; Venturi F. *Roots of Revolution*. Translated by Frances Haskell. N.-Y., 1966; Shanin Th. (ed.) *Late Marx and the Russian Road: Marx and the «Pereipheries of Capitalism»*. London, 1983; Knei-Paz B. *The Social and Political Thought of Leon Trotsky*. Oxford, 1978. P. 585–98.

³ См.: Lowy M. *The Politics of Combined and Uneven Development: The Theory of Permanent Revolution*. London, 1981; Альтюссер Л. За Маркса. М., 2006.

⁴ См. впечатляющую работу Skocpol Th. *States and Social Revolutions*. Cambridge, 1979; и см.: Dunn J. *Political Obligation in its Historical Context*. Cambridge, 1980. Ch. 9; и Dunn J. *Rethinking Modern Political Theory*. Cambridge, 1985. Ch. 6.

⁵ См.: Dunn J. *The Politics of Socialism: An Essay in Political Theory*. Cambridge, 1984; Dunn J. *Rethinking Modern Political Theory*. Cambridge, 1985. Ch. 5.

верности должны заключить, что подобный подход предлагает помощь в объяснении политического учреждения любого коммунистического режима, где бы он ни появился¹.

Уничтожение старого режима и строительство нового социального и экономического порядка с государственной властью, способной его эффективно защитить, конечно, является необходимым условием революции. Следовательно, при любой оценке их сегодняшних политических заслуг то, что случилось в России и Китае в этом веке, было подходящим образом определено как революция. Если бы самовосприятие политических активистов революционных движений было всеобъемлюще истинным, или если бы даже существовала достаточная причина рассматривать социалистическую организацию производства как такую, которая экономически и социально превосходила бы капиталистическую, то было бы разумно уточнить характер и поискать объяснение причины революции с помощью категорий теории истории Маркса². Однако существующее положение делает абсурдным автоматическое обращение к марксизму, как к когнитивному авторитету в объяснении революций. А поскольку марксистская система категорий больше не является привилегированной, неясно, насколько разумно ожидать объяснение причин революций, исходя из одного фактора.

Маркс и Энгельс в своих объяснениях Французской революции и предчувствиях будущих революций старались доказать, что революция является продуктом глубоких структурных противоречий внутри общества, а не результатом махинаций профессиональных революционеров, алхимиков революции с характерным для них преувеличением роли человеческой воли, расчетом и «конспирологическими» концепциями катализаторов революции³. Революция, как заметил Энгельс, «это чисто стихийное явление»⁴, вторящее образу механической детерминации,

¹ Dunn J. *Political Obligation in its Historical Context*. Cambridge, 1980. Ch. 9; MacIntyre A. *Ideology, Social Science and Revolution // Comparative Politics*. № 5(3). 1973.

² О двух вдохновенных попытках предложить наилучшее осмысление этого см.: Cohen G. A. *Karl Marx's Theory of History: a Defence*. Oxford, 1978; и Elster J. *Making Sense of Marx*. Cambridge, 1985.

³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Обзор о Чень и де ла Ходэ в *Neue Rheinische Zeitung* (1850); Hunt R. N. *The Political Ideas of Marx and Engels*. Vol. I. London, 1975; Maguire, J. M. *Marx's Theory of Politics*. Cambridge, 1978; Draper H. *Karl Marx's Theory of Revolution: Part I: State and Bureaucracy*, 2 vols. New York, 1977; Gilbert A. *Marx's Politics: Communists and Citizens*. Oxford, 1981. О враждебности Маркса к «умным политикам» и политическому разделению труда см.: Ashcraft R. *Marx and Political Theory // Comparative Studies in Society and History*. № 24(4). 1984. Особенно P. 664.

⁴ «Революция — это чисто стихийное явление, которое управляется более физическими законами, чем правилами, определяющими в обычное время раз-

который Французская революция воплотила столь естественно. Как и иные феномены природы, будущие моменты ее проявления в мире можно предчувствовать с такой же уверенностью, как и другие события, подчиненные причинной детерминации¹. Как недавно отметил Венделл Филлипс: «Революции не делаются. Они приходят»².

Но в то время как образ механической причинной детерминации действительно временами достаточно хорошо подходит для объяснения крушения *ancien* (или даже *новых*) режимов, особенно перед лицом общественных восстаний в городах и пригородах³, он абсолютно не подходит для объяснения целенаправленных, стратегических и чрезвычайно согласованных политических действий современных вооруженных революционных партий, осуществляемых даже до окончательного крушения старого режима. Он не подходит для объяснения борьбы революционной партии, которая, однажды преуспев в захвате государственной власти, удерживает и использует ее для формирования нового общества и экономики. Политическая перспектива вооруженного восстания, конечно, зависит от внутренних классовых отношений, а также структурной силы или слабости стоящих у власти. Но само решение о начале вооруженного восстания, политические и военные умения, с которыми оно проводится, — это главные причины в детерминации, которая определяет крушение государства⁴. Отсутствуют логические или концептуальные отношения между хрупкостью современных государственных форм и конкурентоспособностью современных профессиональных революционеров. Поскольку отсутствует необходимая связь между ними, постольку нет и единой, связной современной объяснительной теории даже наиболее важной и отличительной формы современной революции, как в качестве идиомы механической причинной детерминации на уровне всего общества, так и в качестве идиомы намеренной практики, осуществляемой в соответствии со стратегическими интересами групп. (Конечно, может,

витие общества, или, лучше сказать, эти правила во время революции приобретают более физический характер. Материальная сила необходимости выступает резче». Письмо Энгельса Марксу от 13 февраля 1951 года. К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса. М., 1922.

¹ См. сноску 1 на с. 20.

² Цит. по: Skocpol Th. *States and Social Revolutions*. Cambridge, 1979. P. 17.

³ См. примеры: для Франции 1789 г. Lefebvre G. *The Coming of the French Revolution*. Translated by R. R. Palmer. New York, 1957; для России февраля 1917 г. и последующих месяцев Ferro M. *La revolution de 1917: la chute du tsarisme et le origines d'octobre*. Paris, 1967; для Ирана Dunn J. *Country Risk: Social and Cultural Aspects* // Herring J. R. (ed.), *Managing International Risk*. Cambridge, 1983.

⁴ См.: Dunn J. *Understanding Revolutions* // *Ethics*. № 92 (2). 1982.

должно и будет осуществлено систематическое исследование детерминант уязвимости режимов, деструктивной и конструктивной эффективности ряда стратегических практик революционеров и контрреволюционеров. Но эти различные компоненты должны быть объединены вместе в рассмотрении каждого примера и не могут быть сведены к аналитической схеме, с равным успехом объясняющей все случаи).

Одно важное заключение наиболее впечатляющего современного изучения детерминант уязвимости политического режима — огромное влияние межгосударственных военных отношений¹ — еще более подчеркивает причинный вес человеческого суждения и стратегического расчета. Оно также остро ставит вопрос о, по существу, эндогенной и внутринациональной концепции природы и причинности революций, которые появились в результате Французской революции (по крайней мере, так она была воспринята революционными силами из самой Франции). Было ли или нет это истинным в иные века², в XX в. нельзя рассматривать крушение даже наиболее дряхлых и оскорбительных *ancien regimes*, как это делал Маркс (вслед за либеральными историками), анализируя Французскую революцию, просто как внутреннее свержение паразитического политического порядка, характеризующегося возрастающим анахронизмом, — свержения, осуществляемого энергичным напряжением сил процветающих и подданных, высокой производительностью труда. Репрессивные способности почти всех современных государств зависят, главным образом, от тесных и комплексных связей с рядом иностранных держав; революционный потенциал современных повстанцев и конструктивная сила современных революционных правительств также зависят от равно сравнимых связей, предоставляющих материальную помощь, импортирующих идеи, и модификации стратегических приемов, которые применяют революционеры³. Как и в любом другом политическом процессе, основанном на принципе жесткой конкуренции, причинную роль человеческого научения в современной революции едва ли можно переоценить⁴.

Неудивительно, что понятию революции следовало бы прогнаться под таким давлением конкурирующих подходов. Не должно казаться

¹ См.: Skocpol Th. *States and Social Revolutions*. Cambridge, 1979. Должно быть ясно, что вывод, представленный здесь в соответствии со сделанным акцентом, не был сделан самой Скопол.

² Примеры см. в: Skocpol Th. *States and Social Revolutions*. Cambridge, 1979; в этой книге она делает акцент на международных элементах в причинной цепи Французской революции.

³ Подобная точка зрения представлена во всех произведениях Скопол.

⁴ Dunn J. *Modern Revolutions: an Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon*. Cambridge, 1972; Dunn J. *Understanding Revolutions* // *Ethics*. № 92 (2). 1982.

удивительным, что это же давление погубило интеллектуальную убедительность тех научных теорий революции, которые стремились к пределам и всеобщности теорий в науках о природе¹. Жесткая лексическая диктатура мировой науки препятствует использованию понятия в аккуратной и определенной форме. Но, конечно, она дает возможность любому пользователю понятия дать ему свое собственное толкование и вложить в него то, что он захочет.

Но, осуществляя подобное действие, было бы мудро держать в уме, по крайней мере, две вещи. Первое: свою важность революции XX в. обрели не из-за неотрицаемой драмы их начального периода, но из-за масштаба долгосрочных последствий. Прочность и институализированная политическая определенность их результатов отделила современные революции от их предшественников. Ключевая черта их результатов в случае коммунистических революций² состоит в единстве особой структуры правительства (обычно в «нормальных» условиях управления революционной партии по ленинской модели) и воссоздании экономики на базе общественной собственности, по крайней мере, на основные средства производства. В размышлении о революции необходимо провести разделение между политическим разложением существующих государственных форм (это разложение может быть как спонтанным, так и осуществляться с внешней помощью) и политическим созданием нового общества с помощью трансформирования структуры отношений собственности и производства. Неоправданно ограничивать использование термина «революция» примерами из второго процесса, поскольку этот критерий отсутствовал в революциях до XX столетия.

Второе, что необходимо иметь в виду: ключевой опыт, превративший термин «революция» в центральную категорию современного политического дискурса, состоит в неожиданном крушении долговечного абсолютистского политического порядка при столкновении с гневом и политической энергией своих подданных. В соответствии с этим критерием Французская революция просто не имела значительного ряда преемников (ни один из которых не оказался более или менее легитимным ее потомком)³; но она имела определенных предшественников,

¹ Сравните Davies J. C. *Towards Theory of Revolution* // *American Sociological Review*. № 27 (1). 1962; и Gurr T. R. *Why Men Rebel*. Princeton, NJ, 1970; с Dunn J. *Modern Revolutions: an Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon*. Cambridge, 1972. Заключение;

² Противоположное наблюдается в Иране. См.: Skocpol Th. *Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution* // *Theory and Society*. № 11 (3). 1982; и, возможно, в Мексике. См.: Dunn J. *Modern Revolutions: an Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon*. Cambridge, 1972. Ch. 2.

³ В качестве примера наиболее репрезентативен Иран.

наиболее «заметный» из которых — Английское великое восстание¹. Великое восстание не более изменило основную структуру собственности и производства в Англии в середине XVII в., чем Французская революция изменила ее во Франции в конце XVIII в. Но в каждом случае присутствовала тесная связь между общественным восстанием, длительной борьбой и появлением радикальных доктрин социального и даже экономического равенства² (стр. 351 прим. 44). Между дующимся эмоциональным зарядом замечательных требований идеологий и более грязных практических последствий революционного государственного строительства XX в., понятие революции неловко смотрит на эти два очень различных направления. И, делая это, оно близко подходит к сочетанию внутри одного термина всей нестабильности современного политического исследования.

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ДИЛЕММЫ СУБДИСЦИПЛИНЫ

На протяжении всей своей истории проблема революции — начиная с 1789 г., когда термин прочно перешел из дискурса естественных наук в дискурс политический, придав ему радикально новое значение³ — демонстрировала две непреходящие особенности собственного существования: *уникальность* и *цикличность*. Первое обеспечивалось внезапностью проявления феномена в истории, второе — характером всплеска научного интереса к данным событиям, которые, подобно расходящимся по воде кругам, вызывали отклики и опыты теоретического осмысления в среде интеллектуалов, постепенно угасавшие до момента нового революционного взрыва.

В традиции анализа проблемы революции можно обозначить ряд *классических* случаев (революция во Франции, России, Китае, на

¹ См. острое обсуждение работы Wootton D. *The Continental Rebellion and the English Revolution* // *Dalhousie Review* 1 63. 1983; в двухтомной работе Zagorin P. *Rebels and Rulers 1500–1600*. 2 vols. Cambridge, 1982.

² О Великом восстании см.: Hill Ch. *The World Turned Upside Down*. London, 1972.

³ Более подробно об изменении понимания «революции» после событий 1789 г. см.: Sewell W. H., Jr. *Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case* // *The Journal of Modern History*. Vol. 57. № 1. 1985. P. 81–81.

Кубе, в Иране), которые создали соответствующие циклы теоретического осмысления. Учитывая обозначенные выше особенности феномена, случай революции в Иране и череда «бархатных революций» в Восточной Европе стали во всех смыслах критическими для интеллектуальной традиции. Падение просоветских режимов в социалистическом лагере, а также примеры недавних «цветных революций» в Югославии, Грузии, Киргизии, Ливане и Украине ставят на повестку дня вопрос о замене и так концептуально рассогласованного понятия «революция»¹ на принципиально новые: *refolution*² (т. е. гибрид реформы и революции) и *reelection* (т. е. смена власти путем массового протеста по поводу итогов выборов).

Таким образом, современные примеры манифестации феномена и его качественная трансформация требуют теоретического анализа и, соответственно, развития нового цикла интеллектуального осмысления.

С одной стороны, проблема революции получила осмысление в политологии как в рамках теорий коллективного действия Таллока, Олсона и др., так и в рамках современной теории демократического транзита Хантингтона, О'Доннелла, Шмиттера, Пшеворского и др. Слабость представителей первого подхода состоит в рассмотрении политических акторов как слишком автономных/рационалистичных, а революции как всего лишь наиболее радикального политического состязания в рамках линейной шкалы коллективного действия. Теоретические подходы школы «транзитологии», ставшие одними из ключевых для современной политической теории, не смогли дать достаточно четкое объяснение современным революционным феноменам, ограничившись изложением общих причин падения режимов³ и оставив в стороне особенности и девиации самого «перехода к демократии». Неудивительно, что «транзитология», как в своей сущности телеологическая парадигма, смогла ответить на появившиеся в ее рамках примеры-аномалии лишь посредством теоретического усложнения и введения новых концептов *ad hoc*: «гибридный режим», «прото- и квазидемократия», «остановленный транзит» и т. д.⁴

¹ См.: Эйзенштадт Ш. *Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций*. М., 1999. С. 44–45; Paige J. M. *Finding the Revolutionary in the Revolution: Social Science Concepts and the Future of Revolution* // Foran J. (ed.) *The Future of Revolutions. Rethinking Radical Change in the Age of Globalization*. New York, 2003. P. 19–20. [Текст Пейджа представлен в настоящем издании. — Прим. ред.].

² Понятие было введено Т. Г. Ашем применительно к падению просоветских режимов в Польше и Венгрии.

³ См.: Хантингтон С. *Третья волна. Демократизация в конце XX века*. М., 2003. С. 52–57.

⁴ См.: Капустин Б. Г. *Конец “транзитологии”? (О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия)* // Полис. № 4. 2001.

Это же стало причиной более критического отношения к данной парадигме, в частности, в немецкой политической науке, где традиционное для американской политологии понятие «транзит» получило развитие в рамках более нейтрального концепта «трансформация»¹. Примеры более детального анализа краха политических режимов в Восточной Европе, и Латинской Америке² и Украине в ходе «оранжевой революции»³ хотя и привлекают для объяснения событий теории рационального актора, но все же скорее остаются способными теоретически синкретично объяснить исход политического кризиса, а не его предпосылки, которые *de facto* и создают «окно возможностей» для выступления оппозиции и то поле альтернатив, в рамках которых могут оперировать действительные политические акторы.

С другой стороны, начиная с 20-х гг. XX в. в общественной науке (преимущественно в Соединенных Штатах) сформировалась субдисциплина для изучения проблемы революции. В строгом смысле, данная теоретическая школа не относится к политологии, поскольку является междисциплинарной и находится на границе (макро)социологии, сравнительной истории и политической науки. При этом стоит отметить, что подобное «пограничное» положение в пространстве гуманитарной науки как раз и создает благоприятные возможности для междисциплинарных «обменов» и теоретических экспериментов.

В российском научном сообществе представители данной субдисциплины стали в некоторой степени известны благодаря переводным монографиям⁴ и теоретическим обзорам зарубежных и отечественных авторов⁵. Цель данной статьи состоит не только в систематическом освещении и подходов данного теоретического направления, но и в том, чтобы наметить тот способ, которым подходы данной субдисциплины могли бы быть интегрированы в соответствующие смежные области политической науки.

¹ См.: Штыков П. *Исследования трансформационных процессов в Восточной Германии и Восточной Европе: достижения, проблемы и перспективы немецких социальных наук (1990–2002 годы)* // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей / Под ред. П. Штыкова, С. Шваница: В 2-х т. Т. 1. СПб.-М., 2003.

² Пшеворский А. *Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке*. М., 2000. С. 101-107.

³ Гельман В. Я. *Уроки украинского* // Полис. № 1. 2005.

⁴ См.: Эйзенштадт Ш. *Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций*. М., 1999; Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. СПб., 2005.

⁵ См.: Штомпка П. *Социология социальных изменений*. М., 1996. Гл. 20; Розов Н. С. *Философия и теория истории*. Книга 1. Прологомены. М., 2002. Гл. 4; Ланцов С. А. *Политическое развитие и модернизация* // Политология: учебник / Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М., 2006.

Общие теории революции и конфликта

В 1950-е и 1960-е гг., когда на месте бывших колоний формировались новые национальные государства, а беспорядки в университетах и негритянских гетто взрывали политическую стабильность послевоенной Европы и США, в научной среде появилась заинтересованность в теоретическом осмыслении революционных потрясений и восстаний. Подобный интерес сформировал два основных теоретических направления: *системные/ценностно-согласованные* (systems/value-consensus) теории (Смелзер, Джонсон) и *агрегативно-психологический* (aggregate-psychological) подход (Фейерабенды, Дэйвис, Гарт).

Теоретическим фундаментом первого подхода стал структурный функционализм Парсонса и Мертона, поставивший во главу угла для исследователей конфликта проблему социальной аномии, нарушения системного равновесия и дисфункции системы¹. Если Нил Смелзер рассматривал революцию в контексте общей теории поведения, возникновения и последующей мобилизации ценностно-ориентированных движений (value-oriented movements)², то Чалмерс Джонсон концентрирует свое внимание на причинах возникновения революционной ситуации как таковой. При этом для него равновесие социальной системы является идеальным типом, точкой отсчета для определения революционных изменений³.

Следуя в русле структурного функционализма, исследователь отмечает, что внутри самой социальной системы общие ценности и характер функционального разделения между ее частями может меняться из-за входящих импульсов: воздействия империализма, открытия новых территорий, религиозных нововведений, технологических инноваций и так далее. В нормальном состоянии социальная система обладает механизмами приспособления к этим импульсам. Однако если эти механизмы перестают работать, то система выходит из равновесия.

Разбалансировка системы или ее «множественная дисфункция» может произойти, во-первых, из-за кризиса социализации; во-вторых, из-за нецелесообразного распределения ролей внутри социальной системы; в-третьих, когда общество больше не соглашается с ранее установленными целями; в-четвёртых, когда появляющиеся в результате этого конфликты не решаются мирным путём⁴.

Джонсон приводит примеры (Великая депрессия; Закон о торговле зерном 1846 г.; Акты об огораживании крестьян в Англии в 1760–1830 гг.),

¹ См.: Парсонс Т. *Социальная система* // Парсонс Т. *О социальных системах*. М., 2002. С. 42–46.

² См.: Smelser N. J. *Theory of Collective Behavior*. N. Y., 1962.

³ См.: Johnson C. *Revolution and the Social System*. Stanford, 1964. P. 4.

⁴ См.: Johnson C. *Revolutionary Change*. Stanford, 1966. P. 106.

которые по своим показателям должны были привести к революциям, однако не привели. Объяснением этому становится тезис о способности социальной системы существовать в подобных условиях до тех пор, пока наличие социальных проблем не будет *ясно* осознано элитами и массами; между ними не появится общее соглашение по поводу необходимости изменений; тот сектор, в котором преобладает дисфункция, не будет *выделен* из общего контекста социальной системы¹.

Теоретические основания подхода Джонсона лежат не только в структурном функционализме, но и в теории принуждения Макса Вебера. Таким образом, предпосылками революции являются две необходимые, взаимно обуславливающие друг друга причины: напряжение, вызванное несбалансированной социальной системой, и, с другой стороны, неэффективность целенаправленных действий политического руководства. Последнюю предпосылку автор определяет через «дефляцию власти» (чрезмерное использование силы политическим руководством в условиях дисбаланса системы) и «потерю авторитета» (непреклонное использование силы политической элитой).

Для объяснения конкретных причин революции Джонсон вводит концепт «акселератора» конфликта, то есть тех факторов, которые сводят на нет сдерживающий эффект правительственной силы и заставляющих вспыхнуть революционный конфликт: поражение в войне, репрессии, отказ сил правопорядка выполнять приказы властей.

Трактуя революцию как насильственную деятельность, Джонсон фокусирует внимание на вооружённых силах: положении в армии, настроениях среди офицерского корпуса, доступности средств и методов ведения боевых действий оппозиции. Таким образом, для автора ни одна современная революция не будет иметь успех, если вооружённые силы государства остаются боеспособными и внутренне целостными или если революционеры не верят, что они могут каким-либо образом предотвратить их вмешательство. Акцент на военном факторе неудивителен, учитывая исторический контекст создания теоретического подхода: война за независимость на Кубе, в Алжире, герилья в Латинской Америке.

Поскольку для автора революция во многом является производной от рассогласования ключевых общественных ценностей, то классификация революций осуществляется исходя из четырех основных критериев: целей революционной борьбы; идентификации революционеров (с массами, элитой как авангардом масс или элитой); целей революционной идеологии; спонтанного или организованного ее характера². Соответственно, производными типами данной классификации революций становятся: жакерия и милленарианистские, анархистские восстания,

¹ См.: Johnson C. *Revolutionary Change*. Stanford, 1966. P. 9.

² См.: Johnson C. *Revolution and the Social System*. Stanford, 1964. P. 27.

якобинская / коммунистическая революция, государственный переворот в ходе тайного сговора, вооруженное массовое восстание.

В 1950-х и 1960-х гг. в американской политологии произошла смена парадигмы, получившая название «бихевиоралистской революции». Борьба внутри политологического сообщества против «сверхфактичного» характера работ традиционной политической науки и утверждение новых методологических принципов: использование строгих методов анализа; акцент на эмпирическом анализе политического поведения; ориентация на теоретические обобщения и создание «чистых теорий»; отделение исследовательской деятельности от ценностной составляющей и либеральный плюрализм¹, — нашли свое яркое выражение в работах представителей *агрегативно-психологического* подхода, особенно в работе Тэда Гарра *«Почему люди бунтуют»* 1970 г.

Данный теоретический подход находится на стыке психологии и социологии, а сам анализ причин возникновения революционного конфликта располагается в плоскости исследования детерминант политического насилия.

Основой данного подхода является более раннее исследование Дэвиса о влиянии неудовлетворенности населения условиями своего существования на вероятность возникновения восстаний и революций. В сущности, в своем анализе социолог опирается на утверждение А. де Токвиля, суть которого можно выразить во фразе, согласно которой «зло, которое долго терпели как неизбежное, становится непереносимым от одной только мысли, что его можно избежать»². Исходя из данной посылки, в ходе анализа Дэвис приходит к мнению, что «вероятность возникновения революции наиболее высока, когда продолжительный период объективного экономического и социального развития сопровождается периодом резкой инверсии»³, а растущие ожидания населения сопровождаются сильной фрустрацией⁴.

С другой стороны, во многом следуя за Дэвисом, Гарр опирается на психологические подходы относительно возникновения агрессии — теорию *фрустрации-агрессии* Долларда, Берковица и др.⁵

¹ См.: Истон Д. *Политическая наука в Соединённых Штатах: прошлое и настоящее* // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. М., 1997. См.: 13-17; Dryzek J. S. *Revolutions Without Enemies: Key Transformations in Political Science* // American Political Science Review. Vol. 100. № 4. 2006. P. 489-490.

² Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М., 1997. С. 141.

³ Davies J. C. *Toward a theory of revolution* // American Sociological Review. Vol. 27. № 1. 1962. P. 6.

⁴ См.: Davies J. C. *Toward a theory of revolution* // American Sociological Review. Vol. 27. № 1. 1962. P. 14.

⁵ См.: Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. СПб., 2005. С. 68-75.

Таким образом, теория *относительной депривации* (ОД) Гарра является более глубокой переработкой подходов его предшественников.

Сама ОД определяется как осознанное противоречие между ценностными ожиданиями людей и их ценностными возможностями. *Ценностные ожидания* — «это блага и условия жизни, на которые, как убеждены люди (здесь и далее курсив мой — А. Н.), они могут с полным правом претендовать. *Ценностные возможности* — это блага и условия, которые они, по их мнению, могли бы получать и удерживать»¹.

Гарр выделяет три формы общественных противоречий: *убывающая депривация* (групповые ценностные ожидания остаются относительно постоянными, а ценностные возможности воспринимаются как ограниченные); *возрастающая депривация* (возможности остаются относительно стабильными, в то время как ожидания увеличиваются или интенсифицируются); *прогрессивная депривация* (значительный и одновременный рост ожиданий и снижение возможностей)².

Исходя из вышесказанного, суть подхода можно выразить через следующую последовательность: широкое распространение осознания относительной депривации (ОД) ведёт к недовольству, которое имеет тенденцию к политизации, что, в свою очередь, ведет к политическому насилию. Стоит отметить, что ОД не является необходимым и достаточным фактором для возникновения последнего³.

Интенсивность чувства фрустрации, которое происходит от любых из трёх форм относительной депривации, зависит от: а) «среднего уровня» противоречия; б) «средней значимости» ценностей/потребностей (по Маслоу, Каплану, Хозелицу и др.), затронутой противоречием; в) количества альтернатив для деятельности и соотношения «классов ценностей», оказавшихся под воздействием противоречия; г) времени их воздействия.

В отношении иерархии ценностей Гарр предполагает, что среди гетерогенного населения интенсивность ОД наиболее высока относительно разногласий, порождённых экономическими ценностями, нежели разногласий по поводу ценностей безопасности, коллективности, статуса и т. д.⁴

Исходя из этого, основой анализа становится определение доли населения, которое разделяет чувства сильной депривации, и причину его возникновения.

¹ Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. СПб., 2005. С. 61.

² См.: Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. СПб., 2005. С. 84.

³ См.: Moshiri F. *Revolutionary conflict theory in an evolutionary perspective* // Goldstone J. A., Gurr T. R., Moshiri F. (ed.) *Revolutions of the late twentieth century*. Boulder, 1991. Р. 91. [Статья представлена в настоящем издании. — Прим. ред.]

⁴ См.: Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. СПб., 2005. С. 112–115.

Как выразился Гарр: «Этот потенциал (коллективного насилия — прим.) будет наибольшим в той стране, где большинство граждан остро ощущают себя обделенными в отношении целей, представляющих для них наибольшую ценность, и одновременно лишенными — как индивидуально, так и коллективно — конструктивных средств, открывающих доступ к достижению этих целей, и лишенными возможности действовать с помощью ненасильственных методов, повинувшись побуждениям своего гнева»¹.

Гарр выделяет следующие источники роста ожиданий: *демонстрационный эффект* (воздействие материальной культуры Запада через СМИ и образование); *введение и распространение новых убеждений* (идеологии или системы ценностей); *изменение самоидентификации группы* или ее *ценностных позиций*.

Потеря легитимности правительством, что является ключевым для всех теоретиков революции, считается Гарром важным моментом в объяснении фактов гражданских волнений. Он инкорпорирует аргументы теории рационального выбора, предполагая, что определение выгод и издержек недовольных групп, особенно их лидеров, формирует потенциал политического действия. В итоге баланс сил принуждения: относительная военная мощь правительства относительно оппозиционных партий; наличие или отсутствие организованных структур поддержки оппозиционной партии по сравнению с механизмами поддержки правительства; взаимодействие с политизированным недовольством, — позволяет определить предел, величину и основные формы политического насилия.

Использование Гарром концепции относительной депривации в качестве основы объяснения восстаний и революций вызвало острую критику, главными аргументами которой стали: относительность методов определения ОД и его численного значения при объяснении возникновения конфликтов, а также слабая подтверждаемость самой гипотезы в ходе альтернативных проверок².

Данная критика во многом способствовала модификации Гарром своей модели в более поздних работах, в которых степень политического конфликта стала определяться не только *уровнем недовольства*, которое определяется степенью структурного неравенства в обществе (степень, характер и границы ОД в обществе); но и *диспозицией по отношению к конфликту* (история успешных конфликтных взаимодействий, баланс военной мощи и доступность легитимных оснований для атаки режима);

¹ Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. СПб., 2005. С. 142.

² См.: Snyder D., Tilly C. *Hardship and Collective Violence in France, 1830 to 1960* // American Sociological Review. Vol. 37. № 5. 1972.; Skocpol T. *Explaining revolutions: In quest of a social-structural approach* // Skocpol T. (ed.) *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge. 1997. P. 102–105.

организационной сплочённостью сил (размер организации или движения, внутренняя сплочённость и способность к мобилизации)¹.

При всей неоднозначности данного подхода он имеет одно огромное преимущество: понятийный аппарат теории имеет количественные выражения, что способствует построению прогностических моделей возникновения конфликта.

Революция в сравнительно-исторической перспективе

Вторая половина 1960-х и последующее десятилетие ознаменовались другой тенденцией — интересом к сравнительной истории и макросоциологии с целью системного осмысления социально-политических процессов, происходивших в Европе и мире с начала Нового времени (Валлерстайн, Модельски, Тилли, Скочпол и др.). В основу вектора данного подхода легли два фактора: распространение в американской науке марксистского подхода (Миллс, Мур и др.) и идей французской школы «Анналов» (Блок, Февр, Бродель). В отношении проблемы революции стоит остановиться на двух наиболее разработанных теориях: *теории ресурсной мобилизации* Чарльза Тилли и *структурном подходе* Теды Скочпол.

Подход к революции Тилли основывается на двух моделях: политической и мобилизационной. Политическая модель определяет политику как межгрупповое взаимодействие, а сама модель состоит из следующих частей: *правительство* (организация, контролирующая средства принуждения в отношении народонаселения); *претенденты на власть* (группы населения, обладающие ресурсами для влияния на правительство) и *участники политики* — совокупность претендентов, относительно постоянно и успешно предъявляющая свои требования правительству². Когда какое-либо количество групп решает действовать сообща, то они формируют коалицию. В рамках политической модели именно конфликт между общественными группами и внутри них является ключом к пониманию революций.

Политическая модель описывает поведение всех политических претендентов. Единичное поведение претендента объясняется мобилизационной моделью, которая состоит из шести составляющих: внутригрупповых интересов; особенностей внутренней организации; уровня мо-

¹ См.: Gurr T. R., Lichbach M. I. *The Conflict Process: A Formal Model* // The Journal of Conflict Resolution. Vol. 25. № 1. 1981.; Gurr T. R. *Why Minorities Rebel: A Global Analysis of Communal Mobilization and Conflict Since 1945* // International Political Science Review. Vol. 14. № 2. 1993.

² См.: Tilly C. *Does Modernization Breed Revolution?* // Comparative Politics. Vol. 5. № 3. 1973. P. 437.

билизации; уровня властных полномочий; ограничений; возможностей. В рамках этой модели масштаб группового коллективного действия обуславливается *уровнем мобилизации*, масштаб которой определяется *уровнем организации, интересами* (сиюминутными на коротком промежутке времени и стратегическими при более продолжительном периоде времени), *ограничениями и возможностями* этих групп.

По мере развития межгрупповое противоречие переходит в революционную ситуацию или, как определяет её Тилли, в ситуацию «множественного суверенитета», когда правительство, находившееся прежде под контролем единой суверенной власти, становится объектом «эффективных, конкурентных, взаимоисключающих требований со стороны двух или большего количества участников политики»¹.

Среди основных условий, вызывающих революции, данный подход выделяет политические. Во-первых, появление претендентов или их коалиции, выдвигающей требования контроля над правительством, которые уже сформулированы отдельными участниками политики. Во-вторых, солидаризация с этими требованиями значительной части подвластного населения. В-третьих, нежелание или неспособность представителей правительства подавлять альтернативную коалицию, либо присоединение к их требованиям. Другим фактором, способствующим началу революции, является формирование коалиции между отдельными участниками политики и претендентами с альтернативными требованиями².

Исходя из этого, при анализе революционной динамики Тилли в традиции более ранних подходов (*естественной истории революций* Эдвардса, Питти, Бринтона) выделяет следующие стадии: а) постепенная мобилизация претендентов, которые предъявляют безальтернативные требования контроля над правительством; б) резкое увеличение количества людей, поддерживающих эти требования³; в) безуспешные попытки правительства сдержать оппозиционную коалицию; г) организация оппозиционной коалицией эффективного контроля над отдельными частями государственного аппарата; д) борьба оппозиционной коалиции за сохранение и расширение этого контроля; е) восстановление единоличной

¹ Tilly C. *Does Modernization Breed Revolution?* // Comparative Politics. Vol. 5. № 3. 1973. P. 439.

² Tilly C. *Does Modernization Breed Revolution?* // Comparative Politics. Vol. 5. № 3. 1973. P. 441.

³ Здесь Тилли обращается к подходу Гарра, который он критиковал ранее, объясняя массовую поддержку требований оппозиции неспособностью правительства удовлетворить значимые ожидания населения (занятость, снижение налогов и т. д.). См.: Moshiri F. Revolutionary conflict theory in an evolutionary perspective // Goldstone J. A., Gurr T. R., Moshiri F. (ed.) *Revolutions of the late twentieth century*. Boulder, 1991. P. 25.

власти посредством победы/поражения оппозиционной коалиции или посредством паритетного способа существования между оппозиционной коалицией и некоторыми или всеми представителями старой власти; г) распад революционной коалиции; h) восстановление привычного правительственного контроля над подконтрольным населением¹.

Хотя в теории политической мобилизации Тилли структурные изменения (рост населения, индустриализация, урбанизация и т. д.) и влияют на возникновение революции, их воздействие имеет косвенный характер. Они формируют потенциальных претендентов на власть, трансформируют арсенал техник правительственного контроля, перемещают доступные правительству и претендентам ресурсы².

Структурный подход к революции Теды Скочпол — ученицы М. С. Липсета и Б. Мура — хотя многое и заимствовал из марксистской теории, но осуществил ее ревизию, особенно по ключевым вопросам понимания государства и оценки роли крестьянского фактора в революции.

Опираясь на теоретическое наследие М. Вебера, а также работы Э. Тримбергер, Ф. Блока и др., Скочпол определяет государство как «совокупность административных, полицейских и военных организаций, возглавляемую и, в большей или меньшей степени, координируемую исполнительной властью»³. Определяя, таким образом, государство как «потенциально автономную структуру» со своей собственной логикой и целями, она отмечает, что ее *действительная* автономность обуславливается конкретными историческими обстоятельствами, а не априорным подходом к государству как полю битвы различных экономических интересов или орудию господствующего класса.

Суть структурного, ориентированного на анализ государства подхода Скочпол состоит в том, что понимание причин революции и последующего восстановления государственной организации возможно только тогда, когда мы обратим внимание на точки пересечения международных условий и давления с классово структурированными экономиками и политически организованными интересами⁴.

Таким образом, ядро исследовательской программы Т. Скочпол, помимо вышеуказанного принципа *потенциальной автономии государства*,

¹ См.: Selbin E. *Modern Latin American Revolutions*. Boulder, 1999. P. 7–8.

² См.: Tilly C. *Does Modernization Breed Revolution?* // *Comparative Politics*. Vol. 5. № 3. 1973. P. 447.

³ Skocpol T. *State and Revolution: Old Regimes and Revolutionary Crises in France, Russia, and China* // *Theory and Society*. Vol. 7. № 1/2. 1979. P. 12.

⁴ См.: Skocpol T. *State and Revolution: Old Regimes and Revolutionary Crises in France, Russia, and China* // *Theory and Society*. Vol. 7. № 1/2. 1979. P. 15.

включает в себя концепцию *международного и всемирно-исторического контекста* на фоне *классовых противоречий* внутри общества. До этого фактор влияния международного окружения встречался в теориях Джонсона (международное влияние на разделение труда и системные ценности) и Гарра («демонстрационный эффект», идеология). Скочпол рассматривает его в контексте неравномерного распространения и развития капиталистической экономики, конкуренции системы государственных, транснационального исторического контекста.

В данном концептуальном русле социальная революция определяется как «стремительные коренные трансформации государственных и классовых структур общества, которые сопровождаются и частично поддерживаются классовыми восстаниями снизу»¹.

Анализируя возникновение революции во Франции, России и Китае, Скочпол отмечает, что в каждом случае наблюдался коллапс или дисфункция административного или военного аппарата, широкомасштабные крестьянские волнения и политические движения «маргинальной элиты»². Другим ключевым фактором становится «международное давление» (военные кампании), которое подрывает планы реформ и модернизации.

Особую роль в революции Скочпол отводит крестьянам, которым политический кризис даёт возможность восстать. В условиях государственного политического кризиса крестьянские восстания порождают социальную революцию. Стоит отметить, что проблема значения крестьянского фактора для революции рассматривалась еще до появления классического труда «Государства и социальные революции» Скочпол в работах Мура, Вольфа, Мигдала, Пэйджа, Скотта. Так, Мур в своей главной работе «Социальные истоки диктатуры и демократии» сделал во многом ключевой для всех остальных ученых вывод: «существенной причиной, обусловившей крестьянскую революцию, являлась слабость институциональных связей, соединяющих крестьянское общество с классом землевладельцев, наряду с эксплуататорским характером этих взаимоотношений»³. Развивая тезис и аргументы Мура, Скочпол формулирует те структурные характеристики аграрного сектора, которые в условиях двойной эксплуатации со стороны государства и землевладельцев, по ее мнению, создают прямые предпосылки для крестьянского вы-

¹ Skocpol T. *Explaining social revolutions: First and further thoughts* // Skocpol T. (ed.) *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge, 1997. P. 5.

² См.: Skocpol T. *France, Russia, China: A Structural Analysis of Social Revolutions* // *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 18. № 2. 1976. P. 178.

³ Moore B. Jr. (ed.) *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston, 1967. P. 478.

ступления/революции. Во-первых, это наличие институтов коллективной солидарности (крестьянских общин) и их сплоченность. Во-вторых, автономность крестьян и общины от прямого контроля за их трудовой и досуговой деятельностью со стороны землевладельцев. В-третьих, наличие централизованного бюрократического аппарата¹.

Структурный характер подхода и центральное место в нем государства отражается в оценке последствий революции. Скочпол утверждает, что социальные революции будут иметь результатом государство, где, во-первых, режимы относительно автономны изнутри, во-вторых, внешне они строго соответствуют структуре международных конкурентов, в-третьих, режимы демонстрируют изменения в структуре и функциях государства и определенный экономический рост, в-четвёртых, они более централизованы и бюрократизированы, чем предыдущие.

Представленный сравнительно-исторический анализ революций остается, тем не менее, только анализом конкретных случаев, но не моделью революции, попытки создать которую мы так или иначе видим у Джонсона, Гарра или Тилли. Более того, сама исследовательница предостерегает коллег от распространения выводов исследования на другие случаи и вообще стремления создать универсальную теорию². Вместе с тем, сами разработанные Скочпол принципы исследования оказали сильнейшее влияние как на уровне отдельных исследователей (Голдстоун, Виххэм-Кроулей, Парса и др.), так и на парадигмальном уровне, сформировав структурный подход к проблеме.

Новые вызовы и новые синтезы

Как и в случае возникновения общей теории революции и конфликта, изменение международной обстановки имело ключевое значение для поиска новых объяснений революций и попыток нового синтеза традиционных подходов к анализу данного феномена. Очередным вызовом субдисциплине стали революции в Иране 1979 г., Никарагуа 1979 г., на Филиппинах 1986 г. и других странах «третьего мира». Подобные примеры падения политических режимов как в постколониальных, так и формально независимых странах, привели к лавинообразному росту сравнительных исследований. Поскольку предыдущие анализы революций создали достаточно твердую теоретическую базу, то неудивительно,

¹ См.: Skocpol T. *France, Russia, China: A Structural Analysis of Social Revolutions* // *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 18. № 2. 1976. P. 192-193.

² См.: Skocpol T., Somers M. *The uses of comparative history in macrosocial inquiry* // Skocpol T. (ed.) *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge, 1997. P. 90.

что к началу 1980-х гг. в субдисциплине обозначилась тенденция к зака-ту «авторских» подходов. Их место стал занимать теоретический синтез и совместные исследования.

Примером подобного нового синтеза стал подход к революциям и вос-станиям Джека Голдстоуна, который инкорпорировал теории Чарльза Тилли, Теда Гарра в структурный подход для разного уровня анализа. В отличие от своей университетской наставницы Теды Скочпол, Голд-стоун более оптимистично настроен в отношении создания общей кон-цепции революции, хотя и резонно замечает, что каждый фактор должен рассматриваться в *контексте* конкретных условий и во *взаимосвязи* с другими переменными анализа.

Ученый переосмысливает понятие «революция», отходя от социаль-ного понимания феномена к более нейтральной трактовке явления как «принудительного низложения формы правления, сопровождаемого ре-консолидацией власти новыми группами, осуществляющими руководство через новые политические (иногда социальные) институты»¹. С другой стороны, Голдстоун сохраняет в своем анализе принцип «потенциальной автономии государства» и разграничивает процессы государственного распада, последующую борьбу за власть и государственную реконструк-цию. Каждый процесс, утверждает ученый, является частично незави-симым, имеет свою собственную динамику и по этой причине требует отдельного каузального анализа.

Относительно источников революции Голдстоун выделяет три необ-ходимых, но по отдельности недостаточных элемента: *финансовое/ре-сурсное истощение государства* (уменьшение ресурсов относительно государственных расходов и обязательств, а также относительно ресур-сов потенциальных внутренних и внешних соперников); *отчуждение и конфликт внутри элиты* — лиц, обладающих особым влиянием вслед-ствие занятия ими высоких позиций в иерархиях различных структур (противодействие существующему государственному курсу, создание коалиции и выдвижение требований системного реформирования); *вы-сокий потенциал мобилизации населения* (желание групп населения улучшить свои социальные и статусные позиции посредством актов пря-мого политического действий)².

Триада комплементарных внутренних факторов революции дополняет-ся экономико-демографическими условиями ее возникновения. С одной стороны, инфляция в условиях неэффективных государственных инсти-

¹ Goldstone J. A. *An analytical framework* // Goldstone J. A., Gurr T. R., Moshiri F. (ed.) *Revolutions of the late twentieth century*. Boulder, 1991. P. 37.

² См.: Goldstone J. A. *An analytical framework* // Goldstone J. A., Gurr T. R., Moshiri F. (ed.) *Revolutions of the late twentieth century*. Boulder, 1991. P. 38–40.

тутов дестабилизирует как политический, так и социальный порядок. С другой стороны, рост населения — этот фактор Голдстоун заимствует и развивает из своего раннего анализа причин революционных кризисов в Европе с 1500 по 1850 гг.¹ — может иметь особенно дестабилизирующий характер для внутреннего социального и политического порядка. Что касается современной ситуации в мире, то ученый выделяет пять направлений радикализирующего воздействия демографического фактора: а) увеличение численности сельского населения в условиях частного характера владения земельной собственностью; б) несоизмеримое с экономическим ростом увеличение городского населения; в) увеличение доли выпускников высших учебных заведений в условиях ограниченного доступа/конкуренции за высокие статусные и социальные позиции; г) непропорционально высокая доля лиц от 15 до 25 лет по отношению к численности взрослого населения в условиях слабости политических институтов; е) миграция населения из регионов с несхожей этнической или политической идентичностью².

Международный фактор в данном подходе понимается не просто как военное или экономическое соперничество государств на международной арене, а как их *вплетенность* в международные альянсы и разделение труда, когда поддержка (политическая и экономическая) со стороны иностранных союзников может как усилить государство, так и создать негативные последствия, вызывая разделение и отчуждение элиты. Таким же образом международные компании могут увеличить приток инвестиций и способствовать экономическому росту, а могут истощить национальные ресурсы и заблокировать реформы, а также развитие внутренних классов управленцев и квалифицированных специалистов³.

Анализируя в данном контексте причины революций в странах «третьего мира», Голдстоун говорит о «неразрешимой дилемме». Суть ее состояла в том, что в условиях двуполярной международной системы государствам необходимо было сохранять поддержку обоих акторов: сверхдержавы, которая обеспечивала военную и финансовую помощь, и внутренних элит, которые стремились к большему политическому уча-

¹ См.: Goldstone J. A. *The Origins of the English Revolution: A Demographic Approach* // The Journal of Economic History. Vol. 45. № 2. 1985.; Goldstone J. A. *Urbanization and Inflation: Lessons from the English Price Revolution of the Sixteenth and Seventeenth Centuries* // The American Journal of Sociology. Vol. 89. № 5. 1986.

² См.: Goldstone J. A. *Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict* // Journal of International Affairs. Vol. 56. № 1. 2002. P. 6.

³ См.: Goldstone J. A. *An analytical framework* // Goldstone J. A., Gurr T. R., Moshiri F. (ed.) *Revolutions of the late twentieth century*. Boulder, 1991. P. 41.

стию и независимому международному положению страны. Когда местные элиты стремились к переменам, а поддержка сверхдержавы зависела от ограничения репрессий и международного сотрудничества (например, случай Никарагуа), то правящие режимы оказывались в стратегическом тупике — действие навстречу любой из сторон подрывало режим также, как и бездействие. Таким образом, при возникновении подобной «неразрешимой дилеммы» в условиях описанных выше структурных дисбалансов различных сфер жизни общества нестабильные *неопатримониальные*¹ государства терпят крах (Иран, Никарагуа, Филиппины).

Другой пример синтеза теорий в рамках «структурной перспективы» демонстрируется анализом революций в «третьем мире» Скочпол и Гудвином², углубленным в рамках отдельной монографии Гудвина³. В ходе анализа им были сформулированы *общие ключевые* характеристики политических режимов «третьего мира», которые определяют их неустойчивость в ходе революции.

Во-первых, подобные режимы носят *патримониальный/клиентелистский* (в отношении функционирования власти) и *исключающий/репрессивный* (в отношении общественных групп) характер.

Во-вторых, для них характерен низкий уровень *инфраструктурной силы* (infrastructural power), определяемой в русле подхода Вебера, как способность государственной власти обеспечивать выполнение законов, программ на подконтрольной территории даже в условиях противодействия со стороны населения или других государств⁴.

Политическое исключение, особенно насильственное, практикуемое подобными режимами, во многом толкает оппозиционные группы на путь революционных движений, которые начинают активно противодействовать власти, неспособной из-за инфраструктурной слабости их устранить⁵.

¹ Термин Ш. Эйзенштадта, который Голдстоун использует для обозначения частично модернизированных государств с формально существующей конституцией, парламентской, избирательной и партийной системами, в которых фактически властью обладает одно лицо — диктатор, управляющий посредством экстенсивной системы персонального патронажа. См.: Goldstone J. A. *Revolutions in Modern Dictatorships* // Goldstone J. A. (ed.) *Revolutions. Theoretical, Comparative, and Historical Studies*. Davis, 2003. P. 70.

² См.: Goodwin J., Skocpol T. *Explaining revolutions in the contemporary Third World* // *Politics and Society*. Vol. 17. № 4. 1989.

³ См.: Goodwin J. *No other way out. States and Revolutions, 1945–1991*. Cambridge, 2001.

⁴ См.: Goodwin J. *No other way out. States and Revolutions, 1945–1991*. Cambridge, 2001. P. 11.

⁵ См.: Goodwin J. *No other way out. States and Revolutions, 1945–1991*. Cambridge, 2001. P. 30.

Падение просоветских режимов в странах Восточной Европы хотя и стало для большинства ученых неожиданным, но, тем не менее, оказалось вполне объяснимым в рамках приведенных выше примеров теоретического синтеза (особенно Голдстоуна). Причины падения режимов внутри стран Варшавского договора в определенной степени стали отражением факторов революций в «третьем мире»¹: социально-экономический кризис; фрагментация элиты; массовые выступления; международный контекст в виде «фактора Горбачева» (отмена «доктрины Брежнева» и политика «нового мышления») вместо «демократического поворота» во внешней политике США.

Новые горизонты: дисциплинарная «пограничность» или интеграция в «большую науку»

За время своего существования проблема революции как субдисциплины в общественной науке аккумулировала в себе три «поколения» (термин Голдстоуна) теоретических подходов к явлению. В условиях усиления значимости глобальных проблем (терроризм, демократия и права человека, политическая стабильность и др.) и реструктуризации финансирования научного знания (тенденция к переходу на целевые программы и целевые гранты) вполне уместно поставить вопрос о том, каким образом будет существовать данная субдисциплина в дальнейшем.

С одной стороны, накопленный «багаж» теоретических обобщений и сравнительных исследований, а также волна «цветных революций» в начале нового столетия сохраняют основания и почву для актуального существования и развития данного направления исследований. К тому же в середине 1980-х гг. сформировалась тенденция, которая условно может быть названа «культурологическим поворотом».

Критика структурной парадигмы Скочпол, начатая еще «французской школой» исследователей революции в лице Сьювелла², поставила на повестку дня необходимость культурологического анализа революций. Фундаментальным основанием их критики, поддержанной исследователями революций в Латинской Америке Кольбёрном и Селбиным, стало недостаточное внимание, которое уделяли структурные теории таким

¹ См.: Gurr T. R., Goldstone J. A. *Comparisons and policy implications* // Goldstone J. A., Gurr T. R., Moshiri F. (ed.) *Revolutions of the late twentieth century*. Boulder, 199.; Goodwin J. *No other way out. States and Revolutions, 1945–1991*. Cambridge, 2001. Ch. 8, 9.

² См.: Sewell W. H., Jr. *Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case* // *The Journal of Modern History*. Vol. 57. № 1. 1985.

важным факторам, как культура, идеология, индивидуальная деятельность, символическая политика и коллективная память. Сутью подобного подхода стал, по выражению Селбина, призыв «вернуть людей» в анализ, отказавшись от детерминистской позиции структурного подхода, согласно которому «революции не совершаются, они происходят»¹.

В результате данная интеллектуальная тенденция привела к тому, что тесно связанные со структурным теоретическим подходом учёные Джек Голдстоун и Джефф Гудвин присоединились к направлению культурного анализа революций².

Тем не менее, выкристаллизовывающееся под действием нового подхода к анализу «четвёртое поколение» теорий революции³ не столько отвергло структурную парадигму, сколько сместило фокус внимания на революционный процесс и индивидуальную деятельность его участников, которая порождает так называемую «историческую обусловленность пути развития (path dependency)»⁴. Поскольку не все аспекты революции заранее устанавливаются макросоциальными и структурными факторами, исследование факторов «исторической обусловленности пути развития»: событий и действий акторов в течение революционных процессов, — потенциально предполагает определение их влияния на исход революционных кризисов. Тем не менее, углубление анализа исхода революций по-прежнему не дает выходов из интеллектуального тупика отсутствия возможности точного прогнозирования возникновения революций и актов коллективного действия⁵.

С другой стороны, в условиях глобализации и демократизации проблема революции могла бы быть интегрирована в политическую науку в рамках проблем *глобальной политической нестабильности или кризисов политических режимов*. В этом контексте сам феномен вполне логично может быть переопределен в более нейтральном смысле, например, как «насильственная смена правительства» (Таллок), «государ-

¹ См.: Selbin E. *Revolution in the real world* // Foran J. (ed.) *Theorizing Revolutions*. London and N.-Y., 1997. P. 133.

² См.: Wickham-Crowley T. P. *Structural Theories of Revolution* // Foran J. (ed.) *Theorizing Revolutions*. London and N.-Y., 1997. P. 41.

³ См.: Goldstone J. A. *The Comparative, and Historical Study of Revolutions* // Goldstone J. A. (ed.) *Revolutions. Theoretical, Comparative, and Historical Studies*. Davis, 2003. P. 12–19.

⁴ Goldstone J. A. *The Comparative, and Historical Study of Revolutions* // Goldstone J. A. (ed.) *Revolutions. Theoretical, Comparative, and Historical Studies*. Davis, 2003. P. 12.

⁵ Штыков П. Деконструкция революции // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей / Под ред. П. Штыкова, С. Шваница: В 2 т. Т. 2. СПб.-М., 2003. С. 294–296.

ственный коллапс» или «кризис режима». Надо сказать, что подобный вектор на деконструирование понятия с целью лишения его наносных метафизических и исторических наслоений уже наметился в самой субдисциплине.

В частности, тенденция к интеграции субдисциплины в политологию демонстрируется примером создания государственными структурами США «Специальной группы по изучению политической нестабильности» (СГПН), в руководство которой вошли уже упомянутые ранее исследователи — Тэд Гарр и Джек Голдстоун. Целью проекта стало изучение причин возникновения политической нестабильности на временном промежутке с 1955 по 2002 гг. Итогом подобного претенциозного анализа стал вывод, согласно которому наиболее важным фактором политической стабильности является устойчивость политических институтов, иными словами, прочность политических режимов безотносительно к их демократическому или недемократическому характеру. При этом шансы возникновения кризиса в краткосрочной перспективе гораздо выше для режимов, характеристики которых попадают в промежуток между вышеприведенными режимами, то есть слабо институционализированных частичных демократий и авторитарных режимов¹.

В любом случае возможность обозначенной выше интеграции не означает автоматической ликвидации самой проблемы, поскольку даже интегрированный подход по мере возникновения новых случаев революции будет требовать переосмысления, модификации и уточнений, которые могут быть произведены только в прежнем междисциплинарном поле сравнительной истории, (макро)социологии и политической науки.

¹ Goldstone J. A., Ulfelder J. *How to Construct Stable Democracies* // The Washington Quarterly. Vol. 28. № 1. 2004. P. 14–15.

ДЖЕФФРИ М. ПЭЙДЖ**ОБНАРУЖИВАЯ РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ
В РЕВОЛЮЦИИ: ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ
И БУДУЩЕЕ РЕВОЛЮЦИЙ¹****Переопределение революции**

Возрастающий корпус современной литературы² утверждает, что эпоха революции закончилась или даже то, что понятие революции устарело. Существующие определения этого феномена действительно могли устареть, но это не обязательно предполагает, что революция, надлежащим образом осмысленная, не имеет будущего. В этой главе приводятся аргументы в пользу того, что понятие революции, как оно конвенционально определено не только в социальных науках, но и в революционном марксизме-ленинизме, не фиксирует социальные и культурные трансформации, которые делают революции революционными, как не может оно фиксировать утопические представления и массовое воодушевление, которые лежат в основе крупномасштабного вовлечения масс во время революции и обеспечивают значительную часть ее трансформирующей силы. Эти понятия, на самом деле, описывают антиреволюционные или даже контрреволюционные процессы и обнаруживают неспособность вместить в себя множество классических случаев — Французскую, Американскую, Китайскую или более современные революции в третьем мире. Осмысленные во всей своей полноте, революции, как здесь будет утверждаться, обладают будущим, даже если множество теоретических определений революции не имеют такового.

Практически все определения революции в современной социальной науке акцентируют внимание на насильственной трансформации «государственной» и «классовой» структуры. Следующие примеры достаточно типичны:

¹ Перевод сделан по: Paige J. M. *Finding the Revolutionary in the Revolution: Social Science Concepts and the Future of Revolution* // The Future of Revolutions. Rethinking Radical Change in the Age of Globalization / Ed. J. Foran. London and N. Y., 2003. P. 19–29. (Перевод Александра Никифорова).

² Fukuyama F. *The End of History and the Last Man*. N.-Y., 1992; Goodwin J., Green A. *Revolutions* // The Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict. Vol. 3. San Diego, 1999. P. 241–245; Goodwin J. *Is the Age of Revolution over?* Paper presented at the meetings of the International Studies Association Meetings, Minneapolis (March), 1998; Nodia G. *The End of Revolution?* // Journal of Democracy II (1) (January), 2000. P. 164–171; Snyder R. S. *The End of Revolution?* // The Review of Politics 61 (1) (Winter), 1999. P. 5–28.

• Теда Скочпол: «стремительная, коренная трансформация государственных и классовых структур общества, сопровождаемая и частично поддерживаемая классовыми восстаниями снизу»¹.

• Сэмюэль Ф. Хантингтон: «стремительное, фундаментальное и насильственное внутривнутриполитическое изменение в доминирующих ценностях и мифах общества, его политических институтах, социальной структуре, лидерстве, деятельности правительства и политике»².

• Энтони Гидденс: «захват государственной власти посредством насильственных средств лидерами массового движения, когда впоследствии эта власть используется для инициирования основных процессов социальных реформ»³.

• Чарльз Тилли: «насильственная передача власти над государством, в ходе которой, по меньшей мере, две различных коалиции соперников предъявляют взаимоисключающие требования в отношении права контролировать государство, и некоторая значительная часть населения подчиняется юрисдикции государства и уступает требованиям каждой коалиции»⁴.

• Автор: «любая ситуация, в которой участники связаны с революционной социалистической партией и тем или другим требованием неконституционного политического изменения, радикальной трансформации земледельческой классовой структуры или и с тем, и с другим. Часто подобные требования связаны с требованиями насильственного свержения существующей политической системы»⁵.

Учитывая, что Тилли включает классы в качестве одной из разновидностей его основных «различных коалиций соперников», и что эти классы, предположительно, являются массовой базой большинства массовых движений XX века, определения, фактически, в гораздо большей степени охватывают перспективу, нежели то, что могло иметь место с самого начала, даже несмотря на видимый акцент в пользу политического процесса над классовой борьбой. В этом они скорее больше похожи на «Что делать?» Ленина, чем на «Итоги и перспективы»⁶ Троцкого или «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса. Как

¹ Skocpol T. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge, 1979. P. 4.

² Huntington S. P. *Political Order in Changing Societies*. New Haven, 1968. P. 264.

³ Giddens A. *Sociology*. Cambridge, 1989. P. 605.

⁴ Tilly C. *European Revolutions. 1492–1992*. Oxford, 1993. P. 8.

⁵ Paige J. M. *Agrarian Revolution*. N.-Y., 1975. P. 94.

⁶ Автор имеет в виду главу «Что же дальше?» (Итоги и перспективы) из работы Л. Троцкого *Историческое подготовление Октября*. Часть I. От Февраля до Октября. — *Прим. пер.*

в социальной науке, так и в ортодоксальном марксизме-ленинизме, так или иначе, политическая власть и государство являются объектом революционной борьбы, организованное политическое насилие — средствами, а проводимые государством социальные преобразования — итогом. Классовые, социальные группы, направленные самодостаточным (self-conscious) революционным лидерством, являются либо единственным, либо основным актором. Хотя Скочпол отвергает фактор самодостаточного революционного лидерства, она помещает межгосударственное насилие, кризисы государств, их трансформации и классовые восстания в центр своей теории.

Если мы посмотрим на те способы, посредством которых раскрывали себя реальные революции, то мы обнаружим поразительные отличия от классовой и государствоцентричной модели инструментального политического насилия, подчеркиваемой теоретиками революции. Следующие оценки, резюмирующие множественные подходы в современной гуманитарной науке, взяты из работ трех наиболее авторитетных специалистов по Французской, Американской и Кубинской революциям.

Французская революция 1789 г.

Ночь 4 августа [1789 г.] была ключевым, поворотным моментом революции... Благодаря комбинации хитроумного планирования у части фракции патриотов и волне благородного радикализма, охватившей депутатов, Учредительное собрание упразднило все привилегии корпоративного порядка. Способ, которым это было осуществлено, чрезвычайно важен. Привилегии были упразднены под слезы радости тех, кто извлекал из них выгоду: землевладельцы — обладатели крупных сеньориальных привилегий — предлагали отменить сеньориальные налоги, представители духовенства пожертвовали своей десятиной, представители провинций и городов отказались от привилегий провинций и муниципалитетов и так далее. Результатом этого стал холокост привилегий (holocaust of privilege)¹.

Американская революция 1776 г.

В монархическом мире множественных патронажно-клиентелистских отношений и множества уровней зависимости ничто не могло бы быть более радикальным, чем попытка сделать каждого человека свободным. То, что было идеалом англоговорящего мира, в настоящее время стало идеологическим императивом для американцев. Неожиданно, в глазах революционеров вся утонченная стандартизация рангов и уровней не-

¹ Sewell W. *Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case* // Journal of Modern History №57 (March), 1985. P. 69.

свободы традиционного монархического общества стала абсурдной. Революция достигла уровня полномасштабной атаки на подчиненное положение¹.

Кубинская революция 1959 г.

Доминирующая парадигма «цивилизации» оказалась в процессе изменения. Сила революции была в ее способности реорганизовать в подходящей форме стандарты, посредством которых можно разграничить цивилизацию, а также заключалась в процессе мобилизации образа альтернативного морального порядка. Принцип *patria* приобрел новое значение все включающей общности, через которую возможно найти чувство цели и источник идентичности. Идея *patria*, свободного и суверенного, была заново придумана на основе инструментальных функций, в какой эгалитарный проект служил необходимому условию цивилизации².

В этих трех попытках определить сердце революционного процесса данных парадигмальных революций тремя различными интерпретаторами поразительно то, что в данном случае нет никакого упоминания о государстве, классе, классовой борьбе, политическом насилии, захватах государственной власти, государствоориентированных попытках реформ, массовых социальных движениях или любых других категориях, которые используются в определениях революции в марксизме-ленинизме и социальной науке для определения характеристики революции. В действительности, в соответствии с традиционными дефинициями, Американская революция не является революцией вообще. В ней отсутствовало классовое восстание крестьян или пролетариев снизу, не было трансформации «классовой структуры», власти террора, захвата государственной власти (только упразднение иностранного руководства), проекта государствоориентированных реформ. Тем не менее, Гордон С. Вуд (Gordon S. Wood) утверждает, что «этот процесс был столь же радикальным и социальным, как любая революция в истории»³.

Кубинская революция не зависела от классового восстания снизу (всеобщая забастовка апреля 1958 г. провалилась), а вооруженные силы, выставленные против режима Батисты, были до смешного малочисленными (Кастро обладал меньше, чем 300 бойцами под своим командованием, когда начал финальное наступление). В конечном счете, не существовало оппозиционных режиму социальных групп, Батиста не потер-

¹ Wood G. S. *The Radicalism of the American Revolution*, N.-Y., 1993. P. 179.

² Pérez L. A. *On Becoming Cuban: Identity, Nationality and Culture*. Chapel Hill, 1999. P. 482.

³ Wood G. S. *The Radicalism of the American Revolution*. N.-Y., 1993. P. 5.

пел ни международного, ни внутривнутриполитического военного поражения: режим просто разложился, и его армия потеряла желание сражаться после того, как потеряла в военных столкновениях со сторонниками Кастро менее 300 человек убитыми. Не существовало никакого захвата власти, подготовленного политической партией или массовым движением. «Движение 26 июля» Фиделя Кастро было свободной коалицией умеренных и радикальных сил — коммунистическая поддержка пришла только впоследствии. Кастро вошел в Гавану под всеобщее шумное одобрение, которое было во многом вызвано мощным и распространенным образом *patria*, описанным Пйресом (Pérez), а не его скудными военными силами. Лишь позднее, когда Куба начала перенимать советскую модель, проявилось соответствие категориям классических революционных теоретиков — проект классовых социальных реформ, проводимых сверху посредством помощи революционной Коммунистической партии и централизованного государства.

Никоим образом не соответствует категориям теоретиков Французская революция. Как доказал все возрастающий корпус ревизионистских исторических работ, классовые категории, установленные Лефевром (Lefebvre)/Собулем (Soboul), республиканскими/марксистскими социальными интерпретациями, едва ли соответствуют порядку аристократических привилегий дореволюционной Франции. Эти «классовые» различия между соперничающими группировками не декларировались, и трансформация «классовой» структуры имела место в гораздо меньшей степени, чем считалось до этого. Революция была инициирована созывом Генеральных Штатов, а не созданием массовой партии. Феодализм был ликвидирован, права человека объявлены, а новый режим установлен преимущественно без насилия в отношении конкретных личностей — жестокость террора проявила себя только после «второй революции» 1792 г. Не было никакого захвата государственной власти, как не было и государства, которое можно было бы захватить в современном смысле этого слова — фактически, революция сама по себе стала одной из наиболее важных сил при создании идеи современного государства, отделенного от общества.

Не существовало и похожих на постулируемые конвенциональными теориями процессов, посредством которых происходили революционные трансформации. Для Сьювелла ночь 4 августа была «голокоством привилегий», «волной благородного радикализма», а не насильственным захватом власти массовой партией. Для Вуда революция имела сходство с «прорывом дамбы»; люди и их активность вылилась «в беспрецедентный взрыв». То, что Вуд называет «наиболее радикальной и мощной идеологической силой», есть идея равенства, которая «прорвалась в американ-

ское общество посредством какой-то грозной силы»¹. Для Пйреса революция была «спонтанной радостью и продолжительным празднованием третьего воскресения после пасхи (jubilation), изобилия и оживления». То, что он называет «метафизикой *pueblo* [народа] и *patria* [кубинской национальной идентичности]» превратилось в формулу «власть и обещание», которой они не могли достичь, начиная с борьбы за независимость в девятнадцатом веке. Революция подняла эти понятия на «величественные высоты» и наделила их «широкой способностью к массовой мобилизации»².

Грозная сила революции, согласно Сьювеллу, Вуду и Пйресу, заключается в этих волнах энергии, энтузиазма и утопических образах, которые их вдохновляют, а не в партиях авангарда, партизанских отрядах или крестьянских восстаниях. В их определениях эта революционная сила прорывается сквозь социальные и концептуальные категории до-революционного общества с поразительной скоростью и энергией. «Холокост привилегий» Сьювелла ликвидировал идеологию корпоративного, монархического и аристократического порядка *ancien régime*³ вместе с его институциональными и правовыми установлениями и, что также важно, разрушил «метафизические допущения», на которых основывался этот порядок. В этом смысле Декларация прав человека и гражданина сформулировала метафизический базис нового порядка — неотчуждаемые права человека. Во время Американской революции права человека оказали схожее воздействие. «Холокост привилегий» Сьювелла обнаруживает свою параллель в «полномасштабной атаке на подчиненное положение». Мир монархии и аристократических привилегий, патерналистской зависимости и почтения был сметен так же, как это произошло во Франции. В действительности, Вуд утверждает, что революционная трансформация могла бы быть более глубокой в Америке.

То же самое справедливо в отношении мнения Пйреса о Кубе, где, как он заявляет, доминирующая парадигма «цивилизации сама была в процессе изменения»⁴. Дореволюционная парадигма была сформирована американской моделью, которая оказывала влияние через присутствие Америки на Кубе и через присутствие кубинцев в Америке. Это придало особое значение политически независимым и главен-

¹ Wood G. S. *The Radicalism of the American Revolution*. N.-Y., 1993. P. 232.

² Pérez L. A. *On Becoming Cuban: Identity, Nationality and Culture*. Chapel Hill, 1999. P. 477.

³ Старый порядок, старый режим (фр.). — *Прим. пер.*

⁴ Pérez. L. A. *On Becoming Cuban: Identity, Nationality and Culture*, Chapel Hill, 1999. P. 482.

ствующим людям Американской революции и материальному изобилию экономической жизни. «Народ», «суверенитет», «главенство» и «изобилие» — все они были переопределены в охватывающем их понятии *patria* (дословно, отечество), — теперь кубинская национальная идентичность должна была бы основываться на эгалитарном видении общности, разделяемой всеми кубинцами. Понятия «цивилизации» были поставлены с ног на голову, когда Кадиллак стал развращенным символом варварства элитарного потребления, и когда материальное благосостояние кубинского народа начало устанавливать новые стандарты. Один метафизический порядок (который зародился во время восстания американцев против метафизики монархии) был сметен, точно как во Франции и Америке, а новый порядок, основанный на кубинской национальности, был создан.

Эти фундаментальные трансформации в метафизике, идеологии и формах почтения проносятся сквозь каждое общество, оставляя неизменными всего несколько аспектов социальной жизни. Сьювелл, Вуд и Пйрес описали этот процесс поразительно схожими способами. Французская революция изобрела новые понятия в отношении адресата (гражданин); переименовала месяца года; поменяла структуру календаря; рационально перекалибровала таблицы мер и весов; переопределила свадьбу как гражданский союз; сделала рождение и смерть скорее гражданскими, нежели религиозными событиями; установила казнь через обезглавливание в качестве универсальной формы смертной казни, а не особой привилегии дворянства; образовала местную администрацию вдоль «естественных» границ; предприняла попытку реформировать механизм выбора священников; как говорит Сьювелл: «Этот перечень продолжается и продолжается»¹. Французская революция, согласно Вуду, не просто упразднила монархию и установила республиканское правление; она перестроила «искусство, архитектуру и иконографию» и «даже внесла изменения в понимание истории, знания и истины». Таким же образом во Франции изменились формы обращения, чтобы отразить новую реальность, в которой исчезающее аристократическое 'Эсквайр' должно было быть заменено демократическим 'Мг'².

Так же и на Кубе. Страсть к кубинской продукции захлестнула остров. Кубинский стиль заменил американский, хлопок заменил дакрон, архитекторы требовали национального архитектурного стиля, были созданы национальные кино, балет и звукозаписывающие компании, были от-

¹ Sewell W. *Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case* // *Journal of Modern History* №57 (March), 1985. P. 79.

² Wood G. S. *The Radicalism of the American Revolution*. N.-Y., 1993. P. 8.

менены частные школы¹, американские костюмы и галстуки были заменены *guayabera*², были придуманы испанские слова, чтобы заменить американизмы (*jardinero*³ вместо *jonron*⁴ — home run⁵). Были изменены праздники: Санта Клаус и Рождественская ель были отменены, чтобы быть замещенными соответствующим образом кубинского Дона Феличианн. Антиамериканизмы заменили американизмы в качестве общепринятого дискурса политического класса⁶. Реформы в культуре и социальной жизни сопровождали и усиливали глубокие материальные и институциональные изменения революции (более 1500 законов было введено в одном 1959 г.), организованной на основе идеи *patria*, как общего материального и культурного сообщества, определяемого теперь через оппозицию к Соединенным Штатам.

Эти трансформации являются в своей основе идеей самой революции (и именно поэтому мы называем Французскую, Американскую и Кубинскую революции революциями), но они, в основном, были проигнорированы в традиционных определениях революции. Если что и необходимо, так это новое определение, которое фиксирует то, чем эти три революции (и другие) обладают одновременно, и что возвращает революцию в революционную теорию. Самое последнее определение Джека Голдстоуна — «попытка трансформировать политические институты и принципы обоснования власти в обществе, сопровождаемая формальной и неформальной массовой мобилизацией и неинституциональными действиями, которые подрывают существующую власть»⁷ — смещает фокус с инструментального насилия и классового характера захватов государственной власти. Оно фокусируется на политике, но, тем не менее, оставляет без внимания глубокие культурные и метафизические изменения и утопические образы, описанные Сьювеллом, Вудом и Пйресом. В качестве альтернативной дефиниции я предлагаю следующую: *революцией является стремительная и фундаментальная трансформация в категориях социальной жизни и сознания, метафизических основ, на которых основываются*

¹ Pérez L. A. *On Becoming Cuban: Identity, Nationality and Culture*. Chapel Hill, 1999. P. 483.

² Куртка (национальная крестьянская одежда). — *Прим. пер.*

³ Садовник; также игрок обороняющейся команды, патрулирующий внешнее поле (аутфилдер) в бейсболе (исп.). — *Прим. пер.*

⁴ Круговая пробежка (в бейсболе). — *Прим. пер.*

⁵ Удар в бейсболе, позволяющий сделать полный круг через все базы — выиграть забег и получить очко; поразительный успех. — *Прим. пер.*

⁶ Pérez L. A. *On Becoming Cuban: Identity, Nationality and Culture*. Chapel Hill, 1999. P. 485.

⁷ Goldstone J. A. *Toward a fourth Generation of Revolutionary Theory* // Annual Review of Political Science №4, 2001. P. 142.

эти категории, и властных отношений, в которых они выражаются, в результате широкого массового признания утопической альтернативы существующему социальному порядку.

Это определение не просто культурологическое или идеологическое. Стремительные фундаментальные трансформации в религии или идеологии могут произойти без необходимого изменения существующего опыта социальной жизни или распределения власти; в таких случаях революции не могут быть названы совершившимися. Схожим образом, революция может произойти без насилия, классового конфликта и захватов государственной власти или любого другого из традиционных элементов революции (как в американском и, возможно, кубинском случаях), хотя, учитывая глубокую трансформацию во властных отношениях, вытекающую из дефиниции, насилие и конфликт не являются случайными. Эти аспекты традиционного взгляда на революцию не являются, тем не менее, решающими и, по крайней мере, в теории революции могли бы продолжить существование без них, если трансформации в основных категориях имели достаточно широкий характер, и оппозиция была достаточно слаба или настроена конформистски (*acquiescent*). В конечном счете, особенно важно то, что насильственные захваты власти через классовые восстания снизу и трансформации в классовой структуре могли бы произойти *при отсутствии революции*. Это последнее наблюдение требует подробного рассмотрения.

Контрреволюция как революция: государственный социализм с 1921 по 1989 гг.

Учитывая неспособность традиционных определений революции адекватно охарактеризовать обобщающие работы о современном научном понимании Французской, Американской и Кубинской революций Сьювелла, Вуда и Пйреса, было бы интересно узнать, к какому феномену на самом деле относятся традиционные определения. Существует, по крайней мере, одна революция, которая напоминает в нескольких важных отношениях это определение — большевистская. Сходство между теориями социальной науки, замечаниями Ленина в отношении захвата государственной власти и ортодоксальными марксистскими концепциями классового конфликта уже была отмечена. Захват власти большевиками во время широкомасштабных крестьянских волнений и восстаний рабочих в Москве и Санкт-Петербурге¹ полностью вписывается в эти определения. Власть была взята посредством силы и утверждена с помощью интенсивного террора и опустошающей гражданской войны.

¹ В связи с началом Первой мировой войны г. Санкт-Петербург был переименован в Петроград с 1914–1924 гг. — *Прим. пер.*

Осуществление радикального проекта реформ было предпринято сверху массивным бюрократическим государством, созданным в ходе самого революционного процесса.

Может ли большевистская революция также удовлетворить требованиям альтернативного определения революции, представленного выше, и, следовательно, быть революцией в соответствии с обеими дефинициями? Или, другими словами, в дополнение к классовым восстаниям и насильственному захвату власти, существовала ли в данном случае фундаментальная трансформация в базовых категориях социальной жизни и в их метафизических основаниях? Хотя социологические некрологи по завершившемуся провалом эксперименту большевиков до сих пор пишутся, предварительные оценки, основанные на работах Скотта, Корнэи, Вердери, Конрада и Сзелени и других¹, говорят о том, что фундаментальные трансформации не смогли полностью пережить консолидацию режима государственного социализма. Самый сильный аргумент в пользу этой точки зрения приведен Скоттом. Он утверждает, что большевистская революция не порвала не только с категориями капиталистической современности, но даже с категориями дореволюционного имперского порядка. Вместо этого она отразила авторитарную идеологию, которую он определяет как «интенсивную модернизацию» (*high modernism*) индустриального капитализма: «сильную, даже мускулистую, как кто-то мог бы сказать, версию самоуверенного отношения к научно-техническому прогрессу, расширению производства... превосходству над природой (включая человеческую природу), и, помимо всего прочего, рациональную модель социального порядка»². Эта «интенсивная модернизация» в *«Государстве и революции»* Ленина выражается как точка зрения на революцию, которая в высшей степени сходна с тем, что говорят по этому поводу теории социальной науки, приведенные выше. «Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия <...> для *руководства* громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле налаживания социалистического хозяйства»³. Скочпол и другие теоретики общественной науки

¹ Scott J. C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition. Have Failed*, New Haven, 1998; Kornai J. *The Socialist System*. Princeton. 1992; Verdery K. *What was Socialism, and What Comes Next?* Princeton. 1996; Konrad G., Szelenyi I. *The Intellectuals on the Road to Class Power*. N.-Y., 1979.

² Scott J. C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition. Have Failed*. New Haven, 1998. P. 4.

³ Ленин В. И. *Государство и революция* // Ленин В. И. Полн. Собр. Соч.: в 55 т. 5-е изд. М., 1967–1972. Т. 33. С. 26.

оценили советский опыт по заслугам. Создание авторитарного государства было необходимо для проекта интенсивной модернизации Ленина. Но это, к сожалению, лишь в малой степени относилось к тому, как в действительности происходили революции, включая Русскую революцию. Большевики были на вторых ролях в феврале 1917 г., когда народная революция началась. Захват ими власти отразил не только отрицание этой революции, но и дискурсивную инверсию значения самой революции.

Для Франсуа Фюре¹ народные революции завершились в марте 1921 года с подавлением восстания в Кронштадте, поражением рабочих оппозиции и запретом фракций на десятом съезде партии. Хотя Фюре игнорирует бурное культурное и социальное развитие нэповской России (1921–1928), 1921 г. консолидировал диктатуру большевиков и, как утверждает Робин Блэкберн², положил начало (контр)революции Сталина 1929–1933 гг. Схожим образом, утопические элементы в восстаниях за национальный или реформированный коммунизм в Венгрии (1956), Чехословакии (1968) и Польше (1980) были настолько тщательно подавлены советской контрреволюцией, что прагматические «бархатные революции» 1989 г. обнаружили недостаток утопического видения, которое является определяющей характеристикой революции. Коллапс самого Советского Союза, как снова замечает Фюре, был не столько революцией, сколько «коллапсом социалистической системы», которая не оставила после себя «ни настоящих партий, ни нового общества, ни новой экономики <...> только атомизированное и единообразное (uniform) население»³. Крах утопии не мог быть более полным.

Хотя Китайская революция также включала крестьянское восстание снизу и насильственный захват власти, утопическая идеология маоизма отчетливо отличает эту революцию от контрреволюции большевиков и в значительной степени объясняет мобилизующую силу китайской революции как до 1949 г., так и после. Как сам Мао объяснил в фундаментальном для маоизма тексте «Доклад об обследовании крестьянского движения в провинции Хунань» от 1927 г., где прописывается то, что имеет близкое сходство с образами революции у Сьюелла, Вуда и Пйреса: «Пройдет очень немного времени — и во всех провинциях Центрально-

¹ Furet F. *The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century*. Chicago, 1999. P. 90.

² Blackburn, R. *Fin de siècle: socialism after the crash* // Blackburn R. (ed.) *After the Fall: The Failure of Communism and the Future of Socialism*, London-Verso, 1991. P. 189.

³ Furet, F. *The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century*, trans. Deborah Furet, Chicago, 1999. P. VIII.

го, Южного и Северного Китая поднимутся сотни миллионов крестьян; они будут стремительны и неодолимы, как ураган, и никакой силе их не сдержать. Они разорвут все связывающие их путы и устремятся к освобождению»¹.

Размышления Мао о революции также демонстрируют доказательство маоистской веры в спонтанный волюнтаризм населения Китая в отношении как преодоления традиционных социальных категорий конфуцианской почительности, так и современных иерархий управления, мастерства, образования, урбанизации, научных и материальных благ, с целью создать эгалитарное, дисциплинированное на принципах коммунизма (*communal*) общество коллективного стремления к доступному для всех наилучшему положению вещей. Маоизм бросил вызов метафизическим принципам и социальным категориям как традиционного, так и либерального капиталистического порядка и предложил утопическое видение альтернативы, достаточно захватывающей, чтобы она создала условия (*mobilize*) как для исключительных политических триумфов, так и для катастроф из-за политической и экономической неадаптивности. Таким образом, Китайская революция в период маоизма была революцией в соответствии с предложенным здесь определением в том отношении, в каком большевистской революции никогда не существовало. Конец маоизма в Китае оставил после себя метафизический и идеологический вакуум, который угрожает революционному мандату и легитимности преемников Мао.

Будущее революции

Есть ли у понятия революции будущее? Ответ на этот вопрос зависит от выбранной дефиниции. Если революция обозначает насильственный захват государственной власти через классовые восстания снизу, то ответ едва ли будет положительным. Модель ленинизма была столь основательно дискредитирована, что сложно вообразить, чтобы кто-то смог бы ее воскресить в настоящее время или вообще когда-либо. Конечно, другие варианты авторитарной интенсивной модернизации могут возникнуть в России и еще где-нибудь для решения бесконечных парадоксов недостаточного развития. Более вероятно, что они будут иметь или требовать того вида утопического видения, на которое уже полагались режимы советского типа в отношении обоснования своей власти. Крушение Советского Союза означало окончание марксистско-ленинской революции как исторической формы.

¹ Мао Цзэ-Дун. Доклад об обследовании крестьянского движения в провинции Хунань // Мао Цзэ-Дун. Избранные произведения: В 4 т. М., 1952–1953. Т. 1. С. 36.

Так или иначе, будущее выглядит совсем непохожим на перспективу альтернативного определения, подчеркивающего изменения в социальных категориях и метафизических основаниях. Как доказали Арриги, Гопкинс и Валлерстайн, всемирные восстания 1968 года коренным образом изменили фундаментальные категории социальной жизни, особенно в «скрытых обителях повседневной жизни»¹. Хотя 1968 г. потерпел политическое поражение, аскриптивные² иерархии расы, этничности, полов, возраста, физического состояния были коренным образом оспорены. В этом смысле наследие 1968 г. выдерживает испытание временем. Более того, отношения между «цивилизацией» и «варварством» или, в категориях последователей теорий развития, «развитыми» и «слаборазвитыми» (государствами — прим.) были деконструированы схожим образом. Глобальные отношения между государствами и гражданами были фундаментально перестроены в 1968 г. — теперь авторитарные правительства везде находятся перед лицом появившегося дискурса «прав человека». Хотя Арриги и другие утверждали, что антиномия труда и капитала также подверглась атаке, в настоящее время в этом отношении могло бы быть более точно замечено, что эти категории существуют в фундаментально трансформированных корпоративной глобализацией формах.

Эти трансформации в фундаментальных категориях социальной жизни сделали возможной трансформацию метафизического базиса общества, того, что Вильям Грейдер³ называет «глобальным гуманизмом», при котором человек как предмет дискурса мыслится не как абстрактный юридический представитель либерального капитализма, а скорее как совокупность человеческих творческих потенций, что напрямую соотносимо с ранними концепциям видов бытия Маркса. Как отмечает Грейдер, эта новая идеология представляет слияние уже существующих: традиционного социализма, прав человека, феминизма, энвайронментализма, и признает культурное различие, чего не могло бы произойти без 1968 г. «Дух “68”» продолжает жить в этих многочисленных движениях, приобретающих в отношении своих границ скорее глобальный, нежели национальный характер. На данный момент этот глобальный гуманизм сосуществует с глобальным возрождением доктрин «неолиберализма» и «демократии» либерального капитализма.

¹ Arrighi, G., T. K. Hopkins and Wallerstein I. *The great rehearsal* // Boswell T. (ed.) *Revolution in the World-System*, Westport, Conn.: Greenwood, 1989. P. 23.

² Традиционные. — Прим. пер.

³ Greider, W. *One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism*, New York, 1997. P. 469.

Парадоксально, но сама по себе глобализация, как предположил Дэвид Харви¹, интенсифицирует противоречия между глобальным неолиберализмом и «Духом “68”». Согласно Харви, дискурс глобализации являет образы самореализации и человеческих возможностей, которые в условиях структурных неравенств и коммодификации² (commodification) социальной и персональной жизни все больше отвергаются; эта риторика демократических прав обеспечивает оружие против умаления тех прав, которые необходимы, чтобы поддерживать эти неравенства и унижения. Поэтому неудивительно, что некоторые примеры непримиримого сопротивления корпоративной глобализации исходят как от автохтонных народов, защищающих свой собственный особый культурный потенциал, так и от людей, выступающих с равных позиций относительно демократического участия и гражданских прав. Но структурное неравенство и коммодификация персональной и социальной жизни не ограничиваются автохтонным миром; они все больше действуют на Север так же, как и на Юг, как на классы специалистов и менеджеров, так и на старый рабочий класс, как на мужчин, так и на женщин, как на Сиэтл, так и на Сан-Кристобаль.

Если противоречие между глобальным неолиберализмом и «Духом “68”» продолжит углубляться, то вполне возможно, что оно будет разрешено революционной трансформацией. Направление приведенной здесь аргументации не предполагает, что подобная революционная трансформация обязательно должна носить насильственный характер, основываться на всемирной классовой борьбе или включать захваты верховной власти на национальном или международном уровне, хотя какие-то из этих вариантов или все они могут реализоваться. С другой стороны, вполне может случиться, что углубление существующих противоречий в отношении прав человека, увеличение уверенности в себе официально подавляемых этнических, гендерных, возрастных и классовых групп и подъем Юга в мировом масштабе приведут мир к определенному виду революционной трансформации в сознании, насущном жизненном опыте и властных отношениях, вероятность которой рассматривалась раньше лишь в рамках отдельных национальных обществ. Если это действительно так, то базисные структуры (institutional arrangements) изменятся и отразят изменения в насущном опыте точно так же, как это произошло во Франции, Америке и на Кубе. Является ли это буду-

¹ Harvey, D. *Spaces of Hope*, Berkeley and Edinburgh, 2000. P. 91–92.

² От commodity — англ. товар, предмет потребления; процесс превращения в объект рыночных отношений, в товар. Соотносимо с понятиями отчуждения и овеществления у К. Маркса и у теоретиков критического направления (Франкфуртской школы), например, у Э. Фромма. — *Прим. пер.*

щим революции? Если мы подразумеваем под революцией глобальную интенсификацию (deepening) «Духа “68”», то тогда будущее возможно уже среди нас.

НОЗЛЬ ПАРКЕР

ПАРАЛЛАКСЫ¹: РЕВОЛЮЦИИ И «РЕВОЛЮЦИЯ» В ГЛОБАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ²

Глобализация, революция и государство

Подобно многим, чьи мнения представлены в этом сборнике, я скептически отношусь к глобализации. Нельзя сказать, что я верю в то, что данное понятие ничего не означает. По моему мнению, этот термин служит для маскировки действительности политической риторикой³. Данный факт свидетельствует в пользу того, что это понятие может быть равным образом использовано для анализа тенденций в различные периоды истории⁴. Вследствие этого существуют веские основания для подхода к «глобализации» как новому выражению того, что уже имело место в прошлом, но сейчас происходит более интенсивно, поскольку соединяется с обновленным значением и риторической силой этого осо-

¹ От греч. *parallaxis* — отклонение; видимое изменение положения объекта вследствие перемещения наблюдателя. Изначально термин использовался в астрономии для обозначения видимого перемещения светил на небесной сфере, обусловленного перемещением наблюдателя в пространстве вследствие вращения Земли, обращения Земли вокруг Солнца и движения Солнечной системы в Галактике. — *Прим. пер.*

² Перевод сделан по: Parker, N. *Parallaxe: Revolutions and 'Revolution' in a Globalized Imaginary* // *The Future of Revolutions. Rethinking Radical Change in the Age of Globalization* / Ed. J. Foran. London and N.-Y., 2003. P. 42–56. (Перевод Александра Никифорова).

³ Ср.: Hirst, P., Thompson, G. *Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance*. Cambridge, 2000; Rosenberg J. *The Follies of Globalization Theory*. London, 2001; Wallerstein I. *Globalization or the age of transition? A long-term view of the trajectory of the world-system* // *International Sociology*. Vol. 15, №2. 2000. P. 249–265.

⁴ См.: Denemark R., Friedman J., Gills B., Modelski G. *World System History: The Social Science of Long-Term Change*. London, 2000; Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Cambridge, 1999; Holsti K. *Polyarchy in nineteenth-century Europe* // Rosenau J., Czempel E.-O. (eds) *Governing without Governance: Order and Change in World Politics*. Cambridge, 1992. P. 30–57.

бенного исторического периода на уровне международных отношений¹. Тем не менее, начиная с 1990-х, новые факты, наблюдаемые в реальности, создали как мощную волну, так и новое значение глобализации, что породило противоречия «глобализации» и «значения» революции.

Понятие революции значимо для двух групп: тех, кто пытается понять революции в качестве пространства (site) человеческого действия, и тех, кто вовлечен или мог бы быть вовлечен (в качестве защитников или противников) в вызовы революции. Вовлеченные в этот процесс лица действуют исходя из идей, которыми они владеют относительно ранних революций и «революции как таковой». Таким образом, я считаю своей задачей рассмотреть то, что может означать революция в ситуации, когда глобальный контекст приобретает новое значение. Что же в таком случае *означает* революция? Этот факт значительно усиливает значение мирового/глобального/всемирного контекста как арены, на которой открывается, объясняется и интерпретируется то, что происходит в нашем мире. Это то, что Мартин Элброу² и другие подразумевают под понятиями «глобальность» (globality) и «глобализм». И явным *quid pro quo*³ всего того, что необходимо для привнесения обновленной значимости (prominence) в то, что всегда было проблемой, — факт того, что власть, концентрировавшаяся в рамках национальной государственности, не делает неизбежным ни ее как таковую, ни ее в статусе высшего авторитета, — несмотря на то, что государственность является стимулирующим фактором для определенных структур власти в некоторые периоды истории и некоторых пространствах, нежели в отношении других.

Если принять во внимание это замечание, то оно, так или иначе, имеет определенное последствие для определения значения революции. Между государством и революцией всегда существовали напряженные отношения. На протяжении нескольких веков для своих участников революция имеет предпочтение среди обширной совокупности общественных конфликтов, инициированных борьбой за власть. Революции направлены на захват власти, очевидно, сконцентрированной в государстве, и на модификацию социальных и властных отношений, характер которых, главным образом, обуславливает государство. Учитывая недавно возродившуюся «глобальность» и недавние примеры противостояния государственной власти, менее очевидно, что революционная

¹ Holm H.-H., Sørensen G. *Whose World Order? Uneven Globalization and the End of the Cold War*. Boulder, 1995.

² Albrow M. *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*. Cambridge, 1996.

³ «Одно вместо другого» (лат.). — *Прим. пер.*

атака на государство является основной дорогой к реорганизации власти. Говоря коротко, упадок национального государства, как следствие глобализации, должен повлечь за собой потерю веры в революцию как *ne plus ultra*¹ того, что Тилли называет «соствязанием» (contention) за власть².

Последствия комментария относительно революций трудно определить. Классические способы осмысления³ успешно инкорпорировали революции в европейскую/мировую истории и историю государственности. Революции бросали вызов государствам и их возросшему господству, оказывали воздействие на формирование этих государств⁴. Моя собственная оценка траектории развития (career) революции⁵ исходит (extrapolate) как из этого направления, так и из картины расширения государственности, описанной Броделем⁶. Я утверждаю, что, идя в ногу с государственностью, революции проявились в качестве волн⁷ противодействия/поддержки модернизации, распространившейся на протяжении последних трех веков сначала в Европе, а затем во всем западном мире. Подобный подход демонстрирует, каким образом «параллакс» становится атрибутом истории революций: характер восприятия вещи зависит от того положения, из которого вы наблюдаете.

¹ Дальше некуда, крайняя степень (лат.). — *Прим. пер.*

² Для многих революция никогда не была наивысшим показателем противостояния. Другие схемы социального изменения и того, как установить новые властные отношения, всегда могли бы быть с высокой долей вероятности приняты в качестве осуществимых и более справедливых, даже если бы они были менее всеобъемлющими и впечатляющими, чем революция. Но они всегда вынуждены были быть соизмеримыми и оправдывающими ее на протяжении всего времени это *ne plus ultra* социального изменения.

³ Tilly C. *Coercion, Capital and European State. AD 990–1992*. Oxford, 1990; Tilly C. *European Revolutions. 1492–1992*. Oxford, 1993; Tilly C. *Reflections on the history of European state-making* // Tilly C. (ed.) *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, 1975; Skocpol T. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge, 1979; Skocpol T. (ed.) *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge, 1979.

⁴ Kimmel M. *Absolutism and its Discontents: State and Society in Seventeenth Century France and England*. New York, 1988.

⁵ Parker N. *Revolutions and History: An Essay in Interpretation*. Cambridge, 1999.

⁶ Braudel F. *The Perspective of the World*, volume III: *Civilization and Capitalism, 15th–18th Century*. New York, London, 1984; Wallerstein I. *The Capitalist World Economy*. Cambridge, 1979; Wallerstein I. *The Politics of the World Economy: The States, the Movements and the Civilisations*. Cambridge, 1984.

⁷ Несмотря на то, что геометрия этих волн сложна и не должна быть связанной с концентрическим расширением. См.: Parker N. *Revolutions and History: An Essay in Interpretation*. Cambridge, 1999. P. 69.

Вследствие этого я делаю вывод¹, согласно которому основательно укоренившееся пространство современной государственности в перспективе не сможет успешно ответить на вызов со стороны революций, которые имели место в течение всей истории. Свидетельством этого выступает демонстрация все большего стремления революции продвигаться к тем пределам, где она, *сама по себе*, может все меньше и меньше влиять на пространство доминирующих государственных образований (*society of states*).

Пессимизм и ирония (в значительной степени донесенные Токвилем) звучат и в классической точке зрения Скочпол на революцию и государственность: революции, по-видимому, направленные *против* государства, были более или менее *эффективны в отношении государственного строительства* (*statehood*). В мире расцветающей государственности вера (или, во всяком случае, декларация) революционных агентов в то, что они противостояли государству, фактически обеспечила более успешное государственное строительство. Хотя они и могли *трансформировать* (*modified*) процесс роста государства, государственность продолжала развиваться, любое последующее государство было сильнее предыдущего и более успешно могло противодействовать открыто выраженному недовольству. В настоящее время глобализация способна подорвать подобную логику. Когда сама по себе государственность угасает, то революционное сопротивление государству не может более являться промежуточным этапом между противостоянием и социальным изменением. Если революционеры в прошлом были ведомы желанием (часто фрустрированным) препятствовать, изменить или принять современную государственность, если ее появление было незаметным, то противодействующие (государству — *прим.*) группы в будущем должны будут уделить внимание чему-либо иному, нежели государство. Более того, их победы и поражения будут способствовать вызову и/или укреплению других сил — не тех, что относятся к государству.

Это могло бы отослать к множеству уже осознанных форм противостояния, основывающихся не на государстве: космополитического, как например, транснациональные движения за глобализацию снизу²; религиозного и/или этнического, известных на примере революции

¹ Parker N. *Revolutions and History: An Essay in Interpretation*. Cambridge, 1999. Chap. 4.

² Evans P. *Fighting marginalization with transnational networks: counter-hegemonic globalization* // Contemporary Sociology. Vol. 29, №1. 2000. P. 230–241; Brecher J., Costello T. *Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction from the Bottom Up*. Cambridge, 1998; Falk R. *Predatory Globalization: A Critique*. Cambridge, 1999.

в Иране и Афганистане; сепаратистские движения¹ в рамках существующих государств Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока²; и «особые»³ (subaltern) восстания, наблюдаемого в третьем мире⁴. Существуют модели противостояния, в которых государственность как таковая не является первичной, или в которых национальная государственность (nationhood), если она имеет место, амбивалентно соотносится с государственностью (statehood)⁵. Я вернусь к теме современных групп противодействия после исследования природы революционной деятельности, идентичности групп противодействия (и других групп) и параллаксов, которые предполагаются в будущем.

Нарратив глобализации и «революционный нарратив»

Даже несмотря на то, что нарратив глобализации разрушает преемственность моделей революции, всемирное объяснение ранней истории человечества может обойти ограничения преимущественно государственноориентированных подходов, направленных на объяснение революции и истории, например, подхода Скочпол. Для мир-системной теории распространение западной модели государственности всегда было функцией чего-то большего, чем государств самих по себе: то есть, требований глобализирующегося рынка. Вот почему мир-системная теория предлагает возможность концептуализировать новую ситуацию, в которой государство больше не является реальным (plausible) центром силы в каждом конкретном «национальном» обществе⁶. Соответствен-

¹ Движения, целью которых является национальное самоопределение через отделение от государств, в рамках которых они существуют. — *Прим. пер.*

² Bartkus V. *The Dynamic of Secession*. Cambridge, 1999; Katz M. N. *Reflections on Revolutions*. London, 1999. P. 75–99.

³ Здесь и далее для удобства данное понятие будет взято в кавычки. — *Прим. пер.*

⁴ Rabasa J. *Of Zapatismo: reflections on the folkloric and the impossible in a subaltern insurrection* // Lowe L., Lloyd D. (eds) *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*. London: 1997. P. 399–431.

⁵ Факт того, что в одно и то же время они направлялись желанием национальной государственности и восхищением от последней западной модели значительно ограниченной государственности отразил в отношении центрально-европейских революции конца 1980-х — начала 1990-х гг. особые проблемы при оценке государства и революции в терминах предыдущей истории — смотри, например, спорное суждение в финальной главе Тилли. См: Tilly C. *European Revolutions, 1492–1992*. Oxford, 1993.

⁶ См.: Arrighi G. *The Long Twentieth Century*. London, 1994. В этой работе Арриги обсуждает вероятность этого внутри мир-системной теории. Следуя его логике, можно предположить, что в ситуации, когда государственность была установлена в *значительной степени* в целях рынка, существующее давление на правительство гораздо *интенсивнее*, чем это можно было бы ожидать.

но, для мир-системной теории оппозиционные движения были способны на протяжении долгого времени действовать «антисистемно»: то есть, относительно мировой системы *как целого*, большего и стоящего выше отдельного государства. В условиях глобализации эта возможность обретает новую силу. Два уже проанализированных случая — движение 1968 года¹ и восстание сапатистов в Чиапасе в 1994 году². Особенность времени и места начала каждого из них оказали воздействие, которое, в значительной степени, не было обусловлено непосредственными силами, задействованными в этих событиях. 1968 год — попытка делегитимировать весь послевоенный принцип развития Запада; 1994 год — попытка дестабилизировать международные валютные рынки в момент триумфального создания НАФТА. Если коротко, то поскольку государства не являются, во всяком случае, в такой мере, наивысшей инстанцией формирования принципов международного распределения власти, то революциям нет нужды переформировывать *государства*, для воздействия на общемировом уровне.

Эта концепция фокусирует наше внимание на акциях, дестабилизирующих тотальность, находящуюся вне точки непосредственного средоточия агентов. Важным условием здесь является то, что любое воздействие, выходящее за пределы уже запланированного группой противодействия, может не быть непосредственно связанным с принципами политической деятельности оппозиции. Это в достаточной мере иллюстрируется поворотом 1970-х гг. в отношении соблюдения политических прав в западных странах, когда движением сопротивления 1968 г. был поставлен вопрос об ответственности за их дисфункцию. Это движение, развернувшееся внутрь себя, превратилось в критику западных обществ, критику требований рынка, которые предопределяли тенденции развития этих обществ. Конечно, революционной политике всегда оказывалось противодействие со стороны *контрреволюционной* политики, включая стратегию переключения требований на другие цели в рамках стремления осуществить революцию. Вне рамок данного государства и его трансформации, с другой стороны, антисистемные

Более ранний глобальный тренд, в рамках которого пытались *установиться* государства, соответственно, заменен другим, который может *снизить* их роль; то есть, глобализацией. Ср.: Wallerstein I. *Globalization or the Age of Transition? A Long Term View of the Trajectory of the World System* // International Sociology. Vol. 15, №2. 2000. P. 262 и след. стр.

¹ Wallerstein I. *Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World System*. Cambridge, 1991;

² Burbach R. *Globalization and Postmodern Politics: From Zapatistas to High-Tech Robber Barons*. London, 2001. Castells M. *The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society and Culture*. Cambridge, 1997. P. 72–84.

действия легче обращаются к глобальным нарративам, обладающих достаточно противоречивыми результатами в отношении тех ожиданий, которые сформированы в ограниченном контексте национального государства.

Этот вопрос был затронут для того, чтобы использовать основные термины моей работы об изменении революции в зависимости от исторической перспективы и географического пространства. Они предлагают способ — невзирая на влияние революций «на самих себя» — концептуализации их автономной динамики в мировой истории, которую Джон Форан (John Foran) и другие называют «культурой сопротивления». Как я уже отметил, в революционных ситуациях акторы, по крайней мере, со времен Американской революции конца XVIII в., оперируют концептом «революции», а их возможности отчасти определены их пониманием более ранних эпизодов революционной борьбы. Таким образом, на протяжении более двух веков существовало «представление» (*imaginary*)¹, заключающее в себе идею революции, которая циркулирует между пространствами и акторами в эпизодах революционной борьбы. Это представление также содержит в себе концепции государственности, современности, прогресса и т. п., как вещей, которые должны быть поняты, определенным образом направлены, оспорены или же приняты в качестве чего-то близкого. Я предполагаю, что внутри этого представления существует «революционный нарратив»: схема революционной интервенции группы людей в противовес внешнему (*alien*) измерению модернизации извне/сверху. Революционный нарратив — передаваемый посредством примера от одной противодействующей группы (и их противников) к другой и усиливаемый его способностью восстанавливать в правах противоположный и чуждый процесс изменения — постулирует, что группа людей может переформировать общество посредством акта общей воли, самой революции. Вопрос относительно будущего революций в контексте глобализации может быть успешно задан в том случае, если он будет рассматриваться как вопрос о будущем революционного *нарратива* в условиях глобализации. Существуют различные составляющие действия в условиях этого революционного нарратива²: перспектива/угроза обратимых (*irreversible*) изменений; предположения о власти со стороны тех или иных агентов в отношении развития, предотвращения или перенаправления этого

¹ Посредством которого я ссылаюсь на тотальность символических ресурсов, доступных обществу для репрезентации действительного мира, сущностей внутри него и общих взаимосвязей.

² Parker N. *Revolutions and History: An Essay in Interpretation*. Cambridge, 1999. Ch. 5.

изменения; и некоторое конкретное государство, в котором предполагается осуществить изменения. Революция и революционный нарратив — это обособленный феномен, хотя и взаимосвязанный с различными логиками и модусами пространственно-исторического существования¹. До сих пор ключевым каналом и пространством для изменения, предусмотренным революционным нарративом, было само государство с его вполне убедительным требованием узаконить все властные отношения в обществе. Очевидно, что больше такого не будет. Возможно, сегодня более корректно говорить о государстве, как о «самоотносящемся» (self-negating) канале модернизирующего изменения, поскольку в настоящий момент в условиях доминирования нелиберального дискурса существует настойчивое требование к государствам модернизировать «управление» (governance) посредством уменьшения масштаба (контроля — прим.) *их самих*². Но подобное государство гораздо меньшей степени способно выступать в качестве фундаментального компонента революционного нарратива. Кроме того, если революционный нарратив теряет государство как верховного обладателя власти, с которым необходимо бороться, то он не теряет и способность передавать через пространство и время саму схему сопротивления. Более того, в условиях глобализации он непременно должен удерживать все свои предшествующие способности актуальными для условий существования людей, чей образ жизни сталкивается с давлением внешней модернизации. Таким образом, революционный нарратив, предположительно, может создать форму — используя понятия группового действия в отношении социального изменения — для новых путей совершения «революции»³.

¹ См.: Parker N. *Revolutions and History: An Essay in Interpretation*. Cambridge, 1999. Ch. 6, 7. Я описал это в общих чертах в отношении XIX и XX вв. К настоящему времени, до появления современной глобализации, революционный нарратив мог бы возникнуть в Европе или Соединенных Штатах как составное зеркало, состоящее из революционного прошлого наций, их современных противников и, соответственно, недостижимого возрождения через «другого». Этот возврат произошел с поразительной быстротой во Франции и в США, столкнувшихся с национально-освободительными революциями, соответственно, в Алжире и Вьетнаме.

² Walton J., Udayagiri M. *From shantytowns to Seattles: Globalization and Counter Movements*. Paper presented at the Conference on Political Contention in the Developing World. Harvard University (October), 2000.

³ Ср.: Katz M. N. *Reflections on Revolutions*. London, 1999. P. 117. Он отмечает, что в мире, где вероятность возникновения демократии варьируется, «относительно статичная концепция революции продолжает сохранять свое влияние» среди теоретиков. Мое утверждение более общего порядка, нежели утверждение Каца: фундаментальные составляющие того, что мы называем революциями, могут быть перенесены в ряд форм противостояния.

Понятно, почему ничего не предпринято для ликвидации эксплуатации, угнетения, неравенства и решения других социально-политических проблем, обнаруживаемых в контексте модернизации. Для всех авторов этого сборника очевидно, что то, что Гилли (Gilly) сводит к «отношениям доминирования/субординации» (ОДС), не перестанет существовать, изменять и изменяться. Действительно, существует масса доводов в пользу того, что как неравенство в доходах, так и неравенство в отношении доступа к власти, станут более четко выраженными и, вследствие эффектов глобальной коммуникации, более *видимыми* в условиях глобализации. Таким образом, я утверждаю, что, несмотря на закат государства в качестве объекта революционного вызова, внутри заново глобализированного представления революционные движения продолжат артикулировать революционный нарратив в актах противодействия ОДС. Но, естественно, пересмотренная версия будет объектом новых параллаксов: тех, что зависят от пространства, необходимого для существования групп противодействия, и от эффективности старого типа государственности, в условиях которого данная группа осуществляет свою деятельность.

Параллаксы: новые пространства для групп противодействия

Я предполагаю, что три элемента, присутствующие в раннем революционном нарративе, могут рассчитывать на сохранение в рамках новой глобализации: перспектива/угроза изменения; вера, что вызов может быть брошен *тому или другому* обладателю власти; соответствующие ожидания в отношении способности со стороны *той или другой группы людей* перестроить общество ради достижения общего блага. Последние два из них требуют пристального внимания. Цель вызова и соответствующий агент, который способен осуществить какое-либо изменение, в настоящее время неясны. Первое — то есть, существующее до сих пор государство — на протяжении долгого времени было наиболее простым из этих двух. Действительно, не будет преувеличением сказать, что второе часто было производным первого — то есть, составляющие *нацию* люди могли быть определены как носители вызова в связи с тем, что они вначале были объектом унифицирующей власти данных государственных институтов. Интернационалистская идея, принадлежавшая определенному классу, который был агентом вызова и изменения, всегда была гораздо менее основательно укоренена в социально-политической организации, нежели идея того, что нация, управляемая данным государством, являлась этим агентом. Таким образом две идеи были успешно совме-

щены. Ключевая проблема — это будущая формация групп противодействия. Нам необходимо вновь обратиться к процессам, которые определяют группу, и поразмыслить над тем, как эта самоидентификация может существовать в условиях глобализации.

Фактически, политики левого спектра пытались осмыслить эту проблему до наступления эпохи глобализации. Уже Новые левые пересмотрели базис революционной политики, как только централизованная Коммунистическая партия СССР потеряла авторитет. Популярные доктрины (*easy formulas*) соответствующего экономического класса, революционный потенциал и лояльность в отношении централизованного революционного движения в СССР в значительной степени были пересмотрены экс-членами партии и диссидентами внутри страны. Все это послужило, с одной стороны, началом множества дискуссий по поводу переопределения понятий класса, эксплуатации и т. п.¹, с другой стороны, переросло в дебаты о том, как *политика* связана с членами данного класса.² Эти тенденции наиболее скрупулезно были рассмотрены Эрнесто Лаклау (Ernesto Laclau) и Шанталь Муффе (Chantal Mouffe) — в «постмарксистской» *«Гегемонии и социалистической стратегии»*³ они пытались описать левую политику, проводимую левыми, без обращения к понятию класс в качестве исходного допущения.

Принимая во внимание новые типы революций в Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке, Лаклау продолжал утверждать, что вся современная политика может быть проанализирована *via*⁴ дискурс, который *конструируют* оппозиционные союзы⁵. Поскольку глобализация *везде* делает государства внешне более слабыми, оппозиционная риторика популизма, типичная для государств третьего мира, соответственно, определяет современные возможности политического противостояния. Законы обозначения и описания

¹ См.: Althusser L. *For Marx*, trans. B. Brewster. London, 1969; Poulantzas N. *State, Power, Socialism*, trans. P. Camiller. London, 1978; Thompson E. P. *The Making of the English Working Class. Reading*. Addison-Wesley, 1966; Wright E. *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*. Cambridge, 1997.

² Этот интеллектуальный ход, который символизирует интерес к Грамши, чья концепция «гегемонии», созданная для объяснения массовой поддержки итальянского фашизма, служит способом объяснения проблемы того, как политическая ситуация могла бы различным образом относиться к представителям классов.

³ Laclau E., Mouffe C. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London, 1985.

⁴ Через (лат.). — *Прим. пер.*

⁵ См.: Laclau E. (ed.) *The Making of Political Identities*. London, 1994.; Laclau E. *The Populist Reason*. London, 2002.

либо принадлежность к лояльной или враждебной группе являются в настоящее время действительно гораздо большим, нежели просто тем, что неизменно принадлежит коллективной идентичности, ее намерению и способности к действию. В «четвертом поколении» исследований революции¹ было верно замечено, что повторяющиеся описания прошлого или мистические акты сопротивления принимаются как выражение общей идентичности тех, кто борется. Сходный процесс превращения в миф недавних действий сплавливает вместе часть движений за глобализацию снизу². Исходя из этой имплицитной логики, и в той мере, в какой обозначение обеспечивает идентичность, обозначение группы сопротивления может превратиться в абсурд. Так, оценки движения сапатистов обращают внимание на две вещи: дальновидность их политики и отчетливую «абсурдность» требований, установленных анонимными образованными представителями, говорившими от лица этноса, вовлеченного в бесконечную борьбу.

Кроме того, процедуры обозначения, как напоминает нам Пер Аге Брандт (Per Aage Brandt)³, отличны от каузальных систем, используемых для интерпретации мира. Из этого следует, что, несмотря на способность лингвистических актов иметь фундаментальный характер в процессе конституирования групп, они не могут функционировать сами по себе. Какие каузальные категории допускают акты обозначения, которые соотносят соперничающие группы с реальным миром? Любая из структур может быть приписана реальному миру, в центре которого она сама должна быть расположена. В связи с этим, как утверждает Брандт, «тождественность и различие» с некоторыми другими является «абсолютным и безусловным» (фактом — прим.); также существует «непрерывно продолжающаяся битва соперничающих моделей», для которых

¹ В рамках которых, согласно Голдстоуну, поиск структурных факторов перерос в стремление соединить лидерство, идеологию и процессы идентификации — Голдстоун сам, кажется, склонен понимать свой структурный пирог и употребить его — посредством направления своего анализа на деятельность, которую избегает *государство* с тем, чтобы эти противостоящие группы не смогли бы создать собственные идентичности.

² McKay G. *Senseless Acts of Beauty: Cultures of Resistance*. London, 1996.

³ В короткой статье от 1995 г. о европейских идентичностях и европейской интеграции датский семиотик резюмирует множество психологических обоснований способа, с помощью которого люди соотносят значения и идентичности с действительным миром. Групповые идентичности, утверждает он, формируются и поддерживаются через лингвистические акты референции людей. Подобные акты относятся к идентичности, именуемой поддерживаемые интенциональности, без которых не возможна ни одна политическая организация и, я добавлю, ни один законченный революционный нарратив.

отдельный пример принадлежит определенным универсальным описаниям¹. В итоге, обозначение/самоидентификация группы, революционной или любой другой, требует четко определенной модели мира, в которой может быть построено различие между «мы» и «они».

Кроме того, в глобальном представлении ментальная конструкция (plotting) различия заострила сложность подобной дистинкции, поскольку глобальная коммуникация и манифестация эффективности глобальных воздействий обозначает то, как выразился Роланд Робертсон, что «мир как целое в значительной степени “организовался” вокруг группы подвижных дефиниций глобального контекста»². Прямые и часто подавляющие следствия нелиберальной глобализации, которые я рассмотрел ранее, наталкиваются на идентичности³. Идентичности же значимы для их носителей⁴. Ностальгия по родине, которой они никогда не знали, передается современным городским жителям⁵. Наряду с процессом экономической глобализации, мы можем наблюдать модели себя и других, внедряющиеся стремительнее, широкимасштабнее и глубже, чем прежде⁶. Хотя, без сомнения, это новый феномен⁷, тем не

¹ Brandt P. *Ethnic Passions: Considerations on a Fundamental Problem of Humanity and the Humanities* // Sørensen N. (ed.) *European Identities: Cultural Diversity and Integration in Europe since 1700*. Odense, 1995. P. 194, 196.

² Robertson R. *Social Theory, Cultural Relativity and the Problem of Globality* // A. D. King (ed.) *Culture, Globalization and the World-System*. London, 1991. P. 89.

³ В доведенных до нищеты странах третьего мира, например, происходит перестройка возможных альтернатив конкретной идентичности, которые изначально были сообщены им в период постколониальной модернизации. См.: Mmembe A., Roitman J. *Figures of the Subject in Times of Crisis* // Yaeger P. (ed.) *The Geography of Identity*. Ann Arbor, 1996. P. 153–186.

⁴ Mathews G. *Global Culture* // Mathews G. *Individual Identity: Searching for Home in the Cultural Supermarket*. London, 2000.

⁵ Appiah K. A. *In My Father's House: Africa in the Philosophy of Culture*. N.-Y., 1992.

⁶ См.: замечание Джонатана Фридмана в: Friedman J. *Cultural Identity and Global Process*. London, 1994. P. 171. По поводу нынешнего «пространства идентичности» как «динамического оператора между экономическими и культурными процессами», который соответствующим образом инкорпорируется в глобализацию посредством моделирования реальности, в которой «мы» и «они» могут быть названы и оспорены. «Жизнеспособность определенных автохтонных движений, — пишет он, — является измеримой со степенью, в которой автохтонное население решает сохранить или заменить» собственных авантюрных «представителей» на мировой арене. См.: Friedman J. *Indigenes, Cosmopolitans and the Discreet Charm of the Bourgeoisie* // Grønseth for Globalisering. Copenhagen and Aarhus, 1998. P. 15.

⁷ См.: Said E. *Culture and Imperialism*. London, 1993.; von Laue T. *The World Revolution of Westernization: The Twentieth Century in Global Perspective*.

менее, у противодействующих групп существует возможность определять самих себя либо через *самоассимиляцию* (self-assimilation), либо через *самосопоставление* (self-juxtaposition) с другими.

Данный процесс необязательно односторонний и пассивный, поскольку обоюдное проникновение идей локального и глобального определяет и *тех*, и *других* — факт, зафиксированный в концепции «глокализации» Робертсона¹. Но из этого должно следовать, что «пространство идентичности», которое предполагаемая группа противодействия может заполнить в рамках своей «дефиниции глобального контекста», и то, как она в данном случае соотносит себя с одной или несколькими совокупностями «других», сложно определить. Следовательно, можем ли мы классифицировать возможности самоидентификации групп противодействия, когда вследствие условий глобализации национально-территориальные образования поставлены под вопрос? Я предполагаю, что мы можем экстраполировать категории самоидентификации из сосредоточенных не на государстве форм противостояния, относящихся к более раннему периоду. В этом отношении данные категории, которые не являются взаимно исключаящими², обеспечивают стратегии создания глобального пространства и идентичности для группы противодействия.

• Космополитическое противодействие определяет свое место в контексте всего человечества, его ценностях и интересах, или в биологической целостности мира. Как и мыслители эпохи Просвещения, противодействующая группа может свободно определять себя через эти универсальные ценности. Как показывает в своей главе из этого сборника Джон Уолтон, то, что он называет «антиглобализационным» противостоянием, распространяется среди широких масс, пострадавших от глобализации. Там, где государство ослаблено, космополитическая группа предлагает обходить его или оказать давление на него, чтобы провести

Oxford, 1987. Taylor P. J. *The Way the Modern World Works: World Hegemony to World Impasse*. Chichester, 1996; Taylor P. J. *Modernities: A Geohistorical Interpretation*. Minneapolis, 1999; развил модель, инкорпорирующую в столетия долгой истории модернизации процессы, которые распространяют образы, идентичности и поощрения — процессы, которые многократно переформировали модернизацию и повсюду склонили элиты принять новые идентификаций и себя в качестве современных.

¹ Robertson R. *Glocalization: Time-space and Homogeneity-heterogeneity* // Featherstone M., Lash S., Robertson R. (eds) *Global Modernities*. London, 1995. P. 25–44.

² Любое, что является большим идентичности, должно быть сингулярностью. Подробнее см.: Handler R. *Is 'Identity' a Useful Cross-cultural Concept?* // Gillis R. R. (ed.) *Commemorations: The Politics of National Identity*. Princeton, 1994. P. 27–40.; Hall S. Introduction: identity in question // Hall S., Held D., McGrew T. (eds) *Modernity and Its Futures*. Cambridge, 1992. P. 274–316.

акцию, направленную против глобальных сил (главным образом, мирового капитализма) во имя справедливого мира. Несомненно, это специфическое пространство идентичности обнаруживает сложности в том, чтобы определить место «другого», против которого группа направляет свои усилия, так как он также по определению является представителем человеческого рода — хотя, возможно, его недостойным представителем.

• Противодействие, укорененное в религиозной и/или этнической идентичности, конструирует культурные идентичности, которые игнорируют национальную государственность или, по крайней мере, установившиеся национальные государства¹. Это пространство идентичности, таким образом, включает в себя категорию ненаправленного на государство сепаратизма. Это, естественно, ведет к трактовке других как глубоко отличных или даже достойных презрения, несмотря на меньший характер интенсивности подобного отношения в случае религиозного фундаментализма, в котором перемена взглядов противников вполне возможна². Религиозно и этнически укорененное противостояние подразумевает более сложное определение глобальных условий, чем космополитизм, оставляя ряд возможностей для иного понимания других.³ Это придает легитимность защите двух альтернативных трансценденций —: культуры и этноса, — размышлению как о чем-то реально существующем в истории прошлого, настоящего и будущего, так и о включенности сверхъестественного в историю. Они представляют собой две различные интеллектуальные стратегии; однако две трансцендентальности не являются несовместимыми, в действительности, они часто проявляются вместе в том смысле, что «этническая» идентичность часто акцентируется на верности избранному Богом пути. Последнее является тем, что уцелело от более раннего «осевого» (axial) ориентира, посредством которого можно было бросить вызов существующим условиям реального мира⁴.

• Сила непреходящего значения «национальной» принадлежности, *безотносительной к государственности*, показывает, что националь-

¹ Castells M. *The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society and Culture*. Cambridge, 1997.

² Eisenstadt S. *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity*. Cambridge, 1999. P. 105 и след.

³ Один из вариантов может, как указал Стюарт Холл, в отношении этнических идентичностей в западных обществах, сделать этничность «локальным» местом противодействия универсальности, установленной сверху.

⁴ Тем не менее, будет неразумным заключить (как стремиться показать анализ Эйзенштадта в: Eisenstadt S. *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity*. Cambridge, 1999.), что современная «якобинская» или еще более современная «фундаменталистская» версии религиозно укорененной идентичности в любом случае представляют собой акты *незаконного присвоения*.

ная идентичность может также проявляться параллельно с этнической идентичностью, в рамках негосударственного пространства идентичности, где противодействующие группы могут сами определять свои собственные идентичности, даже без учета «националистической» политической повестки дня¹.

• В результате, «особая» идентичность и противостояние, противоположное всему вышеназванному, демонстрируют стратегию исключительности в отношении других. Относительно глобального представления особенно необычным и эффективным является ее (идентичности — *прим.*) способность к определению группы противодействия, как через ее неизбежно подчиненное положение (*subordinate*), так и через представляемые ею универсальные и даже трансцендентальные ценности. Посредством сохранения представления о подчиненном статусе группа, придерживающаяся «особой» идентичности, может обосновать свое место в истории борьбы и/или угнетения. «Особые» нарративы включают в себя сохранение и сосуществование других. Движение сапатистов получило свою известность в качестве «постмодернистской» революции именно благодаря соответствию давним основаниям революционного сопротивления, что проявилось в их дистанцированности от возвышенных ожиданий господствовавших ранее нарративов². Субкоманданте Маркос так выразил это:

«Вы не можете воссоздать мир или общество, как не можете построить заново национальные государства, лежащие сейчас в руинах, на основе вражды с теми, кто навязет собственную гегемонию обществу. Мир в целом и мексиканское общество в частности составлены из различных типов людей, и отношения между ними должны основываться на уважении и толерантности, вещах, которые не появились в дискурсах военно-политических организаций шестидесятых и семидесятых»³.

«Особые» нарративы «трагичны, поскольку они обозначают не конец истории, а скорее продолжение борьбы»⁴. Группа, придерживающаяся «особой» идентичности, может в равной степени следовать курсом революционной оппозиции, направленным не на захват государства, с присущими ему универсальными требованиями, что

¹ См.: Motyl A. *Revolutions, Nations, Empires: Conceptual Limits and Theoretical Possibilities*. New York, 1991; Smith A. *Nations and Nationalism in a Global Era*. Cambridge, 1995.

² Burbach R. *Globalization and Postmodern Politics: From Zapatistas to High-Tech Robber Barons*. London, 2001.

³ Marcos. *Subcomandante Interview by Gabriel Garcia Marquez and Robert Pombo* // New Left Review. Second series, 9 (May/June), 2001. P. 71.

⁴ Rabasa J. *Of Zapatismo: Reflections on the Folkloric and the Impossible in a Subaltern Insurrection* // Lowe L., Lloyd D. (eds) *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*. N. C., London, 1997. P. 409.

предоставляет ей выгодную позицию в отношении возможности достижения «метонимической»¹ идентичности (где часть представляет целое, но при этом остается частью) с другими оппозиционными группами, как глобальными, так и локальными². К настоящему времени революционеры-сапатисты заметно укрепили свои позиции посредством применения «особой» стратегии.

Параллаксы: особые возможности существования государственности

Глобализация, фактически, является условием параллаксы: этот процесс, действительно, проявляется по-разному в различных местах. В итоге, мы вынуждены реимпортировать различные характеристики интенсивности процесса глобализации в вышеуказанное значение пространства идентичности групп противостояния. Соответственно, дальнейшее изменение параллаксы таково: степень, в которой противостоящим группам *необходимо* следовать альтернативным идентичностям, а не тем, которые ориентированы на захват государства, зависит от способности к сохранению более древних типов государственности в их географически дифференцированном представлении. В двух словах, мы вынуждены разграничивать новые версии противостояния, появления которых можно ожидать в частях мира, различным образом подвергшихся глобализации.

Очень схематично мы можем классифицировать разные случаи и ожидания в отношении государственности: районы слабых государств, обнаруживаемых в третьем мире, где государственность проявилась в качестве никогда не реализованного образца; районы в первом и втором мире, где степень участия государств в жизни общества сужается, где современная государственность проявляется как нечто реализованное в прошлом, но переживающее сейчас упадок под давлением глобализации; и районы сильной государственности, где государство столь значительно или столь сильно, что полновластное функционирование государственной власти, кажется, вообще не может быть оспорено. Более пристальный взгляд на конкретные примеры показывает, что эта трехчастная классификация является, на самом деле, *шкалой*, в рамках которой

¹ От *метонимия* (греч. *metonymia*, букв. — переименование), троп, — стилистический перенос названия — замена одного слова другим, находящегося с первым в отношении «ассоциации по смежности», то есть в отношении общее — частное, процесс — результат и др. Напр. «власть пала» вместо «руководство сложило с себя свои полномочия». — *Прим. пер.*

² Rabasa J. *Of Zapatismo: Reflections on the Folkloric and the Impossible in a Subaltern Insurrection* // Lowe L., Lloyd D. (eds) *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*. N. C., London. 1997. P. 404.

постглобализационное противостояние может изменяться. Последняя категория (государств — прим.) включает в себя особую группу: США, чья концентрация силы и статуса в рамках межгосударственной системы позволяет им продолжать существовать с полным чувством собственного достоинства в качестве государственности, идентифицируемой с универсальными правом как таковым; и Китай, чей размер и стратегическая нерешительность в отношении выхода на мировую арену подобна потухшему вулкану, который сопротивляется леднику глобализации, уже покрывшему других. В частности, позиция США, как мы увидим позже, создает достаточно парадоксальное условие для глобального революционного протеста.

Существующая слабость ранее «гиперактивных» государств, особенно в Латинской Америке, достаточно хорошо показана в других разделах данного сборника. Еще более репрезентативные примеры для иллюстрации первой обозначенной мною категории могут быть обнаружены в Африке, где политические режимы, отделившиеся от европейской модели государственности, уже давно потерпели поражение, и где была принята и модифицирована практически неосуществимая западная модель модернизации, проводимой государством¹. Революции конца XX в., в данном случае, не предполагают ни существование государства, которым можно было бы завладеть, ни собственными связанными между собой нарративами, чтобы перенаправить их², так что в итоге противодействие может иметь устойчивую тенденцию к приобретению защитного, ищущего в прошлом этнических различий, характера³.

Это означает, что уровень, относительно которого государственность кажется отсутствующей в «районах слабых государств», изменяется и,

¹ См.: Chaliand G. *Revolution in the Third World: Myths and Prospects*. Hassocks, 1977.; Chaliand G. *Historical precedents* // Schutz S., Slater R. O. (eds) *Revolution and Political Change in the Third World*. Boulder. 1990. P. 19–28; Waites B. *Europe and the Third World: From Colonisation to Decolonisation 1500–1998*. London, 1999; Wolf E. *Europe and the People Without History*. Berkeley, 1997. Как, комментируя ситуацию с Эфиопией, излагает это Тирунех в: Tiruneh A. *The Ethiopian Revolution 1974–1987: A Transformation from an Aristocratic to a Totalitarian Autocracy*. Cambridge, 1993. P. 374: «Конец холодной войны означал, что бедные государства не смогут более скрываться за подоломи таких принципов, как суверенное равенство государств и невмешательство», и это было «потерей возможности экономического самоопределения [бедных стран]... со времени начала структурной перестройки западных государств».

² См.: Mmembe A., Roitman J. *Figures of the Subject in Times of Crisis* // Yaeger P. (ed.) *The Geography of Identity*. Ann Arbor, 1996. P. 153–186.

³ См.: Scherrer C. *Central Africa: Conflict Impact Assessment and Policy Options*. COPRI Working Paper 25. Copenhagen, 1997

следовательно, таким же образом создает предпосылки для обращения к тем пространствам идентичности, которые в своем противостоянии фокусируются не на государстве. Латинская Америка имеет долгую, возможно, незавершенную историю государственного развития¹, которое эволюционировало совместно с прочно установившимися крестьянскими обществами, способными объединиться вокруг этнических групп, размеры которых могут колебаться в рамках национальных идентичностей². Латиноамериканские государства также находятся под жестким «глобализирующим» давлением США и стран Севера. В такой ситуации при прочих равных условиях можно ожидать, что как этническое пространство, так и пространство национального государства могло бы выжить в этих зонах глобализации. В общем, с моей точки зрения, идентичности в группах сопротивления в данном случае будут часто являться результирующим эффектом воздействия глобализации в ее попытке ослабить государственность, которая встречает противодействие со стороны социальных идентичностей того или иного типа, не имеющего своим основанием государство. Первый тип, соответственно, обнаруживает доказательства жизнеспособности национальной и этнической идентичности безотносительно к слабости государства в таких странах, как Куба и Мексика³. Как в Перу, так и в Мексике этнические крестьянские революционные движения сохранили свое существование в рамках баланса отношений с государством, что может предвещать долгосрочное противостояние в рамках «особого» революционного нарратива. В другой части мира постреволюционное вьетнамское государство было вынуждено пойти на уменьшение собственного масштаба⁴, но оказалось жизнеспособным, используя социальное единство снизу в качестве способа управления, совместимого с уменьшенным масштабом государства⁵.

Ближний Восток включает в себя множество государств, находящихся на границе между слабыми государствами и теми, чье влия-

¹ См.: Castaceda J. *Utopia Unarmed: The Latin American Left After the Cold War*. New York, 1993. P. 273 и след.

² Churchill J. *Mayan Rebellion? Guatemala and Chiapas* // *Small Wars and Insurgencies*. Vol. 6, № 3. 1995. P. 357–374; Cleaver H. *The Chiapas Uprising* // *Studies in Political Economy*. № 44. 1994. P. 141–157.

³ См.: McCaughan E. J. *Reinventing Revolution: The Renovation of the Left Discourse in Cuba and Mexico*. Boulder, 1997.

⁴ См.: Abuza Z. *International relations theory and Vietnam* // *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 17, № 4. 1996. P. 406–419.

⁵ См.: Liljeström R., Lindskog E., Van Ang N., Xuan Tinh V. *Profit and Poverty in Rural Vietnam: Winners and Losers of a Dismantled Revolution*. Richmond, 1998.

ние сокращается. Турция — усиленная выдающейся историей своего собственного правительственного режима и выкристаллизовавшаяся в период военных режимов, которые реализовали европейские республиканские идеи государственности того времени и которые были поддержаны посредством помощи со стороны США в период холодной войны, — выдержала (ко времени написания статьи в конце 2001 года) давление, направленное на сокращение влияния (государства — *прим.*); с другой стороны, в случае восстания курдов, это означает появление этнической идентичности с претензиями на создание альтернативного и трансцендентного границам национализма¹. Ближний Восток, включая Турцию, демонстрирует в современном мире стойкое противостояние религиозной идентичности — исламскому фундаментализму. Хотя он (фундаментализм — *прим.*), так или иначе, аналитически может быть отделен от государственности, он кажется особенно влиятельным там, где имеется связь фундаментализма с конкретным видом национализма, что наблюдается в Иране — другом «сильном государстве» — или Афганистане, где он был использован для свержения власти Талибана посредством участия крупных игроков международной политики².

Представляющие подлинное ядро государства Европы являют собой те примеры, которые наиболее явно относятся к выделенной мною категории «отмирающих» (*declining*) государств. Европейские государства, несмотря на слабость, в настоящее время в значительной степени демонстрируют зависимость от взаимной кооперации по поддержанию собственного статуса³, в то время как противодействующие группы колеблются в отношении того, стоит ли им оказывать сопротивление национальному государству или необходимо присоединиться к оппозиции «евроскептиков» в отношении спроектированного «сверхгосударства»⁴. К тому же эта разрозненная оппозиция государственным и государство-подобным структурам демонстрирует — в районах Европы, где влияние государства снижено, в рамках экологического движения, движений за гражданские права — преобладающую тенденцию актуализации ценностей космополитизма, усвоенных из прошлого европейского Просвещения. На мой взгляд, то логика здесь вполне ясна: в условиях воздействия глобализации принципы сопротивления могут быть отделены от

¹ См.: White P. *Primitive Rebels or Revolutionary Modernizers? The Kurdish National Movement in Turkey*. London, 2000.

² См.: Ahmed R. *Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia*. London, 1999.; Cooley J. *Unholy Wars: Afghanistan, America, and International Terrorism*. London, 1999.

³ См.: Milward A. *The European Rescue of the Nation-State*. London, 1992.

⁴ См.: Anderson P., Camiller P. (eds) *Mapping the West European Left*. London, 1994; Elliott L., Atkinson D. *The Age of Insecurity*. London, 1998. P. 158–188.

принципов противостояния государствам. Действительно, может существовать значительное сходство между ценностями: тем, как они восприняты противостоящими группами, и тем, как они усвоены самими европейскими государствами и надевропейскими институтами, созданными для их соблюдения¹.

Заключительные замечания: ориентированное *versus*² неориентированное на государство противостояние и случай Соединенных Штатов

Соединенные Штаты — наиболее парадоксальный и показательный случай. Это объясняется тем, что они являются районом, где государственность *меньше всего* подвергается воздействию глобализации. В междунродной обстановке, когда государства как таковые стремительно ставят перед собой все более скромные цели «революционного» протеста, Соединенные Штаты обладают наиболее высоким потенциалом для выполнения роли, когда-то принадлежавшей государствам в революционном нарративе. Во внутренней политике Соединенных Штатов «традиционный», сконцентрированный на захвате государственной власти революционный нарратив является возможным: некоторые последователи исконной (native) революции добиваются национальной автономии, выступая против участия Соединенных Штатов в международных организациях, таких как ООН, которая воплощает транснациональные глобальные ценности. Движения Патриотов (Patriot movements), например, создают собственную идентификацию в ходе борьбы за то, чтобы повторно прийти к власти в США и/или ориентировать политику этого государства на исполнение его суверенного национального назначения³. США, наоборот, сохраняют наследие европейской космополитической традиции и развивают его, воплощая тип государства с бесспорной способностью поддерживать на мировом уровне «универсальные» ценности, которые ранее были им приняты⁴.

¹ Например, Европейский Совет или ЕС, чьи так называемые «копенгагенские» принципы изображают его в качестве агента расширения признания прав человека в отношении новых членов в Центральной и Восточной Европе.

² Против (лат.). — *Прим. пер.*

³ См.: Castells M. *The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society and Culture*. Cambridge, 1997. P. 84–97.

⁴ См.: Møller B. *The United States and the «New World Order»: Part of the Problem or Part of the Solution*. COPRI Working Paper 12. Copenhagen, 1997; Kagan R. *The Centrality of the United States* // Plattner M. F., Smolar A. (eds) *Globalization, Power, and Democracy*. Baltimore, 2000. P. 97–113; Lipset S. *American Exceptionalism: A Double-Edged Sword*. New York, 1996. На примере отношений Соединенных Штатов к Германии на протяжении XX в. Орен (Oren I.

В глобальных условиях, как я уже писал, революционный нарратив прошлого является, как и раньше, девиацией (drift) в глобальном представлении: за исключением *государств*, которые подходят на роль цели в революционном конфликте. Я утверждал, что в результате влияния глобализации революционный нарратив описывается в новых форматах, в рамках которых группы протеста идентифицируются в пределах неориентированного на захват государственной власти противостояния: космополитического, религиозного, этнического, сецессионного, «особого». Но Соединенные Штаты являются государством в наименьшей степени ослабленным глобализацией и в наибольшей степени защищающим ее¹. «Глобализация», включая закономерное *ослабление* государственности, может быть проанализирована в качестве воплощения американского национального интереса². Таким образом, в глобальной политике Соединенные Штаты обладают уникальной позицией, как *государство*, которое может быть идентифицировано с навязываемой в транснациональном масштабе модернизацией в ее современной глобальной форме. В *глобальной* политике революционная оппозиция последней версии модернизации может определиться через противодействие или атаку на США и американское общество.

Действительно, должно существовать рациональное объяснение опустошительной атаки террористов на Нью-Йорк 11 сентября 2001 г., совершенной исламскими фундаменталистами движения аль-Каида. В рамках защиты альтернативного проекта религиозно/этнически обоснованного направления глобальных трансформаций радикальные мусульманские противники современной версии модернизации определяют свою идентичность, соотнося ее с группой, которая может остановить всемирную американскую или финансируемую США модернизацию. Подобно более ранним революционным движениям, их сопротивление сталкивается с распространяющейся силой модернизации. Но в на-

The Subjectivity of the «Democratic» Peace: Changing U. S. Perceptions of Imperial Germany // Brown M., Lynn-Jones S., Miller S. (eds) *Debating the Democratic Peace*. Cambridge, 1996) демонстрирует историческую способность государств-гегемонов корректировать собственные описания других так, чтобы последние вместили в себя доминирующие, универсальные ценности.

¹ Как замечает Розенберг, эта двусмысленность относительно «суверенитета, национальной» независимости не является новой, подобно многим другим аспектам глобализации. Ключевые государства в международной системе (т. е. Великобритания и позднее США) никогда не были участниками Вестфальских соглашений о суверенной независимости и взамен этого всегда поддерживали государственность как границу способности к сохранению частной сферы, в которой могли бы развиваться транснациональные рыночные отношения.

² См.: Brennan T. *At Home in the World: Cosmopolitanism Now*. Cambridge, 1997.

стоящее время ее противники, скептически настроенные в отношении собственной государственной автономии, рассматриваемой в качестве проводника наступающей модернизации, осознают в качестве наиболее крупной цели Соединенные Штаты — универсальное, интрузивное¹ государство, окруженное водой. Направление дальнейшего развития мало кому известно. Но один из возможных сценариев дальнейшего развития состоит в том, что давление США/Европы на процесс глобализации усилит наблюдаемый тренд. Посредством дальнейшего видимого ослабления автономии государств по всему миру это может в будущем низвести до нуля их использование в качестве цели революционного нарратива и таким образом способствовать усилению ненаправленного на государство протеста. Так как идентичность противостоящих групп все сложнее определить без государства, революционное противостояние может вместо этого ввести в качестве цели, наравне с глобализацией, Соединенные Штаты. Революционный нарратив пересмотра (gearrprogrigation) социального порядка может, таким образом, быть развернут в глобальных терминах противостояния либо глобальной модернизации как таковой, либо Соединенным Штатам.

ЭРИК СЕЛБИН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА В РЕВОЛЮЦИЯХ²

В 1970-х и 1980-х годах изучавшие революции учёные концентрировали своё внимание на долгосрочных характеристиках государств и обществ, которые повышают риск революции. Они могут включать наличие элит, которые располагают рычагами противодействия государству, или государство обладает финансовыми и военными ресурсами, которые уступают количеству аналогичных ресурсов у основных внешнеполитических конкурентов. Тем не менее, фокусируясь на этих «макро» или долгосрочных структурных причинах, учёные, кажется, перестали осознавать важнейшую роль идей и ключевую роль личностей, как элемента, благодаря которому осуществляются революции. В этом очерке я стремлюсь исправить это несоответствие, акцентируя внимание на пре-

¹ Интрузия (от лат. *intrusio* — внедрение, вторжение). В геологии И. называют процесс внедрения в толщу земной коры расплавленной магмы. — *Прим. пер.*

² Перевод сделан по: Selbin E. *Agency and Culture in Revolutions* // J. A. Goldstone (ed.). *Revolutions. Theoretical, Comporative, and Historical Studies*. Davis: Wadsworth, 2003. P. 76–84. (Перевод Александра Никифорова).

обладающей роли отдельных акторов («деятельности») и идей («культуры») в развитии революционной борьбы.

В 1958 г. в критической ситуации в ходе борьбы кубинских революционеров за политическую власть Фидель Кастро принял политически важное решение. Во время одной из наиболее важных в военном и психологическом отношении кампаний революции Кастро образовал тандем из своих самых харизматичных помощников и послал Че Гевару и Камилу Сьенфуэгоса для повторения известного «зажигательного» марша времен кубинской войны за независимость, когда национальные герои Антонио Масео и генерал Максимо Гомез подожгли поля с сахарным тростником. Чрезвычайный успех этого подвига сознательно вызывает к жизни связь с войной Кубы за независимость от Испании и овладевает коллективным сознанием общества. Более того, способность Гевары и Сьенфуэгоса спланировать население в целях революционной деятельности, также как и их военные навыки, стала важной составляющей кубинской революционной мифологии, наравне с тем, что сыграло роль при возведении каждого из них — Гевары и Сьенфуэгоса — в ранг национальных героев.

Символическая политика, коллективная память и социальный контекст политических решений — крайне волюнтаристические конструкции, — все они концентрируются на понимании и изучении революционного процесса. Я хочу предложить здесь в качестве основной силы революционного процесса идеи и акторы, а не структуры и различные глобальные подходы к истории. При всей сумбурности подобного заявления революции являются, в большей степени, творениями людей, чем последствиями неизбежного естественного процесса. По этой причине внимание должно быть сконцентрировано на людях, а не на структурах; на альтернативах, а не на детерминизме; на трансформации общества, а не на простых переменах.

В целях понимания и объяснения революционных процессов Форрест Колбёрн и я призывали к тому, чтобы вернуть людей и их идеи на первое место¹. Некоторые из ведущих молодых исследователей, как, например, Джон Форан, Джэк Голдстоун, Джэфф Гудвин и Тимоти Викхэм-Кроули, отказались от своих построений, кое-где достаточно фривольно призвав увеличить внимание к роли культуры как, по крайней мере, к одной из переменных в совокупности прочих факторов. Все мы в различной степени бьёмся над парадоксом агентов и структур, их ролью и практической значимостью при рассмотрении революций.

¹ Colburn F. *The Vogue of Revolution in Poor Countries*. Princeton, 1994; Selbin E. *Modern Latin American Revolutions*. Boulder, 1993.

С 1979 г. в теоретических разработках доминировало утверждение парадигмального характера, основой которого стала блестящая работа Тэды Скочпол «Государства и социальные революции». Её незабвенная ссылка на декларацию Уэнделла Филлипса, в которой говорилось, что «революции не совершаются; они происходят», установила подобное утверждение в качестве *sine qua non*¹ позиции структурного подхода. Основная идея структурного подхода, согласно Скочпол, основана на том, что «во время революции объективные взаимоотношения и конфликты среди различных групп и наций имеют больше влияния, чем интересы, представления или идеологии отдельных акторов»². Реакции людей на структурные условия истолковываются как не относящиеся к делу, а те, кто совершает революцию, выходят на первый план вследствие их отсутствия. Неспособность включить в себя усилия и намерения людей предполагает, что структурные условия абсолютно определяют то, что люди могут делать.

Вышеупомянутые молодые исследователи революции вышли за пределы удушливого структурного подхода. Факторы личности и культурного воздействия были признаны значимыми и вполне легитимными в ходе дискуссии за научным столом, хотя эти места были традиционно отведены для детей — видимых, но не слышимых, за исключением моментов их вежливых просьб к кому-нибудь передать тарелку. Все же большинство учёных осталось в глубоком плену представлений структурного подхода. Следовательно, небольшое пространство научного поля, выделенное для личностного фактора и культуры, должно быть расширено.

Я верю, что сконструировать усовершенствованные обоснованные теории, которые определяют влияние и важность фактора личностей и структур, вполне возможно; польза, получаемая от сохранения этих особенных, аналитических, почти насильственных разграничений, уже практически ясна. Относительно случаев современных латиноамериканских революций, с которыми я очень хорошо знаком, хорошо видно, какую недвусмысленную и ключевую роль играют осознанные и целенаправленные действия людей, типологизированные на основании мультиклассовых объединений и признания наличия высокого уровня волюнтаризма. Приверженец же структурной теории стремится оставлять за границами анализа людей и варианты их выбора, что мешает создать теоретически усовершенствованную и обоснованную теорию.

¹ обязательный (лат.) — *Прим. пер.*

² Skocpol T. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge, 1979. P. 291.

Сведения о деятельности и культуре

Наследие революционной деятельности в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, как правило, символизируется местами, датами и, прежде всего, героями: Тупаку Амару, Туссен-Лувертюр, Хосе Марти, Сапата, Мариатеги, Сандино, Фарабундо Марти, Престес и «Че». Начиная с сопротивления испанским завоевателям, последующие поколения революционеров искали возможности реализовать и оправдать свои попытки посредством апелляции к личностям героев и идеям, которые они и их борьба демонстрировали; с другой стороны, население стремилось определить и понять свою борьбу через мифы, которые формировались вокруг этих личностей. Культ героического революционера был создан во многих сферах массовой политической культуры сопротивления, восстания и революции.

Дело в том, что важнейшей составляющей революционного потенциала населения любой страны является существование в рамках общественного сознания альтернатив, которые осознаются как возможные и вполне правдоподобные; эти альтернативы конституируют «репертуары коллективного действия» и/или «рабочий набор» символов, историй, ритуалов и точек зрения на устройство мира, обеспечивающих акторов ресурсами, необходимыми для создания стратегий совместных действий с обществом. В обществах, где революция обосновывает жизнеспособный ответ на угнетение, — ответ, обусловленный многолетней историей повстанческой деятельности, прославленной в народной культуре или революционными лидерами, создавшими, восстановившими или усилившими подобные традиции или их комбинации в местной культуре, — революционная деятельность имеет большую вероятность прийти к положительному результату, получив широкую народную поддержку, когда эти традиции влияют или используются в ходе событий.

В дальнейшем я хочу предпринять попытку обосновать идею, согласно которой агенты и мир, который они творят, наравне с создаваемой ими культурой должны быть включены в любое серьёзное исследование революции.

Деятельность: идеи, идеалы и образование

Действия и мысли людей, — даже если они случайны или спонтанны, — являются связующим звеном между структурными условиями и социальными последствиями. Структурные условия не диктуют, что делать людям; они налагают определённые ограничения на деятельность людей или разграничивают определённый предел возможностей. Внутри революционный процесс является чем-то большим, нежели единствен-

ным путем, чем-то большим, нежели одним потенциальным исходом. Структурные условия могут определять возможности революционных восстаний или альтернативы, доступные после смены политической власти, но они не объясняют, каким образом специфические группы или отдельные личности действуют, каких альтернатив они добиваются, или какие возможности они могут реализовать. Вопрос состоит в том, где и как люди включаются в революционный процесс.

Существует два положения, в которых роль личности в революционном процессе наиболее заметна. Лидеры играют исключительную роль в социальных революциях, организации масс населения и, возможно, в артикуляции взглядов, идей и идеалов, вокруг которых эти массы объединяются. Население, в свою очередь, откликается или не откликается на эти воззвания; если да, то воззвания являются именно тем, что определяет, как далеко и как стремительно будет распространяться процесс, и часто оформляют попытки лидеров в реальности. Нам необходимо кардинально пересмотреть взгляд на основные перемены или трансформацию власти и возможность, которой обладают все люди, выбирать свою судьбу.

Лидеры социальной революции призывают, манипулируют и создают вневременные концепции, чтобы поднять и сплотить население. Идеалы правосудия, освобождения, равенства, демократии, альтернативы и свободы (от страха, голода, болезней; собраний, слова, вероисповедания) остаются значимыми и неопровержимыми в мире, где в повседневной жизни многих людей ничего этого нет. Осознавая опасность, некоторые, тем не менее, выбирают для себя борьбу, направленную на изменение этого мира. Революционные идеи становятся талисманом или критерием, который определяет путь революционеров и населения в тяжёлой борьбе.

Идейные течения, транслирующиеся людьми, являются мощными и всеобъемлющими в своей основе, распространяющимися через пространство и время. Люди изучают, принимают к сведению прошлый опыт и соотносят его с новой информацией. Однако было бы неискренним предполагать, что социальные революции каким-либо образом конституируют собой нерушимые процессы. Достаточно очевидно, что современные революционеры вынуждены в некоторой степени повторять «классические» революции Франции, России, Мексики и Китая. Существуют также сильные исторические и современные связи между революциями сегодняшнего дня. Оба вида связей можно обнаружить, исследуя современные революции в Латинской Америке.

Кубинские революционеры привлекли широкий массив источников, включая более раннюю кубинскую борьбу за независимость, революцию в Мексике, восстание Сандино в Никарагуа, незавершённую революцию

в Боливии, даже подавление демократии в Испании (1936–1939) и Гватемале (1954).

Революция в Мексике оказала влияние на никарагуанских революционеров, которые были вдохновлены не только ею, но и более поздними восстаниями в Никарагуа и на Кубе. Но эти связи определяли не только содержание. Иранское левацкое партизанское движение, отчасти вдохновлённое кубинской революцией и работами Че Гевары, сыграло решающую роль в победе революции в Иране 1979 г. Весной и летом 1979 г. одним из наиболее популярных в Тегеране атрибутов были футболки с Че. Связи существуют параллельно времени и внутри него, на всем протяжении культурных границ и внутри них.

Культура: истории сопротивления и восстания

Традиционно история создавалась сверху, писалась победителями, использовалась властвующими и воспроизводилась для населения. Существует другая история, укоренившаяся в людском восприятии того, как существует мир, находящийся вокруг них, как он продолжает развиваться и каково их место в нём. Эта история наполнена мировоззрением людей и тем, как оно отражает контекст — не только материальный, но и идеологический — их повседневной жизни; она создана и артикулирована различными механизмами политической культуры населения.

Высказываемое здесь предположение состоит в том, что подобный тип истории доступен нам в нарративах жизни людей и народной политической культуры; это положение создаёт возможность — или её отсутствие — фундаментального изменения. Суть суждения состоит в том, что через глубинное интервьюирование и систематизацию механизмов политической культуры — народных сказаний, песен, общественной деятельности и так далее. — вполне возможно обнаружить предел для каждого из специфических и особо важных параметров коллективного действия, особенно восстания или революции, возможно, вполне вероятного в любом конкретном обществе.

Кажется одновременно и рискованным, и банальным обращаться к культуре. Рискованным из-за достаточно убогого наследия «культурных объяснений», которые, однажды появившись, иногда продолжают порочить общественную науку: бесстрастные британцы, горячие латиносы, послушные и рациональные немцы, ленивые итальянцы, ветреные «американцы», загадочные азиаты и так далее в том же духе. Подобные грубые и расистские обобщения внесли весьма скромный вклад в развитие как социальной науки, так и гуманизма. Банальными из-за того, что любой из учёных прямо или косвенно определил важность и полезность обращения к культуре при изучении широкого спектра вопросов, включая

те, что относятся к социальной науке. Подобные взгляды часты среди изучающих революцию и массовое коллективное действие.

Тем не менее, «культура» ставит проблему не столько из-за самого слова, крайне неточного термина, который в своём беспорядочном употреблении уже балансирует в опасной близости от границы научности. В попытке преодолеть подобные проблемы я начал с довольно традиционного понимания культуры и пытался расширить его, обращаясь к власти и глубинам коллективной памяти, силе и известности символов. Сейчас это сводится воедино хорошо знакомой потребностью, которая фокусируется на личностном аспекте, являющемся наиболее важным в нашей попытке понять революционные процессы.

В какой степени способность кубинских революционеров апеллировать к Хосе Марти и его личности отразилась на их успехе? Отсутствовало ли у боливийцев желание восхищаться революционером, или бунтарская традиция служила причиной неудачи революционного процесса? Здесь видится небольшая проблема, состоящая в том, что в Никарагуа использование революционерами фигуры и персоны Сандино являлось ключевым моментом их успеха. Могла ли сходная культура сопротивления и восстания быть значимой для жителей Гренады? Как способность обращаться, взывать и манипулировать наследием Фарабундо Марти, Мариатеги, Амару и Сапаты влияла на успехи сальвадорских, перуанских и современных мексиканских революционеров соответственно?

Самого по себе анализа культуры недостаточно. Всегда важна способность революционеров, особенно революционных лидеров, вызывать обстоятельства, в которых подобные традиции проявляются, мобилизуются, используются, изменяются. Однако население не пассивно, оно находится в ожидании возможностей для деятельности. Пока революционеры могут обеспечивать импульс и предоставлять населению словарь или интеллектуальную структуру, которая помогает организовать и направляет в определённое русло представления широких масс, революционные лидеры могут пойти не далее того, к чему готово население. Люди находятся в своей собственной среде, независимой от желаний революционеров.

Средства, с помощью которых мы можем достигнуть успеха в анализе подобных сюжетов, главным образом, могут быть получены через рассказ. Вероятно, это старая андская, типично женская традиция, которая постигает историю как тканую одежду; она состоит в определении основы и утка, текстуры, форм переплетений, в способности отличать зад от переда, ценности и значения детального рисунка и так далее. Другими словами, мы пытаемся вычитать в книге жизни то, что никогда не было записано в письменной форме; мы стремимся зафиксировать изображение, перенесённое в ум и обнаруженное в момент беседы, до

того как оно снова исчезнет в тишине¹. Разбросанные черепки и остатки существуют как раз для того, чтобы мы их собрали.

Супружество деятельности и культуры: социальный контекст политики

Однажды Джон Форан спросил, каковы точные механизмы культурного влияния на революционный процесс, и как мы могли бы соединить возросшее значение деятельности и культуры с предыдущими подходами к анализу структуры и политической экономии. Его ответы включают «концепцию “политической культуры сопротивления и оппозиции”... и то, каким образом она взаимодействует с социальными силами, которые совершают революции»². Мой подход совпадает с подходом Форана.

Изучающие революцию нуждаются в том, чтобы серьезно воспринять то, что теории революции основываются и направляются акцентированием внимания на личности и культуре, которую они создают и проводят в жизнь. Это происходит через механизмы коллективной памяти, символической политики и социального контекста политики, которую они реализуют. В то время как любая хорошая теория должна сочетать элементы деятельности и структур, в данном случае присутствует противоречие, которое заключается в том, что революции не начнутся без создания людьми убедительных историй с привлекательными и адекватными сюжетами.

Культура обозначается как «система общих представлений, отношений, правил поведения, ценностей и символических форм (деятельность, артефакты), в которой они репрезентуются и воплощаются»; в сущности, «культура ... это часть общей протяженности жизни, но не идентичная ей³», место, где жизнь одновременно оправдана и объяснена, и где возможность перемен побуждает к жизни. Возможность людей создавать, почитать, использовать и отказываться от символов является основой для концепции культуры. Эти символы, которые могут интегрировать прошлое, настоящее и будущее в логически последовательное восприятие мира, в один постоянно используемый миф с близкими универсальными обертонами, обладают исключительным значением и важностью. Это мощная попытка обратиться/создать символы, которые будут со-

¹ Rivera Cusicanqui S. *Indigenous Women and Community Resistance: History and Memory* // Jelin E. (ed.). *Woman and Social Change in Latin America*. London, 1990. P. 180.

² Foran J. *Discourses and Social Forces: The Role of Culture and Cultural Studies in Understanding Revolutions* // J. Foran (ed.). *Theorizing Revolutions*. London and N.-Y., 1997. P. 207.

³ Burke P. *Popular Culture in Early Modern Europe*. N.-Y., 1978. P. 1.

хранять свой статус; она восстает против их попытки использовать символы иногда очень похожие, дабы ниспровергнуть их. Поэтому массовая (popular) культура, верования и практики, удерживаемые большой их совокупностью в любом обществе, становятся полем битвы.

Различные разветвления, порождаемые глубокими смыслами этих символов, создают разногласие и конфронтацию. Материальные и идеологические условия ежедневной жизни людей неумолимо ведут к разногласиям с властью, выбором и сопровождающим их взаимодействием. Политическая культура, по крайней мере, в теории, должна предлагать нам подход к этому миру.

Коллективная память и символическая политика

Припоминание обладает множеством функций: изначально оно использует прошлое как основание настоящего; как говорит афоризм, кто контролирует прошлое, тот контролирует и настоящее. Это утверждение достаточно прозрачно: существует социетальная память, которая готова к тому, что будет использована на поле битвы, где различные группы сражаются ради того, чтобы защитить и расширить свои интерпретации общественного прошлого.

Большинство движений сопротивления представляют и рассматривают свою борьбу как долгий процесс противостояния, которое многие общества сохраняют в своей коллективной памяти. Подобная коллективная память обычно отличается грандиозностью и прославленностью, но часто рисует скрытое и неофициальное; эта общая память включает истоки, причины, развитие общества и коллективной жизни. Похожая на идеологию, коллективная память придаёт форму жизни людей, обеспечивая не только точку отсчёта, опираясь на которую личности могут смотреть в прошлое и объяснять свой опыт и деятельность, но также и платформу, опираясь на которую они могут строить и управлять будущим. Исторически революционеры определили необходимость закладывать и формировать характер народного выражения этой коллективной памяти.

Как вспоминают общества? Что является «каналами и хранилищами памяти»? Коллективная память, как предполагает Джелин, «является частью истории, которая может быть интегрирована в современную систему ценностей; остальное игнорируется, забывается, несмотря на то, что временами могло бы быть распространено и использовано»¹. Анализ

¹ Jelin E. *The Politics of Memory: The Human Rights Movement and the Construction of Democracy in Argentina* // *Latin American Perspectives*. Vol. 21, № 2. 1994. P. 50.

Джелин убедителен, но незавершён; распространение и использование не происходит «временами». Человеческая история, охватываемая памятью, постоянно существует на заднем плане, оставаясь всегда доступной.

Как результат, прошлое постоянно переписывается, часто согласовываясь с проблемами настоящего. Это особенно характерно для случая, когда существующая реальность заставляет людей думать об их роли в формировании этого процесса. Сам процесс может и не быть всецелым общемировым, так как прошлое организовано не просто как картотека или библиотека. Тем не менее, интенциональность является очевидной лишь в той степени, в какой люди используют память для объяснения себя самих, оправдания себя, легитимации существующего порядка или в борьбе с ним. Результатом становится то, что «историческое настоящее создаётся субъектами при обсуждении значения истории и содержания традиции и ценностей», в дискуссии, которая в основном сосредотачивается на индивидуальных или коллективных воспоминаниях¹.

И когда эти индивидуальные воспоминания становятся общими, возможно, незаметно по вечерам, возможно, более открыто в песнях или скетчах, они формируют коллективную память, общую историю. Эта история является «хранилищем, в котором сохраняются вспышки свободы и воспоминание об ужасах и триумфах»². Подобное «хранилище» не должно припоминаться и пересоздаваться; оно, находясь в значительной степени в употреблении или будучи готово к использованию, ждёт только момента, когда может быть использовано. Эти хранилища не находятся в компетенции какой-либо личности; точнее, человеческие ресурсы памяти (repository) вносят свою лепту в сохранение знания.

Значение символической политики игнорировалось слишком долго при изучении революции; теоретики революции уже обсудили её сложность, но не важнейшие процессы, посредством которых революционеры могут получить поддержку людей, то есть завоевывать их сердца и умы. В 1995 г. Элисон Бруск дала возможность повторно ознакомиться с силой и убедительностью символической политики. Протестуя против доминирующих «моделей коллективного действия, пренебрегающих этим древним, универсальным ресурсом социального изменения», она призвала к «обновлённому взгляду на субъективное влияние идей, обучения и информации как ресурсов политического изменения». Возможно, что наиболее важны для наших намерений утверждения Бруск, в которых

¹ Jelin E. *The Politics of Memory: The Human Rights Movement and the Construction of Democracy in Argentina* // *Latin American Perspectives*, Vol. 21, № 2. 1994. P. 50.

² Watson D. *Can Memory Survive the Storm?* // *New Internationalist*. № 247. 1993. P. 15.

она заявляет, что «символически мобилизованные политические акторы могут создавать новые политические возможности, разоблачая, оспаривая и меняя нарративы интересов и идентичностей»¹. В обществах, где сопротивление, восстание и революция являются частью массовой политической культуры, революционные действия имеют большую вероятность быть реализованными.

Заключение

Исторический мир, то есть мировое прошлое, как мы понимаем его, является миром человеческой деятельности. Структуры заняли свои места. Некоторые горячо подписываются под одной крайностью или под другой в дебатах по вопросу об относительном влиянии и диалектической взаимосвязи между индивидуальной и коллективной волей, как противостоящей историческим обстоятельствам в определении исхода данного события или процесса. Структурализм и деятельностный подход могут в определённых обстоятельствах быть значимыми по отдельности; рамки человеческой деятельности зависят от специфических исторических условий. Действиям людей чётко противостоят ясно различимые ограничения, которые создают структуры; часто структуры ограничивают определённый спектр возможностей. Но структуры безоговорочно не диктуют людям, что нужно делать. Взаимодействие обстоятельств и действий — одно не может существовать без другого — создаёт человеческую историю; взгляды определяются, альтернативы выбираются, пути реализуются. Значимые объяснения и удовлетворяющие ответы соответствуют тем теориям, которые принимают к сведению значительные роли как деятельности, так и структур.

Определение той степени, в которой традиции революционной активности и борьбы расширяют совокупность возможностей, которые угнетённые граждане рассматривают как приемлемые для себя, является тем основным проектом, который должен быть осуществлён. Суть подхода требует сконцентрироваться на том, какие альтернативы общества считают допустимыми для себя, когда они пытаются устранить причины своего недовольства, и как существующая массовая культура и ее инструменты служат сохранению и прославлению людей и процессов, которые могут служить скрытыми формами потенциальных возможностей и воспоминаний, ожидающими реализации или народными лидерами, или самим населением. Подобный проект будет стремиться составить совокупность вариантов, которые население различных стран использовало, когда рассказывало и пересказывало свою историю, особенно

¹ Brysk A. *"Hearts and Minds": Bringing Symbolic Politics Back In* // Polity. Vol. 27, № 4. 1995.

относительно восстаний, революций, воздействия этой деятельности на её возможности и распространение этого феномена в соответствующих странах.

Форан утверждал, что особенно важно для лучшего интегрирования «понимания того, как культура ... становится эффективной при каузации, определении направления и исходов социальных революций ... [и] конечного результата деятельности ... кто делает революции и как». Ключом здесь является принятие усиливающих друг друга аргументов Голдстоуна и Тилли относительно анализа революции: первый утверждал, что «анализ революций не зависит от определения отдельных неизменных характеристик совокупности случаев — это совсем не так. Наоборот, анализ революций зависит от понимания процесса революции и от способности отслеживать её траекторию в различных случаях»; последний подтверждает, что мы должны «разложить революцию на составляющие ... которые являются теоретически когерентными, после этого создать отдельные теории этих составляющих»¹. Люди являются частью этой траектории; культура — ключевым компонентом.

Суть здесь в том, что структурные теории в одиночку никогда не позволят нам выяснить, происходила ли социальная революция в данном конкретном случае. Настало время исправить утверждение Филлипса: революции не происходят, они совершаются.

¹ Foran J. *Revolutionizing Theory/Theorizing Revolutions* // Debating Revolutions. N. Keddie (ed.). N.-Y., 1995. P. 133; Goldstone J. *Predicting Revolutions: Why We Could (and Should) Have Foreseen the Revolutions of 1989–1991 in the U. S. S. R. and Eastern Europe* // N. Keddie (ed.). Debating Revolutions. N.-Y., 1995. P. 45–46; Tilly C. *In Search of Revolution* // Theory and Society. Vol. 23. № 6. 1994. P. 802.

ШЕСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

БОРИС МЕЖУЕВ

«ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»: ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТЕКСТА

С конца 2004 г. в российский политический лексикон прочно вошло понятие «оранжевая революция». Термин «революция» использовался в данном случае для описания совокупности событий, включавших в себя: недовольство значительной части граждан результатами выборов, в ходе которых правительство, предположительно, прибегало к административному ресурсу, либо к прямым подтасовкам; способность проигравшей стороны мобилизовать в свою поддержку неудовлетворенных характером и итогами выборов избирателей; одобрение претензий оппозиции руководителями и общественным мнением западных стран, лишавшее правящую элиту возможности задействовать против манифестантов вооруженную силу; и, наконец, приход оппозиции к власти после серии уличных акций.

Будучи квалифицирована как «революция», эта совокупность событий, связанная с утратой действующей администрацией ряда постсоветских стран контроля над политическим транзитом, сразу же задала особый метасобытийный контекст, который позволил связать протестные выступления в этих странах с аналогичными выступлениями, имевшими место в прошлом. Иначе говоря, возникнув в качестве обозначения определенной «конstellляции событий», метафора революции начала жить собственной жизнью, невольно обусловив сам ракурс рассмотрения происходящих в мире изменений.

Что же принесла с собой метафора революции? Прежде всего, употребление данной метафоры указывает на то, что соответствующий ряд событий нельзя оценивать только на основании анализа их самих. Слово «революция» предполагает вполне конкретное видение исторического континуума, в рамках которого «революционный процесс» занимает свое царственное место. Ведь, на самом деле, «революция» отличается от «мятежа» не тем, что «кончилась удачей» (бывают и неудачные «революции»), а тем, что она «включена в историю», в то время как «мятеж» или «бунт» остаются лишь единичными событиями, для описания которых совсем не нужно обращаться к историческому контексту. Поэтому при позитивистском подходе к исследованию, скажем, ситуации на Украине в конце 2004 г. от метафоры «революция» следовало бы отказаться. Но

нас в данном случае интересует не сама эта ситуация, а использованная для ее обозначения метафора, которая, неизбежно искажая восприятие реальной последовательности фактов, вместе с тем выводит нас при их интерпретации в некую «большую историю», где разные по месту и времени факты оказываются теснейшим образом соотнесены между собой.

Так, сцепляясь с событиями ноября 2003 г. в Грузии, получившими наименование «революция роз», электоральный кризис на Украине сразу же вызывает ассоциацию с «революцией гвоздик» в Португалии в 1974 г., запустившей, по мнению Самюэля Хантингтона, «третью волну» демократизации¹. Через часто употребляемый термин «бархатная революция» эта серия сравнительно мирных переворотов связывается с сокрушительным обвалом коммунистических режимов в Восточной Европе. Общей рамкой для всей этой череды «демократических транзитов» может служить выражение «глобальная демократическая революция», прозвучавшее 6 ноября 2003 г. в выступлении Джорджа Буша-мл. перед Национальным фондом в поддержку демократии. Идея Буша о начале такой революции тут же была подхвачена некоторыми идеологами неконсервативного толка, которые заговорили о развертывании «революции справа». Отсюда прямая дорога к «мировой революции», к которой призывали левые теоретики — от Маркса до нынешних антиглобалистов. В какой-то мере точкой схождения этих двух «мировых революций» (левой и правой) может считаться Парижский май 1968 г., ставший примером и притягательным образцом массового полукаранавального выступления молодежи, вне зависимости от его конкретной политической ориентации.

Самое главное во всем этом — то, что при употреблении «революционной метафоры» мы тем самым отмечаем не только сходство упомянутых событий, но и их генетическое родство. Они оказываются как бы включенными в некий логически последовательный и закономерный процесс, сопротивление которому предстает уже не просто поддержанием порядка или «преемственности власти», но консервативной реакцией на «неумолимый ход истории». Более того, будучи отмеченным печатью «революционности», данный процесс приобретает целый ряд характеристик, обусловленных самой этой метафорой.

Попытаемся восстановить «революционный контекст», на который выводит нас использованная при описании событий на Украине метафора революции. А для этого окинем взглядом исторические события, связанные с рассматриваемым словом.

¹ Хантингтон С. *Третья волна: Демократизация на исходе XX в. М.*, 2003.



Еще три года назад левая идеология в любых ее версиях — радикально-социалистических, анархистских или контркультурных — пользовалась в России сравнительно небольшой популярностью. Сегодня левые настроения постепенно захватывают молодых людей, которые, остро ощущая несправедливость происходящего в стране и мире, перестают видеть своего союзника не только в нынешней российской власти, но и в отечественной государственности как таковой. Российское государство все чаще воспринимается как инструмент угнетения собственного народа, встроенный в глобальный империалистический проект с общим центром по ту сторону Атлантики.

Конечно, само по себе полевание еще не означает обращение к наследию «новых левых», революционная позиция которых имела свою специфику. Левыми настроениями молодежи, в принципе, могли воспользоваться и наследники советского проекта. Однако складывается впечатление, что в последнее время молодежный электорат России постепенно уплывает из рук «традиционных левых», перетекая отчасти к левым националистам, а отчасти к тем силам, которые ведут свою родословную от международной революции 1960-х годов.

Чем же «новые левые» отличаются от традиционных? Главное их отличие, как мне кажется, заключается в интернационализации классового конфликта. Для «новых левых» реальный классовый раскол проходит не по линии бедные — богатые в отдельных странах, а по линии Мировой Юг — Мировой Север (в терминах теории зависимости) или периферия — центр (в категориях мир-системного анализа). Классовый конфликт в данном случае обретает характер межнационального или, точнее, межцивилизационного. Столкновение «левого» и «правого» политических флангов получает геополитическую перспективу. Соответственно, по мнению теоретиков «новых левых», разрешение этого конфликта может быть достигнуто лишь на сверхнациональном уровне — через трансформацию всего миропорядка, а не посредством тех или иных «прогрессивных» реформ внутри национальных государств. Появление данного идейного течения во время войны Соединенных Штатов с вьетнамскими партизанами и маоистской «культурной революции» открыло новую фазу в том фундаментальном историческом движении, которое началось в 1789 г. и которое, по всей видимости, и следует называть революцией.

Всякое обращение к революции в политическом отношении, как правило, связано с включением того или иного социального явления в контекст этого глобального политического движения. Под революцией должно понимать не совокупность революционных событий в разных

странах, а продолжающийся уже три столетия процесс фундаментальной исторической трансформации. Поскольку данный процесс, очевидно, еще не достиг своей финальной точки, я позволю себе не согласиться с мнением об исчерпанности понятий «левое» и «правое». Ибо и в настоящую эпоху «левыми» остаются те силы, которые отождествляют себя с этим процессом и стремятся ускорить его, довести до логического конца. В свою очередь, «правыми» оказываются те, кто по тем или иным причинам препятствует поступательному ходу революции или пытается отсрочить ее неминуемую развязку.

Так в чем заключается смысл революции, в которой великий русский поэт и публицист Федор Тютчев совершенно справедливо предлагал видеть нечто большее, чем «Принцип», а именно — «Дух, Разум»¹? Революция, по Тютчеву, есть «высшее выражение того, что в продолжение трех веков принято называть цивилизацией Запада»², и потому ее нельзя трактовать лишь как транзит, момент перехода от одной социально-исторической фазы к другой, более прогрессивной. «История революций, — отмечает Артем Магун, — не сводится к простому воспроизведению одинаковых феноменов или (по вульгарно-марксистской модели) к последовательности закономерных стадий. Она составляет серию освободительных движений, не достигающих своей (бесконечной) цели, обрывающихся на полпути, которые следующая волна истории подхватывает и радикализует, чтобы снова споткнуться и откатиться назад со всей мощью»³.

Революция — это гигантская историческая программа, приведенная в действие в конце XVIII в. и доселе неостановимая. Можно выделить три компонента этой программы, три основополагающих тренда, которые выражают суть феномена революции. Первый из этих трендов — *делегитимация* всякой власти, всякого властного авторитета, вне зависимости от их конкретного выражения: «ненависть к Власти как принцип», убеждение, что «авторитет, ставящий себя выше человека, есть либо иллюзия, либо обман»⁴. Второй тренд — *демократизация*, то есть неприятие любой иерархии, любого неравенства в отношениях между людьми (и, добавлю, народами). Наконец, третий тренд — *секуляризация*, фактическое отрицание любого воздействия религиозного начала

¹ Тютчев Ф. И. *Полное собрание сочинений в шести томах*. Т. 3. М., 2003. С. 183.

² Тютчев Ф. И. *Полное собрание сочинений в шести томах*. Т. 3. М., 2003. С. 180.

³ Магун А. *Опыт и понятие революции* // Новое литературное обозрение. № 64. 2003. С. 54.

⁴ Тютчев Ф. И. *Полное собрание сочинений в шести томах*. Т. 3. М., 2003. С. 180.

на жизнь общества, на социальные, политические и культурные институты. И вновь обращаюсь к словам Тютчева: «антихристианский дух есть душа революции, ее сущностное, отличительное свойство»¹.

Таким образом, в конце XVIII столетия в мировой истории была как бы запущена особая социально-политическая программа, заданная тремя алгоритмами: делегитимацией власти, демократизацией и секуляризацией. Я не буду здесь останавливаться на генезисе каждого из этих алгоритмов, а также на том, что они далеко не сразу слились в единое целое, определив собой идейное поле левого движения во всех странах мира. В рамках данной статьи уместно ограничиться феноменологией революции, не претендуя на раскрытие ее онтологии. Но если выделенные тренды действительно определяют сущность мировой революции, то вряд ли будет ошибкой сказать, что революция до сих пор не завершена или, точнее, что к своему концу она подходит только сейчас.

* * *

На протяжении всего XIX в. демократизация в форме распространения гражданских прав на все большие слои населения происходила параллельно с прямо противоположным по направленности процессом — колониальным освоением европейскими державами земного шара. Но поскольку история развивается по Лобачевскому, а не по Эвклиду, в один прекрасный момент эти параллельные линии истории, обладавшие противоположными энергетическими зарядами, должны были сойтись, вызвав своим столкновением гигантскую вспышку. Такой вспышкой стала революция 1917 г., в ходе которой одна из крупнейших империй мира преобразовалась в федерацию народов, представители которых формально обладали полным набором гражданских и политических прав.

Будучи антикапиталистической и даже отчасти антиколониальной, революция 1917 г. отнюдь не была антизападной. Ранние большевики, и, в первую очередь, Лев Троцкий, полагали, что в постбуржуазную эпоху Запад или, как говорил сам создатель Красной Армии, пролетариат развитых индустриальных стран вернет себе лидерство, и поколебленные иерархические отношения между центром и периферией мировой системы вновь восстановятся. Оставаясь марксистами, то есть приверженцами крайне европоцентристского социологического учения, считавшими себя выразителями интересов социального слоя, который был обязан своим появлением интенсивному капиталистическому развитию, большевики не могли не чувствовать органической связи с цивилизацией Запада и столь же естественного отторжения от «крестьянского варвар-

¹ Тютчев Ф. И. *Полное собрание сочинений в шести томах*. Т. 3. М., 2003. С. 144.

ства» Востока. Неудивительно, что они отнюдь не были готовы слиться в едином «бунтующем океане» с крестьянскими массами Азии и других беднейших регионов планеты. Чтобы русская революция могла стать подлинно мировой, в результате пертурбаций 1918 г. у власти в стране должны были оказаться не большевики, а «левые эсеры», которые, как и все эсеры, считали себя борцами за дело всего «трудового народа».

Любопытно, что в России имелись люди, которые, пусть на словах, пусть чисто риторически, готовы были поднять над Петербургом знамя «мировой революции». Но ими были не большевики, не левые радикалы и даже не либералы. В 1899 г., после своего путешествия по Корее, русский националист и монархист Сергей Сыромятников писал: «Мы не арии, мы парии человечества, начальники париев, предводители вандалов, объединители униженных и оскорбленных, таково наше призвание». И далее, о предполагаемом антикитайском союзе тех лет: «По-моему, выгоднее было бы соединиться с будущими Мамаями и Чингисами и вести их на Европу, чем сражаться за тех, которые нас глубоко ненавидят и пытаются уничтожить не мытьем, так катанием»¹. Позднее, в канун революции, похожие настроения прорывались и у ряда других, вполне благонамеренных публицистов.

Обретение Константинополя, доказывал в 1915 г. бывший мирно-обновленец князь Евгений Трубецкой, мыслимо «лишь как завершение всеобщего освободительного движения народов: только во имя этого всемирного освобождения Россия имеет право венчаться венцом Царьграда»². Венцом Царьграда России венчаться не пришлось, возможно, именно потому, что марксистская революция закрыла наиболее фундаментальную из всех стоявших перед русской историей альтернатив — стать инициатором и лидером «всеобщего освободительного движения народов».

«Новые левые» появляются на исторической сцене именно в тот момент, когда советский коммунизм перестает играть революционную роль, все более активно интегрируясь в поддерживаемый США мировой политический порядок, и основной силой антиимпериалистического протеста становятся крестьянские массы разоряемой капитализмом периферии мировой системы, а также маргинальные группировки в странах Запада, по тем или иным причинам недовольные обществом потребления. Обществом, гарантирующим благополучие, если не процветание, 2/3 своего населения.

¹ Сыромятников С. Н. *Обо всем* // Новое время. 3. 10. 1899. С. 2.

² Трубецкой Е. Н. *Война и культура. Национальный вопрос. Константинополь и Святая София (Публичная лекция)*. М., 1915. С. 25.



Активнейшим участником национально-освободительной борьбы против мирового империализма в XX столетии был революционный Китай. В эпоху появления «нового левого» движения Китай фактически выступал символическим и организационным центром этой борьбы. Именно Мао выдвинул идею «мировой революции» как войны «мировой деревни», то есть отсталой периферии капиталистического или, точнее, индустриального мира, против «мирового города», возглавляемого двумя сверхдержавами — США и Советским Союзом. Вероятно, еще в сталинскую эпоху (а в хрущевскую — уже совершенно определенно) Мао понял, что преданность советских вождей делу мировой революции далеко не безусловна, что лидеры СССР ищут лишь предлог, который бы позволил им наладить взаимодействие с империалистическими странами, дабы вместе с ними осуществить геополитический раздел мира. Прямое столкновение с империализмом и вправду не входило в планы ни Сталина, ни Хрущева. Сталин практически до самого падения гоминдановского режима в Китае оказывал поддержку Чан Кайши, без большого энтузиазма относясь к перспективе распространения коммунизма в Азии. Да и Хрущев, несмотря на периодические угрозы «закопать» Запад, все же воздерживался от радикальных шагов (в частности, от передачи ядерных технологий восточному соседу).

Управляемый процесс деколонизации, осуществлявшийся западным миром при молчаливом согласии СССР, ни в коей мере не решил всех проблем, сопряженных с глобальным политическим и экономическим неравенством. Во многих освободившихся от колониальной зависимости странах у власти оказались правители, которые были тесно связаны с «империализмом» и действовали в интересах развитых держав. В подражание китайским коммунистам в сельских районах этих стран стали возникать партизанские движения. Кое-где, как, например, на Кубе или в Южном Вьетнаме, они добились беспримерных успехов.

В 1950-е — 1960-е годы наступление «мировой деревни» на «мировой город» достигло наивысшего размаха. Совершенно парадоксальным образом в то же самое время в западных странах возникло нешуточное по своим масштабам контркультурное движение, стремившееся распахнуть ворота «города» перед рвавшейся в него «деревней».

Вероятно, главная ошибка Мао и его союзников заключалась в том, что они не смогли завязать тесные идеологические отношения со своими приверженцами в мире капитала, оставшись при убеждении, что революционный потенциал западного пролетариата полностью исчерпан. Поскольку «своя своих не познаша», «мировая революция» не удалась. Фронты — западный и восточный — действовали слишком разобщенно.

В конце концов, в 1972 г. произошло то, что можно назвать одной из самых больших загадок XX столетия: общепризнанный лидер «мировой революции» и кумир радикальной молодежи Запада Мао Цзэдун фактически вступил в союз с наиболее «реакционными» силами Америки... Ноябрь 1972 г., кульминационный момент президентской кампании в Соединенных Штатах, в которой «маккартисту» и «ястребу» Ричарду Никсону противостоял «либерал» и противник войны во Вьетнаме Джордж Макговерн. Симпатии всего левого Запада были, разумеется, на стороне Макговерна. На стороне же Никсона было консервативное «молчаливое большинство» американской глубинки и... коммунистические руководители СССР и Китая. При личной встрече с Никсоном Мао заявил, что сочувствовал ему на выборах. И чтобы американский президент не счел эти слова проявлением специфически китайского политеса, добавил: «Я люблю правых... Я радуюсь, когда к власти приходят люди справа»¹. Чем бы конкретно ни руководствовался председатель китайской компартии, для «мировой революции» его сочувствие имело фатальный характер: на выборах 1972 г. с огромным отрывом победил Никсон, молодежные выступления стали затухать, а Индокитай после ухода американцев превратился в поле геополитического соперничества СССР и Китая.

* * *

Именно в это время на арену истории стала постепенно выходить новая сила — исламский радикализм. Получив хорошую боевую подготовку в Афганистане, он укрепился в Пакистане, установил контакты с арабами Магриба, а затем проник в Албанию — мусульманское подбрюшье Европы. Устойчивых организационных связей между маоизмом и исламским радикализмом нет, но идейные связи несомненны. Действительно, и исламисты, и маоисты считают себя выразителями интересов если не самой бедной, то наиболее угнетенной части населения мира, тех, кому отказано в праве иметь то, чем без всякого права обладают другие, например, ядерное оружие, а вместе с ним и возможность свободно определять свою судьбу.

Тот феномен, который мы называем исламским терроризмом, по сути дела, представляет собой очередную версию идеологии мировой революции, под знаком которой прошла вся история XX в. Первой такой идеологией был советский коммунизм, второй — маоизм. Исламский радикализм при всех своих девиациях от левой идеи является третьим в этом ряду. Симпатии некоторых современных левых идеологов Европы к исламу далеко не случайны.

¹ *Цит. по:* Никсон Р. *На арене*. М., 1992. С. 15-16.

Причина если не поражения, то отхода на задний план первых двух революционных идеологий была заключена в их сравнительных преимуществах. И у большевистского, и у маоистского коммунистических движений имелись могущественные покровители — идейно-организационные центры в виде Советского Союза в одном случае и Китайской Народной Республики — в другом. На определенном этапе прагматические национально-государственные интересы коммунистических стран вступили в противоречие с их интернациональными обязательствами, и организаторы борьбы с мировым империализмом превратились в сдерживающую ее силу. Более того, в какой-то момент «революционные» государства начали тормозить или, во всяком случае, ограничивать деятельность своих радикальных сторонников из других стран. В результате «мировая революция» стала пробуксовывать, чем не замедлили воспользоваться Соединенные Штаты, точечными дипломатическими ударами в 1970-е годы фактически выведшие и Китай, и СССР из мирового революционного процесса.

Но «мировая революция» нашла себе новую оболочку. Ею оказался, как уже говорилось, исламский радикализм. Думается, что выбор именно этой оболочки лишь в незначительной степени объяснялся особенностями ислама как религии. Главное было в том, что общее мирополитическое унижение народов периферии совпало со специфическим цивилизационным унижением мира ислама.

Достоинство данной оболочки «мировой революции» заключалось, помимо прочего, в том, что у исламской цивилизации, как правильно отметил в своей книге «Столкновение цивилизаций» Хантингтон¹, отсутствует «ядровое» государство, с которым бы та могла связывать свою историческую судьбу. Если бы у ислама наличествовал свой Третий Рим, сакральный приоритет которого признавался бы всеми мусульманами, с ним можно было бы достичь каких-то договоренностей. Но у ислама такого «Рима» нет, что делает его почти идеальным инструментом для сил, стремящихся радикальным образом изменить мировой порядок. Относительная слабость террористов оборачивается их силой.

Сложность подобной ситуации в какой-то мере осознавали и те люди, которые планировали военную операцию в Ираке. Не случайно лидеры «неоконсерваторов», в т. ч. Ричард Перл и Ньют Гингрич, осуждают администрацию Буша за то, что она не вывела сразу же войска из Ирака и не предоставила свободу действий новому правительству. Однако реалистически мыслящим стратегам такой рискованный план представлялся авантюрой, и в Белом доме от него отказались. В результате всех этих неувязок «мировая революция» в лице «международного террориз-

¹ Хантингтон С. *Столкновение цивилизаций*. М., 2003.

ма» получила своего рода мандат на террористическую деятельность. Этот мандат был выдан ей Вашингтоном, осуществившим вооруженное нападение на слабую страну без серьезных на то оснований.

Современный Китай, безусловно, уже ни в каком смысле не может считаться выразителем миросистемного недовольства: эта страна сегодня принята во многие самые престижные закрытые клубы. Но маоизм в настоящее время — это вовсе не Китай. Это Перу, где долгие годы ведет партизанскую борьбу движение «Сендеро Луминосо»; это Филиппины, где воюют бок о бок исламские и маоистские инсургенты; это Индия, где очень популярна Партия народной войны; это, наконец, Непал, где уже девять лет идет гражданская война.

Госсекретарь США Колин Пауэлл, побывав в январе 2002 г. в Непале, прямо заявил, что маоистское сопротивление, в сущности, представляет собой того же врага, с которым США борются по всему миру¹. Как бы то ни было, есть основания предположить, что истоки таинственной «Аль-Каиды» хотя бы отчасти кроются в идеологии мирового революционного протеста.

* * *

Какова же стратегия сил мирового порядка, стремящихся воспрепятствовать расползанию «мировой революции», грозящей планетарным хаосом? Прежде всего, здесь следует упомянуть известную концепцию «сдерживания», сформулированную впервые в статье Джорджа Кеннана «Источники советского поведения»². Кеннан впоследствии утверждал, что, говоря о сдерживании, он имел в виду не противодействие военной мощи советского блока, которую в те годы он оценивал довольно скромно, но сопротивление спонтанной экспансии коммунизма на Востоке и на Западе, обусловленной кризисом капитализма и колониальной системы³. Другими словами, «сдерживать» предполагалось не столько вполне рационально действовавшего Сталина, сколько антиколониальные и коммунистические движения в Италии, Франции, Греции и Турции, чем Кеннан, как заместитель госсекретаря США по политическому планированию в Европе, собственно, и занимался в 1940-е годы. В соответствии с так называемым реалистическим подходом к «мировой революции», которого придерживался Кеннан, антисистемные тенденции нужно было именно «сдерживать», не давая им бесконтрольно распространяться, разрушая порядок, созданный Западом

¹ Sri Raman J. *Nepal's Battle Is No Part of the Bush War*. 2006 // http://www.truthout.org/docs_2006/041806G.shtml

² Kennan G. *The Sources of Soviet Conduct* // Foreign Affairs. № 2. 1947.

³ Kennan G. *The Sources of Soviet Conduct* // Foreign Affairs. № 2. 1947.

Второй подход — гораздо тоньше. Он состоит не в консервативном сдерживании сил «революции», но в переформатировании этих сил и использовании их для укрепления того самого мирового порядка, закрепляющего иерархические отношения между различными государствами и цивилизациями, против которого они изначально были направлены. С учетом недавнего украинского опыта этот второй подход и можно назвать «оранжевым». Его основы были заложены еще в период антиавторитарного подъема в Европе, начавшегося с португальской «революции гвоздик» 1974 г. Данный подъем был прекрасно использован администрацией Джеймса Картера, которая резко изменила политический курс США, отказавшись от прежней реалистической политики, сводившейся к безоговорочной поддержке в третьем мире антикоммунистических авторитарных сил¹.

Смысл такого политического «виндсерфинга» заключался в том, чтобы уловить момент, когда спонтанно нарастающая антиавторитарная энергия масс начинала работать на интересы Америки, и быстро этим воспользоваться, дабы затем, когда «волна», реализовав свой «позитивный» потенциал, толкает события в обратную сторону, отступить от нее и попытаться погасить. К середине 1990-х годов подобного рода попятное движение стало набирать силу. Антиавторитарная энергетика выносила на поверхность фигуры вроде Александра Лукашенко, Владимира Жириновского или Уго Чавеса. В этих условиях делать ставку на демократическую «волну» было уже нецелесообразно. По иронии судьбы принять новые правила «игры» и не возражать против так называемого «номенклатурного реванша» на постсоветском пространстве выпало на долю демократа Клинтона. В 1990-е годы демократам пришлось немного поиграть в «реализм», подобно тому как сегодня республиканцы вынуждены использовать риторику и подходы традиционно связываемого с демократами «либерального интернационализма».

Ситуация осложнялась еще и тем, что в 1990-е годы «либеральный интернационализм» столкнулся с серьезной проблемой, решить которую он так и не смог. Дело в том, что в арабском мире «улица» всегда оставалась более антизападно настроенной, чем авторитарная и часто коррумпированная элита. Арабский Восток никак не хотел «демократизироваться» в приемлемом для Соединенных Штатов смысле этого слова, то есть спонтанно приводить к власти удобных им руководителей. В результате революции разнообразных «цветов» на время отошли в прошлое, и в мире воцарилась консервативная идеология «цивилизационного обустройства», нашедшая замечательное выражение в междуна-

¹ Подробнее об этом повороте в политике Соединенных Штатов можно прочитать в: Хантингтон С. *Третья волна*. М., 2003.

родном признании столь «причудливых» авторитарных правителей, как Ислам Каримов или Туркмен-баши.

Следствием консервативной паузы 1990-х годов оказалась своеобразная политизация ислама. Именно политический ислам — как в умеренной, «демоисламистской» (турецкой), так и в радикально салафитской (арабской) версии — стал основным оружием народного сопротивления прозападному авторитаризму, утвердившемуся при поддержке Соединенных Штатов в мусульманских странах. Одновременно в исламских государствах начал поднимать голову левый антиглобализм, почти сразу же вступивший в открытый или тайный союз с политическим исламом.

В этих условиях едва ли приходится удивляться тому, что США попытались перебить эту новую, уже явно не соответствовавшую их интересам демократическую «волну» ответным движением. Первый «блин», как и следовало ожидать, оказался «комом»: надежды на то, что освобожденные от многолетней тирании иракцы тут же изберут для себя какой-то более или менее проамериканский и произраильский режим, не оправдались. Но в резерве у США оставалось постсоветское пространство, значительная часть жителей которого действительно устала терпеть полуавторитарные режимы в своих странах и мечтала избавиться от них любым способом.

Украина являлась прекрасным испытательным полигоном для нового «глобального демократического витка». Для достижения намеченной цели требовались два условия: появление популярного лидера и сплочение разных флангов оппозиции. Эти условия были в наличии уже со времен событий 2000 г. Остальное было делом техники.

В определенном смысле творцы новой американской политики, так называемые неоконсерваторы, попытались претворить в жизнь замысел Троцкого — посредством новой революции вновь сплотить мир под контролем западной цивилизации. Не случайно многие видные неоконсерваторы, в т. ч. «крестный отец» этого движения социолог и философ Ирвинг Кристол, вышли из неотроцкистов. И дело здесь не в «революционности» неоконсерватизма, а в его глубинном западоцентризме. Не разделяя взглядов Троцкого на капитализм, неоконсерваторы, в сущности, сохранили характерное для него отношение к Западу как к центру и катализатору «революционных изменений» в мире. Именно в этом и заключается их принципиальное отличие от «новых левых», сделавших ставку на национальное самоопределение «третьего мира»¹. В «оранжевом движении» неоконсерваторы закономерно увидели возможность

¹ На фундаментальные различия между социалистами 1930-х годов и левыми 1960-х указывает в своих мемуарах троцкист и Кристол. Подробнее см.: Kristol I. *Memoirs of a Trotskyist* // Kristol I. *Neoconservatism. The Autobiography of an Idea*. N.-Y., 1995. P. 480.

вновь овладеть «духом мировой революции», чтобы ориентировать ее движение в нужном для себя направлении. Как писал в 2004 г. один из наиболее ярких неоконсервативных мыслителей Майкл Ледин, «нет более драматического доказательства смерти левых, чем тот факт, что их главная мечта — глобальная демократическая революция — перешла в руки тех, кто называет себя консерваторами»¹.

Для того чтобы более выпукло проиллюстрировать эту политическую операцию, целесообразно обратиться к одному из самых известных кинопроектов рубежа XX–XXI столетий — трилогии «Матрица».

* * *

Трилогия «Матрица» по праву может считаться первым культовым фильмом нового тысячелетия. Культовым, в буквальном смысле слова: есть несколько англоязычных сайтов, под различными названиями и в той или иной мифологической упаковке предлагающих своим посетителям стать адептами религии Матрицы или, точнее, тотального от нее освобождения. Сюжет фильма, особенно первой его части, стал предметом обсуждения ведущих философов современности, таких как Славой Жижек и Жан Бодрийяр.

Хотя «Матрице» посвящены сотни статей и даже книг, изучена она, тем не менее, еще далеко не полностью. Прежде всего, это относится к двум последним частям картины, известным в России как «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция». Два сиквела картины отчасти заинтриговали, но отчасти и разочаровали публику. Разочаровали во многом по той же самой причине, по которой заинтриговали. В первой «Матрице» (1999 г.) все было ясно и понятно: вечный миф коварного обмана, героической борьбы с ним и надежды на грядущее освобождение в совокупности с легким религиозно-мифологическим антуражем и стильной киберпанковской эстетикой делали фильм неотразимым как для элитарной, так и для массовой аудитории. Славой Жижек в замечательном эссе «Матрица: две стороны перверсии» анализирует первую «Матрицу» именно как миф, деконструкция которого приводит философа к парадоксальному выводу, что подлинная реальность («пустыня реального», как называет ее один из героев картины) — не более чем бредовый кошмар жителей современного города².

Вторую и третью «Матрицы» описать как миф гораздо труднее: надо вначале определить, в чем этот миф состоит. Если первая «Матрица»

¹ Ledeen M. *The End of the Left's History* // National Review Online. 29. 12. 2004. // <http://www.nationalreview.com/ledeen/ledeen200412020818.asp>

² Zizek S. *The Matrix, or Two Sides of Perversion* // Philosophy Today. Vol. 43. 1999; <http://www.egs.edu/faculty/zizek/zizek-the-matrix-or-two-sides-of-perversion.html>

напоминает философскую притчу, то оба продолжения походят скорее на гностические трактаты с множеством загадочных понятий и образов. Не так просто ответить, например, чем заканчивается «Матрица», что происходит с Нео и другими героями. Есть и более сложные вопросы: кто такая Пифия? что делается в клубе Хел (т. е. «Ад»), в котором правят Мервинген и его супруга Персефона? как связаны Архитектор и Бог из машины, говоривший с Нео перед финальной битвой с агентом Смитом?

Любопытен еще один казус, сопряженный с «Матрицей», — и для рассматриваемых здесь сюжетов он имеет центральное значение. Волею судеб этот фильм остается практически единственным (во всяком случае, единственным популярным) символом пробуждающегося антиглобалистского движения. Едва ли успех первой «Матрицы» был бы столь оглушительным, если бы герои картины не вызывали столь очевидных ассоциаций с левым движением, выступившим — на первом этапе довольно солидарно — против империализма и гегемонии одной державы, опутавшей человечество паутиной «сетевой культуры». У бунтарей 1960-х годов было много ярких символов — герои «Ловца во ржи», «Беспечного ездока», «Бунтаря без причины». Антиглобалистский подъем начала 2000-х годов породил, фактически, одну только «Матрицу».

Слова «матрица» и «перезагрузка» сразу же вошли в лексикон тех, кто по тем или иным причинам недоволен тиранией Америки, либо транснационального капитализма. Станислав Белковский в своих выступлениях 2005 г. часто упоминал о насаждаемой США неототалитарно-технистической и антимонотеистической «религии Матрицы». Андрей Фурсов в статье «Операция “Прогресс”» доказывал, что прогрессистская идеология левых борцов с «глобальным капиталом» некогда была запущена элитой позднефеодального общества для «перезагрузки» мировой системы¹. Егор Холмогоров рассуждает о «перезагрузке» постсоветского пространства силами «оранжевой революции»². Темы и символы «Матрицы» прочно осели в сознании неконформистски мыслящих публицистов и теоретиков.

Интересно, что с политической точки зрения две последние «Матрицы» никогда и никем всерьез не рассматривались. А зря. Если мы принимаем за гипотезу, что фильм братьев Вачовски наряду с религиозно-мистическими сюжетами затрагивает и социальные проблемы, то следует задаться вопросами: какую новую информацию сообщают нам «Перезагрузка» и «Революция»? как моделируют эти фильмы развитие

¹ Фурсов А. *Операция «Прогресс»* // Космополис. № 4. 2003/2004.

² Холмогоров Е. *От «санитарного кордона» к «санитарной империи»* // Агентство политических новостей. 25. 02. 2005; <http://www.apn.ru/publications/article1300.htm>

левого протестного движения, объявившего своим врагом «матрицу» глобального капитализма? и, наконец, существует ли какая-то параллель между событиями фильма и тем, что стало происходить в мировой политике с 5 ноября 2003 г., когда на экраны кинотеатров 80 стран мира вышла третья «Матрица»? Кстати, запомним это число — 5 ноября. Оно нам еще пригодится.

Как развивается сюжет в двух последних «Матрицах»? Что открывается зрителю в самом финале трилогии, прежде всего, из сцены разговора Пифии с Архитектором? Выясняется следующее: битва человечества с машинами, равно как и война Сиона против агентов Матрицы, скрывает более фундаментальное противостояние — борьбу между различными управляющими программами за контроль над Матрицей. Сион и Нео — не более чем орудия, используемые одной из этих программ, а именно Пифией, против всех остальных. Впрочем, в результате такого противостояния все недовольные глобальным порядком и при этом готовые подчиниться руководству Пифии силы — и в мире программ, и в мире людей — «получают свободу» и возможность действовать по собственному усмотрению внутри сохранившегося, но значительно изменившегося миропорядка. Пробужденные к свободе люди выходят из Матрицы; выброшенным из системы, подлежащим стиранию программам, вроде спасаемой Пифией девочки Сати, даруется право творить внутри Матрицы свою прекрасную реальность.

К спору двух «родителей» Матрицы — Пифии и Архитектора — я еще вернусь, а пока кратко остановлюсь на двух других программах, которые воссоздают внутри Матрицы свои особые киберпространства, посягая при этом на некие сверхзначимые мироправительные функции. Это агент Смит и Мервинген. Первый, распространяясь подобно вирусу, порождает отвратительный одноцветный мир одинаковых людей. Другой, собирая под свое крыло вышедшие из употребления программы, творит прятную и соблазнительную реальность, мир падшей и порочной красоты разнообразных стилей и цветовых оттенков. Интересно, что судьба как Смита, так и Мервингена в чем-то напоминает судьбу Сиона. Все они вышли из системы и взбунтовались против нее. Единственное существенное отличие — бунт Сиона запрограммирован создателями Матрицы, тогда как выпадение из системы Смита и Мервингена, судя по всему, произошло без согласия Архитектора.

Еще одна важная деталь. Смит — бывший агент Матрицы, восставший против прежних своих хозяев. Мервингена работающие на него программы — Проводник и индус Рама-Чандра — называют «французом», да и само имя хозяина «Ада» недвусмысленно говорит о его происхождении. Нетрудно догадаться, что могли означать эти детали в контексте судьбоносного 2003 г. — времени начала наиболее активной фазы

борьбы с мировым терроризмом. Борьбы, толчком к которой послужила атака таинственной «Аль-Каиды» — организации, руководимой бывшим агентом американских спецслужб. Борьбы, обострившей противоречия между США и Францией и спровоцировавшей волну «франкофобии» в Америке — вплоть до бойкота французских вин и удаления слова «French» из английского названия «французской картошки».

Показательно, что Нео и люди Сиона не идут на союз против Матрицы ни со Смитом, ни с Меровингеном. Смит, впрочем, такой союз и не предлагает. Он сразу же ввязывается в драку с Нео, в котором видит виновника нынешних своих бед. А вот Меровинген в «Революции» как раз ищет возможности договориться если не с Нео, то с его соратниками, предлагая вернуть Избранного из плена в обмен на «глаза Пифии». Что существенно, в конечном итоге Нео выбирает не сделку со Смитом или же Меровингеном против Матрицы и машин, а мирное соглашение с Богом машин (Богом из машины, как он назван в сценарии) в обмен на спасение Матрицы от Смита. Если спроецировать этот поворот сюжета на реальные события 2003 г., то он означает прямой призыв к левым антисистемным силам вступить в альянс с мировым гегемоном против его геополитических противников, и, в первую очередь, против сил, поддерживающих исламский терроризм.

А теперь о споре Архитектора и Пифии. Архитектор олицетворяет старые, традиционные силы мирового порядка. Он создает нарочито неидеальный, переживающийся гниловато-зеленоватым блеском мир, будучи убежден, что в иной, лучшей действительности люди жить просто не способны. Собственно, он творит мир образца 1999 г., в котором до пробуждения обитали юзер Нео и программист Томас Андерсон и в котором мы все продолжаем жить до сих пор. Он и в самом деле программирует появление Нео и Сиона, однако последние нужны ему лишь для перезагрузки Матрицы. Игру Пифии с Нео и другими силами протеста ради формирования какой-то более совершенной реальности он, по его собственным словам, находит опасной. Он говорит Пифии именно то, что сегодня говорят американским «неоконам» их оппоненты из лагеря реалистов и «палеоконсерваторов», такие как генерал Брент Скоукрофт и Патрик Бьюкенен: «Господа, ваше заигрывание с “глобальной демократической революцией” — это путь к победе мирового коммунизма, или мирового джихада, или того и другого одновременно. Прекратите поддерживать подрывные силы во всем мире — в Ливане, в Иране, в России. Это аукнется появлением новых Кастро, Хомейни и Бен Ладенов!».

Пифия же верит в Нео, видя в нем не средство перезагрузки Матрицы, а единственный шанс изменить соотношение сил внутри нее (в свою, разумеется, пользу) и тем самым вырвать у Архитектора — холодного рационалиста и консерватора — контроль над миропорядком. В то же

время не следует забывать, что Пифия, в отличие от Смита и Мервин-гена, «включена в систему», и перехватывает она лидерство у Архитектора именно в деле защиты этой самой системы. Иначе говоря, Пифия верит, что силы протеста, развернутые в нужном направлении против нужного противника, окажутся более эффективным оружием системы, нежели традиционные инструменты контроля и подавления — агенты, «охотники» и т. п.

* * *

Итак, я подхожу к финалу своих рассуждений. Первый фильм «Матрица» стал (судя по всему, неожиданно для своих создателей) эстетическим символом антиавторитарного и вместе с тем антиглобалистского протеста. Две последние «Матрицы» развивают тот же сюжет, обращаясь как к глобалистам, так и к их противникам. После просмотра картины глобалисты должны понять, что традиционный, основанный на равновесии сил и прочих консервативных штучках мир уходит в прошлое, и контроль над миропорядком возможен теперь только за счет перепрограммирования антисистемных настроений. На смену веку Архитектора идет век Пифии и Сати. Антиглобалистам «Матрица» намекает: самим вам систему никогда не одолеть, однако вступать в союз с могущественными, но враждебными системе программами было бы для вас самоубийством — и миру не поможете, и себя погубите. Находите внутри системы тех, кто готов делать на вас ставку, включайтесь в новую «глобально-демократическую» борьбу против «форпостов тирании» — венцом нашей общей победы станет бравый новый мир вечной радости и свободного творчества.

А сейчас самое время объяснить свою просьбу обратить внимание на дату мирового показа «Революции» — 5 ноября. На следующий день после этого показа, 6 ноября 2003 г., президент Буш, выступая в Национальном фонде в поддержку демократии, призвал к «глобальной демократической революции», а спустя две недели в Грузии началась «революция роз», которая сыграла роль спускового механизма «четвертой волны» демократизации и, в частности, «оранжевой перезагрузки» постсоветского пространства. Эта волна позволила аккумулировать протестные настроения жителей Земли и направить их против нелояльных Вашингтону авторитарных (или квазиавторитарных) режимов. Сиквелы «Матрицы» были призваны дать популярное художественное выражение этому фундаментальному для понимания генезиса «оранжевых событий» процессу — *перезагрузке мировой антиглобалистской революции*.

Как известно, учение Троцкого о мировой революции является одним из аспектов его концепции «перманентной революции». Сам термин «перманентная революция» будущий вождь IV Интернационала заимствовал

у своего соратника по событиям 1905 г., русско-немецкого революционера Александра Парвуса, впоследствии проявившего себя в качестве тайного посредника между Лениным и немецким Генеральным штабом. Так вот, в 1905 г. Троцкий вместе с Парвусом исходили из того, что в российской ситуации демократическая, то есть буржуазная революция немедленно перерастет в пролетарскую. Мне кажется, что Троцкий не без оснований ссыался здесь на работы Маркса времен европейской революции 1848 г., в которой создатель «научного социализма» обнаруживал следы того же самого перерастания. Вообще, Троцкий справедливо увидел в Марксовом учении о революции подтверждение неспособности разрушившего феодальный строй капитализма справиться с теми внутренними противоречиями, которые и вызвали его к жизни. Капитализм, по Марксу, — это фактически и есть перманентная революция, ибо при своем развитии, а точнее, разложении он неизбежно порождает социализм, ведущий к установлению всеобщего равенства.

Проблема, однако, заключалась в том, что Маркс писал о европейской революции и, соответственно, европейском пролетариате, а не об «отсталых» в политическом и социально-экономическом отношении народах, трудовое население которых состояло преимущественно из крестьянства. И ортодоксальные последователи Маркса — те, кого мы привыкли называть «меньшевиками», — полагали, что ни о каком самостоятельном выступлении пролетариата в России, не говоря уже о еще дальше отодвинутых вглубь Азии странах, не может быть и речи. Считалась с реалиями и подавляющая часть большевиков, включая Ленина: отвергая, в отличие от меньшевиков, союз с либеральной буржуазией, она все-таки находила возможным соглашение с крестьянством, вернее, с его представителями — так называемыми демократическими или мелкобуржуазными партиями типа эсеров.

Позиция Троцкого отличалась и от ленинско-большевистской, и от меньшевистской. Демократическая революция в России, по его мнению, должна сразу же перерасти в пролетарскую. Поэтому здесь и необходима диктатура пролетариата. Но на кого может опереться пролетариат в крестьянской стране? И тут-то Троцким и было выдвинуто его знаменитое положение, за которое он впоследствии поплатился отчуждением от своих коллег по партии: пролетарская революция в подобных странах должна опираться на поддержку пролетариата «передовых», то есть промышленно развитых стран, в которых существуют предпосылки для социализма. Иначе говоря, пролетарская революция в отсталых, небуржуазных странах должна приобрести интернациональный характер — в противном случае, как полагал Троцкий, порожденный ею строй обломится под грузом тех же самых противоречий, что сведут в могилу капитализм.

Таким образом, по Троцкому, периферия революционизирует центр, но при этом прежние иерархические отношения между ними сохраняются и даже укрепляются — в процессе мировой революции центр восстанавливает свое доминирующее положение. Данный тезис, на мой взгляд, очень важен для понимания «троцкизма». Троцкий — убежденный западник, видевший в пролетарской революции окончательную победу города над деревней, рационализма науки над стихийностью чувства¹ и, в конечном счете, Запада над Востоком. Да, Восток может «проснуться», революционизироваться раньше Запада, но коммунисты должны стремиться к тому, чтобы лидерство в революционном движении захватили их сторонники, то есть фактически агенты западной цивилизации, только ее светлого будущего, а не капиталистического настоящего, которые, противодействуя мировой буржуазии, в конце концов, помогли бы и западным рабочим сбросить оковы капитализма.

На самом деле, Троцкий — не столько предтеча современного антиглобализма, сколько создатель специфической версии глобализма. Не случайно некоторые нынешние ультралевые идеологи ставят ему в вину недооценку революционного потенциала «африканских» и «азиатских» народов, вытекающего из их национально-культурной специфики. И, конечно, столь же неслучайно, что многие идеологи американского гегемонизма — Джеймс Бернхэм, Макс Шахтманн и, как уже говорилось, Ирвинг Кристал — отдали в свое время дань увлечению троцкизмом.

«Мировая революция» в версии Мао Цзедуна являла собой нечто принципиально иное. Для Мао, как и для его последователя Пол Пота, истинными носителями революционного начала в мире были именно эти якобы задержавшиеся в развитии народы периферии — жители мировой деревни. «Мировая революция» — это восстание мировой деревни против мирового города, то есть народов Востока против народов Запада. Китайская «культурная революция», равно как и чудовищные действия Пол Пота по насильственной деурбанизации страны, представляли собой попытку радикального очищения от скверны городской буржуазной культуры. Вне всякого сомнения, существуют определенные нити, связывающие маоизм с хомейнизмом, а последний с тем своеобразным изводом европейского леворадикального движения, который называется «политическим исламом». Все это в совокупности, как мы видим, вовсе не аналог «троцкизма», а радикальная ему альтернатива.

«Мировой город», страдающий от избытка потребления и контролирующей природные ресурсы всего мира, столкнулся с «мировой дерев-

¹ В данной связи полезно вспомнить об увлечении Троцкого психоанализом как орудием преодоления неконтролируемых сознанием человеческих страстей. Подробнее см.: Эткинд А. *Эрос невозможного. История психоанализа в России*. СПб., 1994.

ней», странами, не попавшими в «золотой миллиард», которым, как показывает пример «демократизирующегося» Ирака, не оставлено права распоряжаться собственной судьбой.

* * *

Итак, апелляция к «революции» предполагает актуализацию исторического контекста, в котором различные «узлы» мировой революции, продолжающейся с 1789 г. по сей день, образуют очень непростые связки. «Оранжевая революция» на Украине по целому ряду признаков может быть соотнесена с серией революций прошлого. Условия места (постсоветское пространство) и характер генезиса (оспаривание результатов выборов) сближают события на Украине в ноябре 2004 г. с произошедшей за год до этого «революцией роз» в Грузии. Через метафору «революции роз» «оранжевая революция» соотносится с «революцией гвоздик» в Португалии, положившей начало «третьей волне» демократизации, и «бархатными революциями» в Восточной Европе, на которых данная «волна» оборвалась. Все эти «цветные» и «цветовые» метафоры имеют одно значение: упомянутые революции носили мирный, ненасильственный характер. В свою очередь, участие молодежи, а также использование поп и рок-музыки с целью мобилизации протеста позволяют связать череду «бархатных революций» с базовой для всего этого «революционного комплекса» метафорой «революции-карнавала», восходящей к парижским событиям 1968 г.¹ Париж 1968 г. выводит череду «оранжевых событий» на столбовую дорожку истории — серия «бархатных революций» должна как бы вытеснить антиглобализм — другое порождение судьбоносного 1968 года — во всех его версиях в качестве полноправного преемника революционной истории (от Робеспьера до того же Сартра) и заменить его своеобразным «демократическим неоглобализмом».

Необходимо, однако, учитывать, что, несмотря на кратковременный успех, попытка перехватить в начале XXI столетия «революционную»

¹ Неслучайно именно к образу Красного Парижа апеллировали как зачинщики несостоявшегося московского Майдана, так и их противники. Когда одному из московских «молодежных революционеров» Роману Доброхотову был задан вопрос, кто, по его мнению, является «Сартром» предполагаемой московской революции, тот почему-то ответил: «Черчилль». Здесь любопытен и сам факт обращения к реалиям 1960-х годов для осмысления будущих потрясений в российской столице, и нарочито парадоксальный ответ «оранжевого революционера», выдающий своеобразную инвертность «оранжевой» революции по отношению к революции «новых левых». Подробнее см.: *Сартр, Черчилль и новая либеральная идеология, не нуждающаяся в интеллектуальности*. 2005. // http://www.kreml.org/other/80529683?mode=print&user_session=dedce22d07a7cfe0f51ca45c626

волну окончилась неудачей: события на постсоветском пространстве, в отличие от происходившего в третьем мире, просто не воспринимались западными левыми в качестве знаковых для дела мирового освобождения. Поэтому не исключено, что в ближайшее время «мировое неравенство» пересилит в глазах левой интеллигенции «национальную тиранию», и слову «революция» будет возвращен его антикапиталистический и антизападный оттенок.

ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ

ПЕРМАНЕНТНАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Понятие «революция» в современном социально-политическом лексиконе используется очень часто. Некоторые российские авторы (например, В. Мау¹) настаивают на том, что «перестройка» — это революция. Обычными стали рассуждения о серии революций конца 1980-х — начала 1990-х гг., произошедших на постсоветском пространстве. Новый всплеск частотности использования понятия «революция» вызвали политические события на Украине и Средней Азии, за которыми закрепилось название «цветные революции»².

Это наблюдение свидетельствует о культурно-дискурсивном сдвиге, который влечет за собой размывание семантики понятия «революция» как категории социокультурного анализа и фундаментального исторического понятия. Проблема не только в том, что содержание этого термина становится семантически нечетким (размытость — неотъемлемая особенность ключевых понятий социально-политического дискурса). «Революция» является не только и не столько техническим термином актуального политического и теоретического дискурса, но ценностно нагруженным понятием, играющим важную роль в смысловом самоопределении современного человека, в системе его исторической смысловой ориентации. Иными словами, оно является «основным историческим понятием» в смысле Р. Козеллека. Об этом, в частности, свидетельствуют постоянно возобновляющиеся дискуссии о признаках революции, критериях, позволяющих отличать революцию от других типов социальной трансформации. Эти споры не являются схоластическим диспутом о словах именно в силу указанной ценностной и мировоззренческой нагрузки,

¹ См., в частности: Мау В. *Есть у революции начало: 20 лет Перестройке* // Профиль. 28. 03. 2005. http://www.ane.ru/html/315_147463.php

² Такого же рода концептуальная рамка использовалась при формулировке дискуссионных вопросов организаторами семинара, где была представлена начальная версия настоящего текста.

которую несет понятие «революции». Индивидуальная, а затем и социальная память современных обществ видит в революции рубеж, принципиальным образом разделяющий общественный порядок «до» и «после» революции. Семантическая дисперсия понятия «революция», напротив, ведет к тому, что смысловой горизонт существования современного человека лишается устойчивых исторических ориентиров, место которых занимает расплывчатое множество «социальных трансформаций», образующих событийный континуум истории.

Этот процесс обесценивания можно рассматривать как имманентную тенденцию современной капиталистической системы, направленную на стирание исторической памяти о революции как возможности фундаментального социально-политического переустройства общества. Точнее говоря, речь идет о тенденции стирания памяти об одном — социалистическом — типе революции, осмыслявшей себя как установление нового социального порядка, альтернативного капиталистической системе как таковой. При этом социальный порядок, установленный другим — буржуазным — типом революции, приобретает безальтернативный характер. Особенность же современной капиталистической системы состоит в том, что она вобрала в себя революционность как момент своего существования. Это обстоятельство и обнаруживает себя в семантической зыбкости категории «революция».

«Чистая революция»

Ш. Эйзенштадт в своей работе «Революция и преобразование обществ» предлагает следующую реконструкцию «чистой» или «подлинной» революции¹. Согласно его определению, революция — это «самый интенсивный, насильственный и осознанный процесс из всех социальных движений». В подлинной революции обнаруживается «предельное выражение свободной воли и глубоких чувств, проявление незаурядных организационных способностей и высокоразвитой идеологии социального протеста. Особое значение придается утопическому или освободительному идеалу, основанному на символике равенства, прогресса, свободы и на убеждении, что революции создают новый и лучший социальный порядок».

Если революция является «подлинной», то она, согласно своему определению, не может быть выражением чисто временных фрустраций или маргинальных нарушений. Считается, что предпосылками чистой революции являются «фундаментальные социальные аномалии или вопиющие проявления несправедливости, соединение борьбы между эли-

¹ См.: Эйзенштадт Ш. *Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций*. М., 1999. С. 44–45.

тами с более широкими и глубокими социальными факторами, подобными классовой борьбе, социальные сдвиги, вовлечение в социальное движение крупных (особенно вновь возникающих) общественных групп и их политическая организация».

По своим результатам «подлинная» или «чистая революция» отличается, согласно Эйзенштадту, пятью основными особенностями:

1. Насильственным изменением существующего политического режима, основ его легитимности и его символики;

2. Заменой недееспособной политической элиты или правящего класса другими социальными группами;

3. Далеко идущими изменениями во всех важнейших институциональных сферах, в первую очередь, в экономике и классовых отношениях — изменениями, которые направлены на модернизацию большинства аспектов социальной жизни, на экономическое развитие и индустриализацию, централизацию и расширение круга участвующих в политическом процессе;

4. Радикальным разрывом с прошлым (хотя А. де Токвиль и указывает на условность этого разрыва);

5. На основании своих крайне идеологизированных, милленаристских представлений участники революции считают, что революция осуществляет не только институциональные и организационные преобразования, но и вносит изменения в нравственность и воспитание, что она создает или порождает нового человека.

Для самого Эйзенштадта конструкт «чистой революции», который он признает весьма влиятельным, является препятствием на пути исследования «трансформаций обществ». Цель его работы, напротив, состоит в том, чтобы показать, что трансформации обществ осуществляются не только посредством «чистой революции»: «...хотя человеческим обществам свойственны социальные конфликты, инакомыслие, восстания, изменения и преобразования, однако специфическое объединение элементов, создающее образ подлинной революции, не является единственным естественным путем “настоящих” перемен — и в традиционных, и в современных ситуациях. Скорее, это лишь один из возможных путей»¹. Тем самым Эйзенштадт размыкает концепт революции, трактуя «подлинную» революцию лишь как трансформацию наряду с другими трансформациями, причем как современных, так и традиционных обществ. Тем самым категория революции лишается своего специфического ценностного и мировоззренческого смысла, который мы считаем атрибутом

¹ Эйзенштадт Ш. *Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций*. М., 1999. С. 53.

«революции» как «основного исторического понятия»¹. Модель «чистой революции» мы можем, таким образом, взять за отправную точку дальнейших рассуждений, отвлекаясь от критического отношения к ней самого Эйзенштадта.

С точки зрения предложенных критериев чистой революции, мы считаем возможным выделить только *две* основные революции, задающие базовые исторические ориентиры современного общества. Это Французская революция конца XVIII в. и русская Октябрьская революция начала XX в. Данный тезис мы можем отстаивать, дополнив вышеназванные критерии еще одним: именно две данные революции являются главными смысловыми ориентирами в глобальной перспективе современности. Английская буржуазная революция (которую точнее было бы назвать реставрацией), Американская революция, Парижская Коммуна и Китай-

¹ Поясним еще раз специфику нашего понимания «революции» как фундаментального исторического понятия на примере двух аналогичных понятий. Понятие «интеллигенция» фигурирует в русском языке, начиная с первой трети XIX в. Оно используется в кругах аристократии как одно из словечек для обозначения лиц, имеющих определенный уровень образования и так далее. Однако никаких следов борьбы за его семантическое определение мы в это время не обнаруживаем. Ситуация радикально меняется, когда в России проходит первая волна омассовления знания (1860-е гг.). Начиная с этого времени, со все более возрастающим напряжением идет борьба за толкование смысла понятия «интеллигенция». Это наименование становится действенным фактором социального, культурного и политического поведения определенной социальной группы. Идентификация себя в качестве «интеллигента» становится здесь *реальным* моментом, влияющим на действия социального актора. Принципиально и то, что «не-интеллигенты» также формируют свой набор ожиданий, действий и стереотипов в отношении тех, кого они воспринимают как «интеллигентов».

Возьмем другой пример: допустим, что есть некие объективные критерии этнической категории «еврей». В этом смысле еврей — он и в Африке еврей. Теперь же, предположим, что тот, кто таким объективным образом является евреем, оказывается в африканском племени (или древнегреческом полисе), где не проводится различий между евреями и не-евреями. Очевидно, что поведение того, кто называет себя евреем в этом африканском племени, и поведение членов этого племени по отношению к евреям будет существенно отличаться (при соблюдении прочих равных условий) от поведения евреев в обществе, для которого понятие еврей является не просто «техническим» этническим термином, но и несет существенную социокультурную нагрузку. Последнее обстоятельство устанавливается весьма просто: в частности, здесь разворачивается некая семантическая борьба вокруг понятия «еврей», в ходе которой и начинают выяснять, кто такой еврей, каковы типичные черты еврейского характера или еврейской культуры, пишутся статьи «К еврейскому вопросу» или, наоборот, «Статье еврею» и так далее.

Ровно таким же образом мы считаем, что бессмысленно использовать понятие «революция» по отношению к традиционным обществам, поскольку его специфическая ценностная семантика не выходит за пределы периода модерна.

ская революция обладают некоторыми или даже всеми из названных Эйзенштадтом признаков, но при этом имеют локальный по своей смысловой значимости характер.

Французская революция является образцовой в том смысле, что именно она рассматривается как переломный момент перехода к обществу буржуазного модерна, тогда как Русская революция 1917 г. является главным историческим событием «короткого двадцатого века» (Эрик Хобсбаум), его, так сказать, осевым событием. Например, если разделять точку зрения Эрнста Нольте, то именно возникший советский строй является ключевым фактором, способствовавшим приходу к власти национал-социалистов в Германии.

Выдвигая тезис о наличии двух чистых революций, следует оговориться, что этот тезис не выдерживает никакой целенаправленной исторической критики. Но из того, что он может быть раскритикован, не следует, что он неверен в том аспекте, в котором он здесь выдвинут. А именно: даже если с точки зрения научно-исторической фактичности ни Французская, ни Русская революции не являются неким принципиальным, датируемым событием, это не отменяет того, что именно эти две революции являются неотъемлемыми элементами смыслового горизонта как обыденного, так и теоретического современного сознания. Наличие отдельных любопытных исследований, датирующих «рождение модерна» или современного капитализма более поздним¹ или более ранним периодом², чем Французская революция, не отменяет того, что теоретики продолжают рассматривать ее как важнейший социокультурный ориентир. В еще большей степени это относится к исторически бесспорной оценке факта этой революции *в качестве принципиального*, как ее современниками, так и последующими поколениями. И даже если усилить все тезисы Токвиля и настаивать на отсутствии всякой принципиальной новизны в Новом порядке по отношению к Старому порядку, это допущение не в силах ничего поделать с более чем двухсотлетней историей рецепции Французской революции, начиная с Екатерины II и Канта и заканчивая сегодняшним днем. Сказанное в полной мере относится и к Русской революции (во всяком случае, до наступления постсоветского периода, когда начинается массированная семантическая атака на само это понятие, подменяемое такими оборотами, как «большевистский переворот» и т. п.). Иными словами, обе эти революции не только удовлетворяют перечисленным критериям «чистой революции», но и входят в число важнейших смысловых и символических ориентиров современного общества. Они не только являются «чистыми» революциями в соответствии с неким набором критериев, но и воспринимаются в

¹ См. например: Johnson P. *The Birth of the Modern. World Society 1815–1830*. N.-Y., 1991.

² Как это делают Ф. Бродель и И. Валлерстайн.

качестве таковых на смысловом уровне обыденного и теоретизирующего сознания.

Возвращаясь к признакам чистых революций, отметим один момент, отмеченный выше также и Эйзенштадтом. Одним из результатов «подлинной» революции, согласно Эйзенштадту, является «усиление централизации». Мы добавим, что речь как в первой — буржуазной, так и во второй — социалистической революции, идет не просто об усилении централизации, а о резком возрастании роли центральной (исполнительной) государственной власти. Этот момент подметил уже Токвиль, отмечая, что целью и результатом Французской революции было «усиление могущества и прав государственной власти»¹. Разрушив старые институты власти, стерев из памяти людей традиции, Французская революция, на первый взгляд, превратила общество в руины, «но удалите эти обломки — и вы увидите всесильную центральную власть, привлекающую к себе и поглотившую в своем единстве все частицы власти и могущества, рассеянные ранее в массе второстепенных властей, сословий, классов, профессий, семей или индивидов, как бы рассыпанные по всему социальному организму... Правда, созданные ею правительства были хрупки, но в сотни раз могущественнее тех, что она разрушила»². Централизация государства на основе сверхцентрализованного партийного аппарата является также неотъемлемым признаком общества, возникшего после Русской революции 1917 г.

Еще одним общим признаком двух названных революций, имеющим значение для последующего рассуждения, является квазирелигиозный характер их идеологии и мотивации. Этот квазирелигиозный характер принимает форму *универсальной гуманистической доктрины* и является общим как для буржуазной, так и для социалистической революции. Об этом также пишет уже Токвиль: «...французская революция представляет собой политическую революцию, в некотором отношении принявшую вид революции религиозной и действовавшую ее приемами. Вот специфические черты, довершающие сходство: как и революции религиозные, французская революция выходит далеко за пределы своей страны и делает это при помощи проповеди и пропаганды. Взгляните на это новое зрелище: политическая революция, вдохновляющая прозелитизм, столь же страстно проповедующаяся иностранцами, сколь ревностно проводимая у себя»³.

Этот универсализм, придающий трансграничный характер как мировым религиям, так и великим политическим революциям, вытекает из

¹ Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М., 1997. С. 23.

² Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М., 1997. С. 15.

³ Токвиль А. де *Старый порядок и революция*. М., 1997. С. 17.

обращения к человеку «самому по себе», из апелляции к его природе, а не к его социальной или политической роли. Марксизм также развивает особый тип универсализма, имеющий наднациональный (классовый) характер. Но и сугубо субстанциальный, «природный» универсализм хотя и заретуширован, но не стерт в марксизме, где достигший пределов своей обездоленности пролетариат, которому, как известно, уже нечего больше терять, кроме своих цепей, выступает как безусловная и универсальная человеческая инстанция как таковая, облеченная высшим моральным авторитетом. Морально-гуманистическим пафосом пронизаны, как известно, ранние работы Маркса. Религиозный характер Французской революции, помимо работы Токвиля, был раскрыт во множестве других исследований, в частности Кристофером Генри Доусоном в его работе «Боги революции». Применительно к Русской революции эта идея религиозных корней была осмыслена Николаем Бердяевым в работе «Истоки и смысл русского коммунизма».

Кризис альтернативы

Две обозначенные «чистые» революции типологически различны. Революция¹ является буржуазной, Революция² — социалистической. Фактом является то, что порядок, созданный Революцией², в конечном итоге проиграл как экономическая и социокультурная система порядку, созданному Революцией¹. К некоторым причинам этого мы обратимся ниже. Пока же затронем два вопроса. Первый из них исторический: можно ли определять социально-политические и экономические трансформации бывшего советского блока конца 1980-х — начала 1990-х гг. как революции? На этот вопрос следует ответить отрицательно: поскольку смысл Революции² состоял в том, что она понимала сама себя и понималась со стороны как следующий этап общественно-экономического развития по отношению к Революции¹, то демонтаж достижений этой революции можно определить исключительно как контрреволюцию. Несмотря на огромный, если не сказать катастрофический, социально-экономический, культурный и политический сдвиги, данная трансформация, если говорить о пространстве бывшего СССР, в значительной степени лишь воспроизвела — в гротескном и гиперболизированном виде — систему неравенства, возникшую уже в рамках самой социалистической системы, переводя, по сути, старое административное неравенство в неравенство экономическое, позволяющее зафиксировать его новыми — публично-правовыми — средствами¹. *Перестройка и по-*

¹ Эту констатацию не отменяет также то обстоятельство, что незначительная социальная группа смогла резко изменить свой социально-экономический статус, что заставляет ее переживать данный период как «революционный».

следующие политические события — это эксплицитное оформление свершившейся контрреволюции, а вовсе не начало нового периода.

С точки зрения обозначенных выше политических критериев революции, переход от советской к постсоветской системе можно определить как окончательный демонтаж Революции² также по признаку ослабления централизации, падения функциональной значимости центральной государственной власти. Этот процесс прошел и проходит безболезненно для множества постсоветских государств Центральной и Восточной Европы лишь в силу включения в различные надгосударственные структуры, которые берут на себя часть контролирующих государственных функций этих стран. Там, где такого включения не происходит (государства Центральной Азии), осуществляется возврат к культурно-традиционным моделям выстраивания и укрепления центральной власти.

Демонтаж Революции² имел также следующее принципиально важное следствие: самым серьезным образом была *дискредитирована идея возможной альтернативы капитализму*. На протяжении большей части XX в. такой альтернативой считался социализм, надежду на построение которого поддерживало существование СССР и блока социалистических государств. Последнее справедливо, несмотря на то, что строй, существовавший в этих государствах, рассматривался как бюрократизированная и репрессивная, то есть как существенно искаженная и деформированная версия социализма.

Крах этой системы погрузил альтернативные идеологии в кризис, который интеллектуально усугублялся, с одной стороны, расцветом социологических теорий постиндустриального общества, настаивающих на исчезновении социально-экономической основы классического марксизма, и, с другой стороны, постмодернистскими теориями, деконструировавшими гуманистическое, моральное и антропологическое ядро классического социализма (невозможно, в частности, стремиться к «подлинному», неотчужденному существованию в мире сплошных симулякров). С точки зрения концептуального потенциала, нельзя сказать, что определенные версии социалистического антикапитализма себя исчерпали: как троцкизм, так и классический марксизм сохраняют свою эвристическую и объяснительную продуктивность. Однако потенциал их важнейшей — практической — составляющей по причинам, которые, на наш взгляд, имеют скорее культурный, чем социально-экономический характер, находится в настоящее время на весьма низком (если не сказать, нулевом) уровне. Как замечает А. Каллиникос, один из сторонников социалистического антикапитализма, «социалисты должны показать, что [...] социализм представляет собой вероятную и осуществимую альтер-

нativу капитализму и что организованный рабочий класс по-прежнему является решающим фактором социального преобразования»¹.

Другие версии антикапитализма (или, если воспользоваться термином Валлерстайна, «антисистемного движения») мы не имеем здесь намерения рассматривать подробно². Отметим только то, что их львиная доля не предлагает, в собственном смысле, альтернативы капитализму, а является разновидностями продолжения и развития «проекта модерна» в ситуации исчезновения классовой стратификации общества, когда рабочий класс уже не рассматривается как движущая сила социально-политических преобразований. Для А. Негри и М. Хардта новой экстерриториальной «Империи» и «биовласти» может противостоять лишь «плюральная сингулярность», причем субъектом протестного действия выступает, по сути, постиндустриальный (постфордистский) служащий. Э. Лакло и Ш. Муфф предлагают развивать незавершенный проект модерна в сторону «радикальной демократии». Иммануэль Валлерстайн также считает необходимым расширить завоевания «демократии»: демократия должна состояться не только как политический, но и как экономический строй. Политическая программа демократического общества — всеобщее избирательное право и национально-государственный суверенитет — была, согласно Валлерстайну, реализована в рамках либеральной программы буржуазного общества, однако вторая часть этой программы (благополучие) не может быть осуществлена в рамках капиталистической системы. Демократия в этом — экономическом — смысле подразумевает: 1) разумный доход (рабочее место и, позднее, пенсия); 2) доступ к образованию для детей; 3) адекватное современным требованиям медицинское обслуживание (при постоянном росте минимального приемлемого уровня каждого из этих требований). «Но обладание этими правами на том уровне, которого люди на каждый день требуют, невероятно дорого даже для богатых стран, не говоря уже о России, Китае, Индии. Единственный способ, чтобы *каждый* действительно имел больше, — радикально изменить способ распределения мировых ресурсов по сравнению с тем, что мы имеем сегодня»³. Сознательной движущей силой этих преобразований являются, согласно Валлерстайну, новые «антисистемные движения», под которыми понимаются движения не притесненного большинства («патентованного» пролетариата), а движения «меньшинств», которые имеют существенно диверсифицированный характер и не должны стремиться к централизованному согласованию своих усилий. Правда, не дается никаких внятных тактических и стратегических рекомен-

¹ Каллиникос А. *Антикапиталистический манифест*. М., 2005. С. 96.

² Любопытную классификацию этих движений см. в главе «Разновидности и стратегии» цитированной работы А. Каллиникоса.

³ Валлерстайн И. *Анализ мировых систем и ситуация в современном мире*. СПб., 2001. С. 385.

даций относительно того, каким образом эти новые антисистемные силы могут «радикально изменить способ распределения мировых ресурсов». В качестве движущей силы возможных преобразований в миросистемной теории выступают некие натурализованные сущности, вроде Кондратьевских циклов, заменяющие прежние марксистские детерминанты общественного развития, тогда как функция интеллектуалов, этих инженеров и организаторов общественных преобразований в классической теории, сводится к производству «утопий» (примечательно, что об утопии говорит и Р. Рорти, принадлежащий к совершенно иному политическому лагерю).

Такого рода теории не обладают целостностью и системностью классического марксизма, порождая бесконечное число вопросов об идеологии, стратегии и тактике возможного протестного действия, на которые не дается никаких ясных ответов. Само это протестное движение оказывается инкорпорированным в рамки системы капитализма, понимаемой, в свою очередь, как наиболее демократическая из возможных *политических* систем. Несмотря на внешнюю протестную риторику, большинство этих теорий представляет собой, на наш взгляд, терапевтический момент самой капиталистической системы, позволяющий канализировать критические интеллектуальные настроения в форме текстов, не имеющих серьезного практического смысла за пределами узкого университетского и околоуниверситетского пространства. Капитализм вбирает в себя протест, превращая его в момент своего собственного движения в заданных рамках академического капитализма.

Перманентная буржуазная революция

Кризис антикапиталистической альтернативы является моментом более общего вопроса о том, почему все же система, созданная Революцией², проиграла системе, созданной Революцией¹. Для понимания сущностной причины этого нам представляется продуктивным обращение к концепции «перманентной революции» Троцкого. Взяв за отправную точку эту концепцию, мы формулируем следующей тезис: буржуазная система приобрела невиданную устойчивость за счет того, что смогла сделать революцию имманентным структурным моментом своего существования. Социалистическая система, напротив, проиграла буржуазной именно потому, что не смогла реализовать в себе этот момент.

В понятие «перманентной революции» Троцкий включал три составляющие. Во-первых, это переход от буржуазной («демократической») революции к социалистической. Этот признак играл важную тактическую роль для обоснования необходимости перехода (не предусмотренного классическим марксизмом) от буржуазной к социалистической революции в России. В силу этого можно рассматривать этот признак как

исторически локальный по своему значению (хотя Троцкий стремится возвести его непосредственно к Марксу). Однако возникший в результате социалистической революции новый порядок, согласно Троцкому, мог приобрести устойчивость лишь при соблюдении двух других условий, представляющих для нас здесь главный интерес. А именно, за счет постоянного внутреннего революционизирования нового социального и культурного порядка и перманентной экстернализации революции, ее импорта за границы нового социалистического государства.

Момент внутреннего революционизирования Троцкий характеризует следующим образом: «Общество непрерывно линяет. [...] Революции хозяйства, техники, знания, семьи, быта, нравов разворачиваются в сложном взаимодействии друг с другом, не давая обществу достигнуть равновесия. В этом — перманентный характер социалистической революции как таковой»¹.

Наконец, необходимость экстернализации революции обосновывается Троцким следующим образом: «Международный характер социалистической революции, составляющий третий аспект теории перманентной революции, вытекает из нынешнего состояния экономики и социальной структуры человечества. Интернационализм не есть отвлеченный принцип, но лишь теоретическое и политическое отражение мирового характера хозяйства, мирового развития производительных сил и мирового размаха классовой борьбы. Социалистическая революция начинается на национальной почве. Но она не может на ней закончиться. Сохранение пролетарской революции в национальных рамках может быть лишь временным режимом, хотя бы и длительным, как показывает опыт Советского Союза. Однако при изолированной пролетарской диктатуре противоречия, внешние и внутренние, растут неизбежно вместе с успехами. Оставаясь и далее изолированным, пролетарское государство в конце концов должно было бы пасть жертвой этих противоречий. Выход для него — только в победе пролетариата передовых стран. С этой точки зрения, национальная революция не является самодовлеющим целым: она лишь звено интернациональной цепи. Международная революция представляет собою перманентный процесс, несмотря на временные снижения и отливы»².

¹ Троцкий Л. *Перманентная революция*. М.-СПб., 2005. С. 310–311. (Показательно, что цитируемый сборник Троцкого выпущен в одном из крупнейших современных российских издательств, отличающихся своей «всеядностью». Книга выпущена в серии «Азбука революционера», а рекламный слоган на ее обложке звучит так: «МОЛИТЕ БОГА, ЧТОБЫ ЭТА СЕРИЯ НЕ СТАЛА НАСТОЛЬНОЙ!». Это простое наблюдение дает весьма убедительное подтверждение развиваемым здесь тезисам).

² Троцкий Л. *Перманентная революция*. М.-СПб., 2005. С. 311.

Если мы теперь сопоставим буржуазную и социалистическую систему на предмет соответствия двум последним критериям «перманентной революции», то необходимо признать, что им удовлетворяет только современная капиталистическая система. «Ускорение» — одна из базовых характеристик системы современного капитализма¹, в которой «революции хозяйства, техники, знания, семьи, быта, нравов разворачиваются в сложном взаимодействии друг с другом, не давая обществу достигнуть равновесия». Точнее говоря, речь идет не об индустриальном капитализме, а о позднем (или постиндустриальном) капитализме, в котором это революционизирование стало объективной характеристикой, вытекающей из хозяйственной специфики этого общества. В первую очередь, это связано с динамикой технологического обновления производства. Индустриальный капитализм, разумеется, динамизировал производство. Но эта динамика, достигающаяся за счет промышленной революции и системы разделения труда, на протяжении XIX — первой половины XX вв. не вела к нарушению базовых антропологических характеристик участников этого производства («базовых» в том смысле, как они нам известны на протяжении всей предшествующей истории человечества).

Имеется в виду, в частности, следующее обстоятельство: классический капиталистический пролетарий, освоив в процессе своего воспитания и образования определенный набор знаний и навыков, приобрел профессию на всю жизнь (в этом он мало чем отличался от представителя традиционного аграрного общества). Исходя из этого отстраивалась также вся система образования индустриального капиталистического общества, определяющая характер культурных предпочтений и социальных навыков индивида. Постиндустриальное общество радикально меняет эту систему, разрушая устойчивое равновесие плана человеческой жизни. Скорость технологического обновления производства не совпадает больше с ритмом смены поколений субъектов этого производства и антропологически соразмерным циклом образования и воспитания. Современный субъект производства находится в ситуации постоянной переквалификации, что ведет, в свою очередь, к революционизированию структуры и технологий образования. Фактически, индивид непрерывно находится в положении «обучающегося», то есть в положении ребенка. «Люди больше не взрослеют»²: взрослость исчезает из жизни, тогда как «детскость» становится не только объективной характеристикой человеческого существования в соответствии с указанным критерием непре-

¹ Систематическое рассмотрение значения «ускорения» для современного общества см., в частности, в работе: Hartmut R. *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*. Frankfurt a. M., 2005.

² Формула Одо Маркварда. См.: Марквард Одо. *Эпоха чуждости миру?* // Отечественные записки. № 6(15). 2003.

ровного обучения и переобучения, но и культурным образом, определяющим стиль жизни и поведения современного человека.

К этому «базисному» признаку добавляется также вся система технологических преобразований быта, скорость обновления и тотальная маркетизация культурных продуктов, информационный взрыв, революционизирование семейных отношений (например, в форме разрешения гомосексуальных браков) и стратегий сексуального поведения. Совокупность всех этих изменений и создает в постиндустриальном капитализме ситуацию, когда, выражаясь словами Троцкого, «общество непрерывно линяет». Очевидно, что социалистическая система, ключевой характеристикой которой на позднем этапе является «застой», а главным абстрактным императивом — «ускорение», была обречена на проигрыш капиталистическому строю, сумевшему реализовать в себе этот базовый признак «перманентной революции». Крах социалистической системы в этом отношении лишь подтвердил классическое марксистское представление о первостепенной важности базисных производительных сил и, напротив, вторичном характере надстроечных характеристик системы. Идеология и политическая система сами по себе оказались не в состоянии решать задачи, относящиеся к уровню производства и технологии.

Что касается последнего признака «перманентной революции» — ее экстернализации, то на этом моменте, пожалуй, не имеет смысла долго задерживаться. К такого рода экстернализации стремилась как социалистическая, так и капиталистическая система. Социалистическая система, однако, оказалась намного скромнее и сдержаннее в своих притязаниях на экспорт революции, чем можно было бы ожидать, исходя из ее идеологической риторики. Во всяком случае, таковой она предстает уже в сталинский период, который, фактически, стал периодом свертывания широкой революционной программы Троцкого. Социалистическая система не смогла выработать столь же универсальной, квазирелигиозной идеологии, которую смогли сформулировать представители капиталистического мира для обоснования военной экстернализации своей системы. И это несмотря на то, что классический марксизм, как уже отмечалось выше, имел ресурсы для создания такого рода идеологии (эти ресурсы использовали западные неомарксисты, но для своих локальных целей). Капиталистическая система смогла выработать универсальную гуманистическую доктрину, в центре которой находится индивид, как базовая ценность, наделенная неотъемлемыми правами (доктрина «прав человека»). Причем эта доктрина продолжает с успехом использоваться и после эпохи великого противостояния для решения все той же задачи — экспорта и интернационализации капиталистической системы как необходимого момента перманентной буржуазной революции. Этот религиозный дух, о котором писал уже Токвиль, наглядно обнаруживает

себя, в частности, в риторике «крестового похода» США против терроризма за идеалы демократии. Экстернализация революции, бремя которой взяли на себя в данном случае Соединенные Штаты, является при этом необходимым структурным моментом капиталистической системы как таковой, а не случайной прихотью страны-гегемона.

Наконец, говоря о «чистой» революции, мы отметили еще один принципиальный ее признак: усиление центральной исполнительной власти. В этой связи можно отметить, что также и в этом отношении современная капиталистическая система несет в себе признак перманентной революционности. Для обоснования этого тезиса здесь мы считаем достаточным сослаться на Дж. Агамбена, который в своей работе о чрезвычайном положении неустанно проводит мысль о том, что, начиная с Французской революции, но особенно интенсивно после Первой мировой войны, западная политическая система функционирует во все более интенсифицирующемся режиме чрезвычайного положения. Это в политическом смысле и означает расширение возможности исполнительной власти действовать вне и помимо правовой и законодательной сферы. В частности, Агамбен пишет: «Парадигма чрезвычайного положения оказывает такое давление, что вся политико-конституционная жизнь западных обществ все больше начинает принимать новую форму, которая, пожалуй, только в наши дни приобретает свои полные очертания»¹; «она (машина чрезвычайного положения — В. К.) продолжает функционировать почти безостановочно — начиная с Первой мировой войны, в эпоху фашизма и национал-социализма и так до настоящего времени. Но только в наши дни чрезвычайное положение получило всемирное распространение. Нормативный аспект права может быть безнаказанно обесценен; наперекор ему может выступить власть правительства, которая за границей игнорирует международное право, во внутренней политике вводит перманентное чрезвычайное положение, а потом делает вид, что все еще использует право»².

«Театральные революции»

Достигнутый вывод о том, что современная капиталистическая система приобрела все атрибуты перманентной революционности, позволяет по-новому взглянуть на целый ряд специфических характеристик этой системы. В частности, нет ничего удивительного в том, что во второй половине XX в. экономический либерализм и капиталистический индивидуализм (например, в сочинениях Айн Рэнд) перехватил у протестных сил революционный пафос и революционную риторику. Вообще, нельзя

¹ Agamben G. *Ausnahmezustand*. Frankfurt a. M., 2004. S. 21.

² Agamben G. *Ausnahmezustand*. Frankfurt a. M., 2004. S. 102.

не отметить, что в плане риторики *радикализма* российские либертарианцы являются зеркальными двойниками представителей противостоящих им левых течений. Выбор того или иного направления обусловлен в данном случае индивидуально-случайными факторами при сохранении широкой общей базы пафосных склонностей и предпочтений у представителей того и другого лагеря¹.

Однако возможности капиталистической перманентно-революционной системы оказались намного шире. Она, в принципе, стала способна «снимать» большинство протестных движений, превращая их в дополнительный ресурс собственной перманентной революционности. Тем самым система приобрела характер фактически неограниченной эластичности, неведомый эпохе раннего и индустриального капитализма с ее жесткой дисциплинарной системой (1968 г. следует, на наш взгляд, рассматривать как рубеж перехода от старой дисциплинарной системы к новым, эластичным формам контроля и нейтрализации). Можно также выразить эту особенность современного капитализма, сказав, что его корупционный потенциал достиг своего мыслимого потолка. Проще всего это проиллюстрировать на примере художественных практик. Стоит какой-то из них завоевать сколько-нибудь значительный авторитет, как ее продукция немедленно переводится в разряд ходового товара со всеми вытекающими отсюда последствиями для художника и его творений. В настоящее время невозможно себе представить эстетическую инновацию, которая не могла бы быть полностью поглощенной и переваренной капиталистическим рынком. Сказанное относится и к интеллектуальному творчеству. Система современного академического капитализма способна включить в себя и нейтрализовать любое протестное слово. Достаточно взглянуть на издательские брэнды современных протестных изданий или поинтересоваться институциональной привязкой и источниками доходов интеллектуальных предпринимателей, выступающих в роли критиков системы.

Пока мы, однако, говорили о развитых территориях современного капитализма. Ситуация является намного более сложной и драматической там, где динамика и имманентная революционность жизни не дотягивает до уровня «центра» системы. Здесь возникает множество вопросов, связанных с гипотетической возможностью Революции³ в форме, скажем, «исламской революции». Однако приходится признать, что на сегодняшний день такого рода протестные движения трудно трактовать иначе, чем традиционалистскую реакцию на вторжение капиталистиче-

¹ Сравнительное социально-биографическое исследование тех и других траекторий выявило бы, возможно, немалое сходство социального опыта и даже общую принадлежность к одним и тем же диссидентствующим группам в советский период.

ских отношений и ценностей (на «модернизацию»), вызванную неспособностью системы быть равноинтенсивной во всех своих частях. Эта проблема, очевидно, существует, но трудно сказать, что быстрее приведет к ее решению: утопия более справедливого распределения ресурсов, о которой говорит Валлерстайн, или же простое повсеместное внедрение в слаборазвитых странах персональных компьютеров стоимостью 100 долларов.

Если же обратиться к феномену «цветных» революций на постсоветском пространстве, то из предложенной здесь перспективы можно следующим образом оценить их роль и значение. В тех сегментах современного капитализма, которые неспособны обеспечить необходимую динамику имманентной революционности на социальном и культурном уровне, срабатывают механизмы экстатической компенсации, принимающие форму *театральной революции*. Революционность, равномерно распределенная в структуре развитых капиталистических стран, восполняется здесь локальным интенсивным переживанием катарсиса, внушающего участникам и одновременно потребителям данного революционного переживания чувство глубокого преобразования и интенсификации общественной жизни. Такого рода театрализованные действия имеют, разумеется, важный психотерапевтический эффект, снимая спазмы социальной «депривации»¹. Этим, правда, их значение, по большому счету, исчерпывается. Но и в этом моменте современная капиталистическая система демонстрирует свой революционный потенциал, поскольку допускает внутри себя экстренный, но, тем не менее, безопасный механизм прямого политического волеизъявления и действия.

ДЖОРДЖ МОНБИОТ

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ДЕЛО ПРОТИВ БЕЗНАДЕЖНОГО РЕАЛИЗМА²

Практически каждый, не согласный с тем, каким образом управляется мир, по крайней мере, смутно осведомлен о проблеме миграции власти в ту область, в которой не существует никакого демократического контроля. Впечатляющие усилия демократов из движения за всемирную

¹ Именно в таких социально-психологических терминах в свое время осмыслил причины «бунтов» Тед Роберт Гарр. См.: Гарр Т. *Почему люди бунтуют*. М.-СПб., 2005.

² *Перевод сделан по: Monbiot G. Manifesto for a New World Order. N.-Y., London, 2003. (Перевод Дмитрия Узланера).*

справедливость были потрачены именно на разрешение данной проблемы. Однако сами они не едины и формируют два противоположных лагеря. Первый состоит из тех, кто ищет способы заново демократизировать политику путем ее изъятия из (глобальной и международной) сферы, в которой нет никакой демократии, и возвращения ее в (национальную и локальную) сферу, в которой мы, кажется, сохраняем некий политический контроль. Они считают глобализацию проблемой и верят, что возрождение внутренней демократии зависит от сдерживания или полной ее отмены. Вторые — те, кто так или иначе ищут средства демократизировать глобализацию.

Наиболее распространенным и видимым выражением первого подхода является стратегия, известная как «локализация». Книга с таким названием была опубликована теоретиком торговых отношений Колином Хайнсом¹. Его предложения были приняты в качестве политической стратегии несколькими национальными партиями зеленых. Хайнс отмечает, что глобализация вовлекает рабочих разных стран в деструктивную конкуренцию, не дает национальным государствам и гражданам контролировать собственную экономику и помогает богатым стать богаче, усугубляя положение бедных. Тенденция к глобализации, как он предлагает, должна быть «изменена» путем «дискриминации в пользу локального» посредством протекционистских барьеров. Импорт следует постепенно сокращать до тех пор, пока каждая страна не станет производить настолько «много продовольствия, товаров и услуг, насколько может». Должны быть введены новые торговые правила, запрещающие государствам «принимать законы, [...] которые сокращают внутренний контроль за индустрией и услугами», а новый договор об инвестициях закрепит положение, согласно которому странам «будет запрещено сотрудничать с иностранными инвесторами настолько же благоприятно, насколько и с внутренними»². Согласно международному закону все страны будут вынуждены вводить одни и те же трудовые стандарты.

В то время как некоторые из мер, которые он предлагает, сами по себе обоснованны, цели его являются не только противоречивыми, но и несправедливыми. Существуют основания позволить беднейшим странам защищать свои экономики от импорта определенного вида, чтобы они могли развивать собственное производство. Все богатые страны поначалу были развивающимися. Нет никаких аргументов, основанных на справедливости, в пользу того, чтобы заставить богатые страны это делать. Если все нации будут защищать свои экономики, то богатство богатых стран может быть сокращено, но бедность бедных — нет. Если

¹ Hines C. *Localization: A Global Manifesto*. London, 2000.

² Hines C. *Localization: A Global Manifesto*. London, 2000.

мы последуем рецептам этого автора, то запрем бедный мир в его нищете. Торговля на сегодняшний день — это неэффективное средство распределения богатства между нациями, но она имеет огромный дистрибутивный потенциал; на самом деле, гораздо более перспективный, чем возрастающий поток помощи, который усиливает патернализм богатых и зависимость бедных и который, в любом случае, тяготеет к тому, чтобы быть направленным в те страны, которые считаются Западом «стратегически важными».

Однако Колин Хайнс в хорошей компании, потому что, как ни больно это говорить, подход многих выдающихся представителей движения за глобальную справедливость в богатом мире характеризуется поражающей непоследовательностью. Однажды мне довелось слушать лектора, который, как и Хайнс, требовал прекращения почти всех форм международной торговли, обосновывая это экономической справедливостью, а затем, отвечая на вопрос аудитории, осудил экономические санкции против Ирака. Если мы признаем — что, как кажется, делают практически все участники движения за всеобщую справедливость, — что прекращение торговли с Ираком или наложение торгового эмбарго на Кубу обедняет, а во многих случаях угрожает жизни людей этих стран, то мы должны также признать, что *всеобщее* прекращение большинства видов торговли будет иметь тот же эффект, но в большем масштабе.

Многие из представителей локализации требуют мер, которые являются лишь зеркальным отражением того, что продвигают рыночные фундаменталисты. Пока фундаменталисты настаивают на том, что торговля является ответом на все вопросы, представители локализации настаивают на обратном. Пока фундаменталисты утверждают, что не следует защищать ни одну экономику, локализаторы утверждают, что необходимо защищать все экономики. Они с полным правом осудили «односторонность» фундаменталистского подхода лишь для того, чтобы заменить его политикой таких же грубых обобщений.

Но, вероятно, большим противоречием в рамках предписаний Колина Хайнса является то, что его формула экономической локализации целиком опирается на усиление политической глобализации. Нигде в своей книге он даже не пытается затронуть этот момент или хотя бы признать его. Его модель подразумевает драконовский контроль за свободой национальных государств определять свою собственную экономическую политику — контроль, проводимый такими глобальными учреждениями, как альтернативный свод об инвестициях, общее соглашение о поддержке торговли и великолепная «мировая организация локализации». Они должны координировать глобальные потоки капитала, налогов, предотвращать финансовые спекуляции, всеобщей конкуренции, правил обмена и прощения долгов самым бедным странам. Автор не делает ника-

ких намеков на то, как глобализация такого рода может осуществиться, как она может оказаться демократически подотчетной или как может поддерживаться усиленная политическая кооперация одновременно с уменьшением количества экономических связей между странами. Конечно, все эти глобальные меры должны сопровождаться «максимальной передачей политической власти» и передачей «контроля над внутренней экономикой локальным властям»¹.

Существуют другие средства уменьшить издержки власти в период продвижения процессов глобализации, которым очень благоволят теоретики внутри этого движения (глобализации — Д. У.): обойти правительство и обычные политические процессы и попытаться влиять на глобальное будущее прямо, меняя те решения, которые управляют ежедневными установками нашей жизни. Ученый, специалист в области экономического развития, Дэвид Кортен в своей прекрасно написанной книге «Посткорпоративный мир»² признает потребность в политической кампании и глобальных мерах по распределению власти и богатства, но пытается оспорить власть транснациональных корпораций, главным образом, путем изменения поведения тех, кто в них работает, покупает их продукцию и владеет их акциями. Благодаря «осмысленному существованию» мы можем освободить себя «от навязанного порядка» принудительных институтов, которые ограничивают творческую жизненную силу, [...] чтобы быть поистине свободными, мы должны практиковать осмысленное самоограничение в использовании нашей свободы». Его предписания могут быть суммированы как «потребительская демократия», «демократия акционеров» и «добровольная простота».

Потребительская демократия, по словам Кортена, означает, что «в прекрасном рыночном духе вы голосуете своим долларом». Путем «того, что вы заставляете голодать капиталистическую экономику, вы можете “формировать осмысленный рынок”»³. Другими словами, аккуратно используя свои деньги, вы можете помогать создавать мир, в котором другие люди не эксплуатируются, а окружающая среда не уничтожается.

Никто, кроме рыночных фундаменталистов, не станет отрицать, что существует императив аккуратно тратить наши деньги. Если мы верим, что рабство — это неправильно, то мы должны стараться не помогать тем бизнесменам, которые в своем выживании зависят от рабства. Если мы хотим защитить тропические леса Амазонки, мы должны удерживать себя от покупки красного дерева, получение которого в некоторых частях Амазонки привело к огромным разрушениям. Но разумное потребление — слабая и очень размытая мера по изменению мира, и она, по

¹ Hines C. *Localization: A Global Manifesto*. London. 2000.

² Korten D. C. *The Post-Corporate World: Life after Capitalism*, 2000.

³ Korten D. C. *The Post-Corporate World: Life after Capitalism*, 2000.

большому счету, была преувеличена теми (хотя Дэвид Кортен не среди них), кто желает уклониться от неизбежных политических конфликтов.

Первая, наиболее очевидная проблема с потребительской демократией заключается в том, что некоторые люди имеют больше голосов, чем другие. От тех, у кого больше всего голосов — то есть от тех, у кого больше всего денег — вряд ли стоит ожидать желания изменить ту экономическую систему, которая сослужила им столь добрую службу. Если мы откажемся от принципа один доллар — один голос, который определяет то, каким образом управляется Мировой Банк и МВФ, на тех основаниях, что это — в высшей степени несправедливая мера решения политических вопросов, то нам также, конечно, придется отказаться от формулы изменения мира, которая опирается на добрую волю тех, кто имеет большее количество долларов. Должно быть очевидным, что те решения, которые принимаются в подобной системе голосования людьми, контролирующими финансовые потоки, не будут в совокупности решениями в интересах тех, не подобных возможностей.

Более того, те, кто стремятся принимать этические решения при покупках, вскоре обнаружат, что тот сигнал, который они пытаются послать, теряется в общем шуме рынка. Я могу отказаться от одной марки печенья и купить другую на том основании, что вторая была упакована с меньшим количеством отходов, но до тех пор, пока я не озабочусь тем, чтобы объяснить это решение тому производителю печенья, которого я не хочу поощрять, компания никак не поймет, почему я сделал это, ни даже то, что я вообще принял какое-то решение. Но даже если я объясню свою позицию, мой выбор, вероятнее всего, не достигнет цели до тех пор, пока он не будет скоординирован с выборами сотен (или, в зависимости от компаний, тысяч) других потребителей. Но потребительские бойкоты особенно трудно поддерживать. Потребители часто устают, отвлекаются и тонут в информации и в противоречивых заявлениях. Те организации, которые этим занимаются, докладывают, что в лучшем случае один или два коммерческих бойкота нации в год имеют высокую вероятность достигнуть того, ради чего они организовывались; если таких бойкотов больше, то сила потребителей распыляется. Следовательно, для большинства продуктов сила потребительского сдерживания ограничена.

Эта проблема усложняется тем фактом, что почти все, что мы покупаем, уже, как минимум однажды, было куплено до нас. Возьмем, например, рынок меди. Я против того, как обращаются с туземным населением в Западной Папуа в Индонезии владельцы огромных залежей меди в Тембагапуре. Сотни людей были насильно согнаны с земли; индонезийские солдаты, защищая владельцев, замучили и убили еще сот-

ни; «отходы» рудников повредили рыболовству, которое обеспечивало основной источник протеина для тысяч людей.

Я бы хотел, чтобы рудники либо целиком прекратили работу, либо функционировали только с согласия местного населения. Но я не покупаю медь напрямую. Большая ее часть приносится в мой дом водопроводчиками и электриками в форме, по большому счету, невидимых для меня компонентов электрического оборудования. Другими словами, я приобретаю ее как часть пакета товаров и услуг, за которую плачу единую цену. Мое воздействие на рынок меди зависит от передачи моей воли через целый ряд посредников. Если я готов испытать трудности, то я могу убедить электрика пойти назад в его компанию и попросить ее потребовать у поставщиков, которые, в свою очередь, должны обратиться к производителям, которым, в свою очередь, следует предоставить запрос в добывающую компанию с целью обнаружить, является или нет та медь, которую производитель использует в моем доме, добытой с согласия местного населения и без вреда для окружающей среды.

Даже если этот запрос каким-то образом дойдет до конца и обратно, а электрик уйдет с чувством полного отвращения, то все, что я вероятнее всего получу, так это не подлежащее проверке заявление, согласно которому все, безусловно, было добыто должным образом. В глазах окружающих я окажусь человеком, который вмешивается в чужие дела, с чувством хлопотуна и просителя, что вряд ли является политически оправданной позицией. А я буду не ближе, чем я был до этого, к закрытию рудников в Тембагапуре или к изменению правил, в соответствии с которыми они управляются.

Конечно, существует несколько организаций, таких как Ассоциация почвы и Лесной Управляющий Совет, цель которых — отслеживание всей цепочки и предоставление потребителям определений, является или нет та или иная продукция (лес и лесоматериалы) настолько экологически чистыми, насколько утверждают производители, позволяя потребителю совершать информированный выбор с помощью обычного изучения ярлыка на товаре. Но, несмотря на всю необходимость подобных организаций, их влияние обесценивается тем ограничением, которое свойственно всем потребительским демократиям: они не имеют никакой негативной власти. Я могу поздравить самого себя с тем, что я не купил какао, произведенное рабами, но моя покупка честно произведенного шоколада не помогает мне положить конец рабству, потому что это не отвращает других людей от покупки шоколада, производство которого покоится на рабстве. Это, конечно, не означает, что торговля, основанная на добровольной честности, бессмысленна — она дает богатство бедным людям — проще говоря, в то время как она поощряет хорошее поведение, она не порицает плохое поведение.

Если мы хотим избавиться от эксплуатации, то, конечно, больше смысла имеет начать с другого конца производственной цепочки — того конца, на котором и происходит эксплуатация. Если местное население желает закрыть рудники в Тембагатуре, тогда давайте начнем кампанию с целью помочь им сделать это так, чтобы нам более не приходилось мучаться по поводу того, является ли та медь, которую мы покупаем, произведенной там. Именно так западные корпорации были изгнаны из Бирмы, заготовка красного дерева была приостановлена в Бразилии, а биотехнологический гигант Монсанто был вынужден временно прекратить производство.

Потребительская демократия гораздо менее эффективна в уничтожении корня самой проблемы, чем прямая демократия. Слишком сильный упор на потребительскую демократию распыляет нашу власть. Это позволяет нам чувствовать, что мы принимаем решение, когда, на самом деле, это не так. Это индивидуализирует наше политическое действие, в то время как оно должно быть консолидировано.

Гораздо больше можно сказать об «акционерной демократии»: в то время как она страдает от большого количества недостатков, присутствующих потребительской демократии, она автоматически коллективизирует власть сознательных покупателей за счет того, что каждый год эти люди сходятся вместе на ежегодных общих собраниях компании, где они могут скоординировать свои интересы. Активные граждане, приобретающие доли в компаниях, деятельность которых они порицают, в таких случаях оказывают сокрушающее воздействие, но лишь тогда, когда их протест на этих собраниях является частью более крупных мероприятий, направленных на разрушение репутации компании.

«Добровольная простота» определяется Дэвидом Кортеном как «трата меньшего времени на работу ради денег, проживание жизни, менее загроможденной вещами, и трата большего времени на саму жизнь»¹. Это достойные цели (хотя позволить это себе могут только богатые), но вовсе не очевидно, что они приводят к политическому изменению.

Кортен прославляет жизни тех людей, которые прекратили трудиться на разрушительные корпорации, нашли работу, сопряженную с меньшим стрессом, и ныне тратят больше времени на саму жизнь. Он предполагает, что многие из этих людей используют имеющееся дополнительное время на борьбу за лучший мир. Конечно, трудно быть эффективным борцом за что-то, если труд за деньги занимает большую часть вашего времени и сил, так же верно то, что существует крайняя потребность, чтобы все богатые потребители уменьшили свое влияние на планету. Но Кортен, как и многие другие, преувеличивает то влияние, которое может

¹ Korten D. C. *The Post-Corporate World: Life after Capitalism*, 2000.

оказать это предложение. Выражаясь на языке политики, общим эффектом от добровольной простоты является простое ускорение круговорота занятости. Вместо того чтобы ждать до шестидесяти или до шестидесяти пяти лет, прежде чем покинуть корпорацию, многие делают это намного раньше. Этим они не ставят систему на колени; они просто-напросто дают дорогу более молодым, более жестким и более агрессивным работникам. Вовсе не угрожая корпоративной власти, это может даже усилить ее, так как более молодыми работниками легче управлять, и они менее осведомлены о последствиях своей деятельности. Уход рабочей силы из корпораций окажет на систему болезненное воздействие только в том случае, если это одновременно сделают все посредством всемирной неограниченной забастовки. И снова мы попадаем в ту же самую ловушку, заключающуюся в том, что те, кто больше всего склонен к забастовке, имеют наименьшее влияние на жизнь корпораций. Вовсе не очевидно, что после того как люди прекратили работать на корпорацию, они станут использовать свое время на борьбу с теми силами, которые предоставили им сбережения или пенсии, необходимые для того чтобы вести «упрощенную жизнь».

Действительно, две заявляемые цели добровольной простоты — поиск более простой и менее суматошной жизни и посвящение большего времени политической борьбе — являются противоречивыми. Если мы собираемся оказывать какое-либо сознательное воздействие на то, как функционирует мир вокруг нас, нам придется принять участие в добровольной сложности.

«Потребительская демократия» и «добровольная простота» просты и безболезненны для тех, кто их практикует. Нам следует, как я уже сказал ранее, относиться с глубоким подозрением к простым и безболезненным решениям, так как это предполагает, что подобным стратегиям никто не противостоит. Серьезная попытка изменить мир будет сложной и опасной. Другими словами, то, что кажется решением, на самом деле, может быть отказом от борьбы. Добровольная простота больше похожа на монастырь, чем на баррикаду: хотя она и может быть восхитительной для тех, кто практикует ее, молчаливое созерцание не пугает клетки власти.

Если попытка заменить глобальную экономику локальной экономикой закрывает бедный мир в его нищете, избегая вопроса о политической власти, и если потребительская демократия и добровольная простота уклоняются от власти, а не противостоят ей, тогда наши попытки заново демократизировать мир путем отказа от глобализации оказываются обречены. Это приводит нас, что признается большинством сегодняшних движений, к одной оставшейся возможности: мы должны демократизировать глобализацию. Но даже здесь мы сталкиваемся с еще

одним крупным различием. На этот раз между реформистами и революционерами. В то время как революционеры желают смести существующие глобальные и международные институты, реформисты, такие как финансист и автор манифеста «О глобализации»¹ Джордж Сорос, предпочитают работать внутри них.

Сорос предлагает ряд мер, таких как использование особых инструментов (финансовые резервы, выпускаемые международным валютным фондом), чтобы предоставлять помощь бедным нациям, изменение того способа, каким МВФ вмешивается в экономики стран бедного мира, что требует предоставления директорам Мирового Банка особых прав от тех правительств, которые их назначают. Это, по крайней мере, в том виде, в котором они есть, прогрессивные меры. Но, как настаивает Сорос, это предел того, чего мы можем достичь. «Было бы нереалистичным, — заявляет он, — ратовать за масштабные изменения в структуре международной финансовой системы [...]. Соединенные Штаты не собираются уступать своих позиций [...]. Я не вижу никакого смысла предлагать более радикальные решения в то время, когда власти не готовы даже рассматривать более умеренные решения, изложенные здесь»². Как и многие другие, Джордж Сорос рассматривает революционные альтернативы как безнадежно-нереалистичные.

Если мы хотим ограничить наши предложения тем, что «власти готовы принять к рассмотрению», тогда, мне кажется, мы должны просто сдаться и позволить властям управлять миром, не препятствуя им. Даже самые скромные реформы МВФ и Мирового Банка, которые предлагает Джордж Сорос, блокируются той конституцией, благодаря которой он пытается что-то исправить. Соединенные Штаты, как мы знаем, обладают правом вето на все конституционные изменения в этих организациях. На сегодняшний момент у них (США) нет никакого стимула отказаться от этого вето, а Сорос не вносит никаких предложений для того, чтобы этот стимул появился. В результате эти организации являются по определению нереформируемыми.

Существует другой способ взглянуть на эту проблему. Давайте допустим, что появились новые стимулы [...], посредством которых мы можем оказывать политическое давление, достаточное для того, чтобы убедить эту страну придержать свое право вето и позволить конституции Мирового Банка и МВФ измениться. Тогда нам удастся заставить единственную мировую сверхдержаву добровольно отказаться от своего статуса гегемона. Если это возможно, тогда возможно все. А если возможно все, то с какой стати мы должны ограничиваться теми реформа-

¹ Soros G. *On Globalization*. Oxford, 2002.

² Soros G. *On Globalization*. Oxford, 2002.

ми, которые, как признает сам Сорос, являются «ничтожными по сравнению с масштабом проблем, которые они должны разрешить»¹? Почему бы не принять те предложения, которые дадут нам то, что мы хотим, а не то, что, как мы воображаем, «власти готовы принять во внимание»?

«Реалистичные» меры Джорджа Сороса оказываются либо безнадежно нереалистичными, либо безнадежно неамбициозными. Конечно, как сам он признает, они не дадут никакого реального решения мировых проблем, даже в случае их принятия. Наверное, было бы более аккуратным описывать такие предложения как «безнадежно реалистичные». Они безнадежны в двух отношениях: во-первых, они являются безнадежными средствами для достижения изменений, во-вторых, они отражают отсутствие надежды.

Столь же важно то, что компромиссные решения не вызовут народный энтузиазм. Кто желает сражаться, возможно, *in extremis*, в крайнем случае, отдать свою жизнь за те решения, которые являются «ничтожными по сравнению с масштабом проблем, которые они должны разрешить»? Мы знаем, что реформа нелегитимных институтов вероятнее всего лишь усилит доверие к ним, а таким образом и размах их нелегитимной власти. Никакое решение, имеющее ценность для тех, кого подавляют, не заставит обратить на себя внимание, пока этого не потребует большое число людей не единожды, но постоянно, а они, конечно, не будут этого делать, если посчитают выдвигаемое требование нереализуемым.

Если бы люди, которые боролись за всеобщую демократизацию в Европе в XIX столетии, подошли бы к своей миссии с тем же надежным реализмом, с каким подходят реформисты, выступающие за глобальную демократизацию сегодня, то они бы говорили, что если власти не готовы гарантировать всеобщее избирательное право, они вместо этого должны согласиться на более «реалистичное требование», а их потомки сегодня могли бы оказаться в ситуации, в которой все те, кто зарабатывает, например, пятьдесят тысяч долларов в год или владеет двадцатью акрами земли, имели бы голос, но те, кто бы не соответствовал этому требованию, были бы его лишены.

Любая революция могла бы быть — и, конечно, была — описана как «нереалистическая» за несколько лет до того, как она произошла. Американская революция, Французская революция, избирательное право для женщин, взлет и падение коммунизма, мечты о движении за деколонизацию по всему миру были высмеиваемы теми реформистами, которые верили, что максимум, на что мы можем рассчитывать, так это препираться с существующими институтами и вымаливать небольшое освобождение от доминирующих сил. Если бы вы сказали в 1985 г., что

¹ Soros G. *On Globalization*. Oxford, 2002.

через пять лет мужчины и женщины с кувалдами будут сносить Берлинскую стену, мир бы рассмеялся вам в лицо. Все эти движения, как и наша глобальная демократическая революция, зависели от мобилизации масс и политической воли. Без этих компонентов они были бы невозможны. С этими компонентами они были бы неудержимы.

Реалистично то, что происходит. В тот момент, когда мы делаем что-то, оно становится реалистичным. По мере того как другие возможности отпадают, глобальная демократическая революция становится единственной реалистичной возможностью, которой мы обладаем. Это единственная стратегия, которая может освободить нас от глобального диктата ангажированного интереса. Это единственная стратегия, которая имеет вероятность быть успешной. На эпоху принуждения мы ответили эпохой несогласия. Это начало, а не конец нашей битвы. Время призывать век согласия.

БУНТ ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МИРА

АЛЕКСЕЙ РУТКЕВИЧ

ПРУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ И КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Предисловия и послесловия к трудам «классиков» вряд ли нужны тем, кто и без них хорошо знаком с их творчеством; невеждам они тем более не нужны, да они, скорее всего, и не станут читать первоисточник — можно обойтись словарем или учебником (если вообще есть потребность что бы то ни было знать). Я исхожу из того, что прочитавший эту книгу¹ имеет представление о философии истории Шпенглера, даже если и не одолел целиком «Закат Европы», быть может, знаком и с небольшой книжкой «Человек и техника», но, скорее всего, не владеет в достаточной степени немецким языком, чтобы познакомиться с другими трудами Шпенглера и произведениями его современников. В кратком послесловии я не стану излагать содержание таких работ, как «Годы решений»² или вышедших посмертно рукописей («Первовопросы»). Вряд ли стоит углубляться и в биографические детали. Разумеется, я не отрицаю основного принципа традиционной герменевтики, а именно, понимания целого из частей, а каждой части из целого; применительно к «Пруссачеству и социализму» это означает, что данное произведение можно было бы «вписать» в контекст жизни автора, сопоставить с прочими его текстами, показав, например, как «социализм» у Шпенглера вплетается в общую картину эпохи цезаризма, выступая как орудие воли к власти (либо насколько он морфологически соответствует сходным явлениям античности, вроде стоицизма); можно было бы, далее, связать политическую философию Шпенглера с его философией техники, сравнить с другими учениями, относимыми к «философии жизни» и так далее. Шпенглер был оригинальным философом, но ни один мыслитель не творит свою систему «из ничего». Шпенглер был наследником Ницше, он был в общих чертах знаком с учением Данилевского — список таких «влияний» можно было бы продолжить. Все сопоставления такого рода уже не единожды осуществлялись историками философии, взгляд которых неизбежно обращается к развитию немецкой мысли, привязке идей к тем или иным обуславливающим их мотивам. Поскольку Шпенглер был не только философом, но и чрезвычайно влиятельным публицистом, то для полноты картины мне понадобилось бы подробное изложение двух

¹ Шпенглер О. *Пруссачество и социализм*. М., 2002.

² Шпенглер О. *Годы решений*. М., 2006.

томов публицистики Шпенглера, с учетом изменений его политических позиций на протяжении всего периода Веймарской республики, разбор сложных взаимоотношений с целым рядом других мыслителей и политиков, вплоть до последних лет его жизни, то есть до того момента, когда его «культурпессимизм» стал объектом критики ранее ему симпатизировавших (правда, без взаимности) национал-социалистов.

Однако «Пруссачество и социализм» представляет собой работу, которая была написана в 1919 году, вскоре после подписания Версальского договора и провозглашения Веймарской республики. Это эссе является одним из первых документов «консервативной революции», и большинство читателей этой книжки составляли те, кто не интересовался философией и не читал вышедшего к тому моменту первого тома «Заката Европы». Сам Шпенглер хорошо понимал то место, которое занимает «Пруссачество и социализм» в публицистике того времени. В предисловии к сборнику своих политических трудов¹ он так писал о происхождении «Пруссачества и социализма»: «Так переживалась нами самая глупая и самая трусливая, самая безыдейная революция в мировой истории. Из отвращения и ожесточения по ее поводу летом 1919 г. возникла книга «Пруссачество и социализм», содержащая в себе ставшее знаменитым описание этой революции, вызвавшее крики ненависти и мне никогда не прощенное. С этой книги начинается национальное движение». Это «движение» получило впоследствии наименование «консервативная революция», а одним из его основных тезисов (или даже лозунгов) было намеченное Шпенглером соединение консерватизма и социализма в борьбе с либерализмом и парламентаризмом, с той «внутренней Англией», которая способствовала поражению Германии в мировой войне. То, что социалистическая критика капитализма восходит к консервативной, не является секретом для историков политической мысли — достаточно открыть «Коммунистический манифест», в котором описываются предшествующие марксизму варианты социализма, идеализирующие те или иные средневековые социальные формы. Первые политические альянсы между консерваторами и социалистами встречаются уже в 1830-е гг. во Франции. В Веймарской Германии возникло множество концепций, политических союзов, клубов, партий, которые по-разному выражали одно и то же основополагающее стремление к синтезу консерватизма и социализма («пруссский социализм», «немецкий социализм», «национальный социализм», «солдатский социализм», «национал-социализм»). Именно в этом контексте становятся понятными многие положения Шпенглера, которые вне его могут показаться надуманными и произвольными.

¹ Spengler O. Politische Schriften. Munchen, 1933.

«Консервативная революция» не является реализацией какой-то философской идеи или школы, это явление не столько философии (или даже политической философии), сколько политической жизни Германии в определенный период времени. Можно сказать, что в Германии это идейное течение возникло и получило широкое распространение в период между двумя массовыми феноменами. В августе 1914 г. миллионы немцев поют на улицах «Deutschland, Deutschland über alles»; вечером 30 января 1933 г. миллионы поют на улицах «Хорст Вессель»: «Die Fahne hoch, die Reihe tief geschlossen, SA marschiert mit ruhig festen Schritt». А между этими двумя событиями были: мировая война, революция 8 ноября 1918 года, Баварская советская республика и путч Каппа, инфляция 1923 года, Рапалло и Локарно, планы Дауэса и Янга, экономический кризис 1929 года, агония Веймарской республики и множество других событий. Но кроме экономической и политической истории Германии (а у нее были свои предпосылки и в бисмарковском рейхе и много раньше), можно было бы обратиться и к истории ментальностей, ибо «консервативная революция» была идейным выражением менталитета двух поколений немцев, и к истории идей, и к истории литературы — ведь популярности словосочетания «консервативная революция» поспособствовали два таких «классика», как Томас Манн и Гуго фон Гоффмансталь, а одним из главных ее идеологов был Эрнст Юнгер.

К этому добавляется еще одно обстоятельство: сходные идеи и концепции обнаруживаются практически во всех европейских странах. Социал-империализм ряда теоретиков Фабианского общества в Англии, учение о «пролетарских и капиталистических нациях» итальянских националистов, романы Мориса Барреса и *Action Française* Шарля Мораса во Франции, доктрина *Hispanidad* (не только у испанских традиционалистов, но и у Мигеля де Унамуно) — все эти идеи перекликаются с тем, что думали и писали немецкие авторы. Помимо сопоставления собственно политических идей возможны и иные сравнения, скажем, романов Юнгера с произведениями молодого Мальро или с «Цитаделью» Сент-Экзюпери, либо соотнесение живописи *Neue Sachlichkeit* с психологией *Jugendbewegung* или *Völkisch*. Все эти сопоставления правомерны, но данная статья не должна превращаться в рассказ о немецкой или даже европейской истории первой трети XX века. Я ограничусь краткой характеристикой «консервативной революции» в Германии и тех политических проектов, которые, в большей или меньшей мере, были связаны с «пруссским» или «немецким социализмом».

Парадоксальное словосочетание «консервативная революция» впервые было употреблено в Германии Томасом Манном в предисловии к антологии русских писателей в 1921 г. — оно однажды было употреблено Достоевским в «Дневниках писателя». Манн вряд ли знал, что Достоев-

ский имел в виду дискуссию 1870-х гг. по поводу книги русского отставного генерала Фадеева, впервые использовавшего это словосочетание. В этой дискуссии принял обсуждение известный славянофил Самарин, и Манн считал, что это выражение вышло из круга русских славянофилов, хотя в действительности Самарин весьма критически отнесся к проекту генерала, для которого «консервативная революция» означала усиление роли аристократии при известном ограничении центральной бюрократической машины, а тем самым и монархической власти. Популярность в Германии это слово обрело позднее, после речи «*Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation*» (1927) другого писателя, Гуго фон Гоффманстала, в которой говорилось о духовных поисках молодого поколения, о стремлении к *Gemeinschaft*, которое ведет к пересмотру идей не только Просвещения, но даже Ренессанса и Реформации. Речь завершалась словами: «Процесс, о котором я говорю, есть не что иное, как консервативная революция — невиданного в европейской истории размаха. Ее целью является форма, новая немецкая действительность, в которой сможет соучаствовать вся нация». Эта речь была вовсе не политической — речь шла о духовном единстве немецкой нации, — она лишь дала имя тому, что уже существовало под другими наименованиями: «Третий Рейх», «новый национализм», «революция справа» и, прежде всего, «идеи 1914 года».

Хотя у «консервативной революции» было много предшественников — достаточно вспомнить Ницше и Буркхардта, — как некая целостная идеология она формируется именно во время Первой мировой войны. Немалую роль здесь сыграли представители правого крыла социал-демократической партии (Кунов, Ленш, Винниг), в особенности И. Пленге, выпустивший в 1916 г. книгу «1789 и 1914. Символические годы в истории политического духа». Ранее по-немецки вышла книга шведского юриста Р. Кьеллена «Идеи 1914 года», в которой эти идеи противопоставлялись «идеям 1789 года». Пленге писал: «С 1789 года в мире не было такой революции, как немецкая революция 1914 года — революция собирания и организации всех государственных сил XX века против революции разрушительного освобождения в XVIII веке». Центральной мыслью Пленге было то, что война привела к истинной революции, причем революции социалистической. «Социализм есть организация», он предполагает плановое хозяйство и дисциплину, он кладет конец эпохе индивидуализма. Нация стала единым организмом, и это ведет к пересмотру представлений о свободах и правах. За лозунгами: «Свобода — в организации! Равенство — в организации! Братство — в организации!» — стояла политическая теория, восходящая к «замкнутому торговому государству» Фихте и интерпретация марксизма в духе правого гегельянства. Государство как дифференцированная тоталь-

ность, плановая экономика, требующая уничтожения идей либеральной эпохи, — вот центральные положения Пленге. Им принадлежит универсальное будущее: «Нам принадлежит XX век. Как бы ни завершилась война, мы являемся образцовым народом. Наши идеи будут определять жизненные цели человечества». Это предсказание Пленге реализовалось лишь отчасти, в виде советского коммунизма — в своих статьях 1918–1919 гг. Ленин откровенно писал, что образцом для русского коммунизма должна служить немецкая централизованная военная экономика. Он ссылаясь в то время именно на нее, а не на какие-то традиции русского «мира». Вальтер Ратенау был не только одним из организаторов военной плановой экономики, но одновременно ее теоретиком: его книги 1912–1917 гг. содержат целый ряд положений, которые будут воспроизводиться практически всеми теоретиками «консервативной революции» (включая теорию индустриального общества и философию техники — идея «механизации» и плановой регуляции не только экономики, но и всех сфер жизни). Ратенау пишет о том, что в условиях плановой экономики государство перестает быть классовым. Государство предстает как «второе, расширенное и бессмертное Я человека», как воплощение воли *Gemeinschaft*. У Ратенау обнаруживается даже основная идея Карла Шмитта: определение политического через оппозицию «друга» и «врага». Любопытный разговор произошел впоследствии между двумя участниками покушения на Ратенау, один из которых говорит другому (Эрнсту фон Заломону): «По существу, мы убили одного из наших. Он же был настоящим фашистом!». Ни фашистом, ни тем более национал-социалистом Ратенау, конечно, не был, и убили его за то, что он был сторонником *Erfüllungspolitik*, то есть выполнения условий Версальского мира. Но как практик он сыграл в 1922 году важную роль в формировании той политики, которая получила наименование *Ostorientierung* — именно он, будучи министром иностранных дел, подписал договор с Советской Россией в Раппало.

К «идеям 1914 года» имеют прямое отношение книги двух мыслителей, которые сыграли значительную роль в формировании «консервативной революции». Это «Гений войны» и «Причины ненависти к немцам» Макса Шелера и «Герои и торгаши» Вернера Зомбарта. В них мы находим ряд оппозиций, которые станут общим местом в сотнях книг и статей в 20-е гг. XX века. Прежде всего, это противопоставление немецкой *Kultur* и англо-французской *civilization* — оппозиция эта существовала с конца XVIII века (впервые она была сформулирована Кантом), а также коррелятивная ей оппозиция Германия–Запад (впервые она получила выражение в полемике Гердера против французского Просвещения). Эти оппозиции были общим местом немецкой публицистики начала XX в. — мы находим их и у авторов, которые были достаточно

далеки от «консервативной революции». Особенностью работ Шелера и Зомбарта является антибуржуазность, антикапитализм, ибо капитализм, индивидуализм, либерализм, утилитаризм, позитивизм, торгашество и так далее. — это порождения «английского духа». Для Зомбарта немецкое мышление и немецкое чувство заявляют о себе, прежде всего, как решительное отрицание всего того, что хоть как-то напоминает английское или вообще западноевропейское мышление и чувство, поскольку немец отвергает утилитаризм и эвдемонизм, пользу и наслаждение во имя воли и духа, долга и преданности, самопожертвования и героизма. Мировая война представляет собой схватку двух человеческих типов: героя и торгаша. Капитализм чужд немецкому духу. В докладе Шелера «Христианский социализм как антикапитализм», сделанном вскоре после революции 1918 г., выдвигается идея «национального государственного социализма». Шелер пишет о необходимости союза с Советской Россией в борьбе против Запада, а целью Германии провозглашается «антикапиталистическая политика». Итогом войны является поражение не только Германии, но и всех европейцев — войну выиграла Америка, а это на время дает господство «капиталистическому типу человека и хозяйства», тогда как все остальные нации делаются, «в большей или меньшей мере, рабами, даже пролетарскими нациями, по отношению к англо-американскому капитализму». Но время этого капитализма завершается, ибо «капитализм есть эпизод мировой истории, он пришел не так уж надолго». Это идол Маммоны и извращение человеческой природы.

Самое яркое выражение «идей 1914 года» мы обнаруживаем у великого немецкого писателя Томаса Манна. Именно у него в «Размышлениях аполитичного» этот комплекс идей впервые увязывается с консерватизмом, который понимается как противостояние Западу. На протяжении всей этой огромной книги Манн непрестанно цитирует Достоевского, называет его «пророком»; хотя Германия и Россия находились в состоянии войны, Манн пишет о союзе Германии и России как о «мечте своего сердца» (вопреки пропаганде того времени, в которой Россия именовалась не иначе, как «варварская страна»). Этот союз, согласно Манну, должен быть направлен против наступающего англосаксонского мира с его прагматизмом и утилитаризмом (в конце книги Манн пишет по-английски: “The world is rapidly becoming English”). Немцев и русских роднит близкое понимание человека и человечности, отличное от латинского и англосаксонского. Манн ставит вопрос о сходном противостоянии традиций этих двух стран Западу и спрашивает: «Разве у нас нет наших западников и наших славянофилов?». Тех, кого он презрительно именует «литераторами» (включая и собственного брата Г. Манна, с которым на несколько лет были прерваны все отношения), Манн относит к «западникам», то есть к тем, кто хотел бы разрушить Германию. Сла-

вянофильство в России Манн оценивает по негативному содержанию как реакцию на Запад, а по позитивному — как консерватизм. Именно такова его собственная позиция — консервативное противостояние Западу. Английская и французская пропаганда времен войны изобиловала штампами: «цивилизация» — «варварство», либо «цивилизация» — «прусский милитаризм» и т. п. Еще в статье «Мысли во время войны» (1914) Манн саркастически писал: французы полвека кричали о реванше, но когда дело дошло до войны, то вспомнили о «цивилизации». Они сделали Реймс крепостью, расположили пушки рядом с собором, а после того как немцы стали отвечать на огонь этих пушек и разрушили собор, то поднялся плач о «цивилизации», которой грозят «варвары». Но ведь средневековые соборы давно перестали быть частью их «цивилизации», с точки зрения которой церкви принадлежат к векам «фанатизма и предрассудков».

Эта «цивилизация» с ее демократией и «правами человека» насквозь фальшива и лицемерна. Национальная тема совпадает в «Размышлениях аполитичного» с консервативной: «Политический дух демократического Просвещения и «человечной цивилизации» не только является душевно чем-то антинемецким; он с необходимостью оказывается также повсеместно враждебным Германии». Истинным духовным врагом Германии является даже не Франция, реваншизм которой все же национален, а потому хоть как-то оправдан; настоящий враг — Англия и ее агенты, сторонники «гуманности» и «цивилизации». Этими агентами являются и «deutsche Sapadniki», которые желают тотального изменения национального характера немцев. За образец берется «мировая демократия», «империя цивилизации», «общество человечности», целью которых, однако, является исчезновение немецкого духа. Война поэтому определяется Манном как «консервативное сопротивление прогрессу», который Манн иронически и с явной отсылкой к Ницше называет «прогрессом от музыки к демократии». Войну Манн приветствует как открытую борьбу с этой цивилизацией — с плоско-гуманной, тривиально-декадентской, феминистски-элегантной Европой, «литературной как парижская кокетка», ставшей «слишком человеческой»; это война с «цивилизацией танго и тустепа», делячества, прикрытого высокими словами о правах и свободах. Эта цивилизация уже начала завоевывать Германию до войны, и война есть «восстание Германии против западного духа», дошедшего до нигилизма в результате Просвещения и демократического прогресса. Мир демократии, партийной политики, прав человека и прочих «идей 1789 года» признается им антинемецким, ибо Германия по своему духу консервативна и аполитична.

Еще более четко основные темы консервативной революции проступают в его дневниках 1918–1921 гг. Я приведу лишь две записи кон-

ца 1918 года: «Меня ужасают анархия, господство черни, пролетарская диктатура со всеми сопровождающими явлениями и вытекающими из нее следствиями *à la russe*. Но моя ненависть к ритору-буржуа должна была бы привести меня к желанию большевизации Германии, ее присоединения к России... Национально отчеканенный социализм... Вот немецкая задача — найти нечто политически новое *in politicis* между большевизмом и западной плутократией». В дневниковых записях за 1918–1919 гг. такого рода рассуждения встречаются неоднократно: ненависть к Антанте пересиливает неприязнь к большевизму (которая у обитавшего в Мюнхене в период Баварской советской республики Манна была самой непосредственной). В дальнейшем Томас Манн отходит от этих идей, становится одним из виднейших защитников республики, даже сторонником социал-демократии, а в начале 50-х гг. XX века он чуть не стал лауреатом Сталинской премии. Как идеи «консервативной революции» повлияли на литературные произведения Манна — это отдельная тема, причем речь должна идти не только о «Волшебной горе», но и о тетралогии «Иосиф и его братья».

«Пруссачество и социализм» Шпенглера стоит в одном ряду с такими произведениями, как «Третий Рейх» А. Меллера ван ден Брука, «Революция справа» Х. Фрейера, «Господство неполноценных» Э. Ю. Юнга, «Рабочий» Э. Юнгера — каждая из этих работ заслуживает детального анализа, равно как и экономические труды В. Зомбарта, политическая философия К. Шмитта или философия техники Ф. Юнгера. Мне приходится говорить о консервативной революции в целом, а это предмет продолжительных дискуссий немецких историков. Начало этим спорам положила книга Армина Молера, который первым употребил это словосочетание в духе социологии знания или политической науки для обозначения не идей и лозунгов 20–30-х гг. XX века, но как характеристику большой социальной группы — правых интеллектуалов, членов множества небольших политических партий, клубов, редакций нескольких десятков газет и журналов. Конечно, мы точно так же употребляем слова либерализм, социал-демократия или анархизм для характеристики не только идей и программ, но и тех партий и групп, которые являются носителями этих идей. Но в случае «консервативной революции» ситуация является куда более сложной, поскольку общим для всех были только неприятие Версальского договора и Веймарской республики, критика экономического и политического либерализма и парламентаризма. Но кто только не критиковал Веймарскую республику — не только коммунисты или нацисты были ее врагами, но и *Deutschnationale Volkspartei* Гугенберга, правое крыло в католической партии *Zentrum*, да и социал-демократов с их тогдашней ортодоксально-марксистской программой трудно представлять убежденными сторонниками либерализма и пар-

ламентаризма. Веймарскую республику не раз называли «республикой без республиканцев», президент которой, Гинденбург, был убежденным монархистом. Столь же мало говорит о «консервативной революции» типичное в нынешней леволиберальной историографии обвинение в «национализме». Сегодняшние либералы забывают о том, что немецкий национал-либерализм конца XIX века — начала XX века (с такими союзами как *Alldeutscher Verband*, *Flottverein* или *Kolonialgesellschaft*) можно в куда большей степени считать источником нацизма, чем немецкий консерватизм или социализм. Националисты были во всех партиях Веймарской республики, включая и марксистов с их интернационализмом (*Hofgeismarkkreis* у «молодых социалистов», «курс Шерингера» у коммунистов), а идеология «консервативной революции» отличалась и от нацистской, и от DNVP Гугенберга именно тем, что «нация» отвергалась во имя «империи».

Молер отнес к «консервативной революции» пять групп: *Volkisch*, *Bundnisch*, *Jungkonservative*, *Revolutionäre Nationalisten*, *Landvolk bewegung* (впоследствии он исключил последнее — движение крестьян северной Германии). Эта классификация в дальнейшем не раз воспроизводилась, уточнялась, подвергалась критике. Сам Молер был вынужден релятивизировать даже свой центральный тезис относительно основополагающей философской идеи, которую он поначалу считал общей для всей «консервативной революции», — «вечное возвращение» Ницше. На мой взгляд, его классификация является совершенно искусственной, поскольку практически все идеологи консервативной революции в молодости были *Bundnisch* (предвоенное *Jugendbewegung*), все они в той или иной степени были *Volkisch* и провозглашали *Nation in Gemeinschaft*, все считали себя консерваторами и революционерами в одно и то же время. Заслугой Молера является то, что он собрал огромный фактический материал и первым обратил внимание на социальную и психологическую общность военного поколения. Типичным представителем «консервативной революции» был вообще не кабинетный ученый или партийный доктринер, но «человек действия», достаточно образованный для того, чтобы в промежутке между теми или иными схватками написать несколько статей, роман, философское эссе, а затем снова взяться за оружие. Среди сотен приводимых Молером биографий имеются просто поразительные по авантюризму и готовности браться за оружие. Это поколение тех гимназистов и студентов, которые добровольцами пошли в армию во время войны, затем во *Freikorps* сражались в Прибалтике и Польше, подавляли Баварскую советскую республику, участвовали в подпольных и даже террористических организациях. Небольшая их часть в дальнейшем примкнула к национал-социализму, некоторые стали коммунистами, но в большинстве своем они входили в небольшие

организации и движения, враждебные как коммунизму, так и нацизму. Я приведу лишь одну характерную биографию: Беппо фон Рёмер, глава военизированного Bund Oberland, вернувшись с фронта, участвует в подавлении Баварской республики и в боях с поляками в Верхней Силезии, но в дальнейшем сотрудничает с национал-большевизмом Эрнста Никиша (кстати, видного деятеля в Баварской республике), затем поддерживает Landvolk под знаменами крестьянской войны 1525 г., становится коммунистом, принимает участие в Сопротивлении, готовит покушение на Гитлера, за что он и был расстрелян в 1944 г.

Среди представителей «консервативной революции» были как «левые люди справа», так и «правые люди слева». Их объединяет не только неприятие либерализма и парламентаризма, но и прежнего консерватизма. У них нет ни малейшей ностальгии по монархии и кайзеру, сословные предрассудки им чужды — сословия были отменены фронтовым братством. Они охотно цитируют Гераклита: «Война — отец всего», — и говорят о борьбе, решимости, подлинности, — в трудах Юнгера, Хайдеггера и Шмитта эти убеждения обретают черты философских и политических доктрин. Они убеждены в том, что прежние немецкие элиты отжили свое и должны освободить место новой. От прежнего консерватизма их отличает не только желание избавиться от сословий и классов, которые препятствуют Gemeinschaft, но и отвержение обычного для консерватизма обоснования земной иерархии ссылками на небесную, на извечно установленный божественный порядок. Вслед за Ницше они отвергают «удвоение мира» и трансцендентный моральный порядок. Идеи Ницше обретают черты активистской идеологии, основой которой является презрение к мирному буржуа с его прозаическим стилем существования, банальными эстетическими вкусами и мещанской моралью. Не только старые консерваторы и либералы, но и вожди социал-демократии оказались тупыми мещанами, на них лежит ответственность за проигранную войну и позорный Версальский договор, они являются «агентами Антанты» в Германии. «Немецкую революцию осуществили либеральные, а не революционные люди, в этом ее проклятие», — писал Меллер ван ден Брук в «Третьем Рейхе». Сразу после подписания Версальского договора он писал даже так: «Когда 9 ноября по стране был спущен черно-бело-красный флаг, то 10 ноября на его месте должен был развеяться красный флаг, чтобы вести на бой с капитализмом пролетариев и довести борьбу до конца». Шпенглер был совсем не одинок в оценке ноября 1918 г. как национального позора: революции ведут к подъему жизненной энергии, к готовности вести борьбу не на жизнь, а на смерть, тогда как в Германии победили трусы, болтуны и предатели. В момент отречения кайзера будущий первый президент Веймарской республики, марксист Эберт, сказал: «Я ненавижу революцию как грех». Вожди социал-демократии

оказались лучшими слугами либерализма, который был изображен Меллером так: «Либерализм хоронил культуры. Он уничтожал религии. Он разрушал отечества. Он был саморазложением человечества». Немецкие консерваторы приходят к мысли о неизбежности социализма, поскольку либеральный капитализм означал для них капитуляцию перед Антантой, тем мировым порядком, в котором Германии было уготовано место колонии.

Разумеется, за такого рода идеями стоят вполне реальные социальные противоречия того времени, например, пролетаризация значительной части среднего класса и безработица среди молодых выпускников университетов, понижение социального статуса и зарплат у тех «белых воротничков», которые все же находили рабочие места. Революционные идеи часто приходят в головы молодых интеллектуалов, которые лишены перспективы роста и карьеры. Инфляция начала 20-х гг. XX века разорила бюргерство, мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 г., ударил сильнее всего по Германии (встала работавшая на экспорт промышленность) — голод и нищета стали уделом миллионов безработных. Именно в это время происходит окончательное оформление основных политических проектов «консервативной революции». Любая классификация страдает односторонностью, но если брать исключительно политическую ориентацию множества авторов, кружков, печатных изданий и т. п. объединений, то хорошо заметны три различных течения. Каждое из них на свой манер сочетает цели внутренней и внешней политики, в каждом из них присутствует идея «немецкого социализма» («прусского», «национального», «народного», «солдатского» и т. п.). Каждый из трех проектов был связан с конкретными политическими группами и политиками последних лет Веймарской республики. При общем стремлении ликвидировать республику, разогнать парламент («говорильню» — *Schwautzbude*) и уничтожить все партии, отменить Версальский договор, эти проекты различались по социально-экономическим целям внутри Германии и по геополитическим целям во вне. Все они желали «Третьего Рейха», но представления о нем были весьма различными, и, разумеется, все эти проекты отличались от национал-социализма и были ему более или менее враждебны хотя бы потому, что расовая биология ими отвергалась как примитивный натурализм.

Первый из этих проектов иногда характеризуется термином позднего средневековья — «гибеллины». Работа Канторовича о Гогенштауфене была прочитана всеми идеологами этого направления, равно как и труд Л. Циглера о священной империи. Германия изначально была не нацией, но империей, а потому даже сам термин «нация» подвергается критике — это порождение либеральной эпохи. «Консервативная революция» здесь мыслится как восстановление вечной иерархии ценностей, а тем

самым и истинной земной иерархии. Главным идеологом этого направления можно считать Эдгара Юлиуса Юнга. Он дал такое определение: «Консервативной революцией мы называем восстановление всех тех изначальных законов и ценностей, без которых человек утрачивает связь с природой и с Богом и не может установить никакой истинный порядок». Всякое общество иерархично, иерархии нет лишь в куче мусора; старые немецкие элиты привели страну к хаосу, новая аристократия должна восстановить порядок. Либерализм здесь предстает как орудие разложения и разрушения. Консерваторов и революционеров объединяет враждебность не только к либеральным ценностям, но и к самому типу либерального человека — торгашу и парламентскому болтуну, ритору-буржуа, представителю «внутренней Англии» в Германии. «Консерватизм есть исторически необходимый революционный принцип, посредством которого будет отменено либеральное столетие», — писал Юнг в 1934 г. Консерватором является вовсе не тот, кто хватается за настоящее или мечтает вернуться в прошлое, но тот, кто свержает «неполноценных», уничтожает разложившееся общество ради вечных ценностей.

Работа «Пруссачество и социализм» положила начало не соединению идей консерватизма и социализма вообще, но именно той его трактовке, которая господствовала среди так называемых «младоконсерваторов». Пруссачество — вот немецкий социализм, где сам король говорил о себе как о первом слуге или чиновнике государства. Каждый индивид здесь — и работник, и солдат, занимающий свое место в иерархии. Промышленник или банкир является менеджером, то есть офицером или генералом в нации-армии. Ответом на «восстание масс» является новая аристократия, ценности которой сверху вниз спускаются на массы. Хорошо известен взгляд Шпенглера на русский большевизм, который, по его мнению, вообще не имеет ничего общего с марксизмом, но представляет собой народный бунт против насильственно навязанной верхами западной городской цивилизации — об этом подробно говорится во втором томе «Заката Европы», а политические следствия выведены в докладе «*Das doppelantlitz Russlands und die deutschen Ostprobleme*», произнесенном 14 февраля 1922 г. Шпенглер в молодости начинал учить русский язык, придавал огромное значение русской литературе: еще в письме 1916 г. он писал о том, что с Достоевского начинается новая культура, культура следующего тысячелетия (с которой «царизм и великая держава — Россия — не имеют ничего общего»), и сравнивал Достоевского с Данте, и с Вольфрамом фон Эшенбахом. К «рабочему вопросу» на Западе происходящее в России не имеет никакого отношения, поскольку Россия представляет собой едва рождающуюся культуру, тогда как Запад вступил в эпоху цивилизации. По существу, социа-

лизм для Шпенглера равнозначен цезаризму, истинными социалистами являются элиты, способные дисциплинированно служить высшей цели. Социализм такого рода не предполагает какого-либо особого экономического принципа: «Социализм, — писал Шпенглер в 1932 г., — предполагает частную собственность и присущую древним германцам радость от власти и добычи». В отличие от некоторых других «младоконсерваторов», которые все же пытались представить сословно-корпоративное государство как «немецкий социализм» (ссылаясь то на Фихте и Гегеля, то на О. Шпанна), Шпенглер высмеивал любой «коллективизм» как потребность человека черни раствориться в массе таких же слабых и недоразвитых. В «Годах решений» (1933) он писал, что его работа «Пруссачество и социализм» была неверно понята многими представителями «национального движения»: единственный социализм, о котором он говорил, сводится к воле и характеру, к прусской дисциплине.

Хотя Jungkonservative много писали об «органической демократии» и «немецком социализме», отличали себя от «реакционеров», желавших возврата к монархии, демократия здесь на деле сводится к сословному представительству, а социализм лишен всякого экономического содержания. Идеалом является авторитарное государство, все партии распускаются. Сохраняются прежние отношения собственности, но капиталистическая экономика регулируется и направляется государством. Итальянский фашизм подвергается критике за то, что идея корпоративного государства не была здесь реализована, равно как и за демагогическую мобилизацию масс. Власть прежних элит не должна ставиться под угрозу партийным аппаратом фашистской партии. Неггенklub Генриха фон Глейхена на конец 20-х — начало 30-х гг. XX века был клубом промышленной, военной и дипломатической элиты, поддерживавшей планы Гинденбурга и его окружения постепенно ликвидировать Веймарскую республику, сменив ее то ли на президентский авторитарный режим, то ли на монархию. Собственно говоря, не имевшие за собой парламентского большинства кабинеты Брюнинга (он был членом «Июньского клуба» в начале 20-х гг.) и фон Папена (члена «Клуба господ») осуществляли эту программу. Основные документы, вышедшие за подписью фон Папена, писались в 1932 г. ведущим идеологом «Клуба господ» Шотте, в 1933 г. его секретарем стал Э. Ю. Юнг. Геополитические планы после восстановления «закона и порядка» заключались в отмене Версальского договора, ремилитаризации, усилении роли Германии в Европе. При всей вражде к Антанте это не исключало будущего союза с Францией (сторонником его был фон Папен) в совместном военном походе против Советской России. Национал-социалисты после выборов 1930 г. стали опасным конкурентом, и в этих кругах не раз дебатировался вопрос об

одновременном запрете нацистской и коммунистической партии. Но в нацистах видели и потенциальных союзников в борьбе с «системой» (как именовалась Веймарская республика), их пытались «приручить». Хорошо известно, к чему это привело в январе 1933 г.: мечтавшие о восстановлении своей власти старые элиты оказались сметенными за пару месяцев и в большинстве своем стали служить новому порядку. Пытавшиеся противостоять были уничтожены, как Э. Ю. Юнг. Безусловно, немецкое сопротивление нацизму, ряд заговоров, вплоть до покушения на Гитлера в июле 1944 года, были героическими деяниями представителей этих элит, прежде всего, прусского офицерства. Но на них лежит и огромная ответственность за приход Гитлера к власти, а идея христианского Запада как империи (при доминирующей роли Германии) приобрела черты «нового порядка» и невиданного в истории варварства «расы господ». Пересмотр прежних позиций немецкими консерваторами начался слишком поздно. Только в эмиграции Герман Раушнинг мог написать в «Революции нигилизма» (1938): «Консерватизм как старой, так и новой чеканки стал жертвой ошибки, отождествив собственные политические принципы с лозунгами крайнего шовинизма. Консерватизм, конечно, национален, но не шовинистичен. Шовинизм есть революционная по своему происхождению форма якобинства. Консерватизм и монархизм видят свою задачу в установлении и сохранении долговременного порядка, тогда как национализм в узком смысле слова есть динамит, подрывающий всякий порядок. В нашем нынешнем западноевропейском положении консерватизм возможен лишь как федерализм, но никак не в смысле империи или гегемонии». Но к этим идеям немецкие элиты придут лишь в итоге сокрушительного поражения в развязанной ими войне.

Второй проект по аналогии с первым также часто называли, употребляя давнее слово «гвельфы». Хотя в прошлом оно означало партию, поддерживавшую папу в средневековых итальянских городах, уместно оно хотя бы потому, что представители этого течения считали, что империя равнозначна федерации или конфедерации народов Центральной и Восточной Европы. Основные идеи «гвельфов» были сформулированы еще в начале 20-х гг. в «Третьем Рейхе» и «Праве молодых народов» Меллером ван ден Бруком. Он был не только сторонником *Ostorientierung*, но и сторонником «немецкого социализма», образцом которого для него служила Пруссия. У каждого народа, — писал Меллер в 1920 г., — свой собственный социализм. Большевизм есть русский социализм, и столь же русским является то, что направляющая это движение воля находится в голове татарского деспота, засевшего в Кремле белых царей. Его стражу составляют азиаты, палачами у него служат китайцы. Из тех же самых миллионов, которые два года назад оставили войну, ибо хотели мира и только мира, образовалось новое войско. Из всей промышлен-

ности страны, которая встала вместе с революцией, работают лишь те предприятия, которые производят оружие. Русский человек терпеливо сносит тяжкую власть милитаризма новой автократии. Прежнюю полицейскую автократию царизма он воспринимал как петербургскую и западническую, то есть чуждую и враждебную народу. Но автократия социализма была избрана им самим, и он ей подчиняется, он готов сражаться и умирать под красным знаменем. Вторгаясь в Азию и угрожая Индии, большевизм вступает в конфликт с Англией, воюя с Польшей, он борется с Францией. «Он нацелен на наших врагов. Это связывает русский социализм с немецким. Не должны ли они совместно вести эту борьбу?». Но немецкий социализм может вступить в союз с русским только в том случае, если большевики признают немецкий социализм в его особенности, в его собственном праве. Большевизм мог возникнуть в стране с тонким правящим слоем, но он невозможен там, где вся нация вовлечена в организованный социальный порядок, где нет неграмотных, где народ привык к цивилизованной жизни, а пролетариат управляет сложными станками. Большевизм невозможен в Германии, но в ней возможен социализм. Большевизм возможен только в стране катастроф и разрывов, он динамичен. Социализм по-немецки — статичен, организован. Насажение монгольского ига и террора в Германии вызывает законное сопротивление. Различие двух социализмов, в конечном счете, упирается в различие русского и немецкого человека. Если признать это (и не навязывать непригодное другим), то возможен союз и совместная борьба с Западом.

Вывод Меллера таков: для нас возможна только восточная ориентация, а тот, кто ныне продолжает говорить об ориентации на Запад, ничего не понял в завершившейся войне. Войну с Западом немцы проиграли, тем самым социализм проиграл войну либерализму. «Молодые народы проиграли эту войну старым. Это осознала Россия. Поэтому она продолжает борьбу, ту борьбу, в которой рухнула Германия». Запад все равно будет вести войну с Россией, а от немцев, как от вассалов, будут требовать принять в ней участие — вот весь смысл ориентации на Запад.

Социализм неизбежен во всех странах, но он повсюду будет иметь свои особенности, свои жизненные формы. «В России он приобрел автократические формы. В Германии он примет корпоративную форму». Большевизм Германии не нужен, даже если он обойдется без террора. Немецкий социализм вообще не имеет ничего общего с классовой борьбой, он не обещает рая земного для пролетариев. Сегодня угнетаются и эксплуатируются не классы, а нации, и для «молодых наций» невозможно иная политика, кроме той, что кладет конец угнетению.

Возглавляемый Меллером Juniklub в начале 20-х гг. объединял людей самой различной политической ориентации (иные из них, как фон

Глейхен, после самоубийства Меллера в 1925 г. далеко отошли от его идей). К концу 20-х гг. основным выразителем этой идеологии был необычайно популярный и влиятельный журнал «Die Tat», возглавляемый Хансом Церером, который привлек к работе ряд талантливых публицистов, вроде экономиста Ф. Фрида или специалиста по Восточной Европе Г. Вирзинга. Существовали и другие группы и журналы, вроде журнала «Nahen Osten» последователя и издателя Меллера — Ханса Шварца. Основные идеи этого направления нашли свое выражение в трудах еще целого ряда популярных в то время авторов, например, Августа Виннига, в прошлом занимавшего видный пост в социал-демократической партии, но исключенного из нее за участие в Капповском путче, или Вернера Зомбарта с его экономическими и социологическими работами 20–30-х гг. (важнейшая из этих работ — «Немецкий социализм» — вышла в 1934 году). Стоит отметить и то, что сходные идеи получили распространение и среди части социал-демократов («молодых социалистов», журнал «Neue Blaetter fuer den Sozialismus») и представителей «левого» крыла в НСДАП (братья Штрассеры).

Представители этого направления в отличие от «гибеллинов» употребляли слова «социализм» и «революция» всерьез. Не будь словосочетание «национал-социализм» прочно связано с партией Гитлера, их вполне можно было бы охарактеризовать именно как «национальных социалистов». Еще в 1921 г. «Июньский клуб» вышел из щедро финансируемой немецким капиталом «Антибольшевистской лиги», поскольку идею «республики Советов» Меллер и его последователи считали вполне приемлемой. Революцию 1918 г. они критикуют именно потому, что она не была достаточно радикальной: вожди социал-демократии оказались мещанами и партийными карьеристами, желающими лишь места депутата в парламенте. Марксизм отвергается и потому, что он интернационален, а не национален, и потому, что он является зеркальным отображением либеральной доктрины — в обоих случаях доминируют экономический материализм и детерминизм. Марксистская доктрина есть порождение специфических условий Англии середины XIX в., она совершенно не учитывает роли государства в экономике и была опровергнута эпохой империализма и мировой войной. Основанием доктрин свободной торговли, мирового рынка было господство Англии в XIX в., а после войны — Англии и США. Германии в этой системе уделено место колонии. Именно поэтому примером для Германии должна служить Советская Россия, которая путем радикальной революции избавилась от прежней капиталистической элиты, выступавшей за включение в мировой рынок, и разорвала цепи, выйдя из системы колониального угнетения. Германия должна идти тем же путем, более того, она должна способствовать

антиколониальным революциям других народов. Но для этого необходимо свергнуть власть тех, кого марксисты называли «компрадорской буржуазией», то есть приказчиков и полицейских мирового капитализма. «Консервативная революция» мыслится здесь как соединение социальной и национально-освободительной революции. Истина социализма заключается в том, что рабочее движение вело на протяжении XIX в. борьбу за подъем, интеграцию в нацию исключенных из нее пролетариев. Итогом этой борьбы оказалось индустриальное общество, в котором все являются работниками. Разделение труда делает всех тружениками огромной машины, которой нужны квалифицированные специалисты, а не рантье, по одну сторону, или лишь продающие свою рабочую силу, по другую сторону. Эпоха свободной конкуренции привела к возникновению картелей, трестов, концернов, которые тесно связаны с государством, с механизмами регулирования и планирования. Этот целостный социально-экономический и технический организм уже не может оставаться классовым государством. Субъектом истории перестает быть тот или иной класс, им становится весь народ (Volk). «Революция справа» в этом смысле есть продолжение и завершение «революции слева», ибо именно она завершает становление бесклассового государства.

В условиях начавшегося в 1929 г. экономического кризиса публицисты журнала «Die Tat» идут еще дальше. Церер и Фрид убеждены в том, что век капитализма завершается. Собственно говоря, они развивают идеи Зомбарта о «позднем капитализме» (именно он, а не теоретики Франкфуртской школы, ввел этот термин). Фаза стагнации перешла в разрушивший мировой рынок кризис, принципы либерализма и свободной торговли доказали свою полную несостоятельность. Страны «священного союза капитализма», Англия и Франция, еще выживают за счет своих колоний, а США — за счет Латинской Америки (доктрина Монро), но Германия колониями не обладает, а потому она способна защищать свой суверенитет только в борьбе против международной капиталистической системы. Это означает выход из системы, автаркию, а это требует реаграризации Германии, чтобы снабжать себя основными продуктами питания. Выводы отсюда делаются радикальные. Церер и Фрид требуют введения государственной монополии на внешнюю торговлю, национализации банков, угольной и сталелитейной промышленности, морского и речного транспорта. Налоги на наследство должны существенно возрасти, требуются законы, регулирующие операции на бирже. Реаграризация предполагает национализацию поместий юнкеров, которые затем должны преобразовываться в кооперативы мелких собственников — крестьян. Значительная часть социал-демократической программы, которую не решились в 1918 г. реализовать трусливые вожди социал-демократии,

должна быть осуществлена движением, которое объединяет крайне левых и крайне правых и ориентируется на мелкую буржуазию, «белых воротничков», крестьян, чиновников, — все они пострадали от экономического кризиса ничуть не меньше рабочих и быстро революционизируются. Во внешней политике этот проект предполагает конфедерацию стран Центральной и Восточной Европы в противостоянии с Западом. *Mitteleuropa*, *Zwischeneuropa* — вот главное направление немецкой политики. Эта конфедерация может оказаться в союзнических отношениях с Советской Россией, и тогда единое экономическое пространство будет от Рейна до Владивостока. *Ostorientierung* не означает здесь *Drang nach Osten*, каких бы то ни было захватов, но мирное и взаимовыгодное сотрудничество со странами, которые ничуть не меньше Германии стали полуколониями Франции и Англии. Начиная с Меллера ван ден Брука, «гвельфы» отличались изрядной русофилией, а Достоевский у них вообще является одним из самых цитируемых авторов. В то же время они подчеркивают отличия немецкого социализма от русского, что связано с иной культурной традицией. Германия является истинным центром, серединой между западной рациональностью и восточным мистицизмом и квиетизмом. Пруссия, исторически возникшая из смешения немцев со славянами и литовцами, является своего рода мостом. Изначально националистический проект становится проектом конфедерации, что позволяет решить проблему национальных меньшинств (прежде всего, самих немцев в Судетах и Верхней Силезии).

В начале 30-х г. эта идеология была связана с политикой генерала фон Шлейхера, последнего канцлера Веймарской республики. О его связях с журналом «*Die Tat*» хорошо известно, имеются сведения о поддержке политической программы генерала частью крупной промышленности, причем наиболее современных отраслей (электротехника, химия), тогда как фон Папена, и в особенности Гитлера, поддерживали Крупп и другие «бароны» старых отраслей промышленности. Получивший прозвище «социальный генерал» фон Шлейхер хотел опереться на профсоюзы и отколоть от НСДАП левое крыло Г. Штрассера, переговоры шли и с социал-демократами. Эта коалиция так и не состоялась, а старый рейхспрезидент Гинденбург под влиянием своего окружения, и в особенности фон Папена, вручил власть Гитлеру. Генерал фон Шлейхер был застрелен вместе с женой 30 июня 1934 г.

Третий проект не мог получить какого-либо средневекового названия, поскольку тут мы имеем дело с идеологией, к которой термин «консерватизм» вообще может быть применен только с множеством оговорок. Одна из многочисленных небольших организаций, возглавляемая Эрнстом Никишем, дала ему наименование «национал-большевизм». В действительности, таких групп было много, просто Никиш был самым

талантливым мыслителем и публицистом в этих кругах. Первая группа — «гамбургский национал-коммунизм» (Вольфхайм, Лауфенберг) — возникла еще в начале 1919 г., и с апреля 1920 г. существовала под названием «Коммунистическая рабочая партия Германии», которая вела яростную борьбу с подчинявшейся Москве компартией. Но и в самой КПГ периодически появлялись националистические тенденции (так называемый Scheringerkurs на 1931 г.). Коммунисты активно поддерживали Landvolkbewegung, в котором социальные требования крестьян соединились с национальными. Я уже упоминал Freikorps Oberland во главе с Бенно Ремером; в 1920-е гг. существовало несколько групп bundnischer Sozialismus, в 1930-е гг. — Gruppe Sozialrevolutionäre Nationalisten (Карл Отто Петель), называемый по имени журнала «Gegnerkreis» во главе с Харро Шульце-Бойзенем, который затем эволюционирует к коммунизму, возглавляет одну из самых значительных групп Сопротивления «Красная Капелла» — она была целиком расстреляна в 1942 г. Журнал «Widerstand» Никиша был главным печатным органом, а наиболее оригинальным мыслителем здесь является формально не входивший ни в одну из групп Эрнст Юнгер.

Целью всех этих групп была социалистическая революция, которая одновременно выступала как национальная. Если гибеллины смотрят в прошлое, а гвельфы все же хотят спасти какие-то элементы сословного государства, то в «солдатском социализме» Юнгера и национал-большевизме Никиша прежнее общественное устройство отвергается полностью. Исходный пункт здесь национальный — либеральный капитализм воспрепятствовал тотальной мобилизации экономики во время войны, а потому она была проиграна. Обновление немецкого государства означает избавление не только от либерализма и парламентаризма; нельзя удовлетвориться авторитарным режимом, вроде итальянского фашизма; в Гитлере тут видят наемника крупного капитала, он — «проклятие Германии» (так называлась вышедшая в 1932 г. брошюра Никиша). Пруссия является образцом и для Никиша, который считал фашизм порождением католического «Юга». Для возрождения Германии нужно истребить власть денег и деление на классы, необходимы плановая экономика, коллективизация сельского хозяйства и уничтожение юнкерского сословия. Все это — программа национальной революции. Ostorientierung означает здесь экономический и военный союз с Советской Россией. Никиш, посетив СССР в 1931 г., в своих статьях прославляет опыт пятилетки, индустриализации и коллективизации и пишет о том, что планирование у поработенных народов не может быть менее глобальным и менее тотальным, чем у тех, кто их поработил. Революция должна распространиться на все колониальные страны. Пятилетний план в России демонстрирует всему миру, на какие жертвы может пой-

ти народ, которому угрожает мировая капиталистическая система¹. Век личных свобод кончился, пришла эпоха «коллективного планирования».

Рабочий у Юнгера и Никиша — это новый человеческий тип; в жизненном мире рабочего доминирует не индивидуальность, но дисциплина и разделение труда; свобода понимается как наличие работы, возможность творческой деятельности, а не как свобода бездельника-рантье или парламентская говорильня. Рабочий готов подчиняться суровой реальности совместного труда и исполнять приказы тех, кто наделен техническими и организационными талантами. Правят те, в ком рабочий видит «первого слугу, первого солдата, первого рабочего». Рабочий — это одновременно солдат, завоевывающий мир с помощью техники и преобразующий мир в «технический ландшафт», «имперское пространство». Природа организуется и видится в перспективе технического господства, а сама человеческая природа меняется вместе с искусственными органами техники и промышленности.

Эта социальная и техническая утопия, равно как и «тотальное» прочтение истории, напоминает не столько консерватизм, сколько труды левых гегельянцев (превращение «класса в себе» в «класс для себя» у Лукача, диалектику господина и раба у Кожева). Здесь отсутствуют какие бы то ни было отсылки к немецкому романтизму, характерные для всех немецких консерваторов. На место *Gemeinschaft* тут приходят тотальная мобилизация и планетарная техника. Исходный национализм сменяется универсальным образом всемирной революции и царства труда (у Никиша в этом смысле наиболее характерна работа «Третья имперская фигура»). Конец этого проекта был тем же, что и у остальных — внутренняя эмиграция одних, участие в Соппротивлении других. По

¹ Достаточно сравнить взгляд Никиша на индустриализацию в СССР с воззрениями «гибеллинов» и «гвельфов», чтобы понять различия и в остальных позициях. Журнал Церера «Die Tat» помещает осторожные аналитические статьи, в которых не отрицается чудовищная жесткость коллективизации и индустриализации в условиях диктатуры, но выводы делаются реалистичные: Советская Россия быстро меняется, она способна стать как полезным союзником, так и опасным соперником Германии. В журнале «гибеллинов» «Der Ring» пятилетние планы высмеиваются как «потемкинские деревни». Шпенглер был близок именно к этому — достаточно близорукому — взгляду. В «Годах решений» он писал о том, что ничего, кроме варварского насилия и угрозы голодной смерти, «азиатская деспотия» не принесла и не принесет. Большевизм в России умер — это единственная держава, которой он не угрожает, поскольку большевизм есть продукт разложения городской цивилизации Запада, тогда как в России она была просто сметена во время революции. Всякий социализм ведет к всевластию бюрократии, а в СССР попытки его осуществления привели к одичанию и голоду, которые способны сносить только «слабовольная и рожденная для рабского существования раса». Опасность эта азиатская деспотия представляет для Запада лишь потому, что она ведет подрывную пропаганду в колониях — таков вывод Шпенглера.

процессу подпольной организации Никиша проходило более ста человек, а сам он был приговорен к пожизненному заключению. Последней политической программой этой ориентации являются документы *Das Nationalkomitee Freies Deutschland*.

Общим для всех трех проектов является не только отрицание Версаля и Веймара. Все они объединяют немецких националистов, которые приходят к тому или иному наднациональному проекту: западная цивилизация и объединенная христианскими ценностями в империю Европа у гибеллинов, конфедерация народов Центральной и Восточной Европы у гвельфов или универсализм царства рабочего в национал-большевизме. И все отличаются от того проекта, который был осуществлен национал-социализмом. «Консервативная революция» не была чем-то вроде «троцкизма» в рамках национал-социализма, как определил ее Армин Молер. Это сближение с нацизмом, естественное для автора, который, будучи швейцарцем, перебрался в Германию, чтобы добровольцем вступить в *Waffen SS*, в дальнейшем переходило из одной книги в другую. Формула оказалась удобной для тех, кто во всяком немецком национализме видит либо предшественников, либо пособников национал-социализма.

Конечно, нечто общее с «консервативной революцией» имелось в нацистской пропаганде Геббельса (в прошлом — «левого», близкого братьям Штрассерам); даже Розенберг в «Мифе XX века» писал: «Тот, кто желает сегодня быть националистом, должен быть социалистом. И наоборот, социализм фронтовых серых шинелей 1914–1918 гг. станет государственной жизнью». Но для Гитлера и его окружения «социализм» был лишь демагогическим лозунгом. Отличия от «консервативной революции» связаны не только с тем, что ее идеологи не были расистами. Во внешней политике тот же Розенберг — вслед за известными тезисами Гитлера в «*Mein Kampf*» — видит главную цель национал-социализма в завоевании «жизненного пространства» на Востоке «для миллионов будущих немцев». Им отвергается имперский проект «гибеллинов» — любое такое объединение будет «Франко-Иудеи», а не Европой. Еще более резко он пишет о проекте «гвельфов»: без расового базиса *Mitteleuropa* будет служить чуждым Германии интересам, тогда как национал-социализм озабочен исключительно защитой интересов нордического человека. Целью является германизация Европы, а у России нужно отнять Украину и Кавказ. Поэтому он прямо обрушивается на Меллера и его наследников, писавших о возможном союзе Германии как с Советской Россией, так и с народами колоний в борьбе с Антантой. Расово неполноценные не имеют никаких прав, и нечего давать свободу всяким неграм и азиатам, им следует оставаться во власти нордической Англии. Розенберг выступает за союз с Британией и Италией, направленный против России (то, что Британия вообще вступила в войну с Германией в 1914 году, объяс-

няется происками еврейских финансистов). Есть интересы белой расы, а потому Британии нужно даже помочь в правлении Индией. Розенберг критикует и Шпенглера за пессимизм «Заката Европы» (правда, даже по претенциозной стилистике хорошо заметно, насколько автор находился под влиянием Шпенглера). Взгляд на Россию этого прибалтийского немца хорошо известен: ее населяет смешанное с татарами дикое население, которое является законной «добычей» для германцев. После войны Розенберг был повешен не за свои теоретизирования, но за то, как эти планы под его руководством осуществлялись на оккупированных территориях.

Все проекты «консервативной революции» принадлежат исторической ситуации, которая изменилась вместе с приходом Гитлера к власти. После войны и в условиях противостояния двух блоков все они утратили всякую актуальность. Немецкие консерваторы, которые видели в Америке главного врага в 20-е гг., стали лучшими учениками и союзниками, тогда как сторонники «немецкого социализма», желавшие быть союзниками СССР, могли теперь быть только исполнителями приказов из Москвы. Конечно, у «консервативной революции» были наследники. В теории к ней восходят концепции индустриально-технического общества Гелена, Фрейера, Форстхоффа, в какой-то мере последователями можно считать часть немецких правых (скажем, из журнала «*Criticon*»). Но это уже не консерваторы, а «новые правые», которые выступают как яростные противники любой плановой экономики. Любопытно то, что и правые, и левые в сегодняшней Германии сходным образом фальсифицируют историю, сводя «консервативную революцию» к национализму и шовинизму — одни со знаком «плюс», другие со знаком «минус». И тем, и другим не хочется вспоминать о том, что немецкие консерваторы были сторонниками социализма, понимали его радикальнее и глубже, чем «левые», да еще были яростными противниками *Rach americana*, что на сегодняшний день является поводом для немедленного обвинения в «правом экстремизме» (если не в «национал-социализме»).

В любом случае, для Германии «консервативная революция» является историей, здесь отсутствуют какие бы то ни было условия для ее возобновления. Этого нельзя сказать о других странах. На протяжении 60-70-х гг. в самых разных странах существовали движения, столь часто называвшиеся одним словосочетанием FLN — фронт национального освобождения, сочетавшие национализм и социализм. В России сегодня есть партии, прямо заимствующие основные лозунги «консервативной революции» — от автаркии и цезаризма («регулируемой демократии») до «национал-большевизма». В любой стране, включенность в мировой рынок для которой сводится к роли поставщика сырых материалов, где десяткам миллионов нищих противостоит прозападная элита, идеи «кон-

сервативной революции» вновь обретают плоть и кровь. История не завершилась, ее ход вряд ли пойдет по сценарию Фукуямы или Бжезинского. Мы не знаем, какие идеи будут в умах мексиканцев или индийцев, китайцев или индонезийцев через полвека. Как говорится в титрах под конец фильма Кустирицы «Underground»: «This history has no end».

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВСКИЙ

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: АПОЛОГИЯ ГОСПОДСТВА¹

Определение позиции

В современной российской публицистике о «консервативной революции» написано немало. Однако констатация этого факта едва ли может вызвать удовлетворение или радость. «Консервативная революция» стала модным словом и очень часто используется как прикрытие, маскировка для собственных идеологических маневров на усердно картографируемом интеллектуальном пространстве. Разумеется, это не проходит бесследно для наблюдающей и читающей публики, которая, как всегда, оказывается запутанной и сбитой с толку, если у нее самой нет надежных точек опоры.

Но могло ли произойти иначе? Ведь и на своей родине оксюморон «консервативная революция» употреблялся и до сих пор употребляется в интеллектуальных околополитических баталиях либо для уличения в антидемократизме и симпатиях к нацизму, либо, наоборот, для критики проамериканских оппонентов и как знак приверженности «другой Германии». Но отличие германской и российской ситуации велико. Если в первом случае о «консервативной революции» существует большая, хотя и полная оценочных суждений литература, мимо которой просто нельзя пройти ввиду иного устройства научного и медийного пространства Германии, то во втором случае весомые и полноценные высказывания отдельных философов и ученых остаются почти незамеченными. Отсутствие перевода основных историографических работ и самостоятельных исследований на русском языке, худо-бедно восполняемое спорадическими изданиями самих идеологов «немецкого движения», создает серьезные сбои в рецепции немецкой политической мысли 1920–30-х гг. — и это при том, что у российских политологов и публицистов есть отчетливые, продиктованные современностью желание и потреб-

¹ Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 07-03-00287а, и индивидуального исследовательского гранта Научного фонда ГУ-ВШЭ в 2005 г.

ность в такого рода осмыслении чужого опыта. Невзирая на отсутствие широкого научного контекста, культурная и политическая ситуация современной России, где можно довольно четко выделить линии «модернистов» и «консерваторов», предоставляет уникальную возможность разрабатывать по-прежнему острые темы «консервативной революции» («война» и «революция», «нация» и «империя», «техника» и «политика»), не оглядываясь на известные идеологические табу, которые имеют место в той же Германии. Однако что делать с этой свободой? Здесь вспоминается классический пример: Белинский, знакомящийся с Гегелем в переложении Бакунина, и все дальнейшие несчастья русской социально-философской мысли...

Можно ли, будучи нацеленным на позитивный научный результат, вообще говорить о библиографии «консервативной революции» (КР) на русском языке в последнее десятилетие? Если, с одной стороны, отвлечься от растиражированных в начале 90-х и весьма популярных фальсификаций в духе сближения «консервативной революции» с традиционализмом Р. Генона и Ю. Эволи или обозначений вроде «интеллектуально-научные изыскания СС», а с другой, от более или менее удачных попыток понять КР из перспективы «новых правых» (имеются в виду публицисты Армин Молер и Ален де Бенуа), то в сухом остатке у нас окажется всего несколько заметных исследований. Их можно разделить по двум подходам — историографическому и социологическому. Историографический подход представлен, главным образом, у двух авторов — О. Ю. Пленкова и С. Г. Алленова¹. Книга петербургского историка О. Ю. Пленкова «Мифы нации против мифов демократии» (1997) является одним из первых и наиболее полных очерков о КР на русском языке, однако зависит от либеральной германской историографии 60–80-х гг. Работы воронежского историка С. Г. Алленова представляют собой, напротив, тщательный и сдержанный анализ различных трактовок КР в немецкой, английской и французской литературе, дающий представление о богатстве оттенков «революционно-консервативной» идеологии.

О втором подходе можно говорить применительно к исследованиям А. Ф. Филиппова и А. М. Руткевича, у которых доминирует социально-политический анализ групп и идеологов КР в контексте общеевропейских феноменов консерватизма или тоталитаризма². В этой статье мы

¹ Пленков О. Ю. *Мифы нации против мифов демократии*. СПб., 1997; Алленов С. Г. *Консервативная революция в Германии 1920-х — начала 1930-х годов. Проблемы интерпретации* // Полис. №4. 2003. С. 94–107.

² См., напр.: Филиппов А. Ф. *Облик работника и революция справа: к истории радикального консерватизма* // Россия XXI. № 1/2. 1996; Руткевич А. М. *Консерваторы XX века*. М., 2006. Также нужно упомянуть предисловия и послесловия этих авторов к недавним переводам К. Шмитта, В. Зомбарта, О. Шпенглера.

хотим предложить третий возможный путь, который лежит по ту сторону историографии и социальной теории. Но пока задержимся на библиографическом вопросе, чтобы указать новейшие и наиболее актуальные исследования по нашей теме в западной литературе.

Последним крупным вкладом в изучение КР является совершенно новое переиздание легендарного, но во многом устаревшего труда Армина Молера (1920–2003), справочника «Консервативная революция в Германии 1918–1932»¹. По согласованию с автором его осуществил молодой коллега Молера Карлхайнц Вайсман. Он сохранил традиционное членение труда базельского историка и публициста, модернизировав его концепцию в соответствии с новым уровнем знаний и дополнив его современной библиографией — самой полной на сегодняшний день. Сильная сторона работы заключается в новом изложении пяти консервативно-революционных течений по молеровской классификации (фёлькише, младоконсерваторы, национал-революционеры, молодежное движение бундише и ландфольк). Вайсман дает более детальное описание газет и журналов, а также предлагает сместить акцент с национал-революционных авторов вроде Никиша на группы, сформировавшиеся вокруг Меллера ван ден Брука и Эдгара Юлиуса Юнга, как наиболее влиятельное течение в рамках КР. Это позволяет ему защитить позицию своего предшественника от критики Штефана Бройера, который вообще отрицает понятие «консервативной революции» и предпочитает использовать не менее спорное словосочетание «новый национализм». Как бы то ни было, справочник Молера-Вайсмана и исследование Бройера «Анатомия консервативной революции»² являются на сегодняшний день двумя крупнейшими и наиболее авторитетными работами по истории идеологических течений Веймарской республики.

Особого упоминания заслуживает стоящая несколько в стороне работа француза Жана-Люка Эвара «Эрнст Юнгер. Авторитет и господство»³. Несмотря на левые пристрастия автора, книга чрезвычайно интересна тем, что не пытается выделять типологию КР, а движется к смысловому ядру, к вычленению определенной политической философии консервативной революции, главное место в которой у автора занимает Эрнст Юнгер.

¹ Mohler A., Weißmann K. *Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch. Völlig überarbeitete und erweiterte Auflage*. Graz, 2005. Здесь приходится делать неприятную оговорку: в русской литературе о КР закрепилось совершенно неправильное написание имени Armin Mohler как «Армин Мелер» — видимо вследствие забавной контаминации двух имен Молер и Меллер (ван ден Брук).

² Breuer S. *Anatomie der Konservativen Revolution*. Darmstadt, 1993.

³ Evard J.-L. *Ernst Jünger. Autorité et domination*. Paris–Tel-Aviv, 2004.

Как уже было сказано, наша задача не сводится ни к историографии, ни к социальной теории: мы попытаемся осмыслить политико-философское измерение идеологических проектов КР или, иначе говоря, их политическую онтологию. При этом в словосочетании «консервативная революция» для нас важна, в первую очередь, его вторая составляющая: нам важно увидеть консервативных революционеров как *идеологов тотальной революции*. В антилиберальном комплексе идей КР мы выделяем приоритетную идею *господства в тотальном государстве*, связанную с легитимацией власти, отношением приказа и подчинения, а также выдающейся ролью «государственного мужа» или «фюрера».

Таким образом, в настоящей статье, которая выполняет функцию *Standortbestimmung*, мы пытаемся скорее поставить вопрос, установить значение проблемы господства и легитимации власти для *политической философии консервативной революции*. Классификация групп КР и ее критерии, подробное описание идеологом, сходств и различий между авторами и течениями, наконец, установление отношения КР к фашизму и национал-социализму остаются, бесспорно, важнейшими задачами для исследователя немецкой политической мысли 20–30-х гг. XX в. и, так или иначе, определяют горизонт нашего исследования. Однако мы выбираем лишь одну нить сложного идеологического комплекса и намерены, по возможности, следовать ей, поскольку, на наш взгляд, именно в аспекте вопроса об авторитете и господстве «консервативная революция» может рассматриваться как *целостный феномен*, интересный не только в исторической перспективе.

Определение КР можно давать, отталкиваясь от истории термина, как это делает, например, Армин Молер, начиная с первых формулировок у Томаса Манна, Артура Меллера ван ден Брука и Хуго фон Хофмансталя¹. Или следовать принципу Карла Шмитта и определять КР, конкретизируя образ врага — например, в виде марксизма, либерализма или Веймара и Версаля в целом². Также можно попытаться вскрыть смысл термина посредством анализа его употребления, прибегая к самоистолкованиям протагонистов КР. В частности, Молер использовал и эту возможность, однако мы никак не можем принять основной итог его размышлений — редукцию «мировоззренческого комплекса» КР к идее «вечного возвращения», выводимой из этимологии слова «революция» (от лат. *re-volvere* — обращаться, возвращаться) и, конечно же, из ниц-

¹ См. в первом издании: Mohler A. *Die Konservative Revolution in Deutschland*. Stuttgart, 1958. S. 18 ff. В новом издании: Mohler A., Weißmann K. *Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932*. S. 87–97.

² См. напр.: Breuer S. *Anatomie der Konservativen Revolution*. S. 49 ff.

шеанского комплекса¹. Итак, мы хотели бы воспользоваться содержащимися в термине подсказками, не забывая в то же время и о продуктивности дефиниции политического через оппозицию «друга — врага».

Очевидно, нельзя ограничивать рассмотрение КР только романтической философией государства и формированием германского политического самосознания в начале XIX в. Идеи «консерватизма» и «революции» имеют более длительную предысторию. Консерватизм вырастает из двух начал: с одной стороны, из защиты *societas christiana* от нападок теоретиков-обновленцев и нивелирующих тенденций абсолютизма, а с другой — из самой идеологии Просвещения. Во втором случае консерватизм выступает как «анти-Просвещение», которое с помощью просветительских же методов пытается выявить и устранить опасности, связанные с этим духовным течением². Отсюда понятно и значение Французской революции, которая не столько породила современные политические доктрины консерватизма, либерализма, демократии, социализма и национализма, сколько сыграла роль катализатора, вызвавшего ряд четких *политических решений и партийных размежеваний*. Что же касается революционной составляющей в консервативно-революционном комплексе, то ее также необходимо возводить к Французской революции и вызванным ею переменам.

Репрезентация авторитета

Консервативная революция демонстрирует ярко выраженные *авторитарные и антиэгалитарные черты*. И все же, несмотря на то, что ее представители противопоставляют свое мировоззрение и свои политические концепции идеологии Просвещения и порожденным Французской революцией политическим формам, консервативная революция именно в качестве *революции* стоит под знаком последней.

Если мы попытаемся рассмотреть КР в аспекте политической философии, то ее главный смысл окажется в *репрезентации авторитета, противопоставлении «легальности» и «легитимности»*. Отсюда объясняется, в частности, взывание к верховной власти, выступающей у разных авторов под разными именами, но имеющей один и тот же общий смысл. Ведь и «цезарь» Шпенглера, и «государственный муж» (Staatsmann) Фрайера, и «рабочий» Юнгера отвечают требованию легитимации

¹ Ср. знаменитые слова Меллера ван ден Брука из книги «Третий рейх», ставшей Библией всех правых, которые стремились к обновлению политической жизни и жизни нации в целом: «То, что сегодня считается революционным, завтра будет консервативным» (Moeller van den Bruck. *Das dritte Reich*. Berlin, 1923. S. 22).

² Mohler A., Weißmann K. *Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932*. S. 9–10.

в условиях ее отсутствия, в условиях дискредитации легальных демократических институтов¹.

Перед какой дилеммой оказываются апологеты господства и авторитета, равно как и те, кто практически реализовывал саму идею в рамках боевых террористических организаций 20-х гг. XX в. вроде «Организации Консул» капитана Эрхарда или позднее, в июне 1934 г.? Одна из весомых подсказок содержится в работах правоведа К. Шмитта, который, хотя и не принимал участия в политических организациях и заседаниях клубов, дал глубокое обоснование «децизионизма» (от лат. *decisio*, решение) в смысле *auctoritas, non veritas facit legem*, будучи вдохновляем политической философией «Левиафана»². А именно, речь идет о Гоббсовой дилемме легальности и легитимности, и попытки протагонистов КР решить эту дилемму так или иначе выливаются в стратегию «войны-революции»³.

Революция как война против «внутреннего врага» начинается с Французской революции, равно как и разделение легальности и легитимности. Во время заседания Генеральных Штатов 23 июня 1789 г. Байи встретил посланников короля знаменитой фразой: «Пойдите, скажите тем, кто вас послал, что мы здесь находимся по воле народа и покинем наши места лишь под натиском штыков». А слова графа Мирабо, ученика Маркиза де Сада, о том, что «собравшаяся нация не может получать приказаний», свидетельствовали о чем-то большем, нежели только о «независимости третьего сословия» или столкновении монархических и республиканских сил. Национальное Собрание провозгласило себя выразителем воли нового суверена, который занял священное место короля еще за несколько лет до того, как голова Людовика XVI покатилась по эшафоту на площади Революции (бывшей площади Людовика XV и нынешней площади Согласия). В нашем примере король — фигура легальности, Национальное Собрание воплощает легитимность; жест Мирабо демонстрирует, как легитимность сопротивляется легальности, когда последняя деградирует до уровня «силы».

¹ Вместе с тем необходимо отметить, что большинство представителей КР отвергали диктатуру одной личности, как ее видел Шпенглер: для Э. Ю. Юнга «цезаризм» был концом истинной культуры, Фрайер высказывался против всякой формы тирании и деспотизма, для Никиша он был неприемлем уже потому, что являлся римским изобретением, у Юнгера же «рабочий» предстает именно как «тип», а не как личность. Об этом подробнее см.: Breuer S. *Anatomie der Konservativen Revolution*. S. 97 ff.

² О значении «Левиафана» для Шмитта см. напр.: Филиппов А. Ф. *Критика Левиафана* // Шмитт К. *Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса*. СПб., 2006.

³ Мы используем удачный термин Ж.-Л. Эвара «*guerre-révolution*», который находит весомое подтверждение, в частности, в «Рабочем» Э. Юнгера: Evard J.-L. *Ernst Jünger. Autorité et domination*. P. 37.

Левиафан, «смертный Бог» Гоббса — как позднее «господин» Гегеля или Великий Инквизитор Достоевского, — может рассматриваться как одна из аллегорий легитимности. Большое значение имеет то, как *Суверен обосновывает закон*. Единственным надежным инструментом оказывается здесь манипуляция страхом смерти¹. Ибо трансцендентная ценность легитимности не может быть обоснована иначе, как провокацией — провокацией Суверена, который использует страх смерти в своих целях. С другой стороны, революционер также осуществляет провокацию, уничтожая этот символ несостоятельности политической власти и вызывая к свободе. И тот, и другой занимают трансцендентную позицию «вне закона» (*hors-la-loi*), иначе говоря, воплощают *харизматическую* истину духа законов. Новая репрезентация трансцендентного смысла авторитета как раз и составляет *идею революции*, которая оттесняет на задний план старую противоположность государства и природы, государства и общества². Эпохальный смысл революции заключается в том, что она показывает, как благодаря обоснованию негативной власти Левиафана можно включить факт насилия в теологию истории.

Революция и вопрос о господстве: О. Шпенглер, Э. Ю. Юнг, Х. Фрайер

Сама проблемная синтагма (или, если угодно, оксюморон) «консервативная революция» появляется тогда, когда понятия, которые были сформированы новоевропейской традицией, идущей, главным образом, от политической философии Гоббса, утрачивают свою очевидность, свою способность нести *политический* смысл, позволяя взамен манипулировать *идеологическими* смыслами. В этом главная черта революционной фразеологии (начиная с якобинцев) и пропаганды. «Революция», «авторитет», «право», «закон», «война», «мир» погружаются в релятивизм, используются в нигилистическом и тоталитарном духе, приводя к семантическим и герменевтическим смещениям³.

Кризис политического авторитета происходит в свете полярности революционного и авторитарного (или революционно-авторитарного) дис-

¹ «Левиафан», глава XXI: здесь показывается, что страх и свобода совместимы так же, как совместимы свобода и необходимость (Гоббс Т. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 163 и сл.).

² Анализ идеи революции в контексте возникновения нового типа политики см. в книге: Фюре Ф. *Постижение Французской революции*. СПб., 1998. С. 34 и сл. ед.

³ Например, о современном феномене «мировойны» см.: Михайловский А. В. *О войне и мире* // Отечественные записки. № 8. 2002; http://magazines.russ.ru/oz/2002/8/2002_08_35.html

курса, который противопоставляет уже не столько революционеров и контрреволюционеров, как то было еще в XIX в., а *революционеров и революционеров*. Ж. Сорель¹ противопоставляется К. Марксу, новое поколение фронтовиков — старому поколению социал-демократов, подлинная «немецкая социалистическая революция» (Шпенглер) или «революция справа» (Фрайер) — «Ноябрьской революции» или «революции слева». В действительности, модель такого противопоставления оказалась также предначертана Французской революцией: 1789 г. и 1793 г., критика революции от имени революции. Поэтому такая двусмысленность «революции под видом реакции», характерная для начального периода мировых и гражданских войн, в общем и целом снимает противопоставление революции и контрреволюции, традиции и прогресса. Консервативная революция выступает как тотальная революция.

Все протагонисты КР подчеркивают момент «революционного» решения во имя установления авторитарного режима. КР изначально *двусмысленна* (эквивокативна), ибо *одновременно преследует революционные и авторитарные цели*².

Возьмем, например, такую глубоко революционную работу, как «Пруссачество и социализм» (1919) Освальда Шпенглера, «Нестора военного поколения». Это оптимистическая и революционная книга, написанная в разгар «немецкой революции» и открывающаяся главой «Революция»³. Она дает яркое свидетельство того, что консервативные революционеры были еще большими революционерами, чем сами революционеры. У Шпенглера речь идет о продолжении подлинной «немецкой социалистической революции», которая, *на самом деле*, случилась не в ноябре 1918 г., а раньше, в 1914 г., совпав с началом Первой мировой войны. Вместе с тем, Шпенглер набрасывает не просто политический проект «прусского социализма»: это философия, которая продолжает и развивает ницшеанскую метафизику «воли к власти». Оттого-то здесь столь важна связь социализма, работы и власти. «Социализм означает власть, власть и снова власть. [...] Дорога к власти преуказана: лучшая часть немецкого рабочего класса объединяется с лучшими носителями старопрусского государственного инстинкта в обоюдной решимости основать

¹ Подробно влияние Сореля на КР исследуется в книге: Freund M. Georges Sorel. *Der revolutionäre Konservatismus*. Frankfurt a. M., 1972.

² Ж.-Л. Эвар: КР представляет собой бифуркацию между двумя модусами революции — этическим, подразумевающим идеал автономии, и политическим, подразумевающим идеальную гетерономию. Эта бифуркация — «архиреволюционное движение». Отсутствие симметрии или тождества двух противоположных полюсов (например, «левого» и «правого») «немецкой революции» — фундаментальная форма миметического кризиса, где различие берет верх над сходством. См.: Evard J.-L. *Ernst Jünger. Autorité et domination*. P. 63, 89.

³ Шпенглер О. *Пруссачество и социализм*. М., 2002.

строго социалистическое государство [...] они спаяны единым чувством долга, сознанием великой задачи, волей к повиновению, чтобы повелевать, готовностью умереть, чтобы победить ... чтобы утвердить то, что мы есть»¹. Вместе с тем, революция не имеет ничего общего с парламентскими дискуссиями и политическим торгом. Шпенглер имеет в виду нечто совсем иное. «Идеологические системы больше не вскружат нам головы, программы составляют принадлежность прошлого столетия. Нам не нужно больше тезисов, мы хотим самих себя»². Шпенглер формулирует требование освободить немецкий социализм от Маркса, но характерным образом (и в этом заключается важная *консервативная черта*) противопоставляет Марксу не теоретика «социального мифа» Сореля, а прусского короля Фридриха Вильгельма I: «Фридрих Вильгельм I, а не Маркс был первым сознательным социалистом»³, — чеканно звучит знаменитая фраза. Соответственно, революция трактуется как реализация воли к власти, воли к самому себе: «Истинная революция — это революция всего народа, единый вскрик, единое прикосновение железной руки, единый гнев, единая цель»⁴.

Эдгар Юлиус Юнг, во многих отношениях близкий «отцу немецкой революции» Меллеру ван ден Бруку и «Клубу господ», в 1927 г. стал широко известен благодаря книге «Господство неполноценных»⁵, которую он сам понимал как энциклопедию анти-Просвещения, как основание «новой консервативной идеологии». Исходной точкой для новых политических образований, по мнению Юнга, должна стать не якобинская «нация», а «народ» (Volk). «Консервативно-революционный принцип» также предполагает существование метафизических, надындивидуальных «ценностей», каковые только и могут являться скрепой общности (Gemeinschaft). Юнг, как до него Меллер и фон Гляйхен, скептически относится к идее «органической демократии» и с явной симпатией высказывается в пользу «авторитарного государства»⁶. Но, в конечном счете, он отдавал себе отчет в том, что в современном обществе невозможна целостность, основанная на корпоративно-профессиональной идее, ведь она требует сильного и независимого государства, политической «воли к господству».

¹ Шпенглер О. *Пруссачество и социализм*. М., 2002. С. 157.

² Шпенглер О. *Пруссачество и социализм*. М., 2002. С. 8–9.

³ Шпенглер О. *Пруссачество и социализм*. М., 2002. С. 68.

⁴ Шпенглер О. *Пруссачество и социализм*. М., 2002. С. 21.

⁵ Jung E. J. *Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre Ablösung*. Berlin, 1927.

⁶ Здесь Юнг находится под очевидным влиянием австрийского мыслителя Отмара Шпанна, у которого он заимствовал идею сословного, корпоративного государства. См.: Mohler A., Weißmann K. *Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932*. S. 128–129.

В программной статье «Германия и консервативная революция»¹ Юнг констатирует: «В Германии параллельно идут две революции: одна стремится уничтожить последние остатки лучшей европейской традиции, растворив их в бесформенном коллективизме, а другая есть не что иное, как восстание крови против денег, человека против аппарата, достоинства против рабства». Немецкая революция, что совершается здесь и сейчас, едва ли примет такие формы, как французский штурм Бастилии. «Она будет продолжительной подобно реформации, но зато и более основательно определит лицо человечества. Она противопоставит себя духовным импульсам, формулам и целям, вызванным к жизни веком Французской революции. То будет великая консервативная контрреволюция (*Gegenrevolution*), которая помешает уничтожению западноевропейского человечества и станет основанием нового порядка, нового этоса и нового западноевропейского единства под предводительством Германии».

Не меньшим революционным духом пропитана и книга Ханса Фрайера «Революция справа» (1931)². Новые революционные правые (а их программу и формулирует Фрайер) отличаются от старых консервативных правых, от монархистов, представителей крупного капитала и мелкой буржуазии. Он выступает против национальной романтики, контрреволюционной реставрации, идеологической реставрации консервативного *juste-milieu* и культивирует авторитарную концепцию «государства над партиями». Авторитарная власть государства требует ограничения индивидуумов в свободах, причем политические права принципиально подчиняются государственному резону (Гоббс). В позиции Фрайера также отражается *один из центральных мотивов* КР — готовность бесстрашно взглянуть в лицо стихийным силам и подтолкнуть то, что и так готово упасть. Старая «революция слева» уже не актуальна, она утекла в песок социального государства и больше не представляет реальной угрозы для буржуазного общества. Произошла «смена революционного субъекта». На место интегрированного пролетариата приходит «народ» (*Volk*). Перед нами новый «государственный социализм», который очень сильно напоминает «прусский социализм» или «германский социализм» Шпенглера³ и Зомбарта.

В действительности, КР — не контрреволюция, а подлинная революция, открывающая новый трансцендентный исторический горизонт.

¹ Deutsche über Deutschland. Die Stimme des unbekannten Politikers. Mit zusammenfassendem Nachwort «Deutschland und die konservative Revolution» von Edgar J. Jung. München: Albert Langen, Georg Müller, 1932. S. 369–383.

² Freyer H. *Revolution von rechts*. Jena, 1931.

³ Интересно, что одна из первых и наиболее серьезных рецензий на «Прусачество и социализм» была опубликована в журнале «Тат» именно Хансом Фрайером. См.: Die Tat, Jg. 11, Juli 1919. S. 304–308.

Что касается революции и господства, то Фрайер считает, что лишь благодаря господству народ может превратиться в политический субъект, цементируемый общей «верой». В политическом господстве он также усматривает некое априорное нравственное отношение между правителем (Herrscher) и народом. Правда, оно сохраняется лишь до тех пор, пока господство (Herrschaft) справляется с задачами, которые ставит перед ним история. Критерием же выступает его первичная способность учреждать порядок, насилие, которое рассчитано на длительный срок и потому не требует никакого обоснования¹.

Революционный национализм Эрнста Юнгера

Если «Пруссачество и социализм» Шпенглера считается одним из первых манифестов КР, то «Рабочий» (1932)² Эрнста Юнгера в известном смысле ее завершает. Пример Юнгера наиболее показателен в том, что касается революции и господства. «Революция *sans phrase*» — один из самых частых терминов на страницах большого эссе о рабочем³. Здесь хорошо видно, что КР находится где-то между крайностью революции и крайностью авторитаризма («тотальная мобилизация», «тотальный мир работы»). Подобная двусмысленность революционных и одновременно авторитарных целей удваивается за счет двусмысленного сочетания моральной и политической сфер (вспомним Ницше и опять-таки фигуру Великого Инквизитора у Достоевского). Ведь раннее творчество Юнгера, включающее книги о войне, политическую публицистику и «Рабочего», стоит под знаком этого специфического напряжения между «аморальной» («нигилистической») и политической позицией — между «революционной» и «консервативной» направленностью. В конечном счете, возникает вопрос: не является ли КР в целом развертыванием этой двусмысленности?

Сам Эрнст Юнгер не применял к себе синтагмы «консервативная революция», а называл себя «националистом». Но нельзя не признать

¹ О Фрайере в контексте КР см. работу Рольфа Петера Зиферле: Sieferle R. P. *Die Konservative Revolution. Fünf biographische Skizzen* (Paul Lensch, Werner Sombart, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Hans Freyer). Frankfurt a. M., 1995. S. 166–196.

² Jünger Ernst. *Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt*. Hamburg, 1932. Рус. пер.: Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли*. СПб., 2000.

³ Так, уже один из первых исследователей творчества Юнгера Марсель Декомби видит в нем революционера. См.: Decombis M. *Ernst Jünger: L'homme et l'oeuvre jusqu'en 1936*. Paris, 1943. P. 22. О том же свидетельствует и публикуемый в качестве приложения перевод блестящей по выразительности статьи «Национальная революция» (1926).

близости юнгеровского революционного национализма и, скажем, «Третьего рейха» Меллера ван ден Брука. То же самое можно сказать иначе: Юнгер заключает тайный союз с Меллером, явный — с национал-большевиками (Эрнст Никиш) и «децизионистами» (Хуго Фишер, Карл Шмитт)¹. Кроме того, немало общих черт связывают его позицию с установками Ханса Шварца, Ханса Церера, Отто Штрассера.

Вопрос об авторитете, господстве и легитимации составляет — помимо метафизики гештальта — основную философскую линию «Рабочего», которую сразу же безошибочно выделил Мартин Хайдеггер². Дабы понять отношение юнгеровской фигуры воина-рабочего к власти, необходимо помнить о том, что «гештальт рабочего» непосредственно связан с тотальной мобилизацией и техникой («техника есть способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир»). Тотальная мобилизация сущностно определяет мировую войну как техническое явление планетарного масштаба, ибо вследствие модернизации, влекущей за собой совершенствование технических средств, всякое серьезное столкновение перестает быть только национальным конфликтом и приобретает характер мировой войны. Данное обстоятельство делает второстепенным вопрос о рациональной или моральной оправданности применения технических средств в борьбе (или же вопрос об оправданности самого факта войны). Поскольку традиционное юридическое различие между войной и миром утрачивается, и невозможно более однозначно выбрать между военным и мирным положением вещей, то единственный вопрос, на котором заостряет свое внимание Юнгер, состоит в следующем: «Существует ли точка, в которой власть и право тождественны»³? Ибо только в этом случае «можно уже не вести разговоры о войне и мире, а выносить о них авторитарное решение»⁴.

В нации и обществе, соответственно, в идеологиях национализма и социализма Юнгер усматривает «две великих опоры государства XIX века»⁵. Приближаясь к точке решения, нация стремится «вывести государство за пределы национальных границ и наделить его имперским рангом», общество же стремится «заключать обще-

¹ Такой формулировкой мы обязаны Ж.-Л. Эвару: *Evard J.-L. Ernst Jünger. Autorité et domination*. P. 75.

² См. недавно вышедший 90-й том из Собрания сочинений Хайдеггера, посвященный Э. Юнгере: Heidegger M. *Zu Ernst Jünger. Gesamtausgabe Band 90*. Hrsg. von Peter Trawny. Vittorio Klostermann: Frankfurt a. M., 2004. См. также: Михайловский А. В. *Значение языка «Рабочего» для хайдеггеровской критики метафизики* // Историко-философский ежегодник' 2001. М., 2003. С. 218–248.

³ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 279.

⁴ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 279.

⁵ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 279.

ственные договоры планетарной значимости». Оба пути, однако, демонстрируют, что принципы XIX в. для такого регулирования непригодны. «Грандиозные усилия национальных государств сводятся в результате к сомнительному факту присоединения провинций; а там, где можно наблюдать имперский подход к делу, речь идет о колониальном империализме, испытывающем необходимость в вымысле, согласно которому будто бы существуют народы, которые, как, например, германский народ, еще нуждаются в воспитании. Нация находит свои границы в себе самой, и каждый шаг, выводящий ее за эти границы, в высшей степени сомнителен. Приобретение какой-нибудь узкой полоски пограничной земли на основании национального принципа гораздо менее легитимно, нежели приобретение целой империи посредством женитьбы в системе династических сил. Поэтому в случае войн за наследство речь идет лишь о двух интерпретациях одного и того же права, признанного обоими соперниками, в случае же национальных войн — о двух разновидностях права вообще»¹.

Причина этих явлений в том, что XIX столетие представляло нацию по образцу индивидов, объединяющихся в «коллектив» (собственно, *nation*), общественный же договор, который заключают индивиды, образующие общество, служил, в свою очередь, образцом для межнациональных договоров. Соответственно, если индивид неразрывно связан с обществом, то есть всеобщим началом, иными словами, если индивид и общество являются двумя полюсами одного и того же целого, то национализм и социализм следует понимать как *всеобщие принципы*. Отсюда вытекает то обстоятельство, что гигантские государства-индивиды, руководствующиеся «моральным законом в себе», лишены возможности образовывать настоящие империи, ибо в рамках общественного договора не существует ни власти, ни права, которые бы ограничивали или согласовывали их претензии.

«Усилия наций, претендующих на легитимность за пределами своих границ, обречены на провал потому, что они становятся на путь чистого развертывания власти. То, что почва здесь с каждым шагом оказывается все непроходимей, объясняется тем, что власть нарушает границы отведенной для нее правовой сферы и тем самым проявляется как насилие, вследствие чего, в сущности, уже не воспринимается как легитимная. Усилия общества, претендующего на то же самое, следуют обратным путем; они пытаются расширить сферу права, для которой не отведена никакая властная сфера. Так возникают объединения типа Лиги Наций — объединения, чей иллюзорный контроль над огромными

¹ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 280.

правовыми пространствами находится в странной диспропорции с объемом их исполнительной власти»¹. Подобная диспропорция неизбежно порождает «гуманистический дальтонизм», выражающийся в теоретическом конструировании новых правовых пространств и процедуре санкционирования *de jure* уже совершившихся *de facto* актов насилия. «Так сегодня появилась возможность вести войны, о которых никому ничего не известно, потому что сильнейший любит изображать их как мирное вторжение или как полицейскую акцию против разбойничьих банд — войны, которые хотя и ведутся в действительности, но ни коим образом не в теории»².

Какой же смысл получают всеобщие принципы социализма и национализма в рамках политических задач планетарного масштаба? Юнгер настаивает на необходимости расстаться с иллюзией партийных различий «левых» и «правых», показывая, что «все лагеря, где жив новый образ государства, который стремится сегодня выразить себя, с одной стороны, в программах революционного национализма, а с другой — революционного социализма, пришли бы к очень наглядному осознанию своего единства»³.

Принципы национализма и социализма были нацелены на обеспечение индивидуалистического бюргерского понятия о свободе, реализуемого внутри наций во всеобщем, универсальном масштабе. Но на рубеже эпох, в *переходном ландшафте*, которому свойственен «динамически-нивелирующий характер», эти принципы осуществить невозможно. В мире, стоящем под знаком техники, всеобщие принципы XIX столетия превращаются в «рабочие и мобилизационные величины» и уже не являются целью прогресса. Мобилизация средств национальной демократии во время мировой войны (парламенты, либеральная пресса, общественное мнение, гуманистический идеал) делает очевидным, что социализм становится «предпосылкой более строгого авторитарного членения, а национализм — предпосылкой для задач имперского ранга». «Социализм выполняет мобилизационную работу, о которой не могла даже мечтать никакая диктатура и которая потому является особенно эффективной, что она проходит при всеобщем согласии, при непрерывном подключении бюргерского понятия свободы. Та легкость, с какой массы отдают себя в распоряжение и готовятся к выполняемым с ними маневрам, должна остаться непонятной всякому, кто за нивелирующим автоматизмом всеобщих принципов не угадывает иной закономерности»⁴. И несколькими

¹ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 281.

² Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 282.

³ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 350.

⁴ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 352.

страницами далее: «Так мы оказываемся свидетелями зрелища диктатур, которые народы будто сами навязывают себе, давая свершиться необходимому — диктатур, в которых на поверхность пробивается строгий и трезвый рабочий стиль. В этих явлениях воплощается наступление типа на ценности массы и индивида — наступление, которое сразу же оказывается нацеленным на пришедшие в упадок инструменты буржурского понятия свободы — партии, парламенты, либеральную прессу и свободный рынок»¹.

Разумеется, Юнгер не был одинок в подобной оценке политической ситуации. Наряду со Шпенглером, о слиянии национализма и социализма («национальный социализм») говорили Меллер ван ден Брук, Ханс Церер и вся группа «Тат». У Юнгера описанный выше процесс представляется как переход от «либеральной демократии» к «рабочей демократии», планетарный мир техники связывается с грядущим Германским рейхом. Однако «Рабочий» именно потому *выходит за рамки всякого политического манифеста*, что показывает наблюдаемые изменения в мире, его динамику, исходя из особой точки, лежащей по ту сторону всякой динамики. Из этой точки, названной Юнгером «гешталтом рабочего», становится возможным увидеть эпоху как переходный ландшафт, в котором осуществляется *техническая революция*. Переход от демократии к диктатуре, от либеральной экономики к плану, слияние социализма и национализма, еще невиданные доселе государственные и общественные образования — все это суть признаки будущего господства, подготовленного нивелирующей деятельностью столетия всеобщих ценностей («мобилизационные величины»).

Вопрос о тождестве власти и права непосредственно связан с проблемой легитимации. На ней Юнгер довольно подробно останавливается в первой части «Рабочего». *Тождество власти и права в «мире работы»* достижимо потому, что именно гештальт рабочего, а не абстрактное понятие народа эпохи Просвещения (*nation*), является источником легитимации. Вопрос о легитимации — это «вопрос об особенном и необходимом, но никоим образом не волей определяемом отношении к власти, которое можно определить и как некое задание. Как раз эта легитимация и дает бытию явиться уже не как чисто стихийной, но как исторической власти. Мера легитимации определяет меру господства, которой можно достичь благодаря воле к власти. Господством мы называем состояние, в котором безграничное пространство власти стягивается в точку, откуда оно проявляется как пространство права»².

¹ Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 376.

² Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт*. С. 131–132.

Таким образом, Юнгер приходит к весьма существенному выводу, что *тождество власти и права достигается каким-то иным путем, нежели простым расширением принципов XIX в., а именно, путем революционным*. В авторитарном государстве рабочего «разделение права и политики»¹ должно уступить место безусловному тождеству власти и права.

Мы уже сказали о том, что «Рабочего» нельзя однозначно назвать ни манифестом определенной политической идеологии², ни социальной утопией. Тем не менее, несмотря на всю глубокую метафизику гештальта рабочего, возможно и даже весьма продуктивно рассматривать «Рабочего» в качестве итога весьма обширной политической публицистики Юнгера (более 140 статей, написанных, главным образом, между 1925 и 1933 гг.)³. Прочитируем знаменитый фрагмент из воззвания «Соединяйтесь!», опубликованного в газете «Штандарте» 3 июня 1926 г. Здесь Юнгер описывает четвероякую структуру нового государства, которому суждено появиться в результате революции. «Образ государства будущего прояснился за эти годы. Его корни будут питаться из различных источников. Оно будет национальным. Оно будет социальным. Оно будет вооруженным. Его структура будет авторитарной. Это будет государство, полностью отличное как от Веймара, так и от старого кайзеровского рейха. Это будет современное националистическое государство. Таково государство будущего... [Национализм] не имеет ничего общего с буржуазным чувством, он радикально отличается от патриотизма довоенного времени, он динамичен, вспыльчив, полон витальной энергии наших больших городов, где он как раз процветает... и тем самым отличается от консервативного чувства жизни (sic). Он не реакционен (sic!), а революционен с начала до конца»⁴. В заключительном слове к «Соединяйтесь!» («Штандарте», 22 июля 1926 г.) Юнгер обращается к ницшеанскому образу динамита и заявляет: «Под растрескавшейся корой нынешнего государства мы — тот динамит, что пробьет брешь для нового государства»⁵. И тут же намечает путь, который впоследствии приведет к тезису о «тождестве власти и права» из «Рабочего». А имен-

¹ Здесь мы используем определение Шмитта: Schmitt C. *Staat, Bewegung, Volk. Hanseatische Verlagsanstalt*, Hamburg, 1933. S. 37.

² Так его хотел трактовать Э. Никиш. См.: Niekisch E. *Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (zu Ernst Jüngers neuem Buche)* // *Widerstand*. № 7. 1932. S. 307–311.

³ Эта позиция была убедительно представлена в послесловии Свена Олафа Берггёта, издателя тома «Политической публицистики». См.: Berggötz Sven Olaf. *Ernst Jünger und Politik* // Jünger E. *Politische Publizistik. 1919–1933*. Hrsg. v. S. O. Berggötz. Stuttgart, 2001.

⁴ Jünger E. *Politische Publizistik*. S. 218.

⁵ Jünger E. *Politische Publizistik*. S. 223.

но, он цитирует слова одного из «фронтовых офицеров», заметившего, что «победившие революции всегда легальны»¹.

Но вернемся к итоговой мысли «Рабочего» и надежде автора на то, что в тотальном рабочем государстве, говоря в терминах К. Шмитта, господство должно быть выражено как легальное господство, то есть представлено в устойчивом повседневном порядке со своими законами, правилами и методами («рабочий план»). Уже через два года, в эссе «О боли», Юнгер скажет: «Мы находимся в последней и причем чрезвычайно примечательной фазе нигилизма, которую знаменует то, что новые порядки уже продвинулись далеко вперед, а соответствующие этим порядкам ценности еще не стали видимы»². Юнгер ставит знак равенства между техническим миром и нигилизмом, хотя вместе с тем еще надеется, что в ходе технической революции выкристаллизуется новая действительность. На самом деле, здесь происходит своего рода *Kehre*, поворот юнгеровской мысли, который становится заметным во второй редакции эссе «Сердце искателя приключений» (1938) и новелле «На мраморных утесах» (1939). Поворот знаменует, с одной стороны, отказ от политики, а с другой, признание того, что нигилистическое разрушение ценностей, тотальная мобилизация, будет только продолжаться. «Пустыня ширится!».

Хотя впоследствии, уже после Второй мировой войны, Юнгер в статье «Через линию» (1950) подтверждает поставленный в «Рабочем» диагноз, а именно, что непостоянство форм действительности, их провизорный характер напоминает одну большую мастерскую, однако теперь он видит, что нигилизм «фактически может гармонировать с порядком, установленным в больших масштабах»³. Когда достигается «нужная степень пустоты», рабочий, как функционер технического мира, начинает ее организовывать, доводя опустошение до предела. «Порядок не только приемлется нигилизмом, но и относится к его стилю»⁴.

¹ Тип революционера у Юнгера и его единомышленников (Ф. Шаувеккер, Г. Фишер) имеет тенденцию к совпадению с типом «нигилиста», «искателя приключений», или Симплициссмуса, что едва ли могло найти поддержку у авторов вроде Фрайера или Юнга. У Юнгера и национал-революционеров в целом приоритет скорее отдается чистому движению, а не устойчивой структуре, которая только грезится в будущем.

² Юнгер Э. *Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли*. СПб., 2002. С. 529.

³ Jünger E. *Über die Linie* // *Sämtliche Werke*. Bd. 7. Stuttgart, 1980. S. 249.

⁴ Jünger E. *Über die Linie* // *Sämtliche Werke*. Bd. 7. Stuttgart, 1980. S. 250.

Узнавание нигилизма в этом его качестве влечет за собой для отдельного человека необходимость поиска альтернативы. Таким образом, вместо шпенглеровской выправки «героического реализма» у Юнгера вырисовывается позиция одиночки, который пытается обрести свободу в мире, где нигилизм не только достиг господства, но и стал «нормальным состоянием» (Normalzustand)¹. Существенно, что к этому итогу апология господства приводит многих значительных представителей КР: в конечном счете, царству Левиафана противопоставляется индивидуальная свобода — свобода художника, мыслителя, «анарха» (Э. Юнгер), «партизана» (К. Шмитт)². Относительно же столкновения консервативно-революционных апологетов авторитета, иначе говоря, правых интеллектуалов Веймарской республики с реальностью политического режима национал-социалистов очень удачно заметила Ханна Арендт в «Истоках тотального господства»: «О тех же представителях элиты, кто когда-либо позволил тоталитарным движениям соблазнить себя, и кого иногда из-за их умственной одаренности даже обвиняют как вдохновителей тоталитаризма, со всей беспристрастностью надо сказать: то, что эти безрассудные дети XX века делали или не делали, не имело никакого влияния на тоталитаризм, хотя оно и играло некоторую роль в ранних успешных попытках таких движений заставить внешний мир воспринимать их учения серьезно. Всюду, где тоталитарные движения захватывали власть, вся эта группа сочувствующих бывала потрясена еще до того, как тоталитарные режимы приступали к совершению своих величайших преступлений. Интеллектуальная, духовная и художественно-артистическая инициатива столь же противопоказана тоталитаризму, как и бандитская инициатива толпы, и обе они опаснее для него, чем простая политическая оппозиция. Последовательное гонение всякой более высокой формы умственной деятельности новыми вождями масс вытекает из чего-то большего, чем их естественное возмущение тем, чего они не могут понять. Тотальное господство не допускает свободной инициативы в любой области жизни, не терпит любой не полностью предсказуемой деятельности. Тоталитаризм у власти неизменно заменяет все первостепенные таланты, независимо от их симпатий, теми болванами и дураками, у которых само отсутствие умственных и творческих способностей служит лучшей гарантией их верности»³.

¹ Ср.: «В той мере, в какой нигилизм становится нормальным состоянием, символы пустоты становятся более ужасающими, нежели символы власти»: Jünger E. *Über die Linie* // *Sämtliche Werke*. Bd. 7. Stuttgart, 1980. S. 273.

² См. нашу попытку представить судьбу правых интеллектуалов после 1933 года и после 1945 года: Михайловский А. В. *Внутренняя эмиграция «немецких консерваторов»* // Космополис. № 3 (13). 2005. С. 117–130.

³ Арендт Х. *Истоки тоталитаризма*. М., 1996. С. 449.

Консервативная революция: единство в многообразии

В заключение скажем о том, что, будь наше исследование сугубо историческим или социологическим, оно должно было бы предварять последующие рассуждения, а именно, об исторических условиях и перспективах КР.

В радикальном национализме после 1918 г. была предпринята попытка преодолеть неустранимую диспропорцию между узколобым германским национализмом XIX столетия и начинающейся глобальной борьбой за власть. Надежда на освобождение связывалась с идеей «рейха» (*Reich*, у большинства авторов синоним слова «империя») всех немцев, у которой уже не было ничего общего с германским национальным государством¹. По сравнению с этими планами национал-социализм выглядел, конечно же, банальной реакцией.

Перед германской республикой стояла задача за несколько лет наверстать процесс демократизации, длившийся в Западной Европе многие десятилетия. В частности, требовалось превратить суверенитет в коллективное понятие, государство должна была представлять не личность, а организации. Поэтому-то консервативные революционеры воспринимали Веймарскую республику как «*Daseinsgestalt eines Nichtstaates*», т. е. как фикцию государства, и видели перед собой задачу строительства *нового сильного государства*.

Уже здесь начинаются различия между апологетами господства: одни («младоконсерваторы», интеллектуалы, входившие в элитные клубы) претендовали на восстановление социальной иерархии, в наибольшей степени присягая на верность консерватизму; другие (фёлькише) также требовали диктатуры, авторитарного государства и сословной реорганизации общества, но при этом отличались романтическим пафосом и исключительным антисемитизмом и потому вскоре примкнули к национал-социалистам; третьи, охотно именуя себя «нигилистами» (национал-революционеры вокруг братьев Эрнста и Фридриха Георга Юнгера и национал-большевизм Э. Никиша и журнала «Видерштанд»), были, наоборот, готовы отказаться от всех старых порядков Германии и творить футуристическую политику. В соответствии с этими расхождениями выстраивались и предпочтения во внешнеполитических взглядах, о чем стоило бы говорить отдельно и гораздо подробнее². Ясно одно: все эти идейные проекты — от «прусского социализма» и «третьего рейха»

¹ Ср., напр., показательную в этом отношении книгу соратника Э. Юнгера Фридриха Хильшера: *Hielscher F. Das Reich*. Berlin, 1931.

² См.: Руткевич А. М. *Консерваторы XX века (глава «Прусский социализм и консервативная революция»)*. (Данная статья представлена в настоящей книге. — *Прим. ред.*).

до «революции справа» и «государства рабочего» так или иначе имели дело с весьма существенной проблемой авторитета или, как мы сформулировали это вначале, оппозицией «легитимность *versus* легальность».

Нельзя не согласиться с положением Штефана Бройера о том, что движение от существующего (недостаточного, неполноценного) государства к нации или народу не являлось для КР самоцелью¹. Во всяком случае, отграничение от так называемой «западной», «французской» модели нации и национализма проводилось достаточно четко, и никто не стремился к замене существующих в обществе связей и сил (будь то на уровне юнгеровского «типа» или на уровне «корпорации») чистой и непосредственной *pouvoir constituant*. Речь шла не о снятии господства, а о новом его обосновании, не о деконструкции власти самой по себе, а о реконструкции — по революционному и авторитарному сценарию. Целью, по известному выражению Эрнста Юнгера, служила нация как «целое, которое важнее суммы его частей», а староевропейское понятие господства на самом деле представляло собой важнейший стержень, вокруг которого группировалась консервативная революция.

ЭРНСТ ЮНГЕР

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ²

«Штандарте», 20 мая 1926

Называя себя почетным именем националистов, мы поворачиваемся спиной не только к тем, кто привык произносить это слово как проклятие, но и ко всем мирным бюргерам. Движение, весь смысл которого в том, чтобы отстаивать ценности жизни военными средствами и которому глубоко наплевать, одобряются ли эти средства какой-то универсальной моралью или же нет, опирается на фронтовиков, настоящих, живых людей, преданных делу с радостью и любовью. Это не какие-нибудь торгаши и владельцы марципановых фабрик, разбавляющие армию в эпоху всеобщей воинской повинности, а мужчины, несущие в себе опасность, потому что им нравится быть опасными.

Это не те изнеженные душонки, которые были спокойны за государство, пока видели на улицах генеральскую униформу или черно-белокрасные флажки, а после того как троны рухнули, отчаялись найти во всемирной истории хоть какой-нибудь смысл. Конечно, если бы эти за-

¹ Breuer S. *Anatomie der Konservativen Revolution*. S. 96.

² Jünger E. *Politische Publizistik 1919 bis 1933*. Hrsg., komm. und mit einem Nachwort von Sven Olaf Berggötz. Klett-Cotta, 2001. S. 213–216. (Перевод Александра Михайловского).

шитники покоя, порядка и инерции, которым либерализм вполне мог бы выплачивать пенсию за их бесконечную лояльность, да, если бы они решительно выступили на стороне национализма, то существование Ноябрьской республики было бы гарантировано. Не нужно было бы принимать никаких охранительных законов, и после прекращения противостояния консервативного и демократического либерализма жажда движения была бы утолена (не забудем и об их кровных родственниках, коммунистах).

Но вряд ли можно рассчитывать на такое простодушие. В наше время мы удивительно ясно осознаем возможность национальной революции, а в ней таится и угроза либерализму: ведь она одним порывом ветра может опрокинуть все его законы, лишив его большой и якобы бесспорной добычи 1918 года. Сам национализм с трудом верит в эту возможность, немыслимую без войны и обусловленной ею перестановки сил. Его опора — националисты — настолько привыкли к тому, что их воля привязана к большому государственному аппарату, что после исчезновения этого аппарата им показалось, будто почва уходит у них из-под ног. Ведь национализм не мог отбросить все это как старое платье, ему потребовалось немалое время, чтобы внутренне преодолеть формы старого государства, хотя они уже давно не соответствовали реальности. Первое стихийное восстание в Мюнхене¹ стало шагом на пути освобождения. Но по мере продвижения вперед пробуждались совершенно новые чувства. Воля к власти отбросила все оковы, все обязанности, ощутила себя свободной, настолько свободной, какой германская воля еще никогда не была.

Таким образом, место и роль национализма постепенно проясняются. Старые формы уходят в прошлое, культивировать их — удел филистеров или газет вроде «Вельтбюне». Первый само собой разумеющийся долг националистов — отвернуться от этих борцов мелкого пошиба, не удостаивая их ни капли презрения. Их задача заключается в том, чтобы вооружаться изо всех сил на борьбу с существующим положением вещей, которое мало чем отличается от положения вещей 1919 года — ведь это всего лишь подновленный на радость обывателя фасад прогнившего здания. Разрушить его, не оставив камня на камне!

Подготовить национализм к этой задаче — вот подлинный смысл революции 1918 года. Благодаря ей не только исчез роковой страх немца перед революциями, но она убрала с дороги все те помехи, которые могут помешать беспрепятственному продвижению националистической воли. Превратить этот путь в подлинно революционный необходимо не

¹ Юнгер имеет в виду путч Гитлера и Людендорфа в ноябре 1923 года. — *Прим. пер.*

только для того, чтобы нанести либерализму смертельный удар в обход всех законодательных ловушек, но и для того, чтобы закалить саму волю националистов. Националист не имеет права даже думать об иной возможности исхода. Его священный долг — подарить Германии первую настоящую революцию, то есть революцию, замешанную на абсолютно новых идеях.

Революция! Революция! Вот что нужно проповедовать, непрестанно, язвительно, систематически, непримиримо, даже если эта проповедь продлится десять лет. Пока еще только немногие осознали это требование во всей его остроте, все еще пышным цветом цветет сентиментальная болтовня о братстве и единении при помощи всех возможных и невозможных разновидностей духа. Пускай ступают к черту или отправляются себе в парламент, где таким разговорам самое место! В нашем конечном мире нет единства противоположностей, нет ничего, кроме борьбы. Националистической революции не нужны проповедники покоя и порядка, ей нужны пророки, возвещающие: «Господь обрушится на вас, и погибнете от острия меча!» Она должна вновь заставить грозно зазвучать имя революции, над которой в Германии потешаются вот уже сто лет. Из великой войны родился новый человек опасного склада, и надо заставить этого человека действовать!

А потому — к делу, товарищи! Попробуем укрепить наше влияние в боевых организациях, ведь революционизировать их — наш первый неизбежный долг. Меньше удобства, меньше членов, больше активности! Централизованное руководство! Надо привлекать рабочих! Долой обманщиков, проповедующих мирное хозяйство! Мы не тюремщики рабочих! Будем расширять и спланировать боевые националистические профсоюзы, а руководить ими должны рабочие националистического чекана. На националистических баррикадах они добьются большего, чем марксизм за все пятьдесят лет. А что там в университетах, в молодежном движении и во всех тех организациях, которые нам интересны? Где пробьются ростки? Чем держится государство? Сотрудничеством и оппозицией. А как мы можем его ниспровергнуть? Только выходя из него, беря его измором, образуя государство в государстве — самостоятельное, начиная с идеи и кончая средствами борьбы за эту идею. Как утверждать немецкую нацию? Признавая ее, как можно признавать нечто в националистическом духе.

Быть националистом на войне означало быть готовым умереть на войне за Германию; сегодня это значит поднять знамя революции за более прекрасную и великую Германию! Вот цель, достойная усилий самой лучшей и горячеей части юношества этой страны.

МЕЙНСТРИМ: ОТ ЯКОБИНСТВА К БОЛЬШЕВИЗМУ

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

НЕОБХОДИМОСТЬ РОБЕСПЬЕРА

В сороковые годы Петровский, один из горстки уцелевших ветеранов партии, работал завхозом Музея Революции. Некто, потрясенный тотальным истреблением соратников Ленина, обратился к нему:

— Что происходит, Григорий Иванович, объясните мне, что происходит?

— Читайте историю Великой французской революции, — ответил Петровский.

А. В. Антонов-Овсеенко. *«Портрет тирана»*

Заставы пылают

Казалось бы: всё это было так давно! Шутка ли — двести с лишним лет назад! Так зачем нам сейчас Робеспьер?

Можно, конечно, перефразировать Пушкина, сказать: нет более увлекательного занятия, чем следить за жизнью великого человека. А можно ответить и так: когда же еще вспомнить о французских революционерах, если не сейчас — когда пожары в «ашелемах»¹ впервые после 1968 г. напомнили о революционном духе Франции?

Великая французская революция тоже начиналась не с клятвы в зале для игры в мяч и даже не с созыва Генеральных штатов. Она начиналась с крестьянских и плебейских бунтов — в деревнях и в предместьях (тогдашних «ашелемах»). Только сейчас жгут автомашины — а тогда жгли поместья и таможенные заставы на въездах в город.

Сытая и вроде бы благополучная современная Франция напомнила о революции своими горящими предместьями.

Левандовский писал, что Великой французской буржуазной революции предшествовал кризис верхов — и, в частности, разгул коррупции. Да, правление Людовика XVI печально прославилось именно коррупцией. Но ведь и сегодняшняя Франция не вылезает из коррупционных скандалов!

В 1994 г. обнаружилось, что ворами и взяточниками были министр коммуникаций Ален Караньон, министр промышленности Жерар Лонги, министр по связям с бывшими африканскими колониями Мишель Руссен, государственный секретарь по делам инвалидов Мишель Жиллибер,

¹ НЛМ — «дома с умеренной квартплатой». Массовое социальное жилье во Франции.

а заодно и мэры Тулона, Ниццы и Салона-де-Прованса. В 1998 г. в коррупции был уличен тогдашний мэр Парижа Жак Ширак¹. Он оказался замешан в «квартирном» скандале — в связи с незаконным предоставлением жилья товарищу по партии и бывшему министру иностранных дел Алену Жюпе; в скандале с синекурами, когда выяснилось, что Ширак устроил на работу в парижскую мэрию 300 «мертвых душ» — функционеров голлистской партии; в «подрядном» скандале, когда оказалось, что мэрия Парижа систематически вымогала деньги у подрядчиков строительства дешевого жилья для финансирования голлистской партии; в скандале с оплатой коррупционными деньгами зарубежных поездок семьи Ширака².

Президент-«социалист» Франсуа Миттеран также оказывался в центре коррупционных скандалов: один раз — в истории с незаконным финансированием им через бывший тогда государственным французский нефтяной концерн «Эльф-Акитен» предвыборной кампании Христианско-демократического союза и лично Гельмута Коля в ФРГ (вот вам и разница между «левым» Миттераном и правым Колем!) и второй раз — в скандале с сыном Миттерана Жаном-Кристофом, советником папы-президента по африканским делам, уличенным в получении взяток и незаконной торговле оружием в Африке³.

Коррупцированность и роскошь «верхов», безысходность и нищета «низов» — вещи взаимосвязанные. Двадцать последних лет все французские правительства — и правые, и социалистические — занимались собственным обогащением, даже не пытаясь предоставить жителям «ашелемов» шанс вырваться из гетто. Но то же самое — только это длилось не двадцать лет, а несколько столетий — происходило и в предреволюционной Франции. Пока не запылали машины и дома в пригородах, проблемы гетто как бы и не существовало. Или, вернее, голосов из гетто «верхи» даже и слышать не хотели. Точно так же не хотели «верхи» дореволюционной Франции слышать голос «низов» — и даже знать, как живут эти «низы», пока дело не дошло до созыва Генеральных штатов.

Конечно, такие люди, как министр внутренних дел Николя Саркози, публично обозвавший жителей «ашелемов» «отбросами» и «гангреной», согласятся признать их равными себе только при виде ножа гильоти-

¹ *Коммерсант-Daily*. 14. 01. 1995; 22. 05. 1998.

² ИТАР-ТАСС. 23. 10. 1995; *Известия*. 2. 09. 1998; 26. 09. 2000; 30. 03. 2001; *Новая газета*. 1. 06. 1998; *Независимая газета*. 26. 09. 2000; 30. 03. 2001; 13. 10. 2003; *Русская мысль* (Париж). 7. 12. 2000; *Коммерсант*. 23. 05. 2001, 19. 07. 2001; *Ведомости*. 16. 08. 2001.

³ *Время новостей*. 22. 12. 2000; *Новая газета*. 12. 02. 2001; *Новые Известия*. 21. 03. 2001; *Известия*. 1. 02. 2002; 24. 06. 2004; *Ведомости*. 19. 03. 2003; *Коммерсант*. 10. 12. 2004; *Русский курьер*. 21. 12. 2004; 13. 03. 2005.

ны. Стало быть, и гильотина может служить не только средством от головной боли, но и инструментом просвещения. Хотя и принято было говорить о послереволюционных французских аристократах: «они ничего не забыли, но ничему и не научились», — это не совсем верно. Французский историк Эдм Шампньон в книге о наказах с мест депутатам Генеральных штатов 1789 г. (наказах, ярко демонстрировавших, в каком отчаянном положении находилось большинство населения Франции)¹ с укоризной обращался к представителям «верхов», контрреволюционным историкам Алексису де Токвилю и Ипполиту Тэну: «Если бы Токвиль и Тэн изучили их (наказы — А. Т.) надлежащим образом, то они лучше поняли бы причины падения старого режима. Тогда они узнали бы, что “нация была подготовлена к революции в гораздо большей степени сознанием испытываемых ею бедствий и ошибками правительства, нежели прогрессом просвещения”»². А между тем и Токвиль, и Тэн заочно прошли курс «обучения гильотиной»: первый написал свою книгу, испуганный революцией 1848 года, а второй — Парижской Коммуной 1871-го. И оба более всего были озабочены двумя вопросами: как избежать революции и как удержать в узде «низы».

Учебник революции

История Великой французской буржуазной революции — самый лучший учебник. Именно эта революция впервые дала в наиболее чистом, четко отделенном друг от друга виде все этапы, которые неизбежно проходили все известные нам революции:

- 1) революционная демократия (доякобинский период);
- 2) революционная диктатура (якобинцы);
- 3) контрреволюционная диктатура в псевдореволюционных одеждах (Термидор);
- 4) контрреволюционная демократия (Директория);
- 5) открытая контрреволюционная диктатура (Брюмер).

¹ См.: Шампньон Э. *Франция накануне революции по наказам 1789 года*. СПб., 1906. С. 21. Прим. 1. Это при том, что в книге, разумеется, лишь выборочно — для иллюстраций — передавалось содержание наказов, что сильно сглаживало впечатление, да и сами коллективные указы, представленные депутатам Генеральных штатов, уже зачастую были сильно смягчены и не воспроизводили того крика отчаяния частных наказов, которые они обобщали: например, «наказ третьего сословия Парижа extra muros (публично, лат.) отказывается изобразить крайне бедственное положение, о котором жители говорят в своих частных наказах, чтобы нарисовать картину столь громадного бедствия, “пришлось бы прибегнуть к присущему им наивному языку”».

² Шампньон Э. *Франция накануне революции по наказам 1789 года*. СПб., 1906. С. 5. Шампньон цитирует Мирабо.

До стадии революционной диктатуры идет восходящая линия революции, а с Термидора начинается линия нисходящая, начинается деградация революционного процесса, контрреволюция¹. Предшественники Французской революции не могли показать это так же четко и ясно: слишком неразвито еще было самосознание классов и, кроме того, Английская революция маскировалась под религиозную войну, а Нидерландская и Американская — под национально-освободительные.

Из анализа опыта Великой французской революции можно сделать замечательные выводы: например, о несовместимости революции и религии. Пока шла «дехристианизация», революция наступала. Когда же в попытке найти компромисс с отсталыми сельскими слоями (мелкими собственниками — опорой буржуазной власти!) якобинцы отказались от «дехристианизации» и ввели монотеистический культ Верховного Существа — они сделали шаг к своей гибели. И не случайно введение культа Верховного Существа было прямо связано с разгромом левых якобинцев — эбертистов². Или что только революция может покончить с засильем в искусстве развлекательности, мелкотемья и дурновкусия, с засильем того, что сегодня принято именовать масскультом и китчем³. Или еще более важная и интересная тема: прорыв якобинцев, и, в первую очередь, их вождей Робеспьера и Сен-Жюста за рамки буржуазной революции. С точки зрения задач собственно буржуазной революции, действия якобинской диктатуры (максимум, вантозские декреты) были уже явно излишними. Но в том-то и величие лидеров якобинцев, что, вырвавшись за рамки целей и задач собственно буржуазной революции, они продвинулись так далеко, что потом никакая Реставрация оказалась не способна ликвидировать основные революционные завоевания: революция было куда отступать⁴.

Конечно, выход за пределы буржуазной революции произошел под давлением «низов» вообще и выразителей их интересов — народных секций, «бешеных», эбертистов — в частности. Позже сами якобинцы признавали, что максимум был им «навязан силой»⁵. Да, конечно, максимум до его декретирования, случалось, устанавливался «низами» явочным порядком: «Во всех парижских портах вспыхнули мыльные бунты, длившиеся три дня (26–28 июня): прачки разгружали суда с мылом и делили товар между собой, установив на него предварительную цену»⁶. И прав был академик Е. Тарле, когда, трезво анализируя события XX в., он констатировал: «Первая, самая насущная, непосредственная зада-

¹ Подробнее см.: *Россия XXI*. № 11–12. 1995. С. 58–66.

² Левандовский А. П. *Максимилиан Робеспьер*. М., 1959. С. 305, 306, 401.

³ Левандовский А. П. *Максимилиан Робеспьер*. М., 1959. С. 309.

⁴ См. подробнее: *Россия XXI*. № 11–12. 1995. С. 60–61.

⁵ Захер Я. М. *Движение «бешеных»*. М., 1961. С. 137–139.

⁶ Собуль А. *Первая республика*. М., 1974. С. 71.

ча — прокормление громадной, поднятой против внешних и внутренних врагов армии и обеспечение ее всем необходимым — не могла быть решена без максимума»¹. Якобинцы сформировали 14 армий, поставили под ружье свыше миллиона человек — держать их голодными значило обрекать на поражение или даже прямо толкать на мятеж против Конвента. Но все это легко писать, глядя из будущего. Тогда, в горячке революционных событий, людям, не обладавшим сегодняшними знаниями, все это было отнюдь не очевидно.

В том-то и величие Робеспьера и Сен-Жюста, что они смогли — пусть ощупью — пробиться к элементам социалистической идеологии. Конечно, лишь к отдельным элементам, несистематизированным, наивным, утопическим, мелкобуржуазным, но все-таки именно социалистическим элементам.

«Кто будет нашими врагами?» — спрашивал сам себя Робеспьер. И сам себе отвечал: «Порочные люди и богачи.

К каким средствам они прибегнут? К клевете и лицемерию.

Какие причины могут благоприятствовать использованию этих средств? Невежество санкюлотов.

Следовательно, надо просвещать народ. Но каковы препятствия для просвещения народа? Наемные писаки, которые изо дня в день вводят его в заблуждение бесстыдной ложью...

Какое существует другое препятствие к просвещению народа? Нищета.

Когда же народ будет просвещенным?

Когда у него будет хлеб, и когда богачи и правительства перестанут подкупать лицемерные перья и языки для того, чтобы его обманывать. Когда их интересы совпадут с интересами народа.

Когда же их интересы совпадут с интересами народа?

Никогда»².

А Сен-Жюст напишет: «Человек не создан ни для работы у станка, ни для больницы, ни для богадельни: все это отвратительно... не должно быть ни богатых, ни бедных. Бедняк выше правительства и сильных мира сего; он должен говорить с ними как хозяин... Нам нужна доктрина, которая осуществила бы эти принципы на практике и обеспечила бы благополучие всего народа. Богатство — подлость... Нищету надо уничтожить путем распределения национального имущества между бедняками»³.

¹ Тарле Е. В. *Жерминаль и прериаль*. М., 1937. С. 7.

² *Цит. по: Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции*. Т. VI. М., 1983. С. 276–277.

³ *Цит. по: Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции*. Т. VI. М., 1983. С. 355; Собуль А. *Первая республика*. М., 1974. С. 139.

Но буржуазная экономика не может ни существовать, ни развиваться без богатых и бедных! Если не будет бедных, кто же пойдет работать на фабрики и заводы? Сен-Жюст создает планы будущего общественного устройства — смесь фурьеризма и идеализированной Спарты, чистой воды утопию, неспособную существовать не просто при капиталистической экономике, но, похоже, и вообще при товарно-денежных отношениях¹. По докладу Сен-Жюста принимаются вантозские декреты, требующие раздела собственности среди неимущих. Интересна формулировка: «Силой вещей мы, возможно, придем к результатам, о которых вовсе и не помышляли. Богатство находится в руках... врагов революции, нужда ставит народ, который трудится, в зависимость от его врагов. Допускаете ли вы, чтобы страна могла существовать, когда гражданские отношения сводятся к отношениям, которые противоречат форме правления?»²

Неудивительно, что вантозские декреты повсеместно и практически тотально саботировались. Кто бы их проводил в жизнь? Ну не приходившая же к власти в результате революции буржуазия — старая и новая, разбогатевшая уже в революционные годы? Вантозские декреты так и остались мертвыми бумагами, историческим памятником того, до каких вершин социальной политики смогли подняться якобинские вожди. Академик Тарле нашел лишь один-единственный пример проведения в жизнь вантозских декретов: действия агента Конвента Клода Жавога в Сент-Этьене³. А один из лучших знатоков Великой французской революции Альбер Матъез прямо написал, что если бы вантозские декреты были воплощены в жизнь, это вызвало бы «новую социальную революцию»⁴. Матъез не сказал, какую именно революцию он имел в виду, но догадаться нетрудно: революцию санкюлотов против буржуазии, то есть Парижскую Коммуну за 80 лет до Парижской Коммуны 1871 г.⁵

Приняв вантозские декреты, сторонники Робеспьера подписали себе смертный приговор.

¹ См.: Сен-Жюст Л. А. *Речи. // Трактамы*. СПб., 1995. С. 296–298.

² *Цит. по:* Собуль А. *Первая республика*. М., 1974. С. 117.

³ Тарле Е. В. *Жерминаль и прериаль*. М., 1937. С. 7.

⁴ Матъез А. *Французская революция*. Т. III. М., 1930. С. 188.

⁵ Почему вантозские декреты при их последовательном проведении в жизнь неизбежно вызвали бы революцию, легко понять из специального исследования Жоржа Лефевра, кстати, не сторонника, а научного противника Матъеза. См.: Лефевр Ж. *Аграрный вопрос в эпоху террора*. Л., 1936. Дело в том, что подлежащего разделу имущества церкви, эмигрантов и подозрительных на всех санкюлотов ни при каких обстоятельствах не могло хватить. Это значит, что санкюлоты неизбежно стали бы провозглашать подозрительными всех богатых. А уж будущие термидорианцы — такие как Каррье, Фрерон или Баррас — самими первыми пошли бы в тюрьму и на гильотину.

Можно предположить, что они подписали себе приговор при введении максимума. Впрочем, деваться было некуда: без максимума городские санкюлоты умерли бы от голода, а поскольку при якобинцах санкюлоты были еще сильны, надо думать, они не стали бы дожидаться голодной смерти, а восстали. Так они и поступили в жерминале и прериале, после того как Робеспьер был казнен. Но к тому времени якобинцы уже ослабили санкюлотов мерами против народных секций и уничтожением «бешеных». К моменту термидорианского переворота у санкюлотов уже не осталось ни влиятельных структур, ни вождей, способных сформулировать программу действий.

Структуры — ежедневные общие собрания секций, которые были у санкюлотов, ликвидировали якобинцы. У санкюлотов были вожди, способные почти к классовому мышлению. Тот же Жак Ру в годы, когда все рассуждали в расплывчатых категориях «свободы» и «добродетели», выдавал такой — по сути, классовый — анализ: «Кто же такие лица, могущие занимать должность комиссаров? Это лица, умеющие читать и писать. Следовательно, в деревне это крупные землевладельцы, фермеры, бывшие привилегированные и судейские, в городах — это финансисты, крупные торговцы, адвокаты и прихвостни старого режима.

Из этого следует, что судьба патриотов вверяется врагам республики, и что арест подозрительных поручается негодям и контрреволюционерам, надевающим на себя личину гражданства, чтобы убить свободу в лице ее наиболее преданных защитников»¹. Все они были обезглавлены с помощью гильотины якобинцами.

Якобинцы уничтожили «бешеных» — уничтожили именно как силу, которая хотела углубления революции, в то время как якобинцы полагали, что углублять ее уже некуда и, следовательно, надо «остановить»².

Буржуазные революционеры — робеспьеристы — сами себя возвели на гильотину, когда дали буржуазии возможность свободно развиваться в городе и в деревне. Неизбежная в условиях войны политика реквизиций и конфискации — политика максимума — сделала врагом робеспьеристов всех сколько-нибудь зажиточных буржуа³. А сами робеспьеристы решили «остановить» революцию слишком поздно — когда уже покинули ее пределы и когда спасти их могли лишь те самые «леваки», которых они уже уничтожили.

Возможно, неудача якобинцев объясняется отсутствием разработанной революционной теории. Философия Просвещения ее роль сыграть не могла: она дала теорию разрушения феодализма, но не теорию революционного созидания. Не случайно Робеспьер говорил о «добродете-

¹ Цит. по: Захер Я. М. *Движение «бешеных»*. М., 1961. С. 152.

² Левандовский А. П. *Максимилиан Робеспьер*. М., 1959. С. 438–439.

³ См.: Лукин Н. М. *Избранные труды*. Т. 1. М., 1960. С. 230–340.

ли», вместо того чтобы говорить о социальных интересах. Разумеется, он под «добродетелью» имел в виду гражданскую добродетель, как в республиканском Риме, но ведь из-за отсутствия разработанной теории и терминологии — путался и сам, обличая Дантона за аморализм!

Кроме того, необходима революционная организация, организация единомышленников, которая была бы создана еще до революции и прошла бы проверку практикой в подпольной борьбе. У якобинцев такой организации не было — и они вынуждены были продвигаться вперед на ощупь, мучительно, методом проб и ошибок, да и сам состав якобинцев был случаен, сложился стихийно и далеко не из лучших кадров.

В книге Левандовского очень хорошо показана ценность прямой демократии, прямого действия. Какими бы исключительными качествами ни обладали вожди Великой французской революции, все важнейшие достижения революции были порождением прямого действия «низов». Санкюлоты устроили поход на Версаль, санкюлоты взяли штурмом Тюильри, санкюлоты добились низложения и осуждения короля, санкюлоты установили в Париже революционный порядок, закрыли роялистские газеты, добились создания Чрезвычайного трибунала, санкюлоты сбросили Жиронду, принудили якобинцев «поставить террор в порядок дня» и ввести максимум. Никакие «представители народа», «депутаты», «делегаты» не способны были защищать интересы народа, если только сам вооруженный народ не принуждал их к этому силой или угрозой применения силы. Сами по себе «представители», естественно, защищали, в первую очередь, свои собственные узкокорыстные, групповые, сословные интересы. Без прямого действия санкюлотов правительство якобинцев было бы всего лишь правительством классовой диктатуры буржуазии, но никак не правительством революционной диктатуры. А. Собуль показал на примере Комитета общественного спасения, что лишь под постоянным нажимом «снизу», под прямым действием санкюлотов Комитет шел на шаги, которые, как сейчас очевидно, спасли революцию и республику: «Управляемая экономика и всенародное ополчение представлялись народным борцам единственным средством, способным обеспечить оборону. Какое-то время всенародное ополчение казалось комитету химерой, особенно враждебно он относился к таксации и к управлению экономикой, которых упорно добивались санкюлоты; он испытывал отвращение к террору; и, наконец, прямая демократия, ощупью осуществляемая парижскими секциями, казалась ему несовместимой с эффективным управлением. Весь август комитет маневрировал, идя от уступки к уступке, и окончательно уступил перед народным натиском 4–5 сентября 1793 года»¹.

¹ Собуль А. *Первая республика*. М., 1974. С. 75.

«Святая гильотина»

«Чудовище террора» — такой ярлык наклеили на Робеспьера его враги после его смерти. А кроме того, «тиран», «диктатор», «деспот», «убийца», «кровопийца»¹. А сам период якобинской диктатуры долгое время было принято именовать «периодом Террора».

Можно подумать, что до якобинцев никто и нигде террор не практиковал! В том числе и во Франции. Однако уже Сен-Жюст писал: «Сетуют на революционные меры! Но мы — умеренные люди в сравнении со всеми другими правительствами. В 1787 году Людовик XVI велел перебить 8 тысяч человек, независимо от возраста и пола, на улице Меле и на Новом мосту. Двор повторил это на Марсовом поле. Двор вешал людей в тюрьмах; утопленники, которых вылавливали из Сены, были его жертвами. Было 400 тысяч заключенных; в год вешали по 15 тысяч контрабандистов, колесовали по 3 тысячи человек; в Париже тогда было больше заключенных, чем ныне. Во времена голода против народа посылали полки солдат. Прогуляйтесь по Европе: в Европе 4 миллиона заключенных, чьих криков вы не слышите... Ваш Революционный трибунал за год приговорил к смерти 300 преступников. А испанская инквизиция, разве она не погубила больше? ... А разве суды Англии за эти годы никого не осудили на казнь? А Бендер, который велел сжигать бельгийских детей! А узилища Германии, где погребен целый народ? О них вам не говорят! Может, вам говорят о милосердии королей Европы? Нет»². Сен-Жюст мог бы еще смело напомнить о Варфоломеевской ночи, когда за неделю в одном лишь Париже истребили 10 тысяч гугенотов, о гугенотских войнах вообще — с их сотнями тысяч жертв, а также и об отмене в 1685 г. Нантского эдикта, после чего репрессии вновь обрушились на сотни тысяч гугенотов. Сен-Жюст мог бы напомнить и об Альбигойских войнах, когда в цветущем Лангедоке было истреблено самое меньшее 200 тысяч человек, а сам край разорен — или даже об одном только штурме Безье в 1209 г., где крестоносцы вырезали поголовно все население города, 20 тысяч человек, без разбора пола, возраста и вероисповедания — в соответствии с директивой папского легата Арно-Амальрика «Убивайте всех, Бог на небе узнает своих!»³ Мог бы напомнить о 20 тысячах крестьян, вырезанных с целью запугивания после подавления Жакерии, или же о казненных 20 тысячах участников восстания «пастушков» 1320 г., которое, на самом деле, даже не было

¹ Манфред А. З. *Три портрета эпохи Великой французской революции*. М., 1978. С. 256.

² *Цит. по: Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции*. Т. VI. М., 1983. С. 352.

³ Таевский Д. А. *Христианские ереси и секты I–XXI веков. Словарь*. М., 2003. С. 36–37; Мадоль Ж. *Альбигойская драма и судьбы Франции*. СПб., 2000.

восстанием, а было всего лишь попыткой массового ухода крестьян, измученных феодальным гнетом, из Франции в «Святую землю»¹. Мог бы привести еще множество таких же примеров.

Якобинцы не изобрели ничего нового. И до них власти во Франции широко прибегали к террору, несравненно более массовому.

Когда в начале XX в. наряду с антиякобинской историографией Великой французской революции появилась и проякобинская, число жертв якобинского террора стало объектом тщательных подсчетов. И оказалось, что за 17 месяцев якобинской диктатуры на гильотину было отправлено 2600 человек, в то время как с момента термидорианского переворота и до падения республики — 16 тысяч. При этом надо иметь в виду, что 70% гильотинированных якобинцами взойшли на эшафот после принятия прериальского закона², когда заговорщики — будущие термидорианцы — уже повели дело к дискредитации и свержению Робеспьера путем «корруппирования гильотины».

Кроме того, основные жертвы были принесены не на гильотине и не по приговору Революционного трибунала. В стране шла гражданская война, и убитых при подавлении контрреволюционных мятежей было куда больше, чем гильотинированных. Один лишь Лион якобинцы штурмовали два месяца, а затем Колло д'Эрбуа расстрелял там (в том числе из пушек) свыше 1600 мятежников, мстя за 800 якобинцев, убитых в городе в день жирондистского мятежа³. В Нанте Каррье утопил в Луаре свыше 2 тысяч вандейцев. Но в то же время в Нормандии после провала жирондистского восстания ни один человек не был осужден на казнь, а в Кальвадосе за все время якобинской диктатуры не было ни одного смертного приговора, и самой серьезной репрессией тех лет было решение о сносе дома жирондистского депутата Бюзо и установлении на этом месте столба с надписью: «Здесь было убежище злодея Бюзо, который, будучи народным представителем, замышлял гибель республики»⁴.

В 1935 г. американец Дональд Грир попытался подсчитать в специальном исследовании, сколько же своих врагов смогли уничтожить якобинцы⁵. У него получилось, что от 35 до 40 тысяч. Подсчеты Грира

¹ См.: Керов В. Л. *Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII — начале XIV века*. М., 1986. С. 44.

² См.: Собуль А. *Первая республика*. М., 1974. С. 132; Манфред А. З. *Великая французская революция*. М., 1983. С. 345.

³ См.: Матьез А. *Французская революция*. Т. III. М., 1930. С. 89; Фрязинов С. *Великая французская революция. Научно-популярный очерк*. М., 1927. С. 201.

⁴ См.: Матьез А. *Французская революция*. Т. III. М., 1930. С. 89; Собуль А. *Первая республика*. М., 1974. С. 90–91.

⁵ См.: Greer D. *The Incidence of the Terror. A Statistical Interpretation*. Cambridge, 1935.

выглядят не очень убедительно, реальные цифры могут быть и меньше, и больше. К тому же в это число не включены жертвы вандейского мятежа. А между тем они грандиозны. Вандейцы, отличавшиеся фантастической жестокостью, пленных не брали, а если брали — то исключительно для того, чтобы их показательно замучить. Случалось, что вырезали целые городки¹. В ответ республиканцы применяли тактику «выжженной земли», сжигая деревни и посевы и разрушая мельницы и церкви. В ходе гражданской войны в Вандее, прекратившейся лишь при Наполеоне, за 10 лет погибло 450 тысяч человек. Из них около 200 тысяч были мятежниками и около 250 тысяч — республиканцами².

Наконец, как уже говорилось выше, контрреволюционный террор далеко превосходил размахом террор революционный. К тому же после отмены термидорианцами максимума контрреволюция прибегла к такой форме террора, какая якобинцам и в голову прийти не могла: к массовому убийству санкюлотов посредством голода. В послееякобинской республике от голода умерло около 1 миллиона человек³.

Причем это был именно террор: голод не был связан с объективными причинами — с неурожаем, например. Просто с падением якобинцев и отменой максимума рыночная экономика стала функционировать по своим законам без ограничений — и основной ее двигатель, жажда наживы, пересилил все остальные соображения. Править стали не люди, не партии, не государственный аппарат, а деньги. «Спекулянты среди бела дня сворачивали транспорты хлеба с парижской дороги на другие пути не потому, что у полиции не хватало энергии, а потому что и эта полиция, и гражданские власти, и армейские комиссии сплошь да рядом были куплены тою же ширящейся спекулянтской стихией, в руках которой были и Тальены, и Фрероны, и Роверы, и Бурдоны, и все комитеты ... “Безнаказанная алчность предпринимателей” доходила ... до неслыханных размеров: через тот или иной департамент проходит обоз с продовольствием, но до места назначения он не доходит, потому что местные спекулянты ... стакнувшись с конвоирами, овладевают этой казенной кладью и обращают ее в свою пользу. При Робеспьере подобные операции могли повести прямым путем к гильотине; после 9 термидора они сходили с рук вполне безнаказанно»⁴.

¹ О вандейском терроре см.: Жорес Ж. *Социалистическая история Французской революции*. Т. I. М., 1976. С. 353–359. Но самые подробные работы о восстании в Вандее: (Dubreuil L. *Histoire des insurrections de l'Ouest*. V. 1–2. P., 1929–1930.); Gabory E. *La Révolution et la Vendée d'après les documents inédits*. V. 1–3. P., 1925–1928. До сих пор на русский не переведены.

² См.: Secher R. *Le génocide franco-français. La Vendée. Vengé*. P., 1986.

³ См.: Фрязинов С. *Великая французская революция. Научно-популярный очерк*. М., 1927. С. 278.

⁴ Тарле Е. В. *Жерминаль и прерияль*. М., 1937. С. 12.

Это был экономический террор, а экономический террор всегда самый страшный: голод убивает миллионы, суды и гильотины просто технически не в состоянии собрать столько жертв.

Контрреволюционный террор всегда более масштабен, чем революционный. Это террор богатых против бедных, а бедных, как известно, гораздо больше, чем богатых.

Собственно говоря, вся последующая истерия вокруг якобинского террора была порождена шоком и страхом богатых: они привыкли к мысли, что только они могут находиться у власти и применять террор по отношению к бедным. Когда вдруг случилось наоборот, они впали в панику.

Перечень непосредственных задач, которые были решены якобинским террором, привел А. Собуль: «Террор был, в основном, орудием национальной и революционной защиты, орудием против мятежников и предателей. Как и гражданская война, одним из аспектов которой был террор, он изымал из нации социально неприемлемые элементы, будь то аристократы либо лица, связавшие свою судьбу с аристократией. Он придал правительственным комитетам силу принуждения, которая позволила им укрепить власть государства и навязать всем порядок общественного спасения. Он способствовал ... развитию чувства национальной солидарности, заставив на время умолкнуть классовый эгоизм. Террор помог, в частности, ввести управляемую экономику, необходимую для нужд войны и спасения нации»¹. Исторический же смысл якобинского террора давно раскрыл Карл Маркс: «Господство террора во Франции могло ... послужить лишь к тому, чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции. Буржуазия с ее трусливой осмотрительностью не справилась бы с такой работой в течение десятилетий. Кровавые действия народа, следовательно, лишь расчистили ... путь»².

И последнее: практический вывод из опыта именно якобинского террора. Террор этот был несистематическим, избирательным и сплошь и рядом зависел от произвола отдельных личностей. Среди прочего, А. Левандовский показал, как Робеспьер спас от гильотины 75 депутатов-жирондистов — как верно написано в книге, «своих самых злейших врагов»³. Чтобы быть действительно эффективным оружием, революционный террор должен стоять на научной основе и носить классовый характер — в точности так, как это делает сегодня буржуазия по отношению к своим противникам.

¹ Собуль А. *Первая республика*. М., 1974. С. 113.

² Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.* Т. 4. М., 1956. С. 299.

³ Левандовский А. П. *Максимилиан Робеспьер*. М., 1959. С. 289.

КОНСТАНТИН АРШИН**РЕВОЛЮЦИЯ 1789 Г. И ФОРМИРОВАНИЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИИ: ИДЕИ И КОНТЕКСТ**

По мнению многих современных исследователей, западное общество при переходе к современности пережило две революции: промышленную и политическую. Каждая из них в той или иной степени способствовала трансформации феодального общества, основанного на системе жестко установленных иерархий, королевских привилегиях, системе цехов, в общество капиталистическое, фундамент которого состоял из системы свободной конкуренции, роста централизации государства, секуляризации политики и этики, изменения природы знания, переменах в организации семьи и частной жизни. Очевидно, что эти процессы ведут к перестройке самого социального порядка, изменению основных механизмов, им управляющих.

Но каков механизм трансформации? На этот вопрос ответ можно найти в двух субдисциплинах, сформировавшихся в рамках пересечения предметного поля истории и социологии.

Соответственно, первая изучает процессы, связанные с генезисом и становлением особой формы организации человеческих сообществ, которая появилась на исторической арене в результате революционных событий, прежде всего, Великой французской революции. Вторая ставит своей целью познать и описать движущие силы, основные события, возможные последствия революционных выступлений.

До сих пор эти два направления развивались вне контакта друг с другом. Однако между ними есть общие черты. Во-первых, каждая из субдисциплин, прежде всего, изучает нечто, окончательный смысл чего еще не понят современной социологической наукой. Свидетельством этого служит многочисленность теорий, которые объясняют это «нечто», спорят относительно содержания феноменов и факторов, в наибольшей степени повлиявших на него. Во-вторых, можно назвать год и страну появления феноменов, которые послужили основанием для выделения обеих субдисциплин — это 1789 г., Франция или события, которые получили название Великой французской революции. Следует отметить, что вопрос: «Что такое революция?», равно как и вопрос: «Что такое нация?» мы не ставим, поскольку по этому поводу них уже написаны многочисленные тома. В данной статье мы постараемся осуществить историческую реконструкцию событий Французской революции 1789 г., чтобы показать содержание теоретических дискуссий относительно понятия «нация».

Понятие «нация» имеет своим источником римское «Natio»¹. Нации являлись родовыми сообществами, интегрированными географически и культурно, но не обладавшими политической организацией; в этом смысле они были противоположны «civitas» — гражданской общине. Данная смысловая коннотация сохранялась за термином в течение всего Средневековья, вплоть до XV в., когда он вошел в формирующиеся народные языки. Однако подлинный взрыв дискуссий по поводу определения понятия нации приходится на период, предшествующий Великой французской революции, и связан с формированием революционной идеологии, которая и послужила интеллектуальным оправданием событий 1789 г.

Безусловно, одним из наиболее репрезентативных источников относительно того, чем была «нация» для первых революционеров, является «Энциклопедия» Дидро и Д'аламбера. Говоря об Энциклопедии необходимо отметить, что она изобилует примерами из истории Античности. Авторы рассматривают города-государства Древней Греции и Древний Рим как утерянные образцы, к которым необходимо стремиться. Хотя сам термин «нация» в «Энциклопедии» употребляется достаточно часто, тем не менее, четкой дефиниции этого понятия нет.

Вполне вероятно, что под «нацией» они понимали все население Французского королевства. Однако французские революционеры под нацией разумели совсем иное, поэтому понятие «нация» в том виде, как ее понимали революционеры, может быть реконструировано посредством анализа материалов статей «родина», «народ» и «гражданин».

Здравый смысл подсказывает, что наиболее близко к понятию «нация» стоит понятие народ. Но относительно того, что такое «народ» в «Энциклопедии» сказано следующее: «собирательное понятие, затруднительное для определения, поскольку в него вкладывают различное содержание в соответствии с местом, временем и природой власти»². Как пишут энциклопедисты, народу в Греции и Риме придавалось большое значение, равно как и во Франции много лет назад. Оно и понятно, поскольку «народ был главным сословием нации, лишь отделенным от сословия вельмож и дворян. Он включал в себя земледельцев, торговцев, финансистов, ученых и людей правосудия»³. Однако постепенно от народа отделились сначала чиновники, затем ученые, торговцы и финансисты. Постепенно в категории «народ» остались лишь рабочие и земледельцы, те, кто составляет низшую страту третьего сословия. Однако это те люди, «которые всегда составляют самую многочисленную

¹ Имя богини рождения и происхождения. Слово «нация» относится совместно с такими словами как «gens» и «populus» к народностям, которые еще не организованы в политические союзы. — *Прим. автора.*

² *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера.* М., 1978. С. 81.

³ *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера.* М., 1978. С. 82.

и самую необходимую часть нации»¹. Народ составляет самых верных подданных и друзей монарха, поскольку «власть и защита короля — единственные гарантии его безопасности и благополучия»².

Следующая статья, которой необходимо уделить внимание, — статья «Родина». Слово Родина, согласно Энциклопедии, «имеет смысл, который мы связываем с семьей, обществом, свободным государством, членами которых мы являемся и чьи законы обеспечивают нашу свободу и счастье. Под гнетом деспотизма родины нет», и, как следствие, не следует смешивать понятия королевство и родина. Тем самым энциклопедисты, по сути дела, лишают короля функции выразителя государственно-го суверенитета. Король еще может сказать: «Государство — это Я», но это уже будет означать всего лишь отождествление короля и подчиненного ему государственного аппарата: доктрина «двух тел короля» терпит крах. Ведь в «порабощенных государствах не может быть родины»³. Энциклопедисты пишут, что именно римляне и греки более, нежели кто-либо иной, понимали значение Родины для воспитания и жизни гражданина. Вследствие этого: «Слово “Родина” было одним из первых слов, которые начинали лепетать дети греков и римлян; оно было душой бесед и военным кличем; оно украшало поэзию, воодушевляло ораторов, председательствовало в сенате, звучало в театре и на народных собраниях; оно высекалось на памятниках»⁴. Во славу Родины греки и римляне устраивали спектакли, посвящали ей венки, триумфы и статуи. Римляне же примешивали к любви к Родине религиозные чувства. Но постепенно, замечают энциклопедисты, слово Родина начинает использоваться алчными и тщеславными с целью получить власть. Они апеллируют к ней, осуществляя профанацию этого священного понятия. Это было начало конца Римской республики, которая, превратившись в империю, еще несколько веков властвовала в Средиземноморье, но величия предшественницы не унаследовала.

В заключении статьи приводится высказывание некоего аббата Куайе: «побуждаемый усердием, я во многих местах спрашивал у подданных всех рангов: граждане, спрашивал я, известна ли вам родина? Человек из народа плакал, чиновник хмурил брови, храня мрачное молчание, во-

¹ *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера*. М., 1978. С. 83.

² *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера*. М., 1978. С. 83.

³ *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера*. М., 1978. С. 81.

⁴ *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера*. М., 1978. С. 78. Это высказывание тем более интересно в свете того, что в Англии и Франции XVI–XVII вв. широкое распространение получил дискурс завоевания, в соответствии с которым третье сословие рассматривалось в качестве потомков галлов, которых завоевали франки, сформировавшие впоследствии сословие дворян. Подробнее см.: Фуко М. *Нужно защищать общество*. СПб., 2005.

енный бранился, придворный издевался надо мной, финансист спросил, не означает ли это название нового откупа. Лица духовного звания указывали, подобно Анаксагору, перстом на небо, когда их спрашивали, где ваша родина: неудивительно, что на этой земле ее не чествуют»¹. В данном высказывании примечательны несколько вещей. Во-первых, описание отношения к понятию Родина у представителей разных сословий, из которого следует то, что более всего горевало о потере Родины именно третье сословие; во-вторых, употребление термина «гражданин» в отношении опрашиваемых. Согласно Энциклопедии, гражданин — «тот, кто является членом свободного сообщества многих семейств, имеет его права и пользуется его привилегиями. Тот, кто проживает в таком сообществе ради какого-то дела и по его окончании должен уехать, отнюдь не является гражданином этого общества, но лишь его кратковременным членом. Также не является гражданином тот, кто пребывает в нем постоянно, но не пользуется правами и привилегиями. Лишенный их тоже перестает быть гражданином. Женщинам, малолетним детям и слугам это звание дается лишь как членам семьи подлинного гражданина, но они не являются гражданами в полном смысле этого слова»².

Помимо прочего, граждане бывают как урожденные, так и натурализованные, получившие свои права от общества. Гражданин, согласно энциклопедистам, жертвует собой ради свободы и равенства. Они пишут: «Государство тем спокойнее, чем более приближены граждане к равенству требований и состояний: таково как будто бы исключительно преимущество чистой демократии перед любой другой формой правления, но полное равенство членов химерично даже в самой совершенной демократии»³.

Нетрудно заметить, что в представленных выше статьях присутствует противоречие, которое затем станет основанием размежевания жирондистской и якобинской концепции нации. Прежде всего, энциклопедисты установили половой, имущественный и возрастной цензы относительно того, кто является полноправным гражданином: гражданин — это состоятельный домохозяин. Соответственно, такие категории, как женщины, слуги⁴ и дети таковыми не являются. С другой стороны, натурализованные состоятельные люди имеют больше прав, нежели урож-

¹ Цит. по: *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера*. М., 1978. С. 81.

² *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера*. М., 1978. С. 84.

³ *История в энциклопедии Дидро и Д'аламбера*. М., 1978. С. 87.

⁴ Здесь может быть двойное толкование: либо это все, кто вынужден продавать свою рабочую силу, либо это те, кто занимается непроеизводительным трудом. Подробнее об этом разделении см.: Смит А. *О причинах богатства народов*. М., 2007.

денные вышеперечисленные граждане, не имеющие прав полных. Подобная трактовка не могла не вызвать критики, которую можно имплицитно обнаружить в трудах Жан-Жака Руссо.

Известный исследователь национализма Ганс Кон писал о Руссо следующее: «Руссо — уроженец швейцарской городской республики Женевы, испытывал ностальгию по греческим полисам, по исключительной и универсальной преданности ему граждан. Руссо, живший во Франции на положении несчастного изгнанника, видел зло и произвол со стороны короля и двора. Он хотел заменить этот порядок правительством Разума, при котором человек соблюдал бы правила социального порядка по собственной воле и подчинялся бы законам потому, что он сам предписал их себе»¹. Разработке принципов устройства государства, основанного на положениях Разума, посвящена книга «Об общественном договоре».

Термин «нация» в своем наиболее известном произведении «Об общественном договоре» Руссо употребляет лишь дважды, однако термины «народ», «суверен» и «гражданин» употребляются не в пример чаще. Это свидетельствует в пользу того, что Руссо использовал данные понятия в качестве синонимов, что отличает данного мыслителя от предшественников, которые проводили жесткое различие между народом как всего лишь частью, пусть и важной, политического целого и нацией как политическим сообществом.

Руссо — истинный теоретик революционного национализма. Но дабы оценить глубину его позиции, необходимо сказать несколько слов о его основной идее — идее общей воли, которая является не только первым признаком национального сообщества, но его определяющей чертой. Безусловно, любой, кто потрудился хотя бы частично ознакомиться с трудами Руссо, без труда назовет основные признаки общей воли — неотчуждаемость, нерушимость, неделимость, а также ее определение.

Однако более важен вопрос об условиях формирования того сообщества, которое репрезентирует общую волю. Руссо, будучи уроженцем Женевы, швейцарского города-государства, с молоком матери впитал почтение к идеям прямой демократии и резкое неприятие каких-либо ассоциаций, которые могут формировать граждане. Он был уверен, что подобные действия ведут к диффузии общей воли, в результате этого она теряет свою значимость. Это связано с появлением посредника-ассоциации между индивидуумом как членом суверена, то есть гражданином, в отношении частных лиц и как членом Государства, то есть подданным, по отношению к суверену. Таким образом, люди, организованные в со-

¹ Kohn H. *Nationalism: Its Meaning and History*. New York, 1955. P. 21.

общество, согласно Руссо, «в отдельности называются гражданами как участвующие в верховной власти, и подданными как подчиняющиеся законам Государства»¹.

Так в политический дискурс вошло представление о народном суверенитете и народе, формирующем общую волю как единственном источнике власти и легитимизирующего политического действия, что, безусловно, противоречило господствовавшим идеям о нации как, прежде всего, языковой общности и монархе как единственной инстанции, репрезентирующей не только государство, но и всех его жителей.

Для Руссо же лишь народ-нация являлся единственной инстанцией, обладавшей правом не только законодательной инициативы, но и выработки и осуществления законов, поскольку лишь целое может вырабатывать решение, обязательное для целого — в чем и состоит сущность закона. С другой стороны, безусловная заслуга Руссо состояла в том, что он все же ответил на вопрос, кто и на каком основании принадлежит к нации. Его ответ прост: тот, кто принимает участие в выработке решений общей воли и подчиняется этим решениям.

Руссо не являлся последовательным монархоборцем, поскольку даже монарх, до тех пор пока он не подменяет законов своими декретами, может осуществлять свою власть. В то же время любой, кто ставит себя выше законов, а тем самым выше решений общей воли, становится преступником, заслуживающим не просто изгнания из национального сообщества, но и более жестокого наказания — смерти. Но даже изгнание для Руссо, как противника космополитизма, являлось поистине высшей мерой, какой только можно было покарать предателя. Однако он не был и сторонником иррациональной любви к отечеству вне зависимости от тех нарушений прав и свобод, которые практикуются на его территории. Настоящая любовь возможна лишь к демократической республике, поскольку для всякого истинного республиканца любовь к отечеству означает и любовь к законам и свободе. Интересно, что тем самым Руссо как бы разводит понятия отечества и государства, которые с равной степенью претендуют на высшую лояльность своего населения.

Нет необходимости гадать, какую сторону он занимает: Руссо целиком и безоговорочно на стороне отечества. Лояльность к нему формируется посредством системы национального воспитания. Одну из основных позиций в воспитании занимает гражданская религия, установления и обряды которой принимает нация². Таким образом, основная функция подобных религиозных отправлений — утверждение и подтверждение

¹ Руссо Ж. Ж. *Об общественном договоре* // Руссо Ж. Ж. *Об общественном договоре. Трактаты*. М., 1998. С. 209.

² Здесь необходимо вспомнить уже упоминаемые выше празднества римлян и греков в честь нации.

групповой интеграции. Якобинский режим в революционной Франции использовал данную идею Руссо для создания нового религиозного движения — культа Верховного Существа, который просуществовал всего несколько лет и не оставил большого следа, поскольку был заменен в период империи Наполеона традиционным христианством, поставленным под жесткий государственный контроль.

Наполеон Бонапарт говорил: «Народ без религии — как корабль без шкипера». Его позиция была ближе к руссоистской позиции, нежели якобинская попытка пропаганды нового культа. Безусловно, Руссо был противником традиционного христианства, но его позиция менее радикальна, чем вольтеровский призыв «раздавить гадину». Она заключалась в требовании контроля над церковью со стороны суверена, с целью предупреждения какого бы то ни было влияния на выработку решений общей воли. С другой стороны, гражданская религия должна была стать основой системы национального воспитания, предназначенного для формирования истинного гражданина — такой гражданской религией должен был стать национализм¹. Что и произошло в период Французской революции 1789 г., посредством которой «идеология современного мира впервые проникла в древние цивилизации, которые до сих пор сопротивлялись принятию европейских идей»².

Известный русский историк Н. Карамзин описал один занятный эпизод, случившийся с ним во время путешествия по революционной Франции, который он запечатлел в «Письмах русского путешественника»: «В одной деревеньке близ Парижа крестьяне остановили молодого, хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал с ними: *vive la nation!* Да здравствует нация! Молодой человек хорошо исполнил их волю; махал шляпой и кричал: *vive la nation!* Хорошо! Хорошо! Сказали они: мы довольны. Ты добрый Француз; ступай куда хочешь. Нет, стой: изъясни нам прежде, что такое... нация?»³. Однако ознакомление с этим фрагментом не может не вызвать вопрос, как же так получилось, что нация стала тем символом, за который были готовы бороться и умирать, даже не понимая, что же скрывается за этим столь незнакомым, но столь сладко звучащим понятием? Как получилось, что народ, который, в соответствии с мнением энциклопедистов, должен был поддерживать короля, пошел против него?

Ответы на эти вопросы взаимосвязаны, но чтобы ответить на них, необходимо перенестись в июль 1789 г., когда по всей Франции вспых-

¹ Подробнее о национализме как гражданской религии см.: Cristi M. *From Civil to Political Religion: The Intersection of Culture, Religion and Politics*. Ontario, 2001.

² Хобсбаум Э. *Век революций 1789–1848*. Ростов н/Д., 1999.

³ Карамзин Н. М. *Письма русского путешественника*. Л., 1987. С. 226.

нули крестьянские восстания, масштаб которых сравним со знаменитой Жакерией. Этот период французские историки называли Великим страхом, поскольку вызван он был истинным страхом крестьян. Надо понять, что представляла собой крестьянская предреволюционная Франция. Это была относительно перенаселенная страна, в которой многие крестьянские семьи владели жалкое существование, они не владели практически никаким имуществом, и в то же время их постоянно разоряли многочисленные банды разбойников, с которыми королевские власти уже просто не могли справиться. Помимо этого постоянно ужесточались и увеличивались повинности в отношении землевладельцев¹. Все это в сочетании с постоянно присутствующей опасностью широкомасштабного голода привело к тому, что пошатнулся тот столп, который поддерживал веру крестьян в монархию — веру в то, что власть короля — единственная гарантия безопасности и благополучия народа.

Следствием подобной потери ориентира стала паника, которая выразилась в многочисленных актах агрессии в отношении тех, кого крестьяне считали виновным в своих бедах. Следует отметить, что, вероятно, в тот период во Франции отсутствовала система широкомасштабной пропаганды, вследствие чего нельзя утверждать намеренный и скоординированный характер подобных выступлений, тем не менее, они, уничтожив сельский нобилитет, а тем самым устранив единственный канал, могущий влиять на умы крестьян, сделали крестьян восприимчивыми к националистической пропаганде буржуазии. Чему способствовала и особенность крестьянского сознания, замечательно описанная Дьердем Лукачем: «идеологическая форма, которую приобретает “классовое сознание” крестьян, является содержательно более лабильной, чем у других классов, ведь она всегда является заемной [...]. Вот поэтому-то оказывается возможным, что крестьянские движения могут сражаться под противоположными идеологическими знаменами»².

Историки отмечают, что как таковая националистическая пропаганда отсутствовала вплоть до начала широкомасштабной агрессии европейских государств против революционной Франции. Первые месяцы были полны эйфории «свободы», «равенства» и «братства». Тем не менее, национализм имплицитно присутствовал во всех действиях и декретах, которые предпринимались и издавались уже в первые месяцы существования революционного правительства, а иначе трудно объяснить, каким образом, когда это стало необходимым, национализм быстро завоевал широкую поддержку во всех слоях населения.

¹ Февр Л. *Гигантский лживый слух: Великий страх июля 1789 года* // Февр Л. *Боги за историю*. М., 1991.

² Лукач Д. *Классовое сознание* // Лукач Д. *История и классовое сознание*. М., 2003. С. 159.

Для объяснения этого феномена необходимо обратиться к концепции гегемонии, разработанной итальянским марксистом Антонио Грамши. Гегемонию Грамши определяет как главенство социальной группы, которое «проявляется в двух формах — в форме господства и в форме “духовного и нравственного руководства”. И далее: «Лишь та социальная группа является господствующей над враждебными ей группами, которая стремится “ликвидировать” или подчинить себе, не останавливаясь перед вооруженной силой, и которая одновременно выступает как руководитель союзных и родственных ей групп»¹.

Подобной группой и стала буржуазия, поскольку ко времени начала Французской революции это была единственная группа, обладающая достаточными экономическими и культурными ресурсами для сопротивления экономическому давлению дворян и идеологическому давлению духовенства, и именно она стала инициатором формирования *homo nationalis*'a, который содержал в себе буржуазные представления о *homo oeconomicus, politicus, religisus*. Однако для этого было необходимо создать некую общую универсальную культуру, которая была бы единой для всех союзных и родственных групп. Начало формирования общей культуры Французской республики было положено в июне 1789 г., когда после продолжительного перерыва были созваны Генеральные Штаты, вскоре переименованные в Национальное собрание, орган, представляющий всю нацию. В августе того же года был сделан следующий, исключительно важный шаг к формированию французской нации: были сметены все географические и классовые барьеры, сословия где добровольно, а где и под принуждением отказались от своих привилегий и исторических прав. В том же месяце была провозглашена «Декларация прав человека и гражданина», в которой утверждалось, что именно нация, состоящая из свободных личностей, находящихся под защитой закона, есть единственный источник суверенитета государства. Однако говорить, как это делает Ганс Кон, что эти меры привели к достижению национального единства, было бы неправильно, поскольку, в действительности, барьеры, которые остались от *ancien regime* были окончательно ликвидированы только в период якобинской диктатуры.

В результате мер, предпринятых якобинцами (институционализация национального языка, учреждение департаментов), был окончательно ликвидирован партикуляризм провинций, осуществлена дехристианизация и введен культ Верховного существа, что привело к утрате священнослужителями их идеологической роли. С другой стороны, распродажа дворянских имений ликвидировала экономическую основу власти первого сословия. Однако излишний радикализм якобинцев привел и к их

¹ Грамши А. *Тюремные тетради* // Грамши А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3. М., 1959. С. 345.

падению, поскольку, ликвидировав преференции первых двух сословий, они обратили свое внимание на буржуазию, попытались ограничить ее влияние.

Как следствие, только у буржуазии, как ведущего слоя третьего сословия, остались инструменты влияния на массы, которые нашли свое выражение в двух институтах, крайне важных для современного общества — армия и школа. Первая была основана на всеобщей воинской повинности, вторую же, во-первых, должны были посещать все дети государства, а во-вторых, учебные планы были настолько унифицированы и жестки, что учеба в школе мало отличалась от армейской муштровки. Таким образом, основная функция этих институтов состояла в том, чтобы привить определенную систему норм, основу которой составляло стремление дисциплинировать все или почти все население, проживающее на территории государства, научить его подчиняться. В принципе, это с успехом удалось реализовать, примером чему служит эпизод, описанный французским историком Собулем: «Когда под Вальми ряды французов смешались было под вражеской канонадой, Келлерман (французский генерал. — А. К.), выйдя вперед с поднятой саблей, бросил в лицо ошеломленным пруссакам: “Да здравствует нация!” Революционный лозунг прокатился по рядам. Под огнем регулярных войск, считавшихся лучшими в Европе, не дрогнул ни один человек»¹. Стоит отметить, что это были люди, еще не прошедшие ни армейской, ни школьной муштровки.

Это, в сочетании с утверждением о принципиальном равенстве естественных прав людей, принадлежащих к одному национальному сообществу, делало возможным осуществить промышленную революцию. Равенство прав имплицитно предполагало и равенство возможностей. Вследствие этого, как предполагалось, цели и интересы буржуазии и рабочих совпадали, что сформировало основание легитимации буржуазного общественного порядка, сократив издержки по осуществлению контроля, поскольку, как известно, не прямой контроль, замаскированный в ежедневных практиках человека, намного действеннее прямого.

Однако самой дисциплины в сочетании с декларацией равенства возможностей было недостаточно для установления долгосрочного социального порядка. Необходимы были еще два элемента. Первым элементом стала идея принципиальной общности населения Франции, которая постоянно подтверждалась в процессе различных государственных праздников, проходивших в форме массовых представлений, посещения первых национальных музеев, исполнения национального гимна «Марсельеза» и, конечно же, ежедневного чтения газет — процесса, который Гегель

¹ Собуль А. *Проблема нации в ходе социальной борьбы в годы Французской буржуазной революции XVIII века* // Новая и Новейшая история. № 6. 1963. С. 43.

охарактеризовал как современный заменитель утренней молитвы. Вторым элементом стала национальная исключительность французов по отношению к иным народам Европы, которая в период якобинской диктатуры сменила радужное представление о всеобщем братстве. Ганс Кон полагает, что это реализовало скрытую потенцию, содержащуюся в национализме, которая маскировалась средневековым христианским универсализмом¹. Другие полагают, что причиной подобной трансформации стали победы революционной армии над армиями ведущих держав Европы². Как нам кажется, причиной подобного перерождения является амбивалентное явление — столкновение прогрессистской политической программы французских революционеров, которая, в сущности, обладала качеством универсальности, с другой стороны резким неприятием этой программы не только ведущими державами Европы, но и внутри самой Франции. Это не могло не породить среди французских революционеров чувства собственной исключительности в отношении тех, кто сопротивлялся их программе преобразования, тех, кто не желал подчиниться требованиям универсального Разума. Таким образом родилось представление о Другом, который в силу определенных обстоятельств не хочет и не может следовать требованиям Разума, воплощенным в «Декларации прав человека и гражданина». Но рождение этого образа оказало двойственное воздействие на последствия революции, с одной стороны, сплотив национальное сообщество перед лицом Другого³, с другой, породив чувство подозрения и плохо скрываемой враждебности к нему.

Таким образом, четыре элемента (дисциплина, декларативное равенство возможностей, воображаемая общность населения, сочетающаяся с национальным партикуляризмом) стали теми китами, на которых держался и держится континент устройства современного общества, будучи в то же время характеристиками нации как сообщества. Однако занять место основ феодального общества они смогли только посредством исторического события, своеобразной исторической травмы — Французской революции, которая ниспровергла старые ценности, освободив место для новых. Именно посредством революции на исторической арене появилась новая религия — национализм и новое божество — нация⁴ которые, в кровавой борьбе отстаивали право на существование.

¹ См.: Kohn H. *Nationalism: Its Meaning and History*. N.-Y., 1955.

² См.: Бовыкин Д. Ю. *Идея нации во Франции в эпоху от Революции до Второй Империи* // Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории. М., 2005.

³ О появлении расизма см.: Смит Э. Д. *Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий нации и национализма*. М., 2004; Саид Э. В. *Ориентализм. Западные концепции Востока*. СПб., 2006.

⁴ О нации и национализме как багаж современности см.: Llobera J. R. *The God of Modernity: The Development of Nationalism in Western Europe*. Oxford, 1994.

ГАНС КОН НАЦИОНАЛИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ¹

Мир после Наполеона: разочарование

Поражение Наполеона в 1814–1815 гг. не привело к осуществлению желаний и амбиций националистической молодежи. Во Франции, лишенной своей имперской славы, многие националисты страдали от сокращения территории своей страны и рассматривали поражение Наполеона при Ватерлоо как национальное унижение. Венский конгресс лишь частично удовлетворил национальные требования немцев и поляков, оставив без внимания требования итальянцев. В конце концов, на территории Германии до 1806 г. существовало квазигосударственное образование Священная Римская империя Германской нации, а Польша, как известно, до 1795 г. была независимым государством. Ничего похожего на территории Италии никогда не существовало. В соответствии с решениями Венского конгресса, различные германские княжества в 1815 г. составили широкую конфедерацию, известную как Германский Союз, а большая часть территории Польши была провозглашена автономным королевством со своим собственным национальным законодательством внутри Российской империи. Бывшие австрийские Нидерланды (Бельгия) присоединились к Голландии и образовали Королевство Нидерланды; Норвегия, бывшая частью Дании, присоединилась к Швеции, но на условиях сохранения собственной национальной конституции. Однако в целом территориальное устройство, провозглашенное в 1815 г., лишь в малой степени отвечало новым националистическим устремлениям народов. По прошествии четверти века непрерывных войн и изменений миротворцы в Вене выше всего ставили мир и порядок. Священный союз правителей под руководством императоров России и Австрии, а также короля Пруссии — главных победителей Наполеона — должен был принести дух христианской морали и братского единения для осуществления спокойного развития Европы.

Народы, в целом, не были удовлетворены консервативным порядком, установившимся после периода жестокости и кровопролития. Распаленные ожиданиями, которые были порождены новыми принципами Французской революции, вызовом, брошенным Наполеоном, и эмоциональным жаром романтизма, молодежь и интеллектуалы были возмущены негероическим спокойствием периода Реставрации, который открыл Вен-

¹ *Перевод сделан по: Kohn H. Nationalism: Its Meaning and History. Toronto, 1955. (Перевод Константина Аршина).*

ский Конгресс и ненавистными символами которого стали Священный союз и его поборник, австрийский канцлер князь Меттерних. Общая враждебность по отношению к Священному союзу правителей позволила патриотам, как они себя называли в подражание героям начала Французской революции, осознать близкое родство своих взглядов. Национализм, исповедовавшийся ими, был основан на враждебности народов к монархам и жажде либеральных конституций, которые бы ограничивали абсолютизм правителей; Священный союз народов противопоставлялся Священному союзу правителей. Патриоты одного народа испытывали крайнее сочувствие и всячески поддерживали действия патриотов другого народа, где бы и когда бы то ни было выступавших против порядка, установленного Венским конгрессом. В то время когда в Европе, за исключением Великобритании, едва ли существовала возможность свободного выражения общественного мнения и участия в политической жизни своей страны, патриоты сформировали секретные общества, что, как они полагали, дало бы им возможность с наибольшим эффектом использовать заговоры и восстания для достижения поставленных целей.

Появлению нового национализма среди образованных классов содействовали великие достижения исторической науки первой половины XIX века. Повсюду собирались и редактировались документы прошлого; люди начали проявлять повышенный интерес к собственной истории и использовать ее как источник новой гордости. В Германии великий патриот барон Генрих Фридрих Карл фон Штейн (1757–1831) содействовал изданию *Monumenta Germaniae historica*, средневекового источника по немецкой истории. Каждый из изданных томов содержал надпись, помещенную на первой странице, *Sanctus amor patriae dat animum* (Священная любовь к отчизне воодушевляет нас). Издания подобных книг были предприняты и иными нациями. Среди наций, утративших собственную государственность, историки, подобно чеху Франтишеку Полакки (1798–1876), оживили и наделили новым значением почти забытые воспоминания. Подобная очарованность прошлым в наибольшей степени помогла первому успешному национальному восстанию, которым явилось греческое восстание 1821 года¹. По всей Европе оно было встречено с глубоким сочувствием, поскольку кем были греки, как не потомками Гомера и Праксителя, Эсхила и Сократа, Платона и Демосфена, и разве независимость Греции не означала бы возрождение античной славы? Огромные ожидания, порожденные греческой войной за независимость, являют пример странного союза историцизма и национализма, отстаивавших не только легендарную кровную преемственность,

¹ *Proclamation of Greek Independence* // Kohn H. *Nationalism: Its Meaning and History*. Toronto, 1955.

но в равной степени и мистическую способность национального гения выживать в течение веков.

Мадзини

Революционная агитация достигла кульминации в июле 1830 г., когда в результате восстания в Париже была свергнута династия Бурбонов, а трон унаследовал Луи Филипп, заняв его в качестве короля-гражданина. Французский пример вдохновил краткие революционные выступления в Италии, Германии и Польше. Но они были легко подавлены из-за отсутствия народной поддержки. Только в Бельгии революция увенчалась успехом. 25 августа 1830 г. в Брюсселе, столице Бельгии, студенты осуществили постановку популярной тогда оперы «*La Muette de Portici*» («Немая из Портичи») Обера, прославлявшей восстание неаполитанского народа против испанского правления в 1647 г. Студенты, вдохновленные оперной партией «*Amor sacre de la patrie*» (О, священная любовь к отечеству), спровоцировали волнения, которые привели к признанию бельгийской независимости европейскими державами 14 октября 1831 г. Но в целом революции 1830 г. были успешны лишь в Западной Европе, поскольку стали причиной либерализации конституций во Франции, Бельгии и Британии, привели к власти средний класс и продолжили ту линию исторического развития, начало которой было положено в 1688 и 1789 гг. Но в Центральной и Восточной Европе старый порядок в 1830 г. остался непоколеблен. Восстания были быстро подавлены. Из Италии, Польши и Германии поток беженцев устремился в Швейцарию и Англию. Среди них был и итальянец Джузеппе Мадзини (1805–1872).

Учение Мадзини было типичным для национализма того периода. Он превратился в неутомимого апостола националистической теории и практики, осуществлять которую должна была молодежь, воспитанная в истинно национальном духе. Столкнувшись с инерцией народных масс и малодушием среднего класса, Мадзини требовал более энергичных действий со стороны «Молодой Италии». «Секрет восставших масс, — писал он, — находится в руках тех, кто провозглашает готовность вести их за собой». Он призвал молодежь и народ пожертвовать всем ради создания единой, централизованной, сильной нации. Более того, он был убежден, что только так нация может породить процветающее искусство. Но он забыл, что искусство действительно пышно расцвело в Италии в конце Средневековья и в период Ренессанса, когда Италия не существовала как единая страна, а культурные достижения этой эпохи вдохновляли человечество еще тогда, когда оно и не пыталось породить нацию. Как и множество других националистов, Мадзини в огне апостольской проповеди искажал историю, ярким примером чего стало превознесение Итальянской революции, которая, с его точки зрения, долж-

на была принести народам больше, нежели Французская, опыт которой он рассматривал негативно. Французская революция установила свободу и уничтожила старый мир; на его руинах должна была появиться новая вера, чтобы заполнить пустоту, порожденную Французской революцией. Мадзини был убежден, что только итальянцы могут быть носителями позитивного сообщения в новую эпоху и способствовать установлению единства, подобного тому, что Рим уже дважды давал человечеству в эпоху Цезарей и в эпоху Пап. Третий и более величественный Рим — Рим народов — призван возглавить и объединить Европу в большей степени, нежели это могли сделать античный Рим или средневековый Рим Пап. «Сегодня третья миссия возлагается на нашу Италию, — писал Мадзини в 1858 г. — Более ответственная, нежели миссии прошлого, поскольку итальянский народ свободной и объединенной страны будет более величественным и могущественным, нежели Цезари и Папы»¹.

Молодая Европа

В 1831 г. Мадзини основал движение «Giovine Italia» («Молодая Италия»). Будучи иммигрантом в Швейцарии, он вдохновил создание подобных движений в среде немецких и польских иммигрантов, а также попытался соединить их в ассоциацию «Молодая Европа». Эта секретная революционная организация не была чем-то большим, чем действительной искрой революции. Но Мадзини ввел новое понятие и слово для его обозначения, которые отразились в воззрениях всех националистических движений XIX века вплоть до программ движений «Молодая Турция» и «Молодой Китай». Мадзини верил в существование фундаментального товарищества всех юных националистических движений. 1830–1848 года были периодом растущей надежды и всеобщего оптимизма (в отношении будущего). Мадзини же непоколебимо верил — в традиции Руссо и Гердера — в изначально присущее народу благо, в то время как правительства и государства казались ему источником порока. Эту веру разделил французский историк Жюль Мишле (1798–1874), чья книга «Le Peuple», написанная в 1846 году, выразила чувства героического патриотизма и мессианского пыла, господствовавших в тот период. Как и Мадзини, Мишле полагал, что именно народ воплощает основу нации и что представители различных наций, когда-нибудь освобожденные от деспотического правления, создадут миролюбивый Европейский союз. Мишле был другом и сторонником польского поэта Адама Мицкевича (1798–1855), который жил в иммиграции в Париже. Этот польский поэт, после поражения польского восстания 1831 года, в

¹ См.: Mazzini D. *The Unity of Italy* // Kohn H. *Nationalism Its Meaning and History*. Toronto, 1955.

котором он не участвовал, стал одним из лидеров польского национализма. С мессианским пылом он и его соратники-иммигранты, обладающие поэтическим даром, поддерживали уверенность поляков в собственном великом предназначении в период поражения и отчаяния. Польское мученичество обрело значимость в их мессианской интерпретации. Польша была провозглашена Христом среди наций; без вины распятая, она воскреснет и ее освобождение станет освобождением всего человечества от угнетения и войн.

Мицкевич, Мадзини, Мишле, как и практически все младевропейцы, были националистами и демократами. Они понимали, что пробуждение наций требует активного участия народа. В индустриальных странах Западной Европы призыв к рабочему классу часто был представлен в националистических терминах, обращенных к национальной гордости и воскрешающих лозунги парижан 1792–1793 гг. В Центральной и Восточной Европе проблема, с которой столкнулись патриоты, была проблемой освобождения крестьян. Польское национальное восстание потерпело поражение главным образом из-за апатии сельских жителей и недоверия, которое они питали к высшим сословиям. Польские демократы, среди которых наиболее выдающимся был историк Иоахим Лелевель (1786–1861), отстаивали необходимость всеобщего образования и признания равенства всех классов. Но Лелевель, который был преподавателем Мицкевича в университете в Вильно, как и множество других своих соратников, провел последние тридцать лет жизни в изгнании и был неспособен повлиять на развитие событий в Польше. Более успешной была деятельность датского священника и поэта Николая Фредерика Северина Грюнтверга (1783–1872) — горячего патриота, который заложил основу системы народных средних школ для датских крестьян, где национальная поэзия и история составляли значительную часть учебного плана.

Подобным образом, проблема крестьян была решена в XIX столетии и в Ирландии, политически с помощью предоставления избирательного права католикам как в Великобритании так и в Ирландии в 1829 году, социально и экономически с помощью последовательно проведенной британским правительством земельной реформы, начатой Ирландским Земельным актом Гладстоуна 1870 года. Но ирландцы требовали большего. Под предводительством Дэниэла О'Коннелла (1775–1847) была начата агитация за отмену политической унии 1800 года между Британией и Ирландией, а также за переизбрание Ирландского Парламента. Более радикальные требования были озвучены «Молодой Ирландией», которая в 1842 г. в Дублине основала еженедельную газету «Нация». «Молодая Ирландия» раздвинула партикуляристские рамки агитации О'Коннелла, обращенной исключительно к католикам. Она затрагивала все население Ирландии, католиков и протестантов, кельтов, норманнов

и саксов. Однако, в то же самое время, «Молодая Ирландия» превозносила величие прошлого древней Ирландии, которая в ранние Средние века являлась центром распространения образованности и христианства в иные части Европы. Молодой, но величайший, ирландский поэт Томас Осборн Дэвис (1814–1845) являлся протестантом, но в своих произведениях среди прочих прославлял короля Дафи, последнего языческого монарха Ирландии, расширившего свою империю на континентальную Европу и вторгавшегося в Римскую империю.

Революционная неудовлетворенность, характерная для того периода, распространилась также и на Испанскую Америку. Под влиянием Американской и Французской революций, креольское население, потомки смешанных браков испанцев и коренных американцев, ощутившее себя людьми второго сорта в сравнении с «настоящими испанцами», которых посылала метрополия для исполнения функций управления на престижных должностях, под предводительством Симона Боливара (1783–1830), венесуэльца, и Хосе де Сан-Мартина (1778–1850), аргентинца, подняло восстание и начало сражаться за предоставления национальной независимости испанским колониям. К 1823 г. испанское правление было свергнуто. Но развитие освободившихся колоний пошло по иному пути, нежели в Северной Америке. Испания отнюдь не поддерживала практику самоуправления и демократии в своих заокеанских владениях, равно как и в провинциях метрополии. Иберо-американцы могли в той же мере преодолеть в XIX столетии свою политическую и социальную отсталость, что и коренные испанцы. Как и Испания, Испанская Америка не смогла применить принципы демократии и федерализма, которые были введены в Англо-Америке, в США и Канаде. В большинстве республик, образовавшихся на территории Испанской Америки, чередовались периоды анархии и диктатуры. Военные лидеры, известные как *caudilos* (каудильо), часто захватывали и удерживали власть, применяя насилие. Только бывшая португальская колония, Бразилия, под владычеством короля Педру II (1840–1889), являла пример продолжительного спокойного развития. Исконное индейское население в большинстве случаев оставалось вне новообразованных наций. Только в XX столетии были предприняты усилия, что в большей степени относится к Мексике, интегрировать их в национальную общность, возродить их древнюю, народную культуру, изучить их историю и традиции и осуществить синтез Американской и Испанской цивилизаций.

Национальные движения в Центральной и восточной Европе

В 1815 году территория Центральной и Восточной Европы управлялась тремя монархами, объединившимися в Священный Союз, и осман-

ским (турецким) султаном. Великороссы, немцы и турки были тремя народностями, доминирующими на обширной территории, населенной множеством различных этнических групп. Эти группы не имели ничего общего, за исключением отсутствия национальной государственности; они различались в расовом, лингвистическом и религиозном отношениях. Наиболее многочисленной лингвистической группой являлись славяне, среди которых только великороссы были нацией, обладавшей независимостью. Русские исповедовали православие, также как сербы и болгары, которые жили на Балканском полуострове под владычеством турок. Поляки, исповедовавшие католицизм и образовавшие в XVIII веке могучее государство, включавшее в себя многие непольские народы — литовцев, украинцев и белорусов — к 1815 году, утратив государственность, оказались под управлением императора России, короля Пруссии и императора Австрии. Последний из названных монархов правил также чехами, исповедовавшими католицизм и проживавшими в Богемии и Моравии, словаками, населявшими северо-западную часть Венгрии, и, кроме того, католиками хорватами и словенцами, которые обитали в южной части империи около сербов и были похожи на них. Славянские народы украинцы и белорусы, большей частью православные, меньше — католики, были подвластными великороссам народами. Из-за географического расположения Украина представляла собой в период Нового времени поле битвы в Русско-польских имперских конфликтах, хотя украинцы являлись многочисленным народом, вторым по численности среди славян, уступая только великороссам.

Несмотря на то, что славяне представляли большинство населения территории между Германией и Италией, они перемешивались с другими народностями, живущими там же, сделав этническую карту Центральной и Восточной Европы достаточно мозаичной. Вдоль Балтийского моря мы находим лютеран финнов, эстонцев и латышей, а также католиков литовцев. На пространстве Российской империи проживали различные этносы, главным образом наследники финнов и татар, которые в течение расширения Российской империи были поглощены, но не ассимилированы. В Венгерской долине вдоль среднего течения Дуная осели католики мадьяры, а к северу в нижнем течении Дуная румыны, принявшие православие, сохранили диалект латинского языка со времен существования на данной территории римской провинции Дакия. В южной части Балкан и Малой Азии традиционно проживали греки; их религия и культура играли доминирующую роль среди славян и румын Балканского полуострова, которым с точки зрения политики правил турецкий султан, но с духовной и общественной точки зрения греческий патриарх, живший в Константинополе. Кроме того, на западе Балкан обитали албанцы, частично мусульмане, частично православные, частич-

но католики, и, наконец, православные армяне в Малой Азии. Столетие между 1815 и 1918 гг. стало свидетелем обострения борьбы за национальную независимость некой части этих народностей. К 1918 г. российская, австрийская, прусская и османская династии были низложены. Но на всей этой территории, за исключением балтийских народов, попытки создания независимых и самодостаточных наций-государств по западному примеру столкнулись с почти непреодолимыми трудностями. В большинстве случаев было невозможно провести границы, не задевающие интересов тех или иных этнических групп. Причина этого состояла не только в чересполосице проживания расовых, лингвистических и религиозных групп, что, несомненно, представляло препятствие для выработки решения, приемлемого для всех вовлеченных элементов. Даже большая опасность мирному сосуществованию исходила не от соперничества «естественных» прав наций, но от их «исторических прав». Каждая народность провозглашала единственно верными те границы, которые существовали в период ее величайшего исторического расселения — границы, которые игнорировали этнические и исторические процессы прошедших веков. Многие территории в различное время населялись различными народностями, однако, теперь каждая нация претендовала на них. Поэтому национализм не привел, как ожидал Мадзини и «Молодая Европа», к созданию братской ассоциации соседствующих народов и международному миру. Пробуждение народов высвободило коллективные страсти, которые стали в течение века после 1848 года, наиболее сильным фактором возбуждения ненависти и fomenting войн. Соблюдение демократического федерализма в многоэтнических империях могло бы предложить решение; однако это требовало почтения к тихому развитию на основе того компромисса, который реализовал англо говорящий мир. Но на Европейском континенте подобный подход был успешно применен только в Швейцарии, где, после короткой гражданской войны осени 1847 г., свято блюлись принципы демократического федерализма, установившего рамки мирного сосуществования и соблюдения свобод немецко-, франко-, и итало говорящего населения, имевшего крайне различные традиции и исповедовавшего различные религии. Вне Швейцарии, немецко-, франко-, итало говорящее население сражалось последнюю сотню лет в жесточайших войнах и приносило в жертву свободу требованиям соблюдения прав наций. В девятнадцатом веке в Англии либерал и католик лорд Актон предвидел подобное развитие событий¹. Нигде опасность не ощущалась более остро, нежели в Центральной и Восточной Европе после успеха националистических революций.

¹ Acton. *Nationality* // Kohn H. *Nationalism Its Meaning and History*. Toronto, 1955.

Этот успех был подготовлен усилиями ученых и поэтов в сфере культуры. Под влиянием Гердера они сконцентрировались на создании произведений на родном языке, а также на исследовании народных традиций. До начала XIX века образованные классы использовали французский, немецкий и латынь в качестве языков общения. Теперь же молодое поколение начало составлять грамматики и словари своих родных языков, переводить иностранные работы, собирать народные песни, исследовать национальные древности, а также изучать архивы. Эта работа проводилась не ради нее самой, но *ad maiorem nationis gloriam* (для увеличения славы собственной нации), для того чтобы установить ее равенство, если не превосходство в отношениях с соседями и более развитыми нациями. Яркими примерами подобных интеллектуалов являются Ян Коллар (1794–1852), лютеранский священник и поэт, который в цикле сонетов *Slavy dcera* (Дочь славянская, 1824), посвященного словацкому народу, сожалел об упадке славянской державности, призывал объединить все славянские народы и пророчествовал о будущем величии тех, кто населяет огромную территорию от Эльбы до Тихого океана, от Арктического моря до Средиземного, чехов же он, вспоминая Гуситские войны XIV века, прославлял как первых воинов Реформации; и Карел Гавличек (1821–1854) посвятивший свой журналистский и критический талант демократическому образованию своих соотечественников.

Среди южных славян (сербов, хорватов и словенцев) наполеоновские войны вызвали к жизни новое национальное чувство. Некоторые сербы, под командованием православного князя-епископа, отстояли независимость от турецкого владычества в недоступных высокогорьях Черногории; в 1805 г. другая группа сербов в долине Морава восстала против власти турок и добилась предоставления автономии в 1830 г. Сербы под управлением Османской империи были культурно более отсталыми, нежели сербы и другие южные славяне, проживавшие во владениях Габсбургов. Последние, а именно хорваты и словенцы, на короткое время были включены Наполеоном в свою империю; следуя обычаю, он назвал новую провинцию древнеримским именем Иллирия. Поэтому национальное движение, пробудившееся там, среди южных славян, стало известно как «Иллирийцы». Его вдохновителем был Людевит Гай (1809–1872), а величайшим ученым — Вук Караджич (1787–1964), который сыграл выдающуюся роль в создании общего литературного языка хорватов и сербов, а также в исследовании их речте или народных песен. Иллирийский национализм положил начало отдельным, а часто и конфликтующим национальным движениям сербов, хорватов и словенцев, но чувство близкого родства южных славян или югославов сохранялось.

Румыны населяли турецкие автономные княжества Молдавию и Валахию, управляемые православными князьями греческого происхожде-

ния, которых назначал султан, а также Трансильванию, часть Венгрии, где румыны или влахи, как их часто называли, жили в соседстве с мадьярами и немецкими поселенцами, но однако не обладали теми же правами, что и другие два народа. В XVIII веке все румыны были православными, использовали кириллицу или старо-славянское письмо и едва ли сознавали латинское происхождение своего языка. В 1700 г. в трансильванском городе Альба Джулия, древней римской колонии, румынские священники присоединились к Риму и основали Румынскую Униатскую Церковь. Под ее влиянием, Самуил Кляйн (1745–1806) составил латинский алфавит румынского языка и доказал его римское происхождение. Предположительно римское происхождение языка подкрепило то чувство превосходства, которое испытывали румыны в отношении мадьяр и славян, турок и греков. Они ощущали себя форпостом имперской цивилизации латинян на Востоке. Преподаватель Георгий Лазар (1779–1823) привнес это ощущение и в Валлахию. Новый национальный дух преодолел греческое влияние, и с 1822 года уже князя румынского происхождения назначались в качестве турецких губернаторов. Исследования в сферах истории и культуры, начавшиеся в Альба Джулии в XVIII столетии, заложили основу румынского национализма; этот национализм в свою очередь способствовал политическому объединению бывших турецких княжеств с Трансильванией около 1918 г. на церемонии, проведенной в Альба Джулии.

Лета, предшествовавшие 1848 г., также стали свидетелями рождения украинского национального движения и литературы. В Киеве, исторической столице Украины, затем части Российской империи, поэт Тарас Шевченко (1814–1861) основал со своими друзьями общество Святых Кирилла и Мефодия. Русское правительство прекратило его деятельность в 1847 г., когда Шевченко был арестован и сослан. Более удачным было украинское национальное движение в австрийской провинции Галиция, где в университете Лемберга (Львова) была создана кафедра украинского языка и литературы, а украинские газеты могли свободно издаваться.

В то время как националистическая деятельность чехов и хорватов, румын и украинцев, до 1848 г., была ограничена главным образом сферой культуры, мадьяры в Венгрии предприняли попытку превратить древнее многоэтническое королевство в национальное государство мадьяр. Из-за очевидного этнически и лингвистически составного характера официальным языком делопроизводства в королевстве была латынь. В 1833 г. Венгерский парламент признал в качестве официального языка мадьярский, чем и положил начало процессу мадьяризации аппарата управления Венгрии, что вызвало глубокое возмущение среди немадьяр. Большой прогресс был достигнут в создании современной мадьярской

литературы. Под руководством Лайоша Кошута (1802–1894), который редактировал прогрессивную газету *Pesti Hirlap*, мадьярские националисты потребовали конституционных реформ, либерального законодательства и национальной независимости, не признавая подобных прав за националистами, представлявшими немадьярские народы. Обращаясь к сознанию либеральной Европы с просьбой поддержать борьбу за права нации против владычества Габсбургов, поскольку народы Европы решали подобные проблемы, мадьяры в то же самое время не желали применять те же самые стандарты, на которые они претендовали, к иным народам. «Освобождение» по-мадьярски значило «угнетение» немадьярских народов в границах территории, которую мадьяры рассматривали как территорию средневекового венгерского королевства. Но случай мадьяр был не единственным, где столкнулись националистические настроения различных народов. Именно столкновение националистических настроений предопределило поражение революций 1848 года в Центральной Европе.

Весна народов

Сигнал начала революций в 1848 г. снова пришел из Парижа, где 24 февраля была провозглашена Вторая республика. В следующем месяце революции разразились в Берлине и Вене, в Праге и Будапеште, в Милане и Венеции. Немецкие, итальянские, славянские и мадьярские националисты Центральной Европы от Северного моря до Средиземного приветствовали восход нового дня. Долгая зима Священного союза, казалось, завершилась, режим Меттерниха был свергнут, были созваны народные парламенты; народы, чей напор ничто не могло сдержать, пришли к власти, началась их Весна. Но обещания и надежды этой весны скоро окончились горьким разочарованием. 1848 г. приветствовали как разрешение противоречий 1789 г. Провозглашение республики во Франции было встречено Европой как исполнение надежд эпохи, как универсальное послание, предназначенное для всех народов и несущее мир человечеству. Но новая эпоха, пришедшая на европейский континент в результате националистических революций 1848 г. принесла миру не гармонию и братство, а конфликты и насилие. Вскоре новый национализм вознес власть сообщества и его единство намного выше свободы личности: внешнеполитическая независимость значила для него много больше, нежели внутривполитическая свобода. Ни одна из новых наций не могла сопротивляться как только представлялась возможность искушению утвердить господство над этнически спорными территориями и населением. В середине XIX столетия национализм изменился, проделав путь от либерального гуманизма к агрессивной исключительности, от требований соблюдения достоинства личности к отстаиванию власти

нации, от ограничения полномочий и недоверия к правительству к его превознесению.

Во Франции республика была свергнута отнюдь не старыми монархистами или аристократами, но Луи Наполеоном, который в ходе свободных выборов получил подавляющую поддержку народа. Большинство проголосовало за него, поскольку он сделал национализм и требование социального прогресса краеугольным камнем своей предвыборной программы. Он был кандидатом тех, кто полагал потерянными годы миролюбивой «анти-национальной» политики Луи Филиппа, тех, кто еще помнил славу победоносных армий 1793 г. и времен Наполеона, тех, кто жаждал возрождения Франции, реванша за Ватерлоо и соглашения 1815 г. Наполеон I, будучи пленником на острове Святой Елены, выразил свое понимание и оценку националистических движений¹. Его племянник, Луи Наполеон, будучи молодым человеком, участвовал в националистическом восстании в Италии. После основания Второй империи, уже император Наполеон III в течение своего правления показал себя другом революционных принципов, которые отстаивали нации. В самой Франции не было национальных проблем, которые должна была решить революция 1848 г. Франция была нацией-государством уже с 1789 г. Однако ситуация в Центральной Европе была иной. Там 1848 г. обозначил пробуждение наций и их первое серьезное столкновение в борьбе за свои права.

В начале 1848 г. поляки и немцы побратались на улицах Берлина, а чехи и немцы на улицах Праги. Но, по мере развития революции, становилось все более ясно, что в Центральной Европе общая тоска по человеческой свободе значит меньше чем национализм, разделяющий нации. Реализация националистических ожиданий подчинила себе требования свободы личности и конституционных гарантий. Революционный угар был направлен на достижение национальных, а не либеральных целей. Где бы ни вступали в конфликт эти два направления, национализм неизбежно побеждал. Первый избранный Парламент Германии, собравшийся в мае 1848 г. во Франкфурте-на-Майне, обсуждал границы немецкого национального государства, создание которого он собирался провозгласить. Земли, исторически принадлежавшие Дании или Франции, или населенные поляками или чехами, были признаны им исконно немецкими. Немецкий либерал Вильгельм Йордан (1819–1904), провозгласивший себя представителем Германии, предъявлял претензии на польскую территорию. Он обращался к «здоровому» национальному эгоизму, противопоставляя его «абстрактной» справедливости, к праву завоевания

¹ Napoleon. *On National Unity* // Kohn H. *Nationalism Its Meaning and History*. Toronto, 1955.

плугом и мечом, а немцев, признававших справедливой польскую точку зрения, называл «предателями собственного народа». К концу 1848 г. мечта о братстве равных народов при универсальном порядке справедливого демократического устройства уступила место призывам, основанным на исторических правах, «действительности» властных притязаний, и предположениях о жизненных или стратегических интересах нации. Либеральный немецкий историк Фридрих Кристоф Далман (1785–1860) провозгласил 23 января 1849 г. во Франкфурте, что

дорога к власти — единственная дорога, которая может удовлетворить и насытить желание свободы, осознанное, но еще не понятое. Это желание не удовлетворится только свободой, оно жаждет власти, недоступной до сих пор. Германия должна, наконец, стать одной из величайших держав Европейского континента.

Окинув ретроспективным взглядом события 1848 г., английский философ Джон Стюарт Милль оценил сложившуюся ситуацию со свойственной ему пронизательностью. Он сожалел о том, что национализм делает людей равнодушными к правам и интересам «любой другой части человеческого вида, но заставляет оберегать и лелеять ту, так же которая называется и говорит на том же языке, что и они сами». Он охарактеризовал новые чувства, которые вызывает эксклюзивный национализм, и апелляцию к историческим правам как проявление варварства и с горечью отметил, что

в отсталых частях Европы и даже (там, где можно было ожидать лучшего) в Германии, чувство национальной принадлежности настолько перевесило любовь к свободе, что люди готовы подстрекать своих правителей к уничтожению свободы и независимости тех, кто не принадлежит к их расе или говорит на ином языке.

Это изменение в характере национализма в середине XIX столетия наблюдалось не только среди немцев, но и среди иных народов Центральной и Восточной Европы. Новый дух насилия, прославления героических деяний, возрождения смутного прошлого и использование его в качестве источника вдохновения — феномены, которые омрачили исторический горизонт XX века — были впервые отмечены в 1848 г. Ни одна из мер Папы Пия IX, который взошел на престол в 1846 г. и провел ряд либеральных реформ, не была так популярна в Италии, как решение послать папские войска на помощь Сардинской армии в войне против католической Австрии. В самом начале войны, 30 мая 1848 г., Сардинская армия, проигравшая все битвы против Австрии, одержала незначительную и не имевшую последствий победу при Гойто. Сорок четыре года спустя великий итальянский поэт Г. Кардуччи (1835–1907), вспоминая эту победу в поэме «Пьемонт», воспел «кровавый дым, поднимавшийся над полями битвы». Растущая популярность нетерпимости во славу нации, порожд-

денная насилием и революцией, выступает в качестве высшей нравственной ценности; националистическое самопожертвование заменило мученичество за веру. Тот же дух явил себя и за пределами Центральной Европы, в Ирландии, а позднее и в Азии. Даже национальный гимн Мексики, написанный в 1854 г., является отзвуком призыва к войне.

Отечество! Отечество! — повествует последняя строфа. — Твои сыновья клянутся на твоих алтарях сражаться до последнего вздоха, когда трубы, воинственно звучащие, призвут их на доблестную битву. Тебе — оливковый венец! Им — славная память! Тебе — лавры победы! Им — почетная могила.

Столетие этой поэмы о «ревуших пушках» праздновалось в 1954 г. по всей Мексике с необычной торжественностью.

Ученые и писатели всегда были готовы придумать исторические и нравственные причины, оправдывающие амбиции их нации, и подчеркнуть, что их нация и ее интересы представляют уникальный случай, к которому не применимы общие правила. В путанице столкновений этнических требований и контрпритязаний, кипели национальные страсти, а ученые историки часто становились выразителями националистических устремлений, пренебрегая свободой личности. Именно поэтому, несмотря на искренний идеализм многих из участников, революции 1848 г. в Центральной Европе потерпели неудачу в попытках реализовать стремление к свободе. Поляки и пруссаки, датчане и немцы, чехи и немцы, хорваты и итальянцы, славяне и мадьяры, поляки и украинцы с крайним ожесточением противопоставили себя друг другу. Столкновения их национализмов помогли абсолютистским властям меттернихского периода заново утвердить свое господство. Идеализм 1848 г. потерпел поражение главным образом из-за потворства националистическим страстям и недостатка мудрого терпения и стремления к компромиссам. Он отдавал предпочтение восторженным выступлениям, а не конструктивной работе. К 1852 г. Вторая республика во Франции уже была мертва, а видного продвижения по дороге объединения Италии и Германии не наблюдалось. Но дух национализма витал в воздухе; его носители — средние классы — стали многочисленны и экономически сильны; их националистические ожидания были осуществлены в течение двадцати лет с 1859 по 1871 гг., однако их осуществления добились не революционеры-идеалисты, не народ на баррикадах и не избиратели в Парламентах, а донационалистические правительства, использовав эти ожидания в своих интересах, постоянные армии на полях сражений и международная дипломатия. После 1848 г. национализм вошел в период, который станет известен под немецким словосочетанием — как эпоха *Machtpolitik* или *Realpolitik*, то есть политики, основанной на силе и собственных интересах, а не на принципах гуманизма.

СИДНИ ХУК

ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ МАРКСА¹

«Революционная ситуация» и «Революция»

Если Марксов анализ государства верен, тогда фундаментальная перемена в контроле за механизмами общественного производства не возможна без уничтожения государства. Уничтожение государства означает революцию. Следовательно, признание классовой теории государства — это *непременное условие марксизма*; быть марксистом значит быть революционером. Стратегия и тактика марксистов повсеместно должна быть направляема оценкой следствий предложенного курса действий на завоевание политической власти. В разных условиях методы этой процедуры будут отличаться, но использование того метода, а не иного определяется революционной целью, которая постоянна во всех ситуациях. Это вовсе не означает, что такая цель может быть переведена в действие в любое время. Это было ошибкой бланкистов, которые в течение почти полувека во Франции представляли революцию как заговорщический *Coup d'etat*² группы решительных людей, первой задачей которых было захватить государственные учреждения и независимо от условий производительных сил и политической зрелости пролетариата учредить социализм. Такая политика необходимо ведет к безумному авантюризму, который, несмотря на все свои героические качества, имеет пагубное воздействие на существующие организации рабочего класса.

Многие социалисты, пережившие неудачу революций 1848 года, были особенно склонны полагать, что основой и исключительными условиями успешной революции в какое бы то ни было время были воля и власть политической организации. Они не озаботились тем, чтобы исследовать вопрос, остался ли комплекс экономических, политических или психологических объективных условий таким же благоприятным для восстания, каким был раньше. В отчаянии от своего поражения они с нетерпением жаждали прямого действия до того, как у государства появится возможность принять оборонительные меры со своей стороны и уничтожить революционеров. Большинство этих людей работали с Марксом в одних и тех же организациях. Но в интересах настоящей революционной цели, для которой эти организации и были основаны, Маркс был вынужден отмежевываться от революционных утопистов — временами, кстати, расходясь с ними. То, что критиковал он, было не их неискренностью, но в

¹ *Перевод сделан по: Hook S. Towards the Understanding of Karl Marx. A Revolutionary Interpretation.* Amherst, 2002. (Перевод Александра Павлова и Дмитрия Узланера).

² Государственный переворот (фр.). — *Прим. пер.*

своих окончательных результатах было даже более важным — недостатком ума. «В моменты кризиса, — написал Маркс однажды. — Глупость становится преступлением».

Одно из самых ранних боевых действий, которые Маркс вел с этой тенденцией в международном революционном движении, имело место в Лондоне в 1850 году. В тот раз он расколол Лигу коммунистов своей атакой на фракцию прямого действия Виллиха-Шаппера. В процессе дискуссии он сказал: «На место универсальных воззрений Манифеста ставится немецкое национальное воззрение, льстящее национальному чувству немецких ремесленников. Вместо материалистического воззрения Манифеста выдвигается идеалистическое. Вместо действительных отношений главным в революции изображается воля. В то время как мы говорим рабочим: Вам, может быть, придется пережить еще 15, 20, 50 лет гражданской войны для того, чтобы изменить существующие условия и чтобы сделать самих себя способными к господству, — им, вместо этого, говорят: Мы должны тотчас достигнуть власти, или же мы можем лечь спать. Подобно тому как демократы употребляют слово «народ», так употребляется ныне слово «пролетариат», — как пустая фраза. Для того чтобы претворить эту фразу в жизнь, пришлось бы объявить всех мелких буржуа пролетариями, то есть *de facto* представлять мелких буржуа, а не пролетариев. На место действительного революционного развития пришлось бы поставить революционную фразу»¹.

Это замечание повторяется снова и снова в истории европейского рабочего классового движения. В разном контексте оно появляется в сочинениях Энгельса, Ленина, Розы Люксембург. Иногда эти отрывки из их сочинений будут цитироваться в работах тех, кто называет себя марксистами, но для кого революционная деятельность в *любое* время — это проклятие. Такие упоминания могут быть отклонены как мошеннические искажения. Ибо Маркс осуждает «революционеров фразы» не потому, что он является защитником «нравственной силы», но потому, что ему интересно понять те условия, при которых будет возможна *успешная* революция.

Политическая партия может готовиться сама и готовить многочисленные группы рабочего класса к революционной ситуации, в которой их деятельность сможет стать решающим фактором. Но сама она не может произвести революционную ситуацию. Во-первых, эта ситуация зависит от разлада механизмов сил производства и распределения, как определенного несоответствия между тем, что получают рабочие, и тем, что

¹ Маркс К. *Разоблачения о Кёльнском процессе. Приложение. Заседание Центрального комитета от 15 сентября 1850 г.* // Маркс К., Энгельс Ф. ПСС.: В 50 т. Т. 8. С. 381–382.

они произвели, от роста безработицы, от затора механизма получения кредита, от хорошо узнаваемых явлений, сопровождающих существующий или только начинающийся экономический кризис. Во-вторых, революционная ситуация характеризуется отсутствием последовательной политической гомогенности со стороны правящего класса. Она может быть результатом исключительно продолжительного экономического кризиса, или проигранной войны, или какого-то природного бедствия, которое дезорганизует производство. Недостаток политического единообразия отражается в разногласиях разных групп по поводу определения политического курса. Ее объективными эффектами являются исчезновение престижа правящего класса в глазах масс, растущее ощущение того, что «может произойти все, что угодно», возрастающее беспокойство и ненадежность государственных органов исполнительной власти. В-третьих, ко всему этому необходимо добавить спонтанные проявления классового сознания и классовой борьбы; забастовки, беспорядки и массовые демонстрации; дезинтеграцию привычных моделей слепого реагирования и слепого повиновения со стороны подавленных элементов. Революционная ситуация переживается как бурный хаос *всеми* классами¹.

Только в отношении объективной революционной ситуации можно понять революционное действие и роль революционной партии. Психологически захват власти ощущается как попытка привести новый порядок в существующее смятение. Революционные слоганы и программы отныне выдвигаются как способы сохранения общества. В отношении к массам, без поддержки которых революция бы не удалась, будущая гражданская война и разрушение кажутся издержками общественного спасения. Там, где революционная ситуация не рассматривается в качестве неперемennого условия революции, последняя считается абстрактным делом — *путем* или *государственным переворотом*. Он обречен на неудачу; и если он вдруг достигает цели, то только как мнимый политический феномен, который в существе своем оставляет классовые отношения в том виде, в каком они существовали раньше. Пролетарская революция, которая является величайшим социальным потрясением в

¹ Ленин утверждает следующее: «Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями, в частности всеми тремя русскими революциями в XX веке, состоит вот в чем. Для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы осознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда “низы” не хотят старого и когда “верхи” не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса». Ленин В. И. *Детская болезнь левизны в коммунизме* // Ленин В. И. Полн. Собр. Соч.: В 55 т. 5-е изд. М., 1967–1972. Т. ?.

истории, должна подрубить более глубокие корни. Ибо она означает переход не от одного классового общества к другому, но — от классового общества к бесклассовому.

Революционная партия не создает «революционной ситуации». Точно так же, как сама она и не делает «революции». Она организует и возглавляет ее. Это серьезная задача, связанная с ответственностью — задача, на выполнение которой более явно оказывают влияние такие «субъективные» факторы, как предшествующая подготовка, теория, личности лидеров, а не какие-то «объективные» аспекты революционной ситуации. Революционная ситуация не приходит к своему итогу автоматически. Если не существует революционной партии, свободной от двоякого дефекта сектантства и оппортунизма и, следовательно, способной должным образом использовать всякий повод к захвату власти, то ситуация может потерять свои потенциальные возможности к революционному изменению. Но политическая партия имеет свое значение не только в такие моменты. Задолго до того как развивается революционная ситуация, партия должна быть активна в каждой сфере, где существует социальное разногласие. Она стремится расширить базу для массовой борьбы, политически организовать и образовать рабочий класс и создать собственные ряды в подготовке грядущей революционной ситуации.

Для Маркса вопросы революционной организации и стратегии имели характер величайшей политической важности. Они не были разработаны в качестве дополнительных деталей к более крупным проблемам теории, но были целиком связаны с ними. Это ясно показано в классической формулировке тактических первопринципов «Обращения центрального комитета к союзу коммунистов» (1850). Некоторые иллюстрации: в процессе капиталистического производства наемные рабочие и сельские труженики — те люди, которые получают самую большую пользу от революции. Вот почему их политическая партия должна *руководить* революцией. Они никогда не должны отказываться от своей независимой революционной политики и организационного самоуправления, независимо от того, насколько тесно они сотрудничают в совместных операциях с неудовлетворенными политическими мелкобуржуазными партиями. Еще важнее вот что. Международный характер капиталистического производства неизбежно влечет за собой создание международной организации, которая его уничтожит. Социальная революция не совершенна до тех пор, пока она не интернациональна. Социальная революция в одной отдельно взятой стране создает брешь в международной системе капиталистического производства, которая должна либо стать еще шире, либо сомкнуть ряды. Как объявил Маркс в своем сочинении «Обращение центрального комитета к союзу коммунистов»: «...наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до

гех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоеует государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разовьется настолько, что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратится и что, по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев»¹. Разумеется, что неровный характер капиталистического развития и варьирующееся сопутствующее политическое сознание требует гибкого, конкретного применения фундаментальных принципов к специфическим проблемам каждой нации. Но в свете характера государства и существования особых групп вооруженных людей, однако, необходимо, чтобы революционные организации повсюду были подготовлены к окончательному уничтожению государства, когда возникнет революционная ситуация.

Сила и ненасилие

Акцент на готовность к окончательному уничтожению государства указывает на то качество революции, о котором говорит Маркс. Это ставит самый фундаментальный из всех вопросов относительно революции, *viz.* ² место и оправдание силы и насилия в социальном изменении.

Маркс и Энгельс никогда не обсуждали вопрос о применении силы абстрактно. Что о ней можно сказать? Взятая сама по себе, независимо от конкретного исторического контекста и специфической цели, она — нейтральное событие, свободное от морального качества. Это верно в отношении социоисторических условий и следствий ее использования, которые могут быть разумно объяснены. Например, прежде чем кто-то примет моральное осуждение древней практики порабощения военнопленных, было бы неплохо спросить, а каковы были альтернативные исторические методы обращения с ними, — в одном случае казнь, а иногда и каннибализм — и почему практика порабощения пленных превалировала над всеми другими. Там, где разделение труда достигло точки, в которой становится возможным насильственным трудом заключенных производить продукта достаточно, чтобы обеспечить их потребности и к тому же чтобы освободить других во имя культурной деятельности, рабство представляет собой определенный нравственный прогресс. Осуждать рабство в самом его существе как ложное всегда и везде на том основании, что ему существуют альтернативы в виде сво-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. *Обращение центрального комитета к союзу коммунистов. Март 1850 г.* // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. М., 1980. Т. 1. С. 185.

² А именно (лат.). — *Прим. пер.*

боды как *абстрактной* возможности — все равно что выносить моральное суждение не в отношении рабства, но в отношении естественных и социальных *условий*, из которых развивалась жизнь в древнем мире и над которыми человек имел лишь ограниченный контроль. Абстрактные нравственные суждения такого рода бессмысленны, когда речь идет об институтах, которые далеки от совершенства. Энгельс справедливо возражает Дюрингу, который подходит к проблеме таким вот абстрактным образом: «Следовательно, строя презрительные гримасы по адресу Греции за то, что ее цивилизация была основана на рабстве, г. Дюринг может точь-в-точь с таким же правом упрекать ее и за неимение паровых машин и электрических телеграфов»¹.

В отличие от экономистов типа Бастиа, которые пытались объяснить социальные институты в терминах «естественной» концепции силы, Маркс отрицал то, что использование одной только силы — как обнаженного проявления власти — сможет когда-нибудь объяснить ход общественного развития. В лучшем случае употребление силы может объяснить разрушение культуры или сбоев в ней. Использование силы может достичь высоких общественных и нравственных целей лишь тогда, когда она освобождает производительные силы общественного строя от репрессивных отношений частной собственности, в рамках которой эти силы заключены. Это не просто условие исторического оправдания силы, но условие ее исторической фиктивности. «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция»².

Все это показывает, что Маркс не делал фетиш из силы. Его теория, согласно которой политическая сила должна черпать свою этическую санкцию из некой позитивной социальной функции, служит проводником к ее революционному использованию. Он обстоятельно изучил роль силы в Великой английской и Великой Французской революциях и на своем собственном опыте знал, что она дала и чего не дала революции 1848 года. Для Маркса использование силы в революционной ситуации было не большей моральной проблемой, чем употребление огня в повседневной жизни; составляло проблему лишь *интеллектуальное* использование силы. В этой ситуации он должен был обороняться против двух типов антиреволюционной теоретической непреклонности. Одна была официальной точкой зрения буржуазии. Уже проведя революцию силой, буржуазия поучала, что использование силы в политических вопросах в принципе было преступлением против цивилизации. И это перед лицом тех фактов, что буржуазное государство и законы функционировали с

¹ Энгельс Ф. *Антидюринг* // Маркс К., Фридрих Э. Соч. Т. 14. М., 1931. С. 184.

² Маркс К. *Капитал*. Т. 1. М., 1952. С. 754.

употреблением силы; и перед лицом того факта, что борьба между капиталом и рабочей силой, на которой основывалась буржуазная цивилизация, принимала форму открытой гражданской войны всякий раз, когда рабочим приходилось защищать себя в результате нестерпимого подавления. Вторая точка зрения была гораздо искреннее, а так как она иногда называла себя также революционной, и более опасной. Это была позиция людей «нравственной силы» — христианских социалистов, философских анархистов, всяких легалистов и вечных утопистов, о которых Маркс уже написал в «Манифесте коммунистической партии»: «Они отвергают поэтому всякое политическое, и в особенности всякое революционное, действие; они хотят достигнуть своей цели мирным путем и пытаются посредством мелких, и конечно, неудачных опытов, силой примера проложить дорогу новому общественному евангелию»¹.

Современная политическая мысль и практика стали свидетелями возрождения подобной социальной философии в учениях пацифизма и непротивления. Критика Марксом этой точки зрения своевременна как никогда.

Прежде всего должно быть ясно, что в политике непротивление — если оно не означает отношения полного согласия — это особого рода противление. Строго говоря, оно обозначает *пассивное* сопротивление. Это — *техника* противления. Тогда на каких основаниях можно утверждать, что техника пассивного противления лучше техники активного противления? Очевидно, что лишь в терминах следствий, которые наступают после использования этих техник, лишь в свете их эффективности в реализации тех целей, для реализации которых они и существуют. В интересующем нас вопросе целью является внедрение социализма, который уничтожит поправимый ужас и деградацию буржуазного общества: войну, безработицу, голод и множество форм духовной проституции, которые следуют из доминирования мотива прибыли. Таким образом, говорить, что пассивное противостояние гораздо эффективнее, чем активное, значит говорить, что, используя его, социализм может быть достигнут в наикратчайшие сроки и за наименьшую цену человеческих жизней и страданий. Что убеждает нас в том, что вера в это всегда истинна? Не должно ли это заново определяться для каждой ситуации? Если допускается теоретическая возможность, что иногда это может быть не так, не рушатся ли абсолютистские основания пацифизма? А вместе с ней и фетишизм техники пассивного противостояния?

Всякий, кто отрицает пассивное противостояние, является техникой для достижения определенных целей, вынужден утверждать, что это —

¹ Маркс К., Энгельс Ф. *Манифест коммунистической партии* // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. М., 1980. Т. 1. С. 135.

религия, так как эта техника гипостазии отношение, которое может быть верным для некоторых ситуаций, в безусловный постулат для всех ситуаций. Как и положено религии, она находится по ту сторону от аргументов, но ее воздействие — вовсе не по ту сторону от аргументов, особенно для тех, кто не разделяет эту веру. Эти воздействия могут продлевать и усиливать существование зла и дезорганизовывать активные техники, которые стремятся к быстрому уничтожению этого зла. В таких ситуациях объективные следствия отношения пассивного противостояния превращаются в религию согласия и делают ее приверженцев более опасными, чем верные защитники существующего зла, для тех, кто жаждет революционного действия. Например, Махатма Ганди публично провозгласил в послании о будущем Индии: «Я буду считать ничтожным, если нам придется заплатить миллион жизней за нашу свободу, но я надеюсь на одно: конгресс направил свое сердце на курс ненасилия. Таким образом, придется ли нам заплатить одну жизнь или миллион, я бы молился, чтобы будущие историки могли сказать, что Индия боролась и завоевала свою свободу, не пролив человеческой крови»¹.

Необходимо помнить, что империалистическое проникновение в Индию происходило под аккомпанимент постоянного пролития крови; Амритсарская резня была лишь драматической иллюстрацией процесса «умиротворения». В свете этого следствия позиции Ганди очень интересны. В отличие от некоторых индийских революционеров он не говорит, что, так как достижение национальной свободы другими средствами будет стоить больше миллиона жизней, пассивное противостояние является более предпочтительным. Это спорная позиция. Нет, мистер Ганди декларирует, что он отвергает активное противостояние, *даже если оно может привести к национальному освобождению за гораздо меньшую цену, чем миллион жизней*. Следовательно, именно Ганди готов оправдывать пролитие человеческой крови кроме тех случаев, когда оно происходит в результате насильственной революции. Ради чего? Ради независимости Индии? Вряд ли, так как он отказывается рассматривать любые другие способы ее достижения. Из сострадания к тем, кто должен страдать? Конечно, нет, так как гуманист — это тот, кто ищет наименее затратный путь, неважно какой, и, кто оправдывает человеческое страдание лишь тогда, когда это — средство избежать или еще большего страдания, или когда это — неперемное условие еще большего блага. Цель мистера Ганди или его благо — это только *абстрактный принцип ненасилия*. Но в таком случае, зачем останавливаться на миллионе жизней? Если для этого принципа не имеет значения «одна жизнь или миллион», точно так же не имеет значения миллион ли это жизней или

¹ New York Times. Oct. 13. 1931.

десять миллионов. Если мистер Ганди будет последовательным, то он должен быть готовым сказать, что, завоей Индия свободу путем ненависти, то он будет «считать ничтожным», если не останется в живых ни одного индийца для того, чтобы разделить ее. *Pereat mundus fiat principia*.

Давайте оставим Индию. Трезвый анализ следствий пассивного противостояния и отказ от сотрудничества в общественной жизни продемонстрирует, что в определенные моменты следствием использования этих тактик станут еще большие лишения для общества, чем при некоторых формах военных действий. Всеобщая забастовка в главной отрасли промышленности может причинить больше страданий и быть менее эффективной, чем демонстрация с употреблением силы. В иные времена жестокая революция может отсрочить международную бойню. Если Второй интернационал был бы верен заявленным принципам в 1914 году и был бы организован с целью социальной революции, вряд ли цены были бы такими высокими — если упоминать только самые заметные моменты — как двадцать пять миллионов убитых и раненых. Наказанием за чрезмерный легализм и пацифизм итальянских социалистов в 1920-х гг. были Муссолини и фашизм.

Логика личных отношений также применима в общественных связях. Презренная скромность не всегда более эффективна для преодоления обид энергичной защиты. Мы не всегда можем избавиться от наших врагов, любя их. Это может сделать их только еще более бешеными. Что касается объявляемых следствий пассивного противостояния в том, чтобы духовно обезоружить врага, то на них не всегда можно положиться в условиях, когда вовсе нет необходимости видеть человека, чтобы убить его; там, где бомбы, газ и биологическое оружие делают свою работу на расстоянии. Но в любых условиях техника пассивного сопротивления имеет свои нравственные ограничения. Так как несмотря на то, что мы можем встретить силу, направленную против *нас*, с щедрым прощением мы называем того человека трусом, а не святым, который прощает использование жестокой силы против *других* и не пытается остановить ее — силой, если потребуется.

Очень часто декларировалось, что применение силы деморализует тех, кто ей пользуется, и что новое общество, построенное с помощью оружия, будет нечувствительным к истинным этическим ценностям. Так считали Дюринг, Толстой, Бертран Рассел, но опять же следует подчеркнуть, что вовсе не использование силы, но та цель, во имя которой она применяется, делает эту силу деградирующей. Иначе любой инженер, хирург или солдат деградирует в любом случае. Существует множество вещей, которые, с точки зрения этики, являются гораздо хуже, чем применение силы: например, трусливое попустительство или ленивая то-

лерантность по отношению к разлагающим общественным порокам и политическим тираниям, которые могут быть уничтожены с помощью решительного использования силы. Тот факт, что свобода, завоеванная оружием, ведет к безнравственности, не является истиной вовсе. Маркс и Энгельс часто указывали на то нравственное и интеллектуальное развитие, которое последовало за Французской революцией. Выплеск творческой коллективной энергии во время русской революции является беспрецедентным в истории человечества. Следовательно, в принципе использование силы — хотя и всегда опасное — не может осуждаться всякий раз. Оно заканчивается жестокостью не чаще, чем смирение ведет к лицемерию и раболепию.

Но из этого еще не следует утверждение Маркса о том, что когда революционная ситуация назревает, окончательный захват власти должен быть осуществлен вооруженным путем. Здесь мы должны подхватить нить нашего более раннего изложения. Существование государства предполагает существование особых групп вооруженных людей, которые подчиняются воли тех, кто контролирует государство. Эти группы вооруженных людей косвенно или прямо принимают участие даже в обыкновенных стычках, которые случаются в ходе классовой войны — факт, который не замечается теми, кто предпочитает не верить в использование *любой* силы и тем не менее платит государственные налоги, которые поддерживают солдат и полицию. Во время революционного кризиса, несмотря на то, что эти силы также не могут избежать общего брожения и недовольства, сама неопределенность ситуации ведет ко все большему их использованию со стороны тех, кто пытается спасти старый порядок. Применение силы против растущего недовольства, становится все более безжалостным и безответственным. Часто складывается такое впечатление, что защитники существующего государства пытаются спровоцировать скорее насильственную, а не мирную революцию. Даже если партии социальной революции могли бы прийти к власти «легально», то их победа была бы тщетной до тех пор, пока вооруженные силы государства, точно так же, как и те оборонительные отряды, которые будут выдвинуты лидерами буржуазии, не будут склонены на сторону восставших, побеждены и разоружены. В такой ситуации «готовность — это все». Сила должна быть встречена силой — силой более мощной и более умной. Определяющий принцип — это не «легальность», но «революционная необходимость». Во время революционных ситуаций «легальность» является устаревшим понятием системы социальной репрессии, которая ныне разлагается и гарантии гражданских прав которой уже давно были аннулированы буржуазией. Одно ложное движение, даже сомнение, может быть фатальным для революции. Для того чтобы закрепить победу, стратегические позиции должны быть взяты, важные

военные высоты заняты, повстанческая тактика развернута всякий раз, когда противостояние будет себя проявлять.

Маркс жил в тот век, когда традиции насильственной революции были знакомы всем классам. Это было в особенности истинным для Европы. Предоставление всеобщего избирательного права не улучшило дела, так как решающий вопрос был не в формах, в которых *измерялась* сила революционного идеала, но в эффективности тех методов, с помощью которых эти идеи *достигались*. Маркс никогда не утверждал, что социальная революция может произойти без поддержки — активной или пассивной — большинства населения. Без уверенности в подобной поддержке не следует делать попытку предпринимать революцию. Но, несмотря на то, что такая поддержка необходима, ее недостаточно до тех пор, пока она не будет переведена во власть. В конце концов, в независимости от того, пятьдесят или семьдесят процентов населения поддерживают революцию, власть в государстве завоевывается не ручкой или бюллетенем, но рабочими с винтовками в руках. В 1872 году, говоря о континентальных странах (исключение мы рассмотрим), Маркс написал: «В свое время рабочим придется апеллировать именно к силе, если господству труда, в конце концов, предстоит быть установленным».

Но можно спросить: почему революция не может быть осуществлена мирным путем? Почему правящий класс не может добровольно отдать свою власть, вместо того чтобы рисковать поражением или разрушением всего общества в гражданской войне? На эти вопросы можно ответить, лишь ответив на другие. Когда такое происходило? Когда какой бы то ни было правящий класс позволял отлучить себя от власти без самого отчаянного сопротивления? Опять же следует подчеркнуть, что социалистическая революция предполагает не просто замену власти одного класса на власть другого в отношении владения частной собственностью, но само существование частной собственности как таковой. В прошлых революциях для членов одного класса было возможно спасти свою собственность, переменив свою классовую лояльность. И все же они имели зуб на восставший класс, который зачастую был более чем готов идти на компромисс! Насколько же яростнее они должны сражаться против социалистической революции, которая навсегда делает невозможной осуществление власти над человеческими созданиями через обладание собственностью и которая не может смягчить этот принцип без того, чтобы не пережить катастрофу? Следует также иметь в виду, что благодаря своему прошлому воспитанию, идеологии и социальному статусу правящий класс с необходимостью рассматривает защиту своих собственнических интересов как защиту цивилизации против варварства. Как сохранение утонченности своей культуры и как сохранение любой культуры против вандализма черни. Из этой субъективной искренности

часто происходит — по крайней мере, со стороны числа, достаточного, чтобы составить опасность — желание пускаться в бой за то, что они считают честью и хорошей жизнью.

Тот факт, что рабочим придется прибегнуть к силе, чтобы воплотить социалистическую революцию, для Маркса, следовательно, очевиден так, как не что иное в истории. Отрицать свидетельства исторического опыта и не опираться на него в своей подготовке, значит заранее предавать революцию. Конечно, всегда есть *абстрактная возможность* того, что власть может быть завоевана мирно. Но история не определяется абстрактными возможностями. Если мирные демонстрации рабочих, направленные на получение малейших уступок в отношении пособий и страхования, в былые времена прерывались использованием силы и насилием, то как можно полагать, что потоки доброты прольются тогда, когда будет сделана заявка на уничтожение всей системы прибыли? Социалисты захватили законодательное большинство в финском парламенте в 1918 году. Но до того как они успели провести свою программу, они были утоплены в реках крови во время вооруженной контрреволюции.

Некоторые исключения

Теперь мы должны рассмотреть те исключения, которые Маркс делает из этого общего правила. В той же самой речи, из которой мы цитировали его замечания по поводу необходимости использования силы, он говорит: «Рабочий должен со временем захватить в свои руки политическую власть, чтобы установить новую организацию труда; он должен будет ниспровергнуть старую политику, поддерживающие устаревшие институты, если не хочет, подобно первым христианам, пренебрегавшим и отвергавшим политику, лишиться навсегда своего царства на земле.

Но мы никогда не утверждали, что добиваться этой цели надо повсюду одинаковыми средствами.

Мы знаем, что надо считаться с учреждениями, нравами и традициями различных стран; и мы не отрицаем, что существуют такие страны, как Америка, Англия, и если бы я лучше знал ваши учреждения, то может быть прибавил бы к ним и Голландию, в которых рабочие могут добиться своей цели мирными средствами»¹. Несмотря на то, что возможность мирной революции в Англии и Америке условно допускается, смысл отрывка ясен. В 1886 году Энгельс в своем предисловии к первому английскому переводу «Капитала» выражает то же самое чувство. Он призывает Англию выслушать голос человека, «теория которого представляет собой результат длившегося всю его жизнь изучения экономи-

¹ Маркс К. *О Гаагском конгрессе* // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. М., 1955–1966. С. 154.

ческой истории и положения Англии, голос человека, которого это изучение привело к выводу, что, по крайней мере, в Европе Англия является единственной страной, где есть возможность произвести неизбежную социальную революцию всецело мирными и легальными средствами»¹.

И затем сразу же с бессознательностью, которая граничит с простотой, он выкладывает козырную карту: «Конечно, при этом он (Маркс) никогда не забывал прибавить, что вряд ли можно ожидать, что господствующие классы Англии подчинились этой мирной и легальной революции без “Бунта в защиту рабства”»². Как будто бы не опасность «про-рабского восстания» — контрреволюция — требовала того, чтобы революция везде закрепляла свою победу использованием силы! Как будто бы мандат на легальность революции проистекал не из власти масс, а из существующего порядка, который всегда имел «легальную заготовку», чтобы поменять правила всякий раз, когда они работают против него!

Ленин, который, насколько мне известно, никогда не оспаривал ни единого слова Маркса или Энгельса, вместо того, чтобы назвать ошибку ошибкой, попытался показать, что Маркс и Энгельс вполне оправданно считали, что революция в англо-американских странах была возможной *в то время* «без предварительного условия разрушения “готовой государственной машины”». Однако он торопится добавить, что это больше не является истиной в свете развития бюрократических институтов.

Он пишет: «Во-первых, он [Маркс. — С. Х.] ограничивает свой вывод [о насильственной революции. — С. Х.] континентом. Это было понятно в 1871-ом году, когда Англия была еще образцом страны чисто-капиталистической, но без военщины и в значительной степени без бюрократии. Поэтому Маркс исключал Англию, где революция, и даже народная революция, представлялась и была тогда возможной без предварительного условия разрушения “готовой государственной машины”. Теперь, в 1917-м году, в эпоху первой великой империалистской войны, это ограничение Маркса отпадает. И Англия и Америка, крупнейшие и последние — во всем мире — представители англо-саксонской “свободы” в смысле отсутствия военщины и бюрократизма, скатились вполне в общеевропейское грязное, кровавое болото бюрократически-военных учреждений, все себе подчиняющих, все собой подавляющих. Теперь и в Англии и в Америке “предварительным условием всякой действительно народной революции” является ломка, разрушение “готовой” (изготов-

¹ Энгельс Ф. *Предисловие к английскому изданию Капитала Маркса. 1886 г.* // Маркс К. *Капитал. Критика политической экономии*. Т. 1. М., 1952. С. 32.

² Энгельс Ф. *Предисловие к английскому изданию Капитала Маркса. 1886 г.* // Маркс К. *Капитал. Критика политической экономии*. Т. 1. М., 1952. С. 32.

ленной там в 1914–1917 годах до “европейского”, общеимпериалистского, совершенства) “государственной машины”»¹.

Ленин был политическим гением, но его объяснение здесь очевидно натянуто и необидительно. Англия и Америка не более отличались от континентальных стран в любом вопросе, имеющем отношение к захвату власти революционным движением, чем в 1917 году. Если не что-нибудь другое, то социальную революцию в этих странах было совершить более затруднительно, чем в любых других. Давайте взглянем на Англию. Именно Маркс показал в «Капитале», что капитализм развился в Англии посредством самой беспощадной диктатуры. После того как крестьян согнали с земли, их стали наказывать физически, если они отказывались работать, и стали загонять в дома для бедных, если они не могли работать в результате безработицы. К XVIII веку Кромвель стал национальным героем. Хастингс, Клайв и прочие продолжали проводить английскую колониальную политику в Индии, Египте и прочих странах с той же беспощадностью, с какой Кромвель проводил ее во время подчинения Ирландии. Год спустя после рождения Маркса во время мирного собрания на Пэтерлоо были застрелены английские рабочие. Маркс лично был свидетелем подавления мирного чартистского движения и знал многих его лидеров, которые зачали в тюрьме. В то же самое время Маркс делал исключение в пользу Англии. У нее был самый большой в мире флот, армии, которые находились в Индии, Египте и Ирландии, высоко развитая бюрократия, и, как свидетельствуют письма Маркса, наиболее хитрый правящий класс в мире, обладающий самым развитым классовым сознанием. В 1869 году на массовом собрании в Гайд-Парке Маркс представил резолюцию, которая требовала политической амнистии для взятых в плен ирландских патриотов и которая осуждала британскую «политику завоевания» — политику, которая не могла быть нарушена без активного участия английского рабочего класса. В том же самом году он написал Кугельману: «Да и в самом деле, Англия никогда иначе не управляла Ирландией, да и не может управлять ею иначе, пока держится теперешний союз — иначе как посредством гнуснейшего террора, да подлейшего подкупа»², — чувство, которое Энгельс выражал снова и снова в своих письмах из Ирландии к Марксу за десять лет до этого. Разве это та страна, в которой социальная революция может произойти мирно?

Отсылка к США не более удачна. За несколько лет до амстердамской речи Маркса в Америке произошла вторая революция, которая уничто-

¹ Ленин В. И. *Государство и революция* // Ленин В. И. Полн. Собр. Соч.: В 55 т. 5-е изд. М., 1967–1972. Т. 33. Глава 3.

² Письмо Маркса — Кугельману 29 ноября 1869 г. // Маркс К., Энгельс Ф. *Письма Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса*. М., 1922. С. 177.

жила полуфеодальный рабовладельческий строй, преграждавший экспансию индустриального капитализма. В тот самый момент, когда говорил Маркс, Север осуществлял фактическое господство над Югом. Несколько лет спустя мощные индустриальные волнения, которые приняли почти повстанческий характер, потрясли страну. Разве вероятно, что в стране, в которой слабые и «конституционные» попытки уничтожить систему рабства привели к самой жестокой войне XIX века, устранение рабства заработной платы могло быть осуществлено путем нравственного увещевания? Маркс был прав, когда он говорил о том, что «особое внимание следует уделять институтам, традициям различных стран», но ни он, ни Ленин не знали, что уже в 1872 году традиции насилия и узаконенной коррупции в Америке были сильнее, чем в любой другой значимой европейской стране, за исключением России.

В защиту Маркса следует сказать, что он просто-напросто утверждал, что существующие институты в Англии и Америке с помощью «формальных процедур» выборов делают возможным зарегистрировать волю людей осуществить социальную революцию; но это вовсе не устраняло необходимость использования реорганизованной государственной власти, чтобы уничтожить контрреволюционные элементы и закрепить победу. Если Маркс имел в виду именно это, тогда, во-первых, с самого начала не было никакого оправдания для разделения между англо-американскими и европейскими странами, так как те же самые «формальные» процедуры были возможны во Франции и Германии; во-вторых, собственные исторические исследования Маркса о переходах одной формы государственной власти к другой показывают, что факты говорили не в пользу успешности подобных процедур.

Остается спросить, следовательно, что привело Маркса и Энгельса к ошибке, которую они допустили, в определении их основной позиции — ошибке, которая запросто может быть проигнорирована как незначительная, если бы она ни привела к интенсивному противостоянию между марксистскими и псевдомарксистскими группами в Англии и Америке. После рассмотрения нескольких гипотез автор честно признается, что он не знает ответа.

Одно или другое

Марксова реалистическая концепция социалистической революции так часто отвергалась как оскорбительная для просвещенного сознания благонамеренного человека, что в заключении, рискуя повториться, необходимо еще раз подчеркнуть ее сугубо гуманистическую мотивацию. Спрашивается: «Не слишком ли высоки издержки социальной революции»? Это вопрос, который чаще всего слышится от тех, кто находится с краю от классовой борьбы, чем от тех, кто на самом деле переносит всю

тяжесть этой борьбы. Но это тот вопрос, который заслуживает ответа. Марксист ответит, что он пытается судить любой проект по его издержкам. Но судить что-либо по его издержкам значит *только* осуждать все, что только не предпринимается и не осуществляется ради усовершенствования этого несовершенного мира. Едва ли существует какое-либо значительное благо, доставшееся нам от прошлого, начиная от открытия огня и речи и заканчивая последним достижением научной техники, за которое люди не заплатили цену своей кровью и слезами. Однако, как требует логика и нравственность, до того, как мы отвлечемся от некоего предложения из-за его издержек, мы должны рассмотреть издержки отречения от него во имя каких-либо других доступных альтернатив. Марксистское убеждение заключается в том, что издержки социальной революции гораздо меньше, чем издержки хронического зла бедности, безработицы, нравственной деградации и войны, которые имманентно свойственны капитализму; и что основной вопрос и выбор — это альтернатива между империалистической войной, которая не обещает ничего, кроме уничтожения всей культуры, да и вообще всей человеческой расы и международной революции, которая обещает новую эру в мировой истории.

ЕРОХИНА ЮЛИЯ

ЭНТРОПИЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 ГГ.

Предыдущее столетие явилось очень плодотворным для мировой гуманитарной науки. Были сделаны открытия в социологии, политологии, психологии, юриспруденции, этнографии. Каждая из гуманитарных дисциплин существенно продвинулась в изучении различных сторон общественной деятельности. Все чаще в философских, политических, юридических и иных обществоведческих работах появляются экзотические понятия энтропии, бифуркации, нелинейности, неравновесности, аттракторов и некоторые другие, составляющие ядро понятийно-категориального аппарата синергетики¹. В настоящей работе делается попытка системно-синергетического анализа энтропийных процессов Российского государства на примере революции 1905–1907 гг.

¹ См., напр.: Пригожин И., Стенгерс И. *Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой*. М., 1986; Хакен Г. *Синергетика*. М., 1985; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. *Синергетика как новое мировидение: диалог С. И. Пригожина* // Вопросы философии. № 12. 1992; Венгеров А. Б. *Синергетика, юридическая наука, право* // Советское государство и право. № 10. 1986.

Термин «энтропия» в гуманитарных дисциплинах практически не используется. В известной степени это связано с некоторым отрицательным смыслом данного понятия, под которым в различных областях науки понимается мера неупорядоченности, хаотичности. Данное обстоятельство нашло отражение в господствовавшем в философии стереотипном, линейном мышлении, в рамках которого сформировалось представление о хаосе как об исключительно деструктивном начале мира, случайности рассматривались как второстепенный, побочный фактор общественного развития, где неравновесность и неустойчивость играют негативную, разрушительную роль, а происходящие процессы являются обратимыми во времени, само же развитие — линейно, поступательно, безальтернативно.

Отказ от понимания общественного развития как жестко и однозначно детерминированного процесса привел к необходимости изменения подходов к энтропии. Анализ процессов, характеризующих нынешнюю общественную действительность, и основных тенденций развития государства позволяет рассматривать энтропию как объективное, закономерное, имманентное свойство общественных систем.

Развитие общественной жизни происходит в двух формах, которым соответствуют два этапа развития. Эволюционный этап характеризуется тем, что структура и функционирование общества остаются практически неизменными, поскольку изменения компонентов и связей в масштабе незначительны. Революционный этап (скачок, катастрофа, фазовый переход, точка бифуркации) по сравнению с эволюционным занимает значительно меньше времени, но его роль крайне важна: именно он обеспечивает переход общества на новый (но необязательно более высокий) уровень развития, влияет на выбор пути развития (аттрактора), в результате чего происходит резкое изменение структуры общества и механизма его функционирования.

Рассматривая российское государство как системное образование, необходимо обратить внимание на факторы энтропии. Факторы — реальные условия, при которых возникает, существует и изменяется энтропия. Заимствование из социологии математического метода факторного анализа многими отраслями знания привело к чрезвычайно широкому использованию понятия «фактор», которое обозначает причину, движущую силу какого-либо процесса, определяющую характер или отдельные его черты¹.

В самом общем виде факторы энтропии — *это реальные состояния предметов и явлений, рассматриваемые в совокупности их статических и динамических свойств, в соответствии с их ролью в поведении социальных систем.*

¹ См.: Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. *Новый словарь иностранных слов*. М., 2003. С. 673.

Необходимо подчеркнуть, что, анализируя энтропийные процессы, протекавшие в российском обществе начала XX в., не следует говорить о факторе в единственном числе, поскольку явлений, влиявших на развитие ситуации, было множество. Поэтому и не прав Трубецкой, который попытался объяснить причины первой русской революции, исходя из однофакторной модели. Явление, понимаемое под фактором общественной энтропии, может быть и причиной, и сопутствующим обстоятельством, и предпосылкой, и условием, и поводом, и так далее. Его значение в каждом конкретном случае зависит от контекста. В связи с этим мы предлагаем использовать многофакторную модель, в которой бы нашли свое отражение все явления, так или иначе повлиявшие на развитие событий 1905–1907 гг. Мы полагаем, что необходимо выделить следующие группы факторов:

1. *Экономические факторы*, выражающие общий уровень развития экономики. Поскольку в конце XIX — начале XX вв. — в условиях разрушенной экономики и утерянных позиций на мировом рынке — Россия была вынуждена одновременно восстанавливать государственность и создавать новую, рыночную, экономику, перед руководством страны встала проблема наличия в экономике острого несоответствия между высокоразвитым промышленным и развивающимся аграрным капитализмом, успехи которого были инициированы Столыпинской реформой, и полукрепостническим землевладением. Однако решение данной проблемы было невозможно без ликвидации политического режима, поддерживавшего устаревшие формы хозяйствования. Поэтому объяснение причин русской революции исключительно с помощью привлечения экономических факторов недостаточно. Вот почему мы полагаем, что необходимо использовать и другую группу факторов.

2. *Политические факторы*, отражающие как общее состояние политической системы, так и конкретные процессы. Можно утверждать, что имеющее место несоответствие между политической системой и сложившимися социальными отношениями, является фактором общественной энтропии. Решение этой проблемы прямо зависело от осуществления главной, первоочередной задачи революции — свержения существующего режима и установления демократической республики, в которой было бы ликвидировано существовавшее в Российской империи правовое неравенство и отсутствие демократических свобод. Однако, очевидно, что предсказать с достаточной степенью вероятности, какие последствия для развития революции имели бы последствия революционных изменений общественных отношений не так-то просто. Именно поэтому необходимо привлечь третью группу факторов, позволяющих уменьшить количество вариантов дальнейшего развития страны.

3. *Социокультурные факторы*, выражающие социальные явления, происходящие в обществе и влияющие на общественное сознание, социальную культуру общества и т. п. К этой группе факторов относятся социальная структура общества, демографические характеристики (например, уровень рождаемости, средняя продолжительность жизни и темпы роста населения, общий уровень образования и культуры), а также общественные традиции, ценности, моральные нормы, стиль жизни, привычки. В советских учебниках истории написано, что главными движущими силами революции были народные массы во главе с пролетариатом, которые поддерживало многомиллионное крестьянство, что рисует картину некоего монолитного субъекта революционного действия. Однако представить себе подобного российского революционного Левиафана достаточно сложно, поскольку и пролетариат, и крестьянство не были едины. Как в среде рабочего класса существовал слой «рабочей аристократии», так и в крестьянской общине были «крестьяне-кулаки». Помимо прочего, российские профсоюзы в то время были слабы, а крестьянская община как известно крайне консервативна и инертна, вследствие чего она была способна лишь на небольшой бунт, но никак не на организованное выступление. Поэтому было необходимо нечто, что подтолкнуло бы широкие слои населения России, пусть на нескоординированное, но на совместное выступление. Таким событием стал экономический кризис начала XX в., который углубил социальные противоречия. Однако сам по себе экономический кризис вряд ли вызвал столь бурную реакцию со стороны российской общественности. Вероятно дело в том, что он совпал по времени с поражением России в Русско-японской войне 1904–1905 гг.

4. *Военный фактор*: участие России в войне с Японией вместо того, чтобы предотратить революцию, наоборот ее спровоцировало. И дело даже не в тех территориальных потерях, которые понесла Россия в связи с поражением, поскольку они были незначительны. Дело в моральном банкротстве самого режима, проигравшего в той сфере, в которой, как считалось, Россия наиболее сильна. Очевидно, что ситуация 1904–1905 гг. похожа на ту, что сложилась после поражения России в Крымской войне. Но тогда Александр II, понимая, что промедление смерти подобно, осуществил реформы без внешнего принуждения, тем самым, снизив уровень энтропии в российском обществе.

Николай II не был столь прозорлив, как его дед, но и ситуация, в которой он оказался, была в несколько раз хуже, нежели полвека назад. В нестабильной общественной системе России начала XX в. за счет капиталистического развития, предполагающего ускорение мобильности, разрушение старых формальных правил и норм, распространение образованности и т. д., стали накапливаться многочисленные флуктуации как в социальной, так и в политической сферах.

Следует отметить, что влияние на государство как систему внешних, и внутренних флуктуаций основано на действии кумулятивного эффекта, который заключается в том, что незначительная причина вызывает цепь следствий (каждое из которых более существенно).

Такой причиной, сломавшей спину верблюду, стали события 9 января 1905 г. в Петербурге, когда царские войска расстреляли мирную демонстрацию рабочих, шедших к царю для вручения петиции о нуждах народа. На улицах столицы появились первые баррикады. Под влиянием борьбы рабочего класса вспыхнуло крестьянское движение в Центральной России, где были особенно сильны крепостнические пережитки. Прошли стачки сельскохозяйственных рабочих в Латвии, Польше, на Правобережной Украине. Развернулась борьба крестьян на Кавказе. В общий поток революционного движения вливались антиправительственные выступления студенчества. Активизировалась демократическая интеллигенция. Возникли профессионально-политические союзы адвокатов, инженеров и техников, врачей, учителей и т. д., объединившиеся в мае в «Союз Союзов». Очевидно, что в российском обществе накапливались флуктуации, вследствие чего происходил рост энтропии, увеличивающий хаос.

Флуктуации, воздействующие на государство, в зависимости от своей силы могут иметь совершенно разные для него последствия. Если флуктуации государства недостаточно сильны, система ответит на них возникновением сильных тенденций возврата к старому состоянию, структуре или поведению, что раскрывает глубинную причину неудач многих государственных реформ¹. Если флуктуации сильны, система разрушается. И, наконец, третья возможность заключается в формировании новой диссипативной структуры и изменении состояния, поведения и/или формы государства. Каждый из этих трех вариантов мог быть реализован в ходе революции 1905–1907 гг., каждому из них соответствовала определенная сила, представленная на политической арене страны: 1) правительственный лагерь, представленный правящей бюрократией и крупными землевладельцами, стремившийся любой ценой сохранить самодержавный строй; 2) либерально-оппозиционный центр, состоящий из буржуазии и верхов буржуазной интеллигенции, который добивался конституционной монархии; 3) революционный стан, чей состав разнился от пролетариата до мелкой буржуазии и демократической интеллигенции, который боролся за установление демократической республики.

Система, подталкиваемая флуктуациями, должна выбрать ту ветвь развития, которая согласуется с ее внутренними свойствами и пережи-

¹ См.: Арнольд В. И. *Теория катастроф* // Наука и жизнь. № 10. 1989. С. 15; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. *Законы эволюции и самоорганизации сложных систем*. С. 11.

тыми ею прошлыми событиями. Петля положительной обратной связи¹ обусловлена наличием в процессоре системы «катализаторов», то есть компонентов, само присутствие которых стимулирует определенные процессы в системе, она связывает выбор пути с предыдущим состоянием. Точка бифуркации представляет собой переломный, критический момент в развитии системы², в котором она осуществляет выбор пути; иначе говоря, это точка ветвления вариантов развития, точка, в которой происходит катастрофа, качественное, скачкообразное, внезапное изменение, скачок в развитии.

Необходимо отметить, что поведение всех самоорганизующихся систем в точках бифуркации имеет общие закономерности:

1. Точки бифуркации часто провоцируются изменением управляющего параметра³ или управляющей подсистемы, влекущей систему в новое состояние. В революции 1905–1907 гг. таким изменением являлась октябрьская (1905 г.) забастовка железнодорожников, которая, парализовав политическую и экономическую жизнь страны, дала толчок национальным движениям народов, проживающих на российских окраинах, особенно в Польше, Финляндии, Латвии, Эстонии. Что, безусловно, усилило флуктуации системы.

2. Потенциальных траекторий развития системы много, и точно предсказать, в какое состояние перейдет система после прохождения точки бифуркации, невозможно, что связано с тем, что влияние среды носит случайный характер (это не исключает детерминизма между точками бифуркации)⁴. Вероятно, точкой бифуркации революции можно назвать оглашение *Манифеста 17 октября 1905 г.*⁵, в котором провозглашались гражданские права и свободы. За Думой были признаны законодательные права, расширился круг избирателей. 21 октября 1905 г. был издан указ об амнистии политических заключённых, 22 октября 1905 г. — о восстановлении автономии Финляндии, 3 ноября 1905 г. правительство объявило о прекращении взимания с крестьян выкупных платежей. Однако последующие события показали, что путь, по которому пошла Россия, был иной, нежели ожидали представители революционного и либерального лагерей. Да была созвана Государственная дума, но только Дума третьего созыва проработала полный срок. Политические заключенные были амнистированы, но вскоре появились новые.

¹ См.: Пригожин И., Стенгерс И. *Порядок из хаоса*. С. 19–20.

² См.: Пригожин И., Стенгерс И. *Порядок из хаоса*. С. 17, 28.

³ См.: Хакен Г. *Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам*. М., 1983. С. 23.

⁴ См.: Пригожин И., Стенгерс И. *Порядок из хаоса*. С. 28–29; Моисев Н. Н. *Модели экологии и эволюции*. С. 23.

⁵ См.: Российское законодательство X–XX в 9 т. Том 9: *Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций*. М., 1994.

3. Повышение размерности и сложности системы вызывает увеличение количества состояний, при которых может происходить скачок (катастрофа), и числа возможных путей развития¹, то есть чем более разнородны элементы системы и сложны ее связи, тем более она неустойчива. То есть после Манифеста 17 октября установилось временное, но крайне неустойчивое равновесие борющихся сил; царизм был уже не в силах подавить революцию, революция была ещё не в силах свергнуть царизм. Уверенности относительно того, какой из лагерей (правительственный или революционный) одержит победу, не было, поэтому позиция либеральной буржуазии была крайне важна. Но, с восторгом встретив царский манифест, русские либералы, строившие тактику в расчёте на Думу, качнулись в сторону правительственного лагеря, тем самым увеличив устойчивость системы, вследствие чего кардинальной трансформации российского общества не произошло.

4. Одни и те же ветви могут реализовываться неоднократно. Следствием этого стал продолжающийся рост протестных настроений в широких слоях российского общества даже после Манифеста 17 октября, выразившийся в многочисленных крестьянских и солдатских восстаниях, вспыхивавших по всей стране от Прибалтики до Владивостока.

5. Временная граница катастрофы определяется «принципом максимального промедления»: система делает скачок только тогда, когда у нее нет иного выбора. Таким образом, в процессе движения от одной точки бифуркации к другой происходит развитие системы. В каждой точке бифуркации система выбирает путь развития, траекторию своего движения. И опять подобной точкой бифуркации следует считать Манифест 17 октября, который, удовлетворив ожидания значительной части буржуазии, привел систему в состояние пусть и шаткого равновесия.

6. Систему притягивает один из аттракторов, и она в точке бифуркации становится хаотической. Если хаос, порожденный точкой бифуркации, затянется, то становится возможным разрушение системы, вследствие чего компоненты системы раньше или позже включаются составными частями в другую систему и притягиваются уже ее аттракторами. Энтропия может не только разрушить систему, но и вывести ее на новый уровень самоорганизации, так как за периодом хаотичной неустойчивости следует выбор аттрактора, в результате чего может сформироваться новая диссипативная структура системы.

Апогеем хаоса следует считать декабрьские вооружённые восстания 1905 г.²

¹ См.: Мойсеев Н. Н. *Человек и ноосфера*. С. 49.

² См.: Первая русская революция и ее историческое значение. М., 1975; Революция 1905-1907 гг. Документы и материалы, М., 1975.

Центром восстания была Москва. 9 дней несколько тысяч рабочих сражались с царскими войсками. Москвичей поддерживали рабочие Ростова-на-Дону, Новороссийска, Сочи, Н. Новгорода (Сормово, Канавино), Харькова, Екатеринослава, Донбасса, Мотовилихи, Красноярска, Читы. Латвия, Эстония и Грузия были охвачены восстаниями. Однако они носили локальный характер, вспыхивали одновременно. Восставшие, как правило, придерживались оборонительной тактики. Объективная обстановка в декабрьские дни в ряде промышленных центров быстро менялась к худшему. Восстание не затронуло Петербурга, где силы правительства были особенно велики.

Стремясь предотвратить разрушение системы, царское правительство перешло в наступление. Оно не только ужесточило наказание за участие в забастовках и вооруженных волнениях, но и направило в мятежные провинции карательные отряды. По стране прокатилась новая волна репрессий. 19 августа были введены военно-полевые суды. За 6 месяцев их существования были приговорены к смертной казни около 950 чел.

Однако, восстановив порядок карательными методами, царское правительство не ликвидировало возможности повторения подобной ситуации в недалеком будущем.

Для того чтобы избежать повторения ситуации, необходимо было соблюдать ряд мер и тогда развитие общества, становление государства можно было бы прогнозировать, избегая тем самым острых углов и находя компромисс. Государственное регулирование в области точки бифуркации должно быть очень мягким, осторожным и отвечать следующим требованиям.

1. Государственное регулирование должно быть резонансным происходящим во всех сферах общественной жизни изменениям, ее природе и отчасти — прошлому. Общество действительно не может перескочить через естественные фазы развития, но может сделать переход менее болезненным.

2. Оно должно осуществляться вовремя. То, что возможно сегодня, не будет таковым завтра, и это нужно учитывать. Процессы, о которых регулирующие органы забыли, впоследствии могут выйти из-под контроля и вызвать необратимые изменения. Забывают об этом и на практике, отсюда и огромное количество несвоевременных, а, значит, неэффективных решений. Конечно, особое значение данный принцип имеет в точке бифуркации, когда государство может изменить траекторию развития. Более того, последнее почти исключительно возможно в точке бифуркации.

3. Регулирующая система должна наладить обратные связи с обществом, иначе первая будет генерировать разрушительные или способствующие деградации общества флуктуации.

4. Государство должно опираться на политические субъекты, обеспечивающие переход на выигрышный аттрактор, — они играют роль звена, ухватившись за которое, можно вытянуть всю цепь. Так, в точке бифуркации 1905–07 гг. таким звеном явился пролетариат.

Точка бифуркации предоставляет государству широкий выбор путей развития. В реальности в точке бифуркации общество может быть притянуто не только аттрактором прогресса, но и регресса, может как повысить, так и понизить степень своей сложности и организованности, увеличить или уменьшить рост энтропии и, наконец, может разрушиться. Причем у каждого из этих сценариев есть множество вариаций.

В заключении отметим, что многие вопросы, связанные с энтропийными процессами российского общества в период революции 1905–1907 гг., не были охвачены надлежащим вниманием, так как ограниченность исследования не позволила нам этого сделать. Вместе с тем многие государственные явления во взаимосвязи с энтропией были рассмотрены под углом зрения, отличающимся от традиционного. Это объяснимо, поскольку настоящая статья отражает авторское видение проблемы энтропийных процессов при системно-синергетическом анализе общественной обстановки и вообще привнесения категории энтропии в государственную сферу.

СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНОЙ

ЯКОБИНСКАЯ МЕТАФОРА И БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Современная историография периода Большого Террора 1930-х гг. далеко ушла от психологизмов исторических работ перестроечных и постперестроечных лет, авторы коих искали главную мотивацию, причину массовых репрессий в психическом заболевании Иосифа Сталина, в его крайней подозрительности. Они зывали к тени великого психиатра Владимира Бехтерева, якобы обследовавшего вождя и диагностировавшего у него паранойю и манию преследования. В трудах же о Сталине последнего времени возобладали объективизм, вылившийся в поиск трансубъективных причин, потребовавших от него заказа на убийство и заключение в исправительно-трудовые лагеря многих миллионов людей, что означало объявление войны собственному народу.

Но и в том, и в другом случае пишущий о Сталине оказывался неспособным ответить на вопрос, *что же именно послужило спусковым механизмом принятия им (а решение мог в сложившейся властной ситуации принять единственно он сам) в 1937 году такого, а не иного,*

политического решения. Решения, которое, как он не вправе был не понимать, в глазах потомков перечеркнет все позитивное, что он сделал для этой страны и ее граждан, для дела революции. К подобному судьбоносному выбору могла подвести только жестокая логика борьбы: *в крайних ситуациях принимаются крайние решения*. Этого рода борьбой, на мой взгляд, было соперничество между Иосифом Сталиным и Львом Троцким после смерти Ленина — соперничество за единоличную власть в Советской России, за Октябрьскую революцию как движимое имущество и Коминтерн, за право управления ленинским политическим и идейным наследством. Между тем, роковая линия идейно-политического водораздела и противоборства между ними была проведена *«якобинской метафорой»*, которая составляла главную часть символического капитала большевизма. Террор неизменно — явно или латентно — присутствовал в горизонте этой метафоры, что смертельным образом обнаруживалось при любой попытке ее практической реализации.

* * *

Для истории, которую я намереваюсь рассказать, своего рода ключом могут послужить замечательные строки Бориса Пастернака: «О, знал бы я, что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что строчки с кровью — убивают, / Нахлынут горлом и убьют!» Ибо это история кровавого разворачивания и триумфального шествия вышеупомянутой «якобинской метафоры». И если в данном повествовании не сразу появляется на подиуме протагонист Большого Террора Иосиф Сталин, то связано это, во-первых, с тем, что сие было не в видах «якобинской метафоры», которая, замечу, стала одним из его политических кошмаров; а, во-вторых, с тем, что Сталин (со)переживал все перипетии первой фазы указанной истории, когда ее главным действующим лицом был его кумир Ленин, с каковым он себя отождествлял. Это сложно, но это так.

Итак. Сразу после проведения в 1903 году II съезда РСДРП и раскола партии на большевиков и меньшевиков в социал-демократических изданиях, не только российских, но также иностранных, разыгралась не затухшая по сей день дискуссия об организационной идее Владимира Ленина. В рамках этой дискуссии возымело особый резонанс расхожее в отечественном освободительном движении XIX века уподобление русского революционера — якобинцу образца 1793–1794 гг., этой главной фигуре Французской революции. Именно в якобинстве упрекнул Ленина один из самых умных его оппонентов, Павел Аксельрод. Ленин принял этот вызов и в сочиненной по следам съезда брошюре «Шаг вперед, два шага назад» написал те самые «строки с кровью»: «Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые

интересы, это и есть революционный социал-демократ». Лидер большевиков без колебаний толковал о «якобинцах социал-демократах», то есть большевиках, противопоставляя их «жирондистам эсдекам», стало быть, меньшевикам. Иными словами, он признал, что уже в самом *habitus-e* большевика, в его специфическом облике с самого начала было заложено нечто якобинское. Следует, однако, с самого начала учитывать то, что среди обертонов якобинской метафоры доминировали диктаторский и террористический: якобинцем *de facto* являлся и является тот, кто для достижения своих революционных целей не останавливается перед диктатурой и террором.

Принципиальную важность «якобинской метафоры» остро учуял Лев Троцкий, который совершил интервенцию в полемику об организационном «ленинизме» (данный термин впервые пустил в оборот Юлий Мартов, за что изобретателя высмеял его старый друг Ленин) своей брошюрой «Наши политические задачи» (1904). Как показала Тамара Кондратьева в книге «Большевики-якобинцы и призрак термидора» (1993), Троцкий не только, подобно Розе Люксембург, критиковал вышеприведенное ленинское определение социал-демократа, но усматривал в нем ключ к самой сути спора: «Эта формула должна санкционировать политические и теоретические завоевания, сделанные ленинским крылом нашей партии. В ней, в этой маленькой формуле скрывается теоретический корень разногласий по злосчастному первому параграфу устава, как и по всем тактическим вопросам». Согласно Троцкому, Ленин возводит теоретический мост между революционной буржуазной демократией (якобинцев) и пролетарской демократией. Своим определением социал-демократа как якобинца Ленин затемняет четкий классовый характер социализма. Идеологической формой примирения революционной интеллигенции с ее ограниченной буржуазно-революционной (якобинской) ролью может, якобы, явиться марксизм.

В этом стартовом отмежевании Троцкого от Ленина в организационных вопросах коренится последующее их расхождение в понимании перспектив революции как в России, так и в международном масштабе. Коротко говоря, Ленин полагал, что любая революция, будь то социалистическая или какая угодно, коль скоро она желает победить, будет вынуждена последовать примеру якобинцев; Троцкий же считал стратегию и тактику социалистической революции своего рода оттиском небывалых реальностей начала XX века, каковых не было и в помине столетие с лишним тому назад. Взгляды Троцкого по этим вопросам в концентрированном виде выразила предложенная им концепция «перманентной революции», возникшая в горниле событий 1905–1906 гг. в России. В связном виде она была изложена автором в работе «Итоги и перспективы» (1905).

* * *

Концепция перманентной революции кристаллизовалась вокруг проблемы свержения Российской Империи и доведения до завершения буржуазно-демократических преобразований в стране. Идея, впервые высказанная Александром Парвусом и оказавшая на Троцкого огромное впечатление, заключалась в том, что Россия стоит перед трансформацией аграрного строя такой глубины и таких масштабов, что возглавить его оказываются неспособными ни либеральная буржуазия, ни радикальная интеллигенция, ни, тем более, крестьянство. Между тем, изменить Россию сумел бы лишь тот класс, которому удалось бы повести за собой крестьянство против Империи. В этих условиях на авансцену политической борьбы должен выйти, по Парвусу, российский пролетариат, которому следует возглавить всеобщую стачку и вооруженное восстание против самодержавия, установив свою диктатуру. Отдавая себе отчет в том, что российское крестьянство разом потеряет свой революционный потенциал, как только будут утолены его чаяния о земле, что поведет к политической изоляции «демократического рабочего правительства», Парвус, а за ним и Троцкий, возложил свои надежды на поддержку русской революции рабочим классом западных стран, который должен был зажечься от русского революционного пламени и выручить Россию из ловушки преждевременной социальной революции. Такова была в грубых очертаниях концепция перманентной революции Парвуса-Троцкого.

Уместно будет привести некоторые выдержки из эпохальной работы Троцкого 1905 года «Итоги и перспективы»: «Русская революция создает, на наш взгляд, такие условия, при которых власть может (при победе революции должна) перейти в руки пролетариата, прежде чем политики буржуазного либерализма получат возможность в полном виде развернуть свой государственный гений». И далее: «В случае решительной победы революции власть переходит в руки класса, игравшего в борьбе руководящую роль, — другими словами, в руки пролетариата. Разумеется, скажем тут же, это вовсе не исключает вхождения в правительство революционных представителей непролетарских общественных групп <...> Русская революция не дает и еще долго не даст установиться какому-нибудь буржуазно-конституционному порядку, который мог бы разрешить самые примитивные задачи демократии. Вследствие этого судьба самых элементарных революционных интересов крестьянства — даже всего крестьянства, как сословия, — связывается с судьбой всей революции, то есть с судьбой пролетариата. Пролетариат у власти предстанет перед крестьянством как класс-освободитель. Но может быть, само крестьянство оттеснит пролетариат и займет его место? Это невозможно. Весь исторический опыт протестует против этого предпо-

ложения. Он показывает, что крестьянство совершенно неспособно к *самостоятельной* политической роли» (курсив автора — С. З.). При публикации «Итогов и перспектив» в составе второго тома «Истории русской революции» Троцкий сделал знаменательную ремарку: «Русская революция может развязать и, по всей вероятности, развяжет пролетарскую революцию на Западе, что, в свою очередь, обеспечит социалистическое развитие России». Троцкий, наконец, заявлял в предисловии к работе «1905 год»: «Противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране, с подавляющим большинством крестьянского населения, смогут найти свое разрешение только в международном масштабе, на арене мировой революции пролетариата».

* * *

Другими словами, в 1905 году Лев Троцкий выступил в качестве теоретика «чистой» социалистической революции — чистой не в смысле неучастия в ней других классов, например, «крестьянства как сословия», а в смысле абсолютной гегемонии пролетариата в политической борьбе революционной эпохи, центрированности таковой вокруг него. На этом идейном фоне более выпукло выступают особенности синхронной постановки аналогичных проблем Лениным в следующих работах: «Революция типа 1789 или типа 1848 года?»; «Социал-демократия и временное революционное правительство»; «Доклад об участии социал-демократии во временном революционном правительстве».

1905 год продемонстрировал активное участие крестьянства в революционных событиях. Ленин полагал, что крестьянский вопрос в России ставится так же, как когда-то ставился во Франции. И он обратился к опыту Французской революции, который согласно всем тогдашним марксистским прописям уже не имел никакой политической значимости. Ленин же, напротив, заявлял, что эта революция все еще представляет интерес для России: «Важный вопрос относительно русской революции состоит вот в чем:

1. Дойдет ли она до полного свержения царского правительства, до республики,

2. или ограничится урезкой, ограничением царской власти, монархической конституцией?

Или иначе: суждена ли нам революция типа 1789 или типа 1848 года?

Что социал-демократ должен желать и добиваться первого, в этом вряд ли возможны сомнения».

Взвешивая возможности того или иного хода событий, Ленин заключал, что русская революция будет аналогична революции 1789 года. Сходство между Францией XVIII века и современной ему Россией, со-

гласно Татьяне Кондратьевой, он усматривал, прежде всего, в следующем: фатально обнищавшему крестьянству нечего терять, но обрести оно может землю; реликтовое же деспотическое самодержавие любой ценой нужно сокрушить. Для реализации обеих целей недостаточно революции типа 1848 года. Но и несходство с Францией XVIII века также служит Ленину аргументом в пользу 1789 года. Особенно он подчеркивает существование теперь, в начале XX века, достаточно развитого и организованного пролетариата. В России буржуазная революция может приобрести очень большой размах благодаря участию крестьянства, то есть миллионов мелких буржуа, пролетариат же может сыграть решающую роль в победе революции, только если его партия сумеет направить борьбу на установление «революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». Сам этот термин отмечен чертами бредовости: возможна диктатура одного человека, группы людей или однородного социального слоя (сословия, класса), но диктатура двух классов есть нонсенс. Но в этом бреде есть система.

Здесь мы можем наблюдать очередной шаг в развертывании «якобинской метафоры». Ленин имеет в виду диктатуру, прототип которой существовал в 1793–1794 гг.: «Конвент был именно диктатурой низов, то есть самых низших слоев городской и сельской бедноты. В буржуазной революции это было именно такое полновластное учреждение, в котором господствовала не крупная или средняя буржуазия, а простой народ, беднота, то есть именно то, что мы называем «пролетариат и крестьянство». Ленин сильно лукавил: в якобинском Конвенте господствовали не простой народ и беднота (санкюлоты, то есть голоштанники), а Комитет общественного спасения и Комитет общественной безопасности, которые сделали основным орудием управления Францией гильотину, то есть террор. «Можно заметить, — писал Томас Карлейль в своей «Французской революции», — что гильотина все ускоряет свое движение, по мере того как ускоряется ход других дел; она служит показателем общего ускорения деятельности Республики. Звук ее громадного топора периодически поднимается и падает, как сильно пульсирующее сердце».

* * *

После победоносного государственного переворота в октябре 1917 года и установления большевистской диктатуры, после разгона Учредительного собрания и репрессий Советской власти, обрушенных на политических оппонентов большевиков, после заключенного вопреки гласу народному и вразрез с позицией многих соратников Ленина Брестского мира и оккупации Германией огромных территорий на западе быв-

шей Российской империи, после многого другого «якобинская метафора» стала все больше поворачиваться к Ленину другой своей стороной. Его стала заботить перспектива движения революционной диктатуры к своему Термидору. Уже в 1918 году в письме Кларе Цеткин Ленин отметил, что «вся буржуазия прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть. Тем не менее, мы твердо избежим этого «обычного» (как в 1794 и 1849 гг.) хода революции и победим буржуазию». В пореволюционной России Термидор означал для Ленина поражение революции и «победу» буржуазии, сводился к возрождению капитализма в новой оболочке.

Тогда Ленин еще полагал, что это очень плохо. Тогда он не хотел видеть, что и во Франции, и в России с Термидором было связано не только и не столько устранение с авансцены революционного процесса его крайне левых, якобинских элементов, но и *переход от «гражданской войны» к «гражданскому миру», к восстановлению общественно-экономической «нормы»*. Между тем, сущностная проблематика Термидора сыграла определяющую роль в формировании и развитии Лениным самой идеи «Новой экономической политики», в ее защите и углублении в полемике с противниками того «отступления» Советской власти перед капитализмом, каким им рисовался НЭП. Именно в процессе разъяснения партийной массе сути «Новой экономической политики» Ленин поставил в центр своих размышлений тему Термидора: «1. Общеполитическое значение этого вопроса: = вопрос о крестьянской (мелкобуржуазной) контрреволюции. Такая контрреволюция стоит уже против нас. 2. Теоретический экскурс: б) буржуазная или социалистическая революция? Решит борьба». И далее, в черновиках весны 1921 года: «Политическая сторона: Скинет мелкобуржуазная стихия <...> «Образец» французская революция». И лобовое сопоставление: «1794 versus 1921». В том же 1921 году Ленин в личной беседе заявил французскому коммунисту Жаку Садулю: «Рабочие-якобинцы более проникательны, более тверды, чем буржуазные якобинцы, и имели мужество и мудрость сами себя термидоризировать». Ленин тут, как всегда, самозванно представлял за «рабочих-якобинцев», но Советское правительство в ту пору действительно повернулось лицом к задачам, которые во Франции выполнила «термидорианская реакция» и Директория: к осуществлению перехода всего общества от террористической поэзии «военного коммунизма» к будничной прозе экономического восстановления, главным рычагом которого становились не социалистические декламации новой власти, а товарно-денежные отношения. А ведь еще в январе 1921 года кремлевские сидельцы намеревались отменить и деньги, и заработную плату.

В 1921 году появился знаменитый сборник «Смена вех», где в качестве центральной была помещена статья Николая Устрялова «Patriotica»

с описанием «пути Термидора». И Ленин был вынужден политически опротестовывать Устрялова не где-нибудь, а на партийных съездах и Конгрессах Коминтерна. Опротестовывать так, чтобы не был задет, не потерпел ущерба стратегический замысел «самотермидоризации». Полемический пыл Ленина в его филиппиках против Устрялова был во многом наигранным; *по существу дела он был согласен со сменовеховством*. А своим острием критика Ленина была направлена против врагов НЭПа среди советских и зарубежных коммунистов.

Внимание Троцкого к проблеме Термидора впервые привлек не кто иной, как Ленин. «Угроза «русского термидора», то есть отката революции назад, начала беспокоить большевиков в конце 1920 — начале 1921 гг. Во всяком случае, по утверждению Троцкого, не только после перехода к НЭПу, когда эта тема на определенное время становится дежурной в партийных кулуарах, но и до его введения Ленин вел разговоры о возможности «Термидора» с вождями большевизма, в том числе и с ним. Крестьянская контрреволюция и кронштадтская форма «Термидора» весны 1921 года — за Советы без коммунистов — показали, что опасения были небеспочвенны. Кронштадтцы, как говорил впоследствии Троцкий, «под лозунгом Советов и во имя Советов спускались к буржуазному режиму». Над большевиками нависал топор термидорианской гильотины». «Якобинская метафора», будучи развернутой и в термидорианском направлении, стала немедленно высвечивать на своей периферии террор. Вот одна из вольных зарисовок славного пролога Термидора: «Колесницы смерти с пестрой группой объявленных вне закона, около 23 человек, от Максимилиана Робеспьера до мэра Флеррио и сапожника Симона, продолжают свой путь. Все глаза устремлены на телегу Робеспьера, где он, с челюстью, перевязанной грязной тряпкой, сидит около своего полумертвого брата и полумертвого Анрио, которые лежат разбитые в ожидании близкого конца их «семнадцатой агонии». Жандармы указывают на Робеспьера саблями, чтобы народ узнал его» (Томас Карлейль). Термидорианского террора в Советской России, однако, не произошло: его предотвратил ленинский НЭП.

В 1921 году мысль Ленина постоянно бродила вокруг термидорианского поворота «якобинской метафоры»: «Термидор»? Трезво, может быть, да? Будет? Увидим» (запись Ленина «для себя» в мае 1921 года). Партийные кадры осваивали ту же эзотерическую тематику под эзотерической маркой проблемы «перерождения». Иосиф Варейкис послал в президиум X съезда РКП (б) (8–16 марта 1921 года) записку следующего содержания: «Тов. Ленин. Если сверху соглашение с капитализмом (торговые договоры, концессии и т. д.) и снизу развитие товарного хозяйства крестьянства, а стало быть, возрождение и рост капитализма, то не будет ли это процесс *неизбежного перерождения* Советской власти,

как «химический процесс», вытекающий из двух данных факторов?» (сообщено Козловым и Ненароковым). Весьма характерно то, что Иосиф Сталин обнаружил несомненную аллергию к понятию «Термидор», в то время как тема «перерождения» не сходила у него с уст во времена борьбы с оппозициями. В чем причина подобной терминологической избирательности Сталина? «Замечание Сталина о том, что только «невежественные люди» принимают всерьез проблематику термидора, Троцкий оценил как прикрытие Сталиным своего термидорианства» (Тамаш Краус. Советский термидор). Справедливости ради стоит отметить, что и сюжет «перерождения» Сталину навязали Троцкий и «левая оппозиция».

Мост между экзотерическим «перерождением» и эзотерическим «Термидором» был переброшен в партийных дискуссиях 1923–1924 гг., хотя ни в какие дискуссионные бюллетени последний термин не попал. Троцкий утверждал: «Марксистская оппозиция еще в 1923-м году констатировала наступление новой главы идейного и политического сползания, которое в перспективе могло означать термидор. Тогда-то мы впервые и произнесли это слово». Произнести-то, может быть, и произнесли, но в своем знаменитом «Новом курсе» Троцкий продолжал толковать о перерождении руководящих кадров партии: «Дело не в отдельных уклонениях партийной практики от правильной идеальной линии, а именно в аппаратном курсе, в его бюрократической тенденции. Заключает ли в себе бюрократизм опасность перерождения или нет? Было бы слепотой эту опасность отрицать. <...> Велика ли, однако, опасность такого перерождения на деле? Тот факт, что партия поняла или почувствовала эту опасность и активно откликнулась на нее, свидетельствует о глубокой жизненности партии и тем самым вскрывает живые источники противоядия против бюрократической отравы». Мало того, Троцкий в «Новом курсе» решительно отрекся от термидорианского аспекта «якобинской метафоры», связывая его с либеральной и меньшевистской критикой большевизма, как если бы он ничего не ведал о термидорианской эзотерике в политическом мышлении Ленина: «Исторические аналогии в Великой французской революции (крушение якобинцев!), которыми питаются и утешаются либерализм и меньшевизм, поверхностны и несостоятельны».

Покуда Троцкий придерживался негласного табу на всякий публичный разговор о термидоре в применении к партии и Советской России¹,

¹ Не все в советском руководстве, во всяком случае, при Ленине соблюдали это табу. Так, народный комиссар по иностранным делам Георгий Чичерин в интервью газете «Le Petit Parisien» (9 ноября 1921 года) заявил: «Наша внешняя политика есть лишь выражение той новой экономической политики, которая есть настоящий пролетарский термидор».

навстречу его предупреждениям об опасности «перерождения» был готов формально пойти навстречу даже Генеральный секретарь товарищ Сталин. «Я отнюдь не думаю, — заявлял он в период дискуссии 1923–1924 гг., — что старые большевики абсолютно гарантированы от опасности перерождения, так же, как не имею основания утверждать, что мы абсолютно гарантированы, скажем, от землетрясения. Опасность такую, как возможную, можно и нужно допустить. Но значит ли это, что опасность является реальной, наличной? Я думаю, что не значит. Да и сам тов. Троцкий не привел никаких данных, говорящих об опасности перерождения, как о реальной опасности».

Но червь сомнения точил его ум, особенно после разразившейся в партийной печати вслед за появлением «Уроков Октября» антитроцкистской кампании и удаления Троцкого в январе 1924 года с поста наркома по военным и морским делам. В автобиографии «Моя жизнь» Троцкий сообщает о своей беседе после отставки со своим бывшим заместителем Склянским, в ходе которой он якобы заявил насчет термидора: «Это реакция после великого социального и психологического напряжения первых лет революции. Победоносная контрреволюция может иметь своих больших людей. Но первая ступень ее, термидор, нуждается в посредственностях». Как самую выдающуюся посредственность большевистской партии Троцкий квалифицировал Сталина. И добавил: «В этой беседе я впервые с полной ясностью, я бы сказал, с физической убедительностью подошел к проблеме термидора».

Посредственность посредственностью, но Троцкого гораздо больше волновало террористическое измерение «якобинской метафоры». В «Сталинской школе фальсификаций» он вспоминает о заседании ЦКК в 1927 году, на котором Троцкий якобы бросил в лицо Сольцу, возглавлявшему комиссию: «Французские якобинцы, тогдашние большевики, гильотинировали роялистов и жирондистов. И у нас такая большая глава была, когда и мы, оппозиционеры, вместе с вами расстреливали белогвардейцев и высылали жирондистов. А потом началась во Франции другая глава, когда французские устряловцы и полуустряловцы — термидорианцы и бонапартисты — из правых якобинцев — стали ссылают и расстреливать левых якобинцев — тогдашних большевиков». Создается впечатление, что, используя «якобинскую метафору», Троцкий накликал на себя и других левых оппозиционеров страшную беду, провоцирует Большой Террор.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Леонид Бляхер, Александр Павлов. Концепт «революция»: mobilis in mobile</i>	5
<i>Леонид Бляхер. Революция как «блуждающая метафора»: семантика и прагматика революционного карнавала</i>	12

ФИЛОСОФИЯ РЕВОЛЮЦИИ

<i>Ханна Арендт. Основание революции: свобода</i>	32
<i>Юрген Хабермас. История о двух революциях</i>	74
<i>Александр Павлов. «Понятие» революции в политической философии 1789–1848 гг.</i>	79
<i>Герберт Маркузе. Революция в ценностях</i>	100

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

<i>Джон Дан. Революция</i>	108
<i>Александр Никифоров. Революция как объект теоретического осмысления: достижения и дилеммы субдисциплины</i>	130
<i>Джеффри М. Пэйдж. Обнаруживая революционность в революции: понятия социальной науки и будущее революций</i> ...	149
<i>Нозль Паркер. Параллаксы: революции и «революция» в глобальном представлении</i>	163
<i>Эрик Селбин. Деятельность и культура в революциях</i>	184

ШЕСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

<i>Борис Межуев. «Оранжевая революция»: восстановление контекста</i>	196
<i>Виталий Куренной. Перманентная буржуазная революция</i>	216
<i>Джордж Монбиот. Глобальная демократическая революция: дело против безнадежного реализма</i>	231

БУНТ ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МИРА

<i>Алексей Руткевич. Прусский социализм и консервативная революция</i>	242
--	-----

<i>Александр Михайловский. Консервативная революция: апология господства</i>	<i>264</i>
<i>Эрнст Юнгер. Националистическая революция</i>	<i>283</i>

МЕЙНСТРИМ: ОТ ЯКОБИНСТВА К БОЛЬШЕВИЗМУ

<i>Александр Тарасов. Необходимость Робеспьера</i>	<i>286</i>
<i>Константин Аршин. Революция 1789 г. и формирование французской нации: идеи и контекст</i>	<i>298</i>
<i>Ганс Кон. Национализм и революция</i>	<i>309</i>
<i>Сидни Хук. Теория революции Маркса</i>	<i>323</i>
<i>Ерохина Юлия. Энтропийные процессы в русской революции 1905–1907 гг.</i>	<i>338</i>
<i>Сергей Земляной. Якобинская метафора и большой террор.....</i>	<i>346</i>

КОНЦЕПТ «РЕВОЛЮЦИЯ» В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *О. Ю. Марусова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),

aletheia@peterstar.ru (*редакция*)

www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95

Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.

Тел. (812) 327-26-37

Книги издательства «Алетейя» в Москве

можно приобрести в следующих магазинах:

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6/3, стр. 5. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8, стр. 1. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28

Магазин «Фаланстер», Малый Гнезниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21

Магазин издательства «Совпадение».

Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 01.08.2008. Формат 60×88¹/₁₆.

Усл. печ. л. 22. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ № 171

Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Бионт»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,

тел. (812) 322-68-43

В книге, составленной из работ отечественных и зарубежных политологов, рассматривается бытие концепта «революция» в современном научном, политическом и публицистическом дискурсах. Раскрывается особенность метафорического восприятия революции. Анализируются смыслы, которыми наделяется явление реальности в том случае, когда оно обозначается словом «революция». Революция выступает здесь не как «объективное явление», но как особый тип семантизации реальности.

Концепт «РЕВОЛЮЦИЯ»